

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
ПОЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИНДРИК»

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ

ПОЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
ИНСТИТУТ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

**РОССИЯ — ПОЛЬША**  
**ОБРАЗЫ И СТЕРЕОТИПЫ**  
**В ЛИТЕРАТУРЕ И КУЛЬТУРЕ**

 ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ИНДРИК»

Москва 2002

УДК 821.162.1  
ББК 83.3Пол  
Р 86

Редколлегия:

*И. Е. Адельгейм, М. В. Лескинен,  
В. А. Хорев (отв. редактор)*

**Россия — Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре / Отв. редактор В. А. Хорев. — М.: Индрик, 2002. — 344 с.  
ISBN 5—85759—214—3**

В коллективный труд русских и польских ученых вошли доклады российско-польской научной конференции «Россия — Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре», состоявшейся в Москве в октябре 2001 года. В нем продолжено совместное изучение проблемы взаимного восприятия поляков и русских, начатое в книге «Поляки и русские в глазах друг друга» (М.: Индрик, 2000).

Авторы труда на историческо-культурном материале разных исторических эпох выявляют истинные и ложные представления о жизни соседних народов, стереотипы и предубеждения, существующие в общественном сознании, их развитие, общественную роль и эстетическую функцию в художественном произведении.

## Оглавление

|                                                                                                                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| От редколлегии .....                                                                                                                                                       | 5   |
| <i>А. Ковальчикова</i> (Варшава). Отец-благодетель.<br>Видение поляками «нашего российского владыки» .....                                                                 | 6   |
| <i>В. А. Хорев</i> (Москва). О живучести стереотипов .....                                                                                                                 | 17  |
| <i>Б. Н. Флоря</i> (Москва). К изучению образа поляка<br>в памятниках Смутного времени .....                                                                               | 27  |
| <i>А. Л. Хорошкевич</i> (Москва). Образ России 1584–1585 гг.<br>в «Записках» Мартина Груневега .....                                                                       | 34  |
| <i>В. В. Мочалова</i> (Москва). Представления о России<br>и их верификация в Польше XVI–XVII вв. ....                                                                      | 44  |
| <i>Б. В. Носов</i> (Москва). Станислав Август и Н. В. Репнин:<br>преломление личного опыта<br>и формирование стереотипного восприятия .....                                | 65  |
| <i>И. И. Свирида</i> (Москва). Варшава глазами русских.<br>Конец XVII — начало XX в. ....                                                                                  | 85  |
| <i>С. М. Фалькович</i> (Москва). Представление русских<br>о религиозности поляков и его роль в создании<br>национального польского стереотипа .....                        | 99  |
| <i>Н. М. Филатова</i> (Москва). Русские и поляки<br>в Королевстве Польском (1815–1830):<br>стереотипы взаимного восприятия .....                                           | 110 |
| <i>М. В. Лескинен</i> (Москва). Польша и поляки<br>в российских этнографических очерках конца XIX в. ....                                                                  | 119 |
| <i>А. В. Липатов</i> (Москва). Польскость в русскости:<br>разнонаправленный параллелизм восприятия культуры<br>западного соседа (Государство и гражданское общество) ..... | 134 |
| <i>Е. З. Цыбенко</i> (Москва). Образы русских в польской литературе<br>второй половины XIX века .....                                                                      | 156 |
| <i>М. Рудковская</i> (Варшава). Русская тема в польской прозе<br>второй половины XIX века. Взгляды Ю. И. Крашевского ....                                                  | 168 |
| <i>М. Соколовский</i> (Варшава). Стереотип русского нигилиста<br>в творчестве Юзефа Игнацы Крашевского .....                                                               | 181 |

|                                                                                                                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>Е. Е. Левкиевская</i> (Москва). Стереотип русско-польской любви в русской литературе XIX–XX вв.....                                                                                        | 192 |
| <i>Т. П. Агапкина</i> (Москва). Образ женщины-польки в русской литературе 1940-х — начала 1970-х гг. ....                                                                                     | 201 |
| <i>Я. Савицкая</i> (Варшава). Изображение польских национально-освободительных восстаний в русской поэзии — изменение стереотипов.....                                                        | 216 |
| <i>О. В. Цыбенко</i> (Москва). Мицкевич и поэты русской эмиграции первой волны.....                                                                                                           | 225 |
| <i>С. Мусиенко</i> (Гродно). М. Домбровская и А. П. Чехов.....                                                                                                                                | 240 |
| <i>З. Зёттек</i> (Варшава). «Русское» и «советское» в польском репортаже о России.....                                                                                                        | 251 |
| <i>И. Е. Адельгейм</i> (Москва). Личное пространство чужой территории: «Волчий блокнот» М. Вилька и стереотип России.....                                                                     | 263 |
| <i>В. Я. Тихомирова</i> (Москва). Проявление национального самосознания в польской лагерной прозе (к проблеме этнических стереотипов).....                                                    | 282 |
| <i>А. Насиловская</i> (Варшава). Лагерная мораль — три польские книги о лагерях: Б. Обертыньская, Б. Скарга, Г. Херлинг-Грудзинский.....                                                      | 292 |
| <i>Л. А. Мальцев</i> (Калининград). Тема России и русских в прозе Г. Херлинга-Грудзинского 80–90 гг. ....                                                                                     | 302 |
| <i>О. В. Белова, Л. Н. Виноградова</i> (Москва). Фольклорные этиологические легенды о поляках и их восточнославянских соседях.....                                                            | 310 |
| <i>Ю. А. Лабьницев</i> (Москва). Письменное наследие Великого княжества Литовского в глазах первенцев польской и русской гуманитарной науки: Виленская школа и профессор И. Н. Данилович..... | 321 |
| <i>Л. Л. Щавинская</i> (Москва). У истоков славяноведения: Польско-русский диалог и о. Михаил Бобровский.....                                                                                 | 332 |

## От редколлегии

Изучение представлений русских и поляков друг о друге, которые сложились в процессе тесного общения двух соседних народов на протяжении нескольких веков, стало в последнее время одним из перспективных направлений историко-культурных исследований. Эти представления организуют схемы восприятия иного жизненного опыта, играют активную роль в формировании образа мышления современников и представителей следующих поколений. Они не только обогащают знания о другом народе, но и характеризуют собственную этническую ментальность. Их изучение способствует объединению усилий ученых разных специальностей — историков, историков культуры, литературоведов, этнологов, лингвистов и т. д.

Первый опыт коллективного исследования образов и стереотипов поляков и русских, сложившихся в национальных культурах России и Польши, — сборник статей «Поляки и русские в глазах друг друга» (М.: «Индрик», 2000) — совместный труд Института славяноведения Российской Академии наук и Института литературных исследований Польской Академии наук. Совместное исследование проблемы было продолжено на российско-польской научной конференции «Россия — Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре», состоявшейся в Москве в октябре 2001 года. Помимо сотрудников двух академических Институтов в конференции приняли также участие полонисты Московского, Варшавского, Калининградского и Гродненского государственных университетов.

Представленные на конференции доклады и составляют содержание сборника, предлагаемого вниманию читателей. Несмотря на широкий диапазон тем, рассматриваемых в статьях сборника, их объединяет проблема взаимного восприятия поляков и русских, исследуемая на материале художественной литературы и фольклора, исторических трудов, публицистики, мемуаров, очерков, путевых заметок, писем, некоторых видов искусства в разные исторические периоды.

Редколлегия не стремилась к унификации позиций авторов, полагая, что именно наличие разных, в том числе дискуссионных точек зрения, разных авторских позиций способствует всестороннему и тщательно изучению сложных культурных явлений.



А. Ковальчикова  
(Варшава)

## Отец-благодетель. Видение поляками «нашего российского владыки»

---

Когда в мае 1814 г. царь Александр I, приняв командование над воевавшими в армии Наполеона польскими войсками, стал возвращать их на родину, сообщения в прессе сразу приобрели особый характер. Тон статей в «Газете Варшавске» демонстрирует, что в тот момент было не очень понятно, как, не подвергая себя опасности, достойно выйти из сложной ситуации: душой поляки были с Наполеоном, о котором уже нельзя было хорошо отзываться, а их будущее было связано с Александром, против которого они сражались еще вчера. В этой ситуации больше всего места в газетах было отведено нейтральной теме — возведению на французский престол Людовика XVIII. Много внимания было посвящено и Наполеону — хотя и не на первых страницах и с каждым разом все меньше. Подробные рассказы о его дальнейшей судьбе из осторожности сопровождались каким-нибудь замечанием о ненависти народа к французскому императору.

Александр же, начиная с момента принятия командования польским войском в Сен-Дени, представал в образе благодетеля, озабоченного судьбой польских солдат и офицеров. Примечательно, что поначалу в этой игре, т. е. в подобной стилизации, участвовали обе стороны, и можно прямо сказать, что инициатива принадлежала российской стороне, так как уже в апреле 1814 г. царь милостиво простил поляков, сражавшихся под командованием Наполеона. «Газета Варшавска» сообщала, что месяц назад «Его Императорское Величество всемилостиво изволил даровать прощение и вернуть имение» Каролу Пшездецкому, маршалку Завилейского повета, а также то, что царь возвратил свободу всем солдатам и офицерам, «находящимся в военном плену». Царь заботился о том, чтобы показать себя перед европейскими монархами милостивым правителем поляков — о чем также должна была свидетельствовать гармония в отношениях между представителями высшего света.

В последующие несколько лет газеты регулярно писали о совместно устраиваемых приемах и развлечениях, начало им положил праздник в Лазенках 23 мая 1814 г. по случаю именин Зофьи Замойской; урожденной Чарторыйской, который «почтили своим присутствием» командующий резервными российскими войсками Лобанов-Ростовский и Новосильцев. С этого момента в прессе постоянно упоминалось о том, что «мы удостоились милости Светлейшего Императора Всея Руси», о его благосклонности и «великодушии» в отношении поляков.

Доказательством этого, в частности, должно было служить позволение — а вернее, просто повеление — перевезти из Лейпцига в Варшаву останки князя Юзефа Понятовского. Он погиб в битве с русскими, а теперь в гробу возвращался на родину вместе с польскими войсками (в «эту столицу», как с тех пор стали называть Варшаву, чтобы не путать ее с Петербургом. Когда польская столица впадет в немилость, то будет называться просто «этот город»).

Реверансы в сторону Александра тогда еще имели этикетную, «эпитетную» форму. Польская сторона тоже участвовала в создании образа милостивого властителя, однако в первые месяцы, когда польские войска возвращались из Франции, его образ затмевали подлинно патриотические настроения и скорбь. Приветствуя солдат и офицеров, местная знать говорила о радости и слезах, «подступающих при виде возвращающихся в родное гнездо воинов, которые среди стольких испытаний, трудов и несчастий с непоколебимым мужеством и стойкостью показали прекрасный образец национального характера». Еще не было места для угодливых расшаркиваний перед победителем Александром — тогда еще избегали политических деклараций.

С таким приглушенным тоном контрастировали речи генерала Винцентия Красиньского. Знаменитый наполеоновский офицер усиленно добивался милостей нового государя. Народ приветствовал польскую армию, шедшую с Красиньским, а он с энтузиазмом вводил панегирический стиль в создание культа российского царя, основанный на жонглировании напыщенными фразами. Красиньский говорил: «великий монарх, которому судьба вручила бразды мирового правления, возвращает на родину рассеянных по всему свету поляков», «широкая душа императора Александра обеспечила нам доброжелательность и опеку», благодаря этому мы можем пользоваться «безупречной честью и заботой первого из монархов».

До самой смерти Александра I в 1825 г. обе стороны участвовали в формировании стереотипа: заботливый монарх, добрый «воскреситель Польши» — и народ, благодарный за все оказываемые ему ми-



лости. Александр одаривал и милостями, и дорогими подарками (дам, в свою очередь, одаривала императрица), а также давал расплывчатые обещания — окружить свои польские земли заботой и вниманием.

И потому в первые годы хвалебный стиль, избранный поляками, был выражением не только индивидуального карьеризма, но и делового расчета: несмотря на нарастающее недовольство (главным образом в армии и среди студентов), общественность все еще рассчитывала на соблюдение предоставленной Александром в 1815 г. либеральной конституции и даже на присоединение к Королевству Польскому по крайней мере части принадлежавших когда-то Польше земель, которые теперь были западными губерниями Российской империи.

В хвалебных речах стиралась граница между похвалами, которые были продиктованы заботой об интересах страны, и обычным карьеризмом. Это благоприятствовало конформизму, оправданию верно-подданнических настроений высшей необходимостью. Трудно, например, оценить, чем руководствовался известный поэт Алоизий Фелиньский, когда в 1816 г. он опубликовал написанную в честь царя знаменитую песню «Боже, дай Польше...». Александр I был в ней представлен как благодетель польского народа и «Ангел мира», а в припеве, обращенном к Богу, повторялись слова: «К престолу Твоему возносим моление // Короля нашего сохрани нам, Господи».

Необычной была дальнейшая судьба песни, сразу же было провозглашено, что это «новая народная песня», и такую функцию она выполняет по сей день. Ее исполняли в костелах на патриотических службах, в частности, в периоды перед восстанием 1863 г. и перед обретением независимости в 1989 г. Это была практически та же самая песня, угодливо написанная в честь русского царя, только ее содержание и тон были раз и навсегда изменены принципиальным образом. Прежде всего, были выброшены слова «Короля нашего», а вместо этого пели «свободную отчизну нам верни (или: сохрани. — А. К.), Господи». Намерения автора Алоизия Фелиньского часто называли конформистскими; профессор Богдан Закшевский видит в них выражение патриотических упований, связанных с личностью Александра I.

Если в этом вопросе трудно определить мотивы тогдашнего преклонения, то не вызывает сомнения, что спустя несколько лет — после того как подверглись репрессиям военные и студенты — испарились надежды, связанные с неясными обещаниями и доброй волей Александра в отношении поляков. Но традиционный, поддерживаемый обеими сторонами, стереотип стилизации взаимоотношений между «Императором и Королем» и его польскими подданными не был нарушен и уже успел закрепиться. Благодарностью и любовью

окрашенное повиновение с одной стороны, милостивая доброта и покровительство с другой...

Более аффектированные формы приняли хвалебные сообщения по случаю коронации в 1829 г. следующего царя, Николая I. Проявлялось это в использовавшейся фразеологии. При его въезде в столицу «все жители Варшавы, старцы и детвора, поспешили увидеть Всемиловистейшего Монарха и его почтенное семейство. Все улицы, по которым проезжал торжественный кортеж, все окна, башни, возвышенности и набережные Вислы, даже крыши были запружены народом, исполненным великой радости и счастья». А светлейшие государи были милостивы к своим подданным: например, «соблаговолили позволить лицеизреть себя Сенату, Послам и Депутатам, а также гражданским властям».

В то время царь-король еще искал популярности. Он заботился о своем образе правителя, пекущегося об общественном благе. Появлялся в публичных местах, посещал с визитами больницы и школы, танцевал на торжественных балах, использовал в целях пропаганды обаяние маленького, 10-летнего Александра II, который в мундире польского офицера разъезжал по городу на коне и разговаривал по-польски<sup>1</sup>.

Заслуженных особ Николай также одаривал (правда, менее щедро, чем это было при Александре I) почестями и драгоценностями. Поэтому варшавские газеты, которые все время писали о царе в контексте ситуации в Польше, подчеркивали тесные отношения между «нашим милостивым российским государем» и его польскими подданными.

Уже спустя год появились новые, несколько тревожные симптомы; Николай в своей речи на открытии в Варшаве сессии сейма в июне 1830 г. назвал своего предшественника «Воскресителем Вашей Родины», но добавил при этом фразу о его «разумной умеренности в предоставлении прав и свобод, которые он вам даровал». Тогда можно было себе позволить комментарий, сглаживающий грозное значение слов о разумной умеренности в дозировании прав: в газете они были ловко представлены как «гарантия свобод, предоставленных нам достопамятным Александром I».

Это была первая версия образа нашего правителя — доброго и снисходительного. Она рухнула с началом ноябрьского восстания. Следующая версия рисовала Всемиловистейшего в гневе и подданных, покорно ожидающих, когда он простит их и снова явит им свой светлый лик.

Принципиальная разница между версиями до восстания 1831 г. и периода после его поражения была в том, что первая формировалась совместно обеими заинтересованными сторонами, российской и польской, тогда как вторая была явно разделена. Российская сторона на-

меренно лишила образ царя доброжелательной снисходительности, в этом театре лицемерия ИМПЕРАТОР и КОРОЛЬ демонстративно предстал в облике Юпитера, всемогущего владыки, разгневанного и способного в любую минуту покарать и уничтожить народ недавних бунтовщиков. Конец милости. Польская сторона (т. е. местные власти и та часть аристократии, которая выбрала путь конформизма) судорожно поддерживала старую версию: образ царя великодушного, снисходительного и доброго. И чем более разгневанным предстал царь в изображении российской стороны, тем более униженно поляки выказывали свою любовь и признательность. Словно эта упорно поддерживаемая стилизация могла повлиять на возврат когда-то установившейся традиции.

Царь Николай I тщательно дозировал демонстрацию своего гнева. В 1831 г. не он, а его младший брат, Михаил, принимал капитуляцию Варшавы. Ситуация, в которой была подана первая после поражения петиция «граждан города Варшавы», была необыкновенно затруднительной: в минуты поражения и отчаяния следовало вновь обратиться к притворной благодарности. И потому эта стилизация никогда еще так не противоречила реальным настроениям, как в этой петиции. Она продвинулась намного дальше, чем ранее демонстрировавшиеся униженность и покорность; в ней даже репрессии в отношении поляков назывались благом: «помимо преклонения, почитания, безграничной благодарности за заботу и благодеяния, какие недавно узнала Варшава [...] высказана покорнейшая просьба, чтобы Его Императорское Высочество, который видел вблизи плоды несчастного потрясения (так было названо ноябрьское восстание. — А. К.), а также страдания и кровоточащие раны этой страны, изволил заступиться за умоляющих о милости перед могущественнейшим и великодушным Монархом» (21 ноября 1831).

Монарх выражал гнев, презрение, наказывал нас равнодушием, в течение нескольких лет не посещал Варшаву. Даже когда в 1833 г. царь проезжал через польские земли, он демонстративно избегал столицы, остановившись в модлинской крепости. «Владыка судеб», как теперь его называли, даже отказался принять депутацию из Варшавы, откладывая это до момента, когда «жители вновь заслужат такую снисходительность с его стороны». Ситуация была унижительной, но гражданские власти Королевства Польского без колебаний приняли противную чувствам поляков условность, в соответствии с которой следовало горячо благодарить победителей за желанное возвращение «законной власти» и за удивительную, как тогда писали, доброту монарха. Официальные титулы также были изменены: употреблявшийся до восстания титул «Император Всея России,

Король Польши» заменила краткая формулировка: «ИМПЕРАТОР и КОРОЛЬ»; слово «Польша», отовсюду вычеркиваемое цензурой, здесь тоже исчезло.

В следующем году Николай был уже менее разгневанным: он проехал через Варшаву, «счастливые жители» которой, как писали в газетах, «приветствовали его радостными криками», однако ночевать он снова отправился в «Новогеоргиевск», так теперь именовался Модлин. В 1835 г. могло показаться, что прощение уже близко: прибыв в Варшаву, царь остановился во дворце в Лазенках. Но принять почетных граждан с торжественным приветствием отказался, а главным пунктом его визита было посещение только что законченной крепости; ее артиллерия могла покрыть — о чем уведомили варшавян — площадь почти всего города.

Насколько изменился образ царя в сравнении с 20-ми гг.! Прежде это был образ монарха и его польских подданных, которым он выказывал лобезность и учтивость, стараясь завоевать популярность. Теперь он говорил: вы можете «спокойно жить как верноподданные под моим правлением. Если же вы будете упорствовать в ваших мечтах о самостоятельной нации, о независимой Польше и во всех этих иллюзиях, навлечете на себя великие несчастья. Я приказал построить здесь Александрийскую крепость и заявляю вам, что при малейшем волнении прикажу обстрелять город, я разрушу Варшаву и, без сомнения, не я буду ее восстанавливать». Такую речь он произнес, принимая варшавскую депутацию; в газетах никакие упоминания об угрозах не появились, сообщалось только о том, что «при виде приближающегося Отца-благодетеля долго раздавались идущие из самого сердца радостные крики». Эти «радостные крики» и отсутствие какой-либо благосклонной реакции Николая стали на ближайшие годы основной чертой стереотипа отношений между российским государем и польскими подданными.

В конце 30-х гг. наступила очередная нормализация, царь постепенно возвращал свою милость, визиты в город он уже не начинал с посещения крепости, в газетных сообщениях византийская униженность снова сменилась менее контрастной стилизацией: любящие подданные — милостивый монарх. Теперь чувства пробуждались «присутствием доброго государя среди его подданных». Возвращаются парадные обеды и торжества в парке Лазенки, Николай вновь оказывает благосклонность.

Я привожу эти цитаты, так похоже звучащие, униженные слова, чтобы подчеркнуть, как прочно закрепившаяся панегирическая стилизация и фигуры властителя, и его отношений с польскими подданными стала пустой, ничего не значащей. Застывшая традиция,



стереотип, привычно преподносимый газетами своим читателям и, разумеется, соответствующим образом формировавшийся цензурой, адекватно дозирующей информацию в печати.

Когда после смерти Николая в 1856 г. свой первый визит в Варшаву совершал Александр II, официальный образ нашего российского монарха не подвергся изменениям. Очередной Светлейший ИМПЕРАТОР и КОРОЛЬ был снова нашим «всемиловитивейшим Монархом», который «изволил осчастливить своим прибытием этот город» и соблаговолил почтить своим вниманием. Обратим внимание на роль вмешательства цензуры: газеты сообщали, что, принимая польскую депутацию, царь изволил «обратиться к ним с отеческими словами». Тогда как о его предостережениях относительно надежд на освобождение Польши и известной устрашающей концовке его речи: «Конец мечтам, господа, конец мечтам» в газетах не было ни слова. Point de reveries.

Важная перемена произошла после январского восстания. В официальных сообщениях осталось одно-единственное сословие: «крестьяне», которых изредка называли «народом». «Обожаемого Императора» приветствовало в Варшаве уже не население и даже не почетные граждане, а «крестьяне», которые, «узнав о грядущем прибытии своего Монарха — Освободителя в Варшаву», демонстрировали верность, «проникнувшись глубокой благодарностью к своему Государю и Отцу» (благодарность Освободителю, естественно, должна была быть вызвана не покорением восстания, а освобождением крестьян в 1864 г.).

Среди попыток завоевать расположение царя важную роль играли адресованные ему открытые письма, так называемые «адреса», под которыми стояли фамилии многих людей, и самые громкие из них публиковались в газетах. Например, в 1876 г. был опубликован «Адрес верноподданных жителей города Варшавы» с заявлением о том, что «мы будем готовы на любые жертвы, которые Ты сочтешь необходимым потребовать от Твоих народов». Из более 700 подписей в газете среди прочих были указаны фамилии Александра Велепольского, Мачея Радзивилла, Владислава Любомирского; а монарх, закрепляя в памяти читателей эту унижительную картину покорности польской аристократии, «приказал поблагодарить [...] за проявление верноподданнических чувств»:

В последние десятилетия XIX в. политическая ситуация казалась настолько стабильной, что как будто бы излишними стали эти чрезмерно патетические и униженные изъявления. Характерно, что поляки не были вынуждены каяться за убийство Александра II Игнатием Гриневецким, который, как бы то ни было, являлся поляком.



Когда Варшаву впервые посетил Александр III с супругой, были соблюдены и традиционный порядок, и традиционная программа.

Следующим — после царей — обожаемым воплощением нашего российского властителя был Иосиф Сталин. Казалось бы, что панегирик в честь царя и сталинский культ личности — явления абсолютно разные; а культ Сталина поражает потомков степенью духовного унижения народа, прежде всего его интеллектуальной элиты.

Образ царя приближал его к божеству и автоматически переходил на его наследника; формировавшийся десятилетиями, он просуществовал ровно сто лет, а декларируемые чувства не выходили за рамки официальных речей; имели форму, без сомнения, отличающуюся от проявления любви, которой была окружена, например, память Тадеуша Костюшки или Юзефа Понятовского. Культ Сталина в Польше существовал всего лишь несколько лет, возник внезапно в связи с его семидесятилетием (в декабре 1949) и умело пропагандируемый СМИ и литературой, удивительным образом овладел чувствами некоторых, так называемых «простых людей», что нашло свое выражение в неподдельном отчаянии и слезах при вести о смерти идола. Необыкновенно быстро этот культ исчез.

Если отбросить гипотезу о том, что народ, с расчетливым лицемерием подходивший к обожанию Александра и Николая, во времена Сталина утратил здравый рассудок (или, во всяком случае, что какая-то часть народа его утратила), то среди других причин, объясняющих это явление, кроме таких факторов, как сила пропаганды в XX в. и политическая наивность или карьеристские устремления создателей, следует отметить причину, которая обычно остается без внимания: а именно, влияние сложившейся в XIX в. традиции, которая наложила отпечаток на менталитет поляков. Обычные, ничего не значащие панегирики в честь чужого правителя стали исходной базой для позднейших пафосных восхвалений в честь генералиссимуса Сталина.

Хотя ситуация была иной. Цари лично принимали участие в пропагандистских мероприятиях; бывали в Варшаве, показывались на публике и принимали местную элиту, выражали эмоциональное и отеческое отношение к «этому городу».

Сталин не имел титула нашего правителя, не бывал в Варшаве, не демонстрировал особой заинтересованности ни Польшей, ни поляками. Его знали только по ретушированным фотографиям. Аскетичный вид, густые постриженные усы, серый френч, всегда один и тот же, — это нам что-то напоминало: те же самые внешние атрибуты были известны по портретам всеми обожаемого Юзефа Пилсудского.

Бронислав Бачко<sup>2</sup> обращал внимание на факт (особенно важный для понимания культа личности Сталина): о политических событиях, происходивших после 1945 г., в общественной памяти не осталось ничего, что не было бы официально регламентировано. Подобной кодификации, естественно, подлежал и образ Сталина. Сталин не существовал как реальная личность: не было следов его присутствия, он был невидим, и даже его голос был «заимствованным» — слова в микрофон произносил один и тот же актер, обладавший великолепной дикцией. Таким образом, общественности преподносился искусственный, от начала и до конца сфабрикованный образ; любое противоречие между мифом и действительностью было просто невозможно. Его частная, семейная жизнь также была покрыта тайной (как это было не похоже на времена царской семьи, когда официально праздновались все помолвки и дни рождения, выражались соболезнования в моменты траура). В подобных условиях максимальную силу обретает харизматический образ вождя — абсолютно гениального человека. Это явление не поддавалось описанию — положенное ему место заполняло воображение.

Сталин, гений во всех областях, в каждой из них должен был доминировать, иметь в ней заслуги, невообразимые для простых смертных. А потому превышающие человеческое воображение заслуги Сталина в международном рабочем движении, в борьбе за мир (поляки тоже попадали в эти общие категории) и перед советским народом перечислялись единым блоком и в соответствии со стереотипами. Однако было трудно — в отличие от ситуации с царями — найти подходящие для пропагандистских целей благодеяния Сталина непосредственно в отношении Польши. Это затруднение стало очевидным уже в момент празднования 70-летия Сталина. Необходимы были какие-нибудь доказательства расположения к нам вождя. Зигмунт Модзелевский, занимавший тогда пост министра иностранных дел, определил их так: «Сталин высоко ценит польских специалистов: рабочих, техников, инженеров. О польском рабочем классе всегда говорит с уважением. Музыка Шопена ему особенно близка». (Отметим характерную избирательность — «уважение» к рабочим и инженерам относит всех остальных к категории «неуважаемых»). Зловещими также были ассоциации с оказанными нам «благодеяниями»: Сталин якобы заботился о формировавшейся «на советской земле» польской армии, а также, прежде всего, в Ялте и Потсдаме защищал наши границы на Одере и Нисе и «продолжает оказывать помощь Польше. Могут ли другие народы привести столько же доказательств сердечного отношения со стороны Сталина?» — звучал риторический вопрос<sup>3</sup>.

Таким образом, все обычно ограничивалось подчеркиванием международного значения и классового гения Сталина. Эпитеты, которые должны были сделать его более близким для поляков, были всего лишь политически безопасными общими выражениями благодарности. Роберт Купецкий, который собирал опубликованные в прессе фразы такого рода, приводит следующие примеры: «заботливый опекун и светлый советник Народной Польши», «ближайший друг» Польши, польской молодежи, Варшавы и польского народа; и «источник творческого вдохновения людей труда в Польше»<sup>4</sup>.

Помимо прессы хвалу идолу возносила и художественная литература. Сталин, как Бог, был Путем и Словом — дети узнавали об этом из книжки Хелены Бобинской «Сосо»<sup>5</sup>; взрослые могли черпать подобные знания о великом гении доброго Сталина хотя бы из книги Ежи Анджеевского «Партия и творчество писателя». А в стихах Сталин, словно Бог, даровал счастье, предстал как повелитель мира и природы. Владислав Броневский: «Сталин — паровоз истории», Константин Ильдефонс Галчинский: «Сталин мир несет народам, / Сталин — вольность, Сталин — радость», Кшиштоф Грушчинский: «Это Сталин леса посылает в поход, / реки в пустыне текут по его приказу, / Сталин — товарищ, Сталин — вождь, / Сталин — инженер наших мечтаний», «Он реки поворачивает к пескам пустыни» — восхищался Юлиуш Вирский, «вспять повернули свои воды Иртыш и Енисей, / Пустыня брызжет жизнью» — вторил ему Витольд Вирша. И тому подобное.

Стремительный темп развития официального культа Сталина был результатом жестких партийных директив, обязательной данью, которую приносили, прежде всего, на страницах газет. Однако трудно объяснить массовое присоединение к этому хору писателей, среди которых были и дебютанты, и уже известные авторы — явление, которое одни критики считали позорным, другие же только необъяснимым фактом в истории нашей литературы.

Еще раз вернемся к уже поднимавшемуся в этой статье вопросу: не существует ли в самом деле генетической связи между панегириками в честь царей и культом Сталина в прессе и литературе. Суть вещей не изменилась: сама позиция авторов, то, как легко они соглашались с требованиями пропаганды и стремились оправдать ожидания чужого правителя. Напыщенно и помпезно восхваляются его достоинства — это является свидетельством (если не принимать в расчет карьеристские устремления некоторых авторов) юношеской наивности или убеждения в том, что никто не принимает это всерьез.

Поэтому при попытке объяснить это явление, помимо анализа новояза времен коммунистической Польши, изучения языка и стиля

пропаганды, не следует забывать об этой преемственности. Форма этих стереотипных и схематичных текстов в течение столетия практически не изменилась, и это внушало убеждение, что подобные тексты в адрес чужих правителей имеют условный характер, что схематизм, стереотип и рутина лишают их первоначального значения. Тем самым облегалось моральное самооправдание.

Многократное повторение мотивов (как, например, поворот Сталиным рек) и одинаковая фразеология лишали стихотворные произведения какой бы то ни было индивидуальности. Поэтому сегодня уже невозможно провести границу между унижительным согласием с навязанной данью и искренней верой в величие вождя и сознательным карьеризмом, между пафосом и скрытой иронией. А приведенные в этой работе аналогии с ситуацией времен царского правления, к сожалению, ничего не оправдывают.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- <sup>1</sup> В честь шестнадцатилетия Александра II (который погибнет в результате покушения поляка Игнация Гриневецкого) Людвик Осиньский написал стихи, прославляющие будущего монарха: «Приветствую тебя, зря счастья, / Знамение прихода ясных дней».
- <sup>2</sup> *Baczko B. Stalin. Charyzmat spreparowany // Aneks. 1984. № 34.*
- <sup>3</sup> Вступительная статья Зигмунта Модзелевского, опубликованная в специальном номере еженедельника «Одродзене».
- <sup>4</sup> *Kupiecki R. Natchnienie milionów. Kult Józefa Stalina w Polsce. 1944–1956. Warszawa, 1993.*
- <sup>5</sup> *Bobirńska H. Soso. Warszawa, 1953. S. 156–157.*

Перевод Е. Костюк



В. А. Хорев  
(Москва)

## О живучести стереотипов

---

На нашей конференции мы рассматриваем этнические стереотипы поляка и русского, т. е. устойчивые образы, сложившиеся в польской и русской культуре. Они обладают исключительной силой убеждения и инерции благодаря удобству и легкости их восприятия.

Представления о «другом» отнюдь не всегда полностью совпадают с объективной исторической реальностью. Но даже если они и противоречат реальности, рождаясь и закрепляясь в определенных исторических, национальных, политических и экономических условиях, они сами становятся исторической реальностью. Они тиражируются, наследуются, приобретают новые символические значения и актуализируются в зависимости от идеологических и политических потребностей другого времени.

Разумеется, при рассмотрении стереотипов надо иметь в виду стратификацию общества. Ведь разные социальные слои различаются уровнем мифологизации своих представлений о мире, в том числе — о других народах. Интеллектуальной элите более присущ рациональный подход, опирающийся на знание и этику, в то время как та часть общества, которая проявляет в той или иной форме политическую и социальную активность, а в еще большей степени — «массы» используют в своем видении мира главным образом сложившиеся стереотипы.

Стабилизация этнических стереотипов происходит, прежде всего, в текстах культуры. Говоря о живучести стереотипов, наряду с политическими и идеологическими факторами надо иметь в виду, что однажды созданный художественный образ не отменяется последующим развитием литературы, но продолжает «работать» на восприятие читателя одновременно с другими, более поздними. Образ и, быть может, в первую очередь лаконичная, образная формула — будь то анекдот, стихотворная строка, поговорка — легко врезается в память, а, отрываясь от контекста, превращается в устойчивое расхожее клише — самостоятельно живущий миф. Так, известная строчка



из «Казачьей колыбельной песни» Лермонтова — «злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал» — сначала интерпретировалась в массовом сознании как позиция самого поэта, а затем, отделенная от текста и контекста, стала оправданием лично неприязненного отношения к чеченцам, якобы «поддержанного» Лермонтовым. Так же проникла в русское сознание пушкинская формула «кичливый Лях», ставшая для обыденного сознания определением польского национального характера. В свою очередь строка Мицкевича из «Отрывка» третьей части «Дзядов» о рабской покорности русского народа — «героизм неволи» — до сих пор является стержнем распространенного в польских текстах стереотипа русских.

В основе этнических стереотипов лежит этноцентризм — т. е. склонность людей рассматривать проявления культуры чужого народа сквозь призму своих собственных культурных традиций и ценностей. Ощущение своей принадлежности к определенной национальной группе в известных исторических ситуациях порождает сознание превосходства своей группы над другими, которые наделяются всевозможными отрицательными качествами: бесчеловечность, жадность, хитрость, лицемерие, жестокость и т. д. С течением времени это чувство становится постоянно действующей нормой, которая передается из поколения в поколение, закрепляясь в устных преданиях и обычаях, в исторических, публицистических, художественных текстах, в произведениях искусства и т. д. Важнейшую роль в этом процессе играет господствующая идеология данного общества.

Исследование устойчивости стереотипов непосредственно связано с потребностями современной жизни, ее идеологии и культуры, с осознанием того, что, формируемый разными обстоятельствами, в том числе случайностями, незнанием, ограниченностью восприятия и т. п., образ «другого», часто весьма далекий от реальности, имеет не меньшее историко-культурное значение, чем сама действительность. Им во многом руководствуются в своей практической деятельности люди, от которых зависит ход истории. Образы «другого» в литературе организуют схемы восприятия иного жизненного опыта и отношения к ним. Создаваемые творческим воображением автора, опирающегося на сложившуюся культурную традицию, они начинают играть активную роль в формировании ментальности современников и даже следующих поколений.

Образы чужой жизни, складывающиеся в большом историческом времени в традицию, в инвариантные, устойчивые структуры сознания, отражающие исторический опыт своей нации, не столько, может быть, обогащают знания о другом народе, сколько характеризуют собственную этническую ментальность.

При всей устойчивости и живучести стереотипов их описание в каждую новую историческую эпоху является важной научной проблемой, хотя бы потому, что происходит постоянная пульсация напряжения между традиционной установкой и ее размыванием либо обогащением новыми историческими фактами и новым осмыслением уже известных фактов. Обращаясь к свидетельствам культуры, мы обнаруживаем своеобразный парадокс. С одной стороны, культура транслирует стереотипы, с другой — в наиболее высоких своих проявлениях — преодолевает стереотипы, узурпировавшие массовое сознание.

Здесь важнейшую — хотя и не единственную — роль играют свидетельства литературы. К подобным свидетельствам относятся также народная культура, фольклор, различные виды искусства, религиозная мысль и письменность, общественно-политические тексты, историко-философские концепции и многое другое. Такая постановка проблемы позволяет объединить для ее решения исследователей разных специальностей — литературоведов, историков, культурологов, фольклористов, этнологов (что мы и видим на нашей конференции), а также привлечь для исследования огромный пласт неизученных еще источников, в том числе таких парабеллетристических жанров, как путевые заметки, дневники, письма и т. п.

Я остановлюсь на некоторых, забытых ныне, записках русских литераторов, посещавших Польшу в разные годы XIX и XX вв. Авторы этих произведений, выполняя определенный социально-политический заказ, варьируют один и тот же — в данном случае негативный — стереотип поляка.

Путешествия в другие страны, познание нравов, традиций, уклада жизни других народов — одна из наиболее старых и сильных человеческих страстей. Итогом зарубежных поездок часто становились путевые заметки, дневники, воспоминания, которые составляют специфическое жанровое образование. Его можно отнести к «литературе факта», хотя оно и не укладывается полностью в ее границы. С одной стороны, репортажи об иноземных странах и народах — это своеобразный репортаж, отчет об увиденном и услышанном; с другой — в них сильно субъективное, автобиографическое начало (подчеркивается непосредственность впечатлений автора); факты часто подгоняются под априорную идеологическую схему либо перемешиваются с вымыслом. Вольно или невольно, героем в них практически всегда выступает повествователь, поэтому в этих произведениях не только содержится информация о жизни других народов — они характеризуют ментальность представителя той или иной нации (и ее общественного слоя), взявшегося за описание чужой жизни.

Никто не в состоянии увидеть всё: путешественник видит то, что он хочет увидеть, фиксирует те явления и события, которые привлекают его внимание в силу их необычности либо вызывают у него ассоциативные связи, подтверждая его предварительные предположения и ожидания. С этой точки зрения весьма показательны, на наш взгляд, приводимые ниже примеры.

Книга Вл. Михневича «Варшава и варшавяне. Наблюдения и заметки» (Санкт-Петербург, 1881 г.) вышла в пору повышенного интереса русского общества к жизни Польши после восстания 1863 г. Владимир Осипович (Иосифович) Михневич был известным в свое время журналистом, беллетристом, историком русского быта. По своим общественным взглядам, в том числе по национальному вопросу, как отмечает исследователь его творчества Г. В. Краснов, он, «не примыкая ни к „европеистам“, ни к славянофилам, неизменно выступал в либеральном духе»<sup>1</sup>. Многолетний сотрудник либерального издания «Новости и биржевая газета», Михневич в полемике с А. С. Сувориным и Ф. И. Булгаковым, обвинявших его в отсутствии «чувства национального долга», подчеркивал, что «Новости» — это газета «русская и патриотическая во всех отношениях»<sup>2</sup>.

В рассматриваемой книге Михневич представляет себя так: «Я не полонофил и не панславист». Полонофилом его действительно не назовешь, а вот с панславизмом его сближает и вера в «общерусское отечество», «единое для всех ветвей и оттенков русского племени от Урала до Карпат»<sup>3</sup>, и проявившееся в книге о Варшаве почитание имперской мощи России, и убеждение в неизбежности подчинения Польши русской воле.

В облике Варшавы автора поразило проявление государственной силы России: «Мощная рука власти, твердо и непоколебимо сдерживающая туго натянутые бразды, видна во всем. Красующийся в центре города монумент князю Паскевичу воздвигнут здесь не напрасно». Бронзовая статуя погромщика восстания 1830 г. и многолетнего наместника «Привисленского края» — символ всего того, что было сделано Россией «для бесповоротного подчинения, успокоения и присоединения края».

Внешне Варшава произвела на Михневича впечатление русского губернского города: величественные, с золотыми куполами, православные храмы, монументы и памятники русской славы, «правительственные учреждения русского склада», русские двуглавые орлы, русские мундиры на каждом шагу, повсюду вывески на русском языке, на улицах, в магазинах и ресторанах звучит русская речь, хотя и ломаная. «Всеобъемлемость и строгая последовательность проведенной здесь во всем государственной системы — изумительны», — заключает Михневич.

Автор дает описание различных слоев населения Варшавы. Это аристократия, олицетворяющая «непроходимые» польские «гордыню и тщеславие». Это «еврейский элемент», где преобладает «ополяченный и окатоличенный еврей». Но «господствующую массу» в населении Варшавы составляют купцы и мещане, которые и определяют ее облик. Не обошелся автор книги и без традиционного для русской литературы стереотипа — образа польской женщины: «И панегиристы, и порицатели польской женщины равно сходятся в признании за ней обольстительной красоты. Это — традиция общая и непререкаемая». Но очаровательным полякам — любящим женам, нежным и заботливым матерям, образцовым хозяйкам и вместе с тем чрезвычайно религиозным горячим патриоткам «мы обязаны, — пишет Михневич, — в значительной доле и той племенной к нам ненавистью, которую поляки всасывают, положительно можно сказать, с молоком матери».

Большое внимание Михневич уделяет произведениям литературы и искусства, религии, обычаям, т. е. сфере культуры. Это, разумеется, не случайно, поскольку именно в этой сфере проявляется «дух народа», национальный характер, который в первую очередь стремятся постичь путешественники (часто в сопоставлении с характером своего народа), в том числе и автор описываемой книги. «Страстный патриотизм, — пишет в этой связи Михневич, — делает поляков, с одной стороны, романтиками и мечтателями, а, с другой, — консерваторами, несколько узкими и исключительными. Эти черты их характера рельефнее всего выражаются и обрисовываются в области их искусства и литературы».

Из писателей он выделяет лишь Ю. И. Крашевского, сопровождая кислую оценку его творчества язвительным замечанием: «Если, по пословице, всякий кулик расположен к неумеренным похвалам своему болоту, если люди вообще склонны преувеличивать блеск и значение своих героев и талантов, то поляки и подавно».

Впечатляющая автора российская государственная мощь оказалась бессильной преодолеть взаимную неприязнь поляков и русских. Тема вражды и взаимонепонимания двух народов красной нитью проходит через все сочинение Михневича. И в России, и в Польше, пишет он, «одинаково чувствуется и признается полное отчуждение и разъединение интересов и стремлений. Не только национальных (о них и говорить нечего!), но и чисто интеллектуальных, общественных, политических. Несмотря на нашу внешнюю близость, на наше кровное родство с поляками, мы им чужие, и они нам чужие, мы их не знаем, и они нас не знают».

По мнению автора заметок, русские «гораздо искреннее и сердечнее в наших добрых чувствах к полякам, чем они к нам», «они по ес-



тественному порядку, конечно, злопамятнее нас и упорнее в своих антипатиях и недоверии ко всему русскому».

С явно шовинистических позиций описывает Польшу и поляков четырнадцатью годами позже другой русский литератор В. Дедлов в книге «Вокруг России» (Санкт-Петербург, 1895 г.). В. Дедлов — это псевдоним Владимира Людвиговича Кигна, прозаика, публициста, литературного критика.

С презрением описывает Дедлов польскую столицу: «Варшава — столица Польши и отражение Польши и польской культуры; хоть бы что-нибудь нашлось там свое, оригинальное! В Варшаве всё — сколок с *Эуропы*: город, улицы, дома, рынки, храмы, дворцы. Сколок — старина и в еще большей степени — современность. И в довершение несчастья, поляки гордятся этим». Никакой ценности для него не имеет варшавский Старый город: «Это тоже *Эуропа*, XVI и XVII столетий. Но настоящая Европа частью уничтожила, частью почистила свои старые кварталы, эти гнезда болезней и зараз. Польская Европа бережет свою старину уже слишком ревниво, со всем ее столетним смрадом и вековыми поколениями бактерий, микробов и микрококков».

В описании жителей Варшавы автор сосредотачивается на проявлениях уродства, свидетельствующих, по его мнению, о вырождении нации. Варшавские старики «поразительно похожи на престарелых обезьян». «Поляк и полька, — пишет автор, — как гриб или спаржа: пока они молоды, они восхитительны, в среднем возрасте они уже мало привлекательны, в старости они противны».

Рассуждения Дедлова о молодых польках укладываются в рамки традиционного стереотипа: красивы и обольстительны, но коварны: «Молодая полька очень мила. Она стройна и красива, она нравится и хочет нравиться... Не мешало бы только немного меньше нервности. А то она обнаруживается прямо-таки в телодвижениях полек: частенько их как бы немножечко подергивает. Да и ходят они по улицам чуточку одним плечом вперед и с неестественной быстротой, — тоже медицинский признак нервов».

Подстать убожеству польской столицы и ее искусство. Имена польских живописцев и скульпторов «мало говорят непольскому сердцу [...] О всех этих господах я узнал только в Варшаве»; статуи и картины «не представляют собою решительно ничего особенного». В живописи «мы во всяком случае более оригинальны и более правдивы».

Абсолютно чужда Дедлову и польская литература. Поскольку «лучшие поляки почти на целое столетие как бы обезумели после гибели их отчизны», то «отпечаток безумия лежит и на их действиях, и на литературе той эпохи [...] Поэзия эмигрантов — прямо из сумасшедшего дома».



Значительная часть книги Дедлова посвящена истории Польши XVII–XVIII вв. Знакомясь с польской историей, по его словам, «чувствуешь себя как бы в доме умалишенных».

Экскурсы Дедлова в польскую историю и его наблюдения над польской современностью подчинены в конечном итоге одной цели: доказать благотворность для Польши опеки со стороны России, поскольку «Польша такая же мастерица утрачивать, как Россия приобретать. Это исторические стрекоза и муравей». Варшава начала расцветать «только при русском владычестве», начиная с 1831 г., «т. е. как раз с потери поляками последних политических прав».

В Польше, считает Дедлов, не было того «народа, которым так счастлива Россия, простонародья, составляющего живой и деятельный член государственного организма, народа, не раз проявлявшего свой политический патриотизм и безостановочно вырабатывающего самостоятельную культуру: великолепный язык, прекрасную музыку, оригинальную архитектуру [...] — такого народа в Польше нет. Душа народа заморена до такой степени, что нет даже народного веселья: музыки, преданий, поэзии».

Но «на помощь погибавшему польскому народу пришла Россия» с ее «гуманностью и высшей справедливостью».

Польскому ученому Яну Станиславу Быстроию принадлежит проницательная мысль о том, что «литература путешествий наскучивает очень скоро. Столько в ней истертых клише...»<sup>4</sup>.

Не избавились от истертых шовинистических клише в изображении Польши и поляков многие русские литераторы и в значительно более поздние времена. В 20–30-е гг. в советской России велась целенаправленная антипольская пропаганда, создавался образ Польши-врага. Образ этот выглядел теперь несколько иначе, чем раньше. Прежняя картина единого польского общества, охваченного национальными стремлениями в ущерб российской государственности сменяется — в соответствии с идеологической доктриной — схемой общества, раздираемого классовыми противоречиями. Традиционный отрицательный стереотип поляка отождествлялся теперь с «панами» и «белополяками». Этим контрреволюционерам, буржуям и помещикам противопоставлялся представитель трудового народа, нуждающийся в помощи советского государства.

Характерный пример создания негативного образа Польши в жанре путевых впечатлений — очерк Ильи Эренбурга «В Польше» (1928). Эренбург вовсе не пытается спорить с негативным стереотипом поляка, созданным его предшественниками. Напротив, писатель дополняет его новыми отталкивающими чертами. В Польше Эренбург увидел лишь антисемитизм, господство военщины, национализм и

провинциализм литературы, дискриминацию русского языка и русской культуры.

Текст Эренбурга пестрит выпадами по поводу Польши и поляков: «Польша беднее, слабее, духовно приземистей нас». Даже традиционная похвала красоте польских женщин не лишена ехидства: «Варшавянки, слов нет, хороши. У них красивые ноги и умеренная спесь». Жутковато звучит вывод Эренбурга из созданной им неприглядной картины: «манией величия поражен мозг не человека — народа».

Репортажи о Польше других советских писателей, посетивших Польшу в конце 20-х — начале 30-х гг. — Лидии Сейфуллиной, Николая Асеева, Льва Никулина и других, — скроены по одному и тому же «классовому» шаблону: Польша — враждебное России бутафорское государство, за внешним блеском которого, за бряцанием шпор и сабель военных, модными кафе и роскошными дамскими туалетами скрывается нищета трудящихся.

Л. Никулин писал о «типичной детали Варшавы — мелодичном серебряном звоне шпор»<sup>5</sup>. Как в свое время Михневичу и Дедлову, Польша напомнила ему провинцию Российской империи, но в описании этой провинции теперь доминирует классовый подход. В Лодзи путешественник видит «палаццо фабрикантов и зловонные казармы рабочих»; рабочие кварталы Варшавы представляются ему гнездами «острейших классовых противоречий», а «вдоль восточной границы в польских, белорусских, украинских деревнях под белым орлом Речи Посполитой — нищета, голод, отчаяние, и думы о востоке, о стране за пограничным столбом».

В 1930-е гг., по мере укрепления сталинского режима, революционно-интернационалистская идеология советского государства сменяется имперской. В этих условиях общественные науки, культура, литература все откровеннее превращаются в элемент механизма идеологического обслуживания сталинизма, включая прославление национальной политики царизма. Это не могло не сказаться на изображении Польши и поляков в беллетристических и парабеллетристических (очерк, репортаж, фельетон и т. д.) произведениях. Стремление поляков к независимости интерпретируется исключительно как подрывная деятельность против российского государства. Заметим, что эта тенденция сохранилась и значительно позднее...

Своей кульминации антипольская кампания достигла осенью 1939 г., после раздела Польши между гитлеровской Германией и СССР в сентябре 1939 г.

Один из ведущих партийных писателей того времени Петр Павленко в очерках из Львова, опубликованных в октябре 1939 г. в газете «Правда», не жалел черной краски для описания «панской Поль-

ши». «Цивилизация панской Польши, — писал он в очерке „Канун“, — была нехитрой штукой. Две-три „европейских“ улицы в центре города — и сотни смрадных средневековых переулков [...] Древний какой-нибудь университет, знаменитый со средних веков, с двумя-тремя профессорскими именами — и сотни невежественных, не подготовленных к жизни студентов»<sup>6</sup>.

После нападения Германии на Польшу 1 сентября 1939 г. многие представители левой польской интеллигенции оказались во Львове, где стали свидетелями вступления в город Красной Армии (22 сентября) и последующего искоренения властями «польского духа». Владислав Броневский с горечью писал из Львова (5 декабря 1939 г.): «Советская печать сознательно создала вредный лингвистический миф о „панской Польше“. Невозможно объяснить, что в Польше обращение „пан“ относится ко всем людям, независимо от их классового происхождения, что вообще оно значит то же, что и „Herr“, „monsieur“ или „мистер“. Нормальная буржуазная Польша благодаря таким лингвистическим мифам превращается в какую-то выдуманную феодальную деспотию»<sup>7</sup>.

Поэт заблуждался: миф о Польше, создаваемый в советской печати, был не лингвистическим, а политическим. Советская пропаганда с помощью сконструированного ею понятия «панская Польша» создавала образ государства, классово чуждого и враждебного Советскому Союзу.

Устойчивая традиция изображения Польши как врага России дожила до наших дней в сочинениях литераторов национал-коммунистического толка. В них не принимаются во внимание никакие перемены в жизни Польши и России, в них продолжает свое существование искажающая перспективу видения модель стереотипного мышления. Познание новой ситуации подменяется наложением на новую действительность старой схемы. Готовый аршин позволяет сохранить психологический комфорт, рассуждать свысока, подчеркивать свое моральное превосходство над противником.

Вот, например, как совсем недавно, в 1997 г. писал о Польше в журнале «Молодая гвардия» Н. Кузьмин: «Польша, лукавая, двуличная, шипящая по-змеиному и по-змеиному же вечно шутившая свои жадные глаза, была мерзкой паршой на всем великом теле восточно-европейского славянства. Исключительно в Польшу бежали все изменники России. Исключительно из Польши появлялись возмутители государственного спокойствия России»<sup>8</sup>. Если не знать даты написания этого текста, можно подумать, что он принадлежит перу, скажем, известного полонофоба XIX в. М. Каткова.

Вл. Вишняков в газете «Правда» в 1996 г. называл Польшу «алчной европейской проституткой, надеющейся, что если она угодит

кому-то, то ей за это что-то „обломится“»<sup>9</sup>. А с точки зрения В. Кожина, «обвинение России в „разделе“ Польши — это „русофобская пропаганда“ и «участие России в разделе Польши конца XVIII века — либеральный миф»<sup>10</sup>.

Осознание необыкновенной живучести негативных стереотипов Польши и поляков в России выдвигает перед российскими историками культуры важные задачи: показать, что восприятие Польши в России вовсе не детерминировано раз и навсегда прошлым, изучать возможности разрушения традиционного негативного этнического стереотипа поляка, решительно противодействовать попыткам вновь навязать России образ Польши-врага, образ поляка — носителя смуты.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. М., 1999. Т. 4. С. 112.
- 2 Там же.
- 3 Там же. С. 111.
- 4 Цит. по: *Burkot St. Polskie podryżopisarstwo romantyczne*. Warszawa, 1988. S. 104.
- 5 *Никулин Л.* Путевые заметки. Польша — осень — 1935 // Октябрь. 1936. № 7. С. 180.
- 6 *Пааленко П. А.* Собр. соч.: В 6 т. М., 1955. Т. 5. С. 187.
- 7 РГАЛИ. Ф. 2845. Оп. 1. Ед. хр. 169. Л. 1–19.
- 8 *Кузьмин Н.* Возвращение к роднику // Молодая гвардия. 1997. № 11. С. 25.
- 9 Правда. 28.03.96.
- 10 Наш современник. 1998. № 10. С. 153.



Б. Н. Флоря  
(Москва)

## К изучению образа поляка в памятниках Смутного времени

---

В опубликованном недавно исследовании В. В. Мочаловой убедительно показано, что представления о поляках, функционировавшие в сознании русского общества XVII в., сложились, приобрели четкую форму в годы Смутного времени, в нем также ярко охарактеризованы основные черты такого этнического стереотипа<sup>1</sup>. Полученные результаты дают возможность, опираясь на них, пойти дальше в изучении темы и попытаться выяснить особенности функционирования этнического стереотипа поляка в сознании разных кругов русского общества. В настоящем сообщении с этой целью будет произведено сопоставление высказываний о поляках в двух пользовавшихся достаточно широкой известностью памятниках 20-х гг. XVII в., отразивших осмысление опыта русско-польских контактов в годы Смуты в разной общественной среде.

Эти два памятника — «Сказание» келаря Троице-Сергиева монастыря Авраамия Палицына и так называемая «Летописная книга», вопрос об авторстве которой вызывает определенные споры.

«Сказание», написанное видным представителем верхушки православного духовенства, есть основания рассматривать как произведение, выражающее взгляды этой общественной группы на события Смуты и роль в них поляков. В. В. Мочалова справедливо отметила, что в этом памятнике отношения русских и поляков последовательно рассматриваются как окрашенные в тона самого резкого религиозного противостояния<sup>2</sup>. Главную причину вмешательства поляков в русские дела троицкий келарь видит в деятельности папы. Этот «змий пагубный, вознездившийся в костеле Италийском», и «стрый антихристов» уже со времен крещения Руси при Владимире пытается навязать ей свое ложное учение. События Смуты рассматривают-

---

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант № 02-01-0086а).

ся у Палицына как очередной эпизод в ряду таких попыток<sup>3</sup>. Поляки выступают в «Сказании» как орудие этой могущественной силы, принадлежащей к враждебному христианству «антимиру» (см. его слова о «вечных врагах христианских латинских учениках») <sup>4</sup>. Неудивительно, что в этом сочинении упоминания о поляках сопровождаются эпитетами, близкими к тем, которые используются для характеристики папы — «антихристовы проповедники», «богоборцы», «прегордые змии», «демоны» <sup>5</sup>. К подобным определениям автор прибегает и по отношению к отдельным лицам, стоявшим во главе польско-литовского войска. Так, знаменитый Александр Лисовский подступает к Троице-Сергиеву монастырю, «яко змий возсвистав со своими аспидами» <sup>6</sup>. Подобно некоторым своим современникам Палицын знал, что в Речи Посполитой и в польско-литовском войске на территории России были представители разных христианских конфессий — не только католики, но и протестанты, но для старца Авраамия такие различия представлялись совсем несущественными, так как все эти приверженцы ложных учений в равной мере были связаны с антимиром зла, где господствует дьявол. Поэтому Палицын может, считая поляков орудием папы, одновременно постоянно называть их «люоторами» <sup>7</sup>.

Наиболее очевидным для Палицына свидетельством принадлежности поляков к миру зла являлось поругание ими православных святынь: С возмущением Палицын писал о том, что когда после капитуляции польского гарнизона русские войска вступили в Кремль, то они увидели там «святыя божия церкви осквернены и обруганы, святыя же и покланяемы образы Христа и пречистыя его богоматере и всех святых разсечены и очеса извертаемы и престолы божия осквернены и ободраны» <sup>8</sup>. Палицын не жалел усилий, чтобы показать читателю эти надругательства как можно более ярко и наглядно: «злые еретики, вземлюще святыя иконы местныя и царския двери и сия подстилающе под скверныя постели... из сосудов же церковных ядяху и пияху и смеющся поставляху мяса на дискосех и в потирех питие... воздухи же и пелены шитыя и низаныя драгия тем покрываху кони своя» <sup>9</sup>.

Палицын не скрывал от читателя, что вместе с поляками действовали «братия наша, Северския земли житилие», но объяснял это тем, что они «воспитани в безумии и навикше от многих еретик, во Украине живущих, их злым нравом и обычаем... и в их веру еретическую мнози приступиша» <sup>10</sup>. Таким образом, сама географическая близость к Речи Посполитой представляет опасность для человека, желающего сохранить свою веру.

Наряду с этой общей отрицательной оценкой поляков, как иноверцев и поругателей святынь, Авраамий Палицын отмечает и их

конкретные отрицательные качества. Таких свойств два. Первое из них — это гордость. О том, что «гордостию надмени литовские люди», Палицын говорит в нескольких местах своего труда, но подробно на этом не останавливается<sup>11</sup> и не старается показать это свойство поляков на конкретных примерах. Иначе обстоит дело с такой чертой характера поляков, как «лукавство», обозначающее совокупность таких черт, как хитрость, коварство, вероломство. В «Сказании» приведен ряд ярких конкретных примеров, иллюстрирующих это качество польского характера. Так, задуманный в правление Лжедмитрия поход на Крым, по убеждению Авраамия, должен был привести к гибели русского войска «на велицех полах», чтобы Москва без сопротивления могла попасть в руки поляков<sup>12</sup>. В войске Лжедмитрия II русских сторонников Самозванца во время сражения посылали вперед, а после боя «все лутчаа поляки у них силоу отнимаху». При попытках выкупа у них пленных поляки «по приатии цены не отдааху и другую цену восприимаху»<sup>13</sup>. В 46-й главе своего труда келарь подробно рассказывал о попытках поляков с помощью «лести» захватить Троице-Сергиев монастырь. Он подчеркивал, что таков обычный способ действий поляков («таковыми бо змеинными лестями многия грады... погубивше»), который лишь по отношению к Троице не привел к успеху<sup>14</sup>. Ярким воплощением свойственного полякам «лукавого пронырства» был для автора «Сказания» Александр Лисовский<sup>15</sup>. Эти качества характера, по убеждению Палицына, были внушены полякам самим дьяволом, во власти которого они находились<sup>16</sup>.

Война с такого рода противником, тесно связанным с миром зла, в котором господствует дьявол, явно не была в представлении Палицына обычной войной. Неслучайно, описывая осаду Троице-Сергиева монастыря войсками Яна-Петра Сапеги, он с одобрением писал о том, что монастырские старцы ходили в поле, «бьющися с Литвою»<sup>17</sup>. Это высказывание представляется весьма необычным в устах православного духовного лица. Ведь в православных полемических текстах латиняне постоянно порицались за то, что разрешают «на войну ходити епископом и попом и свои руце кровию оскверняти»<sup>18</sup>. Судя по всему, Палицын полагал, что в войне с иноверцами, которые оскверняют православные святыни, обычные нормы перестают действовать и духовное лицо может браться за оружие.

Важно при этом отметить, что поляки вызывают неприязнь Палицына именно как иноверцы-еретики, а не как представители другого народа. В 40-й главе «Сказания» приводится рассказ о немом и глухом пане Мартыаше, перешедшем на сторону защитников монастыря, который может служить для читателей образцом мужества и благочестия. Именно при его участии разоблачается «лесть» поль-

ских военачальников, хотевших овладеть монастырем с помощью обмана<sup>19</sup>.

Справедливости ради следует сказать, что при внимательном изучении «Сказания» в нем можно обнаружить высказывания, находящиеся в явном противоречии с общим взглядом автора на поляков. Так, в его ярком очерке поведения русских изменников и поляков в Тушинском лагере можно прочесть, что если какой-либо «добрый воин» попадал в плен к полякам, «то и милости сподобляем от них и от смерти сохраняем», русские же сторонники Лжедмитрия II подвергали пленных жестоким пыткам и убивали их. «И видяще поляки и литва таковы пытки и злое мучительство от своих своим... сердца своими содрогахуся... и бесов злейши нарицаша тех. Они же смилывавшихся литву и поляков худяками и женками нарицаху»<sup>20</sup>. Возможно, помещая в своем труде такие сообщения, Палицын хотел ярче оттенить злодеяния русских изменников, но читатель узнавал из них о таких чертах поляков, как отвращение к жестокости и желание соблюдать известные правила войны.

Эти отдельные высказывания не изменяли и не могли изменить общей тональности повествования Авраамия, его общей оценки поляков, как людей, связанных с миром зла и выполняющих его волю. В «Сказании» мы не находим практических выводов, которые вытекали бы из этой оценки, но представляется, что для читателя они и так были очевидны: следовало всячески избегать каких-либо контактов с этими людьми или, по крайней мере, свести их к необходимому минимуму.

«Сказание» Палицына отражало взгляд на поляков, характерный для верхушки русского духовенства. «Летописная книга» — второй памятник, о котором пойдет речь в данном сообщении — была создана в иной общественной среде. Вопрос об авторе текста не имеет однозначного решения, так как в отдельных списках «книга» приписывалась то зятю патриарха Филарета князю И. М. Катыреву-Ростовскому, то известному писателю первой половины XVII в. князю С. И. Шаховскому<sup>21</sup>. Обе атрибуции указывают на одну и ту же общественную группу — представителей «великих» княжеских родов. Неслучайно в преамбуле к этому произведению резко порицаются репрессии царя Ивана IV, которые с особой силой обрушились именно на эту часть русской аристократии<sup>22</sup>.

Сопоставление со «Сказанием» сразу же позволяет сделать одно важное наблюдение. Многочисленные отрицательные эпитеты, которыми в «Сказании» сопровождаются упоминания о поляках, в тексте «Книги» не находят соответствия. Рассказывая о событиях, связанных с деятельностью Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, автор ограни-



чивается указаниями на участие в событиях «литовских людей», не сопровождая эти указания какими-либо оценками или эпитетами. На протяжении большей части повествования в «Книге» отсутствует столь существенный для «Сказания» мотив религиозного противостояния русских и поляков. Показательно в этом плане освещение в обоих источниках переговоров, которые привели к избранию на русский трон королевича Владислава. В «Сказании» на первом плане стоит обязательство гетмана Жолкевского («целовал крыж королевскою душею»), что королевич примет православие, «а крестится было ему в Можайске от Ермогена патриарха». Лишь после получения такого обещания русские люди присягнули Владиславу<sup>23</sup>. В «Летописной книге» этот вопрос был вообще обойден молчанием, а конечная неудача переговоров объяснялась тем, что король «скоро разжегся яростию», не желая прекратить осаду Смоленска<sup>24</sup>. Лишь при описании событий весны 1611 г. автор «Книги» высказал порицание изменникам, предавшим свое государство «проклятым богомерзким римляном»<sup>25</sup>. Это высказывание, однако, остается в «Книге» едва ли не единственным. О поругании святынь в этом произведении вовсе не говорится.

Другая особенность «Летописной книги», уже отмечавшаяся В. В. Мочаловой<sup>26</sup>, — присутствие в тексте целого ряда высоких оценок и полководческих способностей польских военачальников и боевых качеств польского войска. Так, командующий польско-литовским войском в лагере Лжедмитрия II князь Р. Ружинский — «крепкий разсмотрительный воевода». В «Книге» специально отмечается, что поляки не испугались нанятых Василием Шуйским шведских войск и в сражении взяли над ними верх («немцы не возмогоша поднять острей меча их»). С настоящим энтузиазмом описана в «Книге» и атака польской конницы на немецких наемников в битве под Клушиным — поляки «борением жестоком на полки нападают... силу восхищают и шеломы отсекают и усты меча гонят»<sup>27</sup>.

Очевидно, что образ поляка на страницах «Летописной книги» заметно отличается от образа поляка в «Сказании» Авраамия Палицына. Из этого следует, что достаточно значимая часть элиты светского общества России во взгляде на поляков заметно расходилась с воззрениями верхушки православного духовенства. Образ поляка в ее восприятии явно не обладал чертами принадлежности к миру зла, а как воин — польский шляхтич мог быть предметом восхищения.

Правильность этих наблюдений можно подкрепить некоторыми объективными фактами. Сохранилась рукопись, которая в научной литературе носит условное название «Рукописи патриарха Филарета», где в текст, заимствованный из «Летописной книги», сделан ряд

вставок, чтобы приблизить картину событий к той, которую мы видим в «Сказании». В этих вставках неудача переговоров об избрании Владислава прямо связывалась с тем, что Сигизмунд III «в сердцах ж своим нелепая помышляше, дабы православие соединити с латинством»<sup>28</sup>, хотел истребить жителей Москвы за то, что они «не приемлют веры и учения папешского»<sup>29</sup>; помещен здесь и рассказ о поругании православных святынь в Кремле солдатами польского гарнизона<sup>30</sup>. Таким образом, отмеченные особенности «Летописной книги» — это объективный факт, раз они вызвали реакцию современника, явно привыкшего к иному освещению событий.

Важный комментарий, проливающий свет на происхождение особенностей «Летописной книги», дают сообщения шведских дипломатов о настроениях русской политической элиты накануне Смоленской войны. Заинтересованные во вступлении Русского государства в войну с Речью Посполитой авторы донесений с беспокойством сообщали в Стокгольм, что решение патриарха о войне не пользуется поддержкой в среде русской знати, и не только потому, что поляков считают здесь серьезным противником. Губернатор Ливонии И. Шютте прямо писал королю, что «большинство великих господ страны расположены к полякам»<sup>31</sup>. Все это показывает, что отмеченные выше особенности «Летописной книги» нельзя считать простой случайностью.

Изложенные наблюдения позволяют сделать вывод, что попытка обнаружить особенности представлений о поляках в сознании разных слоев русского общества может дать интересные результаты. Вместе с тем такого рода исследования, как представляется, могут пролить свет на те явления в жизни русского общества, которые способствовали развитию польско-русских связей во второй половине XVII в.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- <sup>1</sup> Мочалова В. В. Polska i polacy oczyma rosjan w wieku XVII // Wizerunek sąsiadów. Polacy w oczach Rosjan — Rosjanie w oczach Polaków. Warszawa, 2000. См. также: Мочалова В. В. Польская тема в русских памятниках XVI в. // Поляки и русские в глазах друг друга. М., 2000.
- <sup>2</sup> Мочалова В. В. Polska... S. 69.
- <sup>3</sup> Сказание Авраамия Палицына. М.; Л., 1955. С. 110, 114.
- <sup>4</sup> Там же. С. 110.
- <sup>5</sup> Там же. С. 120, 137, 139, 147, 230.

- 6 Сказание... С. 157.
- 7 См. например, одно из его высказываний о войске, осаждавшем Троице-Сергиев монастырь — «блядху богоборци лютори песьими своими языки богохулнаа» (Там же. С. 139.).
- 8 Там же. С. 229.
- 9 Там же. С. 124.
- 10 Там же. С. 120.
- 11 Там же. С. 147, 230, 245.
- 12 Там же. С. 114.
- 13 Там же. С. 118.
- 14 Там же. С. 180–181.
- 15 «лукавый, яко змий» (Там же. С. 158).
- 16 См. в «Сказании» — «от Врага гордостию надмени суть поляци и литва» (Там же. С. 245).
- 17 Там же. С. 153.
- 18 См. перечень «вин» латинян в послании митрополита Никифора Влади-миру Мономаху: *Поньрко Н.В.* Эпистолярное наследие Древней Руси. XI–XIII вв. СПб., 1992. С. 72.
- 19 Сказание... С. 173–175.
- 20 Там же. С. 117.
- 21 О спорах по поводу атрибуции памятника см. в статье: *Кукушкина М.В.* Семен Шаховской — автор Повести о Смуте // Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология. М., 1975.
- 22 Летописная книга // Памятники литературы Древней Руси. Конец XVI — начало XVII веков. М., 1987. С. 358–360.
- 23 Сказание... С. 208–209.
- 24 Летописная книга... С. 402, 404.
- 25 Там же. С. 406.
- 26 *Мочалова В.В.* Polska... S. 70.
- 27 Летописная книга... С. 390, 394, 396, 402.
- 28 Сборник Муханова. СПб., 1866. С. 298. Изд. 2-е.
- 29 Там же. С. 306.
- 30 Там же. С. 308.
- 31 *Norrtan D.* Gustav Adolfs politik mot Ryssland och Polen under tyska kriget (1630–1632). Uppsala, 1943. P. 47–48.

А. Л. Хорошкевич  
(Москва)

## Образ России 1584–1585 гг. в «Записках» Мартина Груневега

---

Понятие «образа» какой-либо страны складывается из ряда компонентов, к которым наряду с природными, географическими условиями, экономической и политической жизнью относятся прежде всего люди.

Современному читателю имя Мартина Груневега практически неизвестно, хотя его объемистое сочинение (свыше 1900 листов готического курсива), хранящееся в Гданьской библиотеке, уже с 40-х гг. привлекалось историками Гданьска для воссоздания прошлого этого города. В XX в. его прочно забыли, лишь в 1960 г. польский исследователь Р. Вальчак дал его общую характеристику<sup>1</sup>, а в 1980 г. А. Поппе сделал доклад в Клагенфурте о значении записок для истории Москвы конца XVI в.<sup>2</sup> Я. Р. Исаевич опубликовал описания Киева и Львова<sup>3</sup>, М. Бергер — Эдирны<sup>4</sup>.

«Записки» М. Груневега для XVI в. — уникальное явление с нескольких точек зрения, прежде всего с географической. В «Записках» содержится описание его торговых путешествий по Центральной, Восточной, Юго-Восточной и Южной Европе. Такой широты географического охвата XVI столетие еще не знало. Кроме того, автор их принадлежал отнюдь не к самой распространенной категории создателей сочинений подобного жанра — он не был ни дипломатом, как большинство его коллег по перу, ни воином, он не принадлежал ни к патрициату, ни к политической элите Европы. Груневег ездил по Европе сначала как подмастерье у варшавского купца Георга Кестнера (1579–1582), а затем в 1582–1588 гг. в таком же качестве и в качестве секретаря сопровождал армянского купца из Львова — Богдана Ашвадура. В это время он посещал Стамбул, а в 1584–1585 гг. с ним вместе оказался в Москве. Однако «Записки» — это не просто воспоминания путешественника, это сочинение весьма сложного состава — оно сочетает несколько жанров повествования: две семейные хроники XV и XVI вв., записки о путешествиях, основанные на днев-



никовых записях и включающие зарисовки поразивших его произведений архитектуры, предметов быта и т. д., хронике монастырской жизни (в 1588 г. он перешел в католичество и принял монашеский постриг) и обширные теологические рассуждения. Знание нескольких языков облегчало ему контакты с населением самых разных стран, что позволяло глубже знакомиться с их жизнью и бытом. Наконец, что, вероятно, важнее всех рассуждений о жанре произведения и филологических познаниях автора, Груневег обладал фантастической наблюдательностью и памятью, интересом к мелочам и чисто немецкими педантизмом и дотошностью. Поэтому его «Записки» — подлинный клад сведений о самых разных сторонах жизни целого ряда народов Европы<sup>5</sup>.

Мартин Груневег попал в Россию вскоре по окончании Ливонской войны, и на пути Львов — Киев — Чернигов — Новгород Северский — Трубеск — Брянск — Боровск — Москва он постоянно видел незажившие раны этой войны и узнал о прежней нестабильности на юго-западных окраинах государства. Так, в Чернигове он осмотрел старинные церкви, две из которых «стоят непокрытыми, т. к. во время прошедшей войны с королем Стефаном крыши были сорваны и стреляли со сводов (*gewelbe*) церквей» (л. 1176), на пути к Новгород-Северскому обнаружили опустевшие на зиму деревни, «так как едва замерзает, татары, а также казаки посещают деревни и все, что им ни встретится на пути. Так как и те, и другие имеют свои поселения рядом, в особенности татары, они так обращаются [расправляются] с москвитами по соседству, что зимой весь народ бежит из деревень в города. И кроме того, и летом, и зимой они повсюду держат сторожей на высоких деревьях, многих из них мы встречали» (л. 1177). Заботу о ремонте укреплений проявлял и новгород-северский воевода, который поздней осенью 1584 г. распорядился восстановить крепостные сооружения этого города и соседних поселений (л. 1182). Незавидной оказалась участь Трубеска. «В прошедшей войне [он] был сожжен поляками, так что теперь стоит почти пустой. На месте каменной церкви, от которой еще видны некоторые части, стоит теперь деревянная. Из крепости вплоть до воды идет гора, внизу с очень крутым подъемом, покрытым землей, по которому именно поляки и поднялись в замок» (л. 1185). Не лучше обстояло дело и с Брянском. «В прошлую войну он был почти опустошен поляками, поэтому сейчас в особенности отстраивался замок, который [довольно] велик, его укрепляют и защищают вокруг высоким валом» (л. 1193). Еще больше пострадал Серенск, «который татары так опустошили, что едва осталось 5 домишек. Там был замок, стоит деревянная церковь, кроме нее в городе еще три церкви» (л. 1195). Первые призна-

ки возрождения Груневег обнаружил в Боровске. «Этот город стоит открыто и почти уничтожен татарами. Тем не менее в нем есть хорошие церкви и дома, имеется много лавок. За городом течет Поротва. На этой же реке на горе находится старый деревянный замок, побеленный известью. В нем есть каменная церковка... За городом монастырь с хорошей каменной церковью. И еще один в лесу, в стороне от этого города» (л. 1195). Следы Ливонской войны Груневег обнаружил и в Москве. В Немецком переулке «много немецких почтенных людей, которых великий князь некогда туда пригнал из Ливонии и поэтому поступает с ними по своему усмотрению [в частности, в бытность Груневега в Москве великий князь собирался многих немцев выселить в Казань. — А. Х.]. Тем не менее он предоставляет им больше свободы, нежели своим москвитам. Им позволено носить шелковые платья и серебряные украшения, иметь избы с кафельными печами, продавать в розлив мед и пиво и. д., но остальным это запрещено» (л. 1203–1204).

Груневега поражало число разбойников, грабивших торговые караваны не только на далеких окраинах государства, но и в самом его центре. Так, уже по дороге в Москву в Новгороде-Северском он узнал о трагедии могилевских купцов, везших туда продовольственные товары — лук, орехи, корень петрушки. От всего каравана в живых остался лишь один человек, его отец и остальные сопровождавшие караван лица были убиты (л. 1181). После этого страх перед грабителями неотступно преследовал и караван Богдана Ашвадура на пути в Москву. И недаром. 16 января 1585 г. по выезде из Брянска караван вошел в густой и могучий Брянский лес, через который была проложена лишь одна дорога, запертая с обеих сторон, т. е. при въезде и выезде из него. Впрочем, эти предосторожности не помогли путешественникам. На первом же ночлеге у одного из извозчиков украли двух коней (л. 1193). 16 же января, когда армяне праздновали крещение, в результате чего караван задержался с остановкой на кормежку, какие-то знатные люди «силой распрягли коней». «Мы, — рассказывает Груневег, — стремительно набросились на тех знатных людей и после длительной перебранки снова получили своих коней» (л. 1193). Однако им еще повезло. Хуже сложилась судьба другого каравана. Незадолго до отъезда из Москвы Богдана Ашвадура его соотечественники, армяне из Каменца, выехавшие из Москвы начале 8 июня 1585 г., подверглись нападению в одном-двух днях езды от Москвы, где-то между Сукиным (ныне микрорайон Москвы — Солнцево) и Боровском, о чем стало известно уже 11 июня. В результате стычки один из них — знатный купец из Каменца Андрей был убит, а несколько человек ранено. Груневегу же было поручено организовать поминки по армянскому обычаю.

Груневег не принадлежал к философам. И его заключение относительно причин такой нестабильности внутреннего положения исходит из оценки особенностей климата страны. «Ни в одной стране нет большего количества преступников, как в этой, — пишет он, — из-за холода, который превращает многих в преступников уже в материнском чреве» (л. 1239–1240). Между тем, совершенно очевидно, что подобная нестабильность — естественный результат катастрофического разорения страны в период опричнины и Ливонской войны. Разорение крестьянства, а вслед за ним и помещиков, у которых «лежали впусе» огромные площади земли, остававшейся необработанной, потеря большей части тяглового скота, от чего страдало не только местное население, но даже высокопоставленные иностранные дипломаты (особенно подробно останавливался на этой теме Якоб Ульфельдт, за семь лет до Груневега посетивший страну<sup>6</sup>), — вот некоторые характерные признаки хозяйственного кризиса, породившие систему грабежей.

Справедливости ради следует указать, что власти возвращали украденные товары или возмещали их стоимость иностранным купцам, как и случилось с армянскими купцами из Каменца во главе с неким Андреем.

Истинный сын своего времени — эпохи Реформации — Груневег был открыт для общения и притягивал иной, отличной от привычной для него культуры. Удивительные лингвистические способности (его родным языком был немецкий, на котором и были написаны мемуары, наравне с немецким он владел польским, а кроме того знал турецкий, легко научился русскому и другим славянским языкам) облегчали ему контакты с местным населением ряда стран.

Круг общения Мартина Груневега в России существенно отличался от того, которым принуждены были ограничиваться дипломаты. Последним выпадали на долю контакты с официальными лицами, прежде всего боярами, ведшими переговоры с представителями иностранных государств, их принимал великий князь, а с 1547 г. царь и государь Всея Руси. Официальные же лица сопровождали дипломатов на всем пути их передвижения по стране, они же выступали чуть ли не главными поставщиками сведений о жизни населения. Груневег в качестве «торгового подмастерья» и секретаря армянского купца из Львова Богдана Ашвадура<sup>7</sup> вступал в контакты с рядовым населением страны — извозчиками и «мальцами» на речных судах, рядовыми покупателями, московскими иконописцами, банщиками и коллегами по ремеслу. Отличался и круг его интересов — он описывал не торжественные приемы в Грановитой палате или дворце в Александровой слободе, а посещение бани или харчевен,

своеобразные экскурсии в православные монастыри, посещение дома царского иконописца, народное гуляние в Брянске, поминки по армянскому купцу, павшему от рук грабителей на обратном пути из Москвы. Впрочем, и его не миновало знакомство с московской политической элитой. Он почти «дружил» с Годуновым, который в условиях критической, смертельно опасной для Груневега ситуации публично на заседании Боярской думы назвал молодого иноземного торговца своим «сыном».

И впечатление от общения с таким широким кругом людей в целом у Груневега было очень благоприятное. Он восхищался мастерством московских иконописцев, народные музыканты Брыни удостоились от него — немецкого уроженца Гданьска — высшей похвалы (они, по его словам, владели свирелью лучше, чем соотечественники Груневега — гданьцы. Он писал: «По дороге от начала деревни до постоянного двора были разложены двадцать костров, у которых народ как бы изливал свой восторг на домрах, скрипочках, лирах и свистках. На мостках у постоянного двора играли на свирелях [дудках] так, что в Гданьске не делают этого лучше. Ни в одной стране, кажется мне, не привычны лиры более, чем в этой, и почти каждый может играть на них. Домры, которые я не знаю, как назвать по-немецки, представляют собой не что иное, как половину лютни» — л. 1194), видимо, обоюдная доброжелательность связала его не только с рядовыми москвичами, но и самым влиятельным человеком в стране — Борисом Годуновым, которому он оказался обязанным спасением своей жизни, благоприятные воспоминания остались у него от гостеприимства новгород-северского воеводы — кн. Хворостинского: «...мы полтора месяца провели в хлопотах и гостях, так как мы имели обыкновение обедать у воеводы, и он из-за нас придумывал указанные потехи и танцы, все чрезвычайно дорого — [что вызывало] большое уважение [в] городе» (л. 1184). В целом он чувствовал себя в России настолько комфортно, что решил даже осесть там, перевезти в Москву свое имущество и жениться. Благо нашлась и милая его сердцу невеста — «девушка» 12 лет Анастасия, происходившая из знатного семейства, щедро одарявшая его материальными знаками своего внимания.

При этом его не испугали ни суровость климата (а зима 1584–1585 г. была очень суровой; порой в избе, специально поставленной на московском Гостином дворе для слуг армянского купца, замерзала вода в бочке даже возле топившейся печи), ни трагическая встреча с медведем в Брынском лесу, где он показал себя мужественным и находчивым человеком. Не насторожили даже попытки воровства и торгового обмана, предпринятые однажды какой-то женщиной, одетой как знатная дама, и двумя людьми, прикинувшимися братьями и



пытавшимися подsunуть слуге Мамонича «куклу» вместо 100 рублей. Склонность москвичей к обманам в торговле отмечал еще в первой четверти столетия Сигизмунд Герберштейн<sup>8</sup>. Однако к концу столетия обнаружились результаты серьезного падения нравов, пожалуй, даже слом устоев в период опричнины и Ливонской войны. Чудовищная жестокость, проявленная Иваном IV во второй половине его правления при проведении и внутренней, и внешней политики (при том, что последняя не пользовалась безоговорочной поддержкой боярства), не могла не сказаться и на рядовых исполнителях его воли. И Груневегу довелось испытать это на себе. Он нарушил царский запрет и принял приглашение дворцового иконописца посетить его дом в Кремле. Проведя в гостях целый день, он вышел уже вечером в Китай-город: Доблестные стражи, вероятно, решеточные сторожа, которые ведали запиравшимися с наступлением темноты уличными заграждениями, так называемыми решётками, сообщили о нарушении установленного порядка. На следующий день иконописец был арестован, закован в цепи и подвергнут истязаниям. Палачи пытались выведать имя нарушителя. Затем иконописца привели на Гостиный двор для поиска и опознания иноземца. Груневег сумел спрятаться. Еще через день хозяин и гость встретились на заседании Боярской думы. Предоставим слово Груневегу: «Привели и художника в его огромных цепях и железах, очень бледного, так как его пытали. Как только я его увидел, я дружелюбно поприветствовал его к большому удивлению московитов. Но и я начал побаиваться, так как видел, как чудовищно жестоко обращались с художником и так тяжело его мучили, что он даже не мог стоять да еще громко стонал». Груневега заставили пересказать историю посещения дома иконописца. А «после того как художник сказал, что все было так, приказали отвести его в тюрьму и позвать священника, кричали ему вслед ругательства: „Ты обманщик и царский убийца. Царь из особой милости позвал тебя в замок [жить] среди нас, знатных людей, а ты тащишь (heigest) иконы из царской казны и зовешь поляка без пристава (или Schergen) в замок, не без угрозы для царской жизни“» (л. 1226)<sup>9</sup>. Мы, претендующие на немного лучшее знание истории России, чем Груневег, понимаем, что подобная жестокость была результатом утверждения самодержавной власти в России, принявшей особенно уродливые формы в годы опричнины и Ливонской войны.

Царь (великий князь, по терминологии Груневега) обладал несметными богатствами. После посещения казны Груневег написал: «Мне кажется, ни один монарх мира не богаче его, там находится все, что только есть в мире драгоценного и художественного, что только мыслимо» (л. 1210)<sup>10</sup>. И пользовался неограниченным влия-

нием на умы подданных. По словам Груневега, «ни один народ мира не почитает своих государей больше, чем московиты. Когда они здороваются друг с другом или произносят пожелания (тосты), когда вместе пьют, вместо слов «Будьте здоровы», они говорят: «Бог дай здоровье нашему государю». То же самое, когда они клянутся. «Будь здоров государь» или «дай Бог только, чтобы государь был здоров» (л. 1237). Иностранцы, посещавшие Русь в начале XVI в., в частности Герберштейн, не упоминали о странном обычае здороваться, сначала высказывая пожелания здоровья государю, а уж потом хозяину дома. Можно полагать, что этот обычай сложился только в Российском царстве, после принятия великим князем царского титула в 1547 г. и в годы опричнины 1565–1572 гг., но удержался надолго. Судя по материалам Тайного приказа, такой обычай сохранялся и в XVII в. Нарушители его, будь то при встрече или на пиру, подвергались суровым наказаниям. Лишь в самом конце XVII столетия после того, как сложилась светская риторическая культура барокко<sup>11</sup> к «чаше государевой» прибавилось и пожелание здоровья пирующим<sup>12</sup>.

Контраст между внешней религиозностью православных и жестокостью верховной власти по отношению к подданным государя в «Записках» остался не оформленным в четкие слова. Однако он нашел выражение в мистическом сне во время приключившейся с автором перед выездом из Москвы болезни, содержание которого он подробно пересказывает. «Ночью мне приснилось, как предназначенная мне девушка, прелестный ребенок, оказалась спеленута и просила, чтобы я ее купил, чтобы я в этом угодил ей (tzugefallen sein), но св. Доминик потянул меня за платье (rock) и отговорил меня от этого со словами, будто это только кошка с человеческим лицом, но тут же указал мне другого уже распеленутого младенца, находившегося в золотой колыбели, и посоветовал мне его купить. Когда я управился с покупкой, то проснулся уже при свете дня, почувствовал себя совершенно здоровым и [с] сердцем, полностью отвратившимся от брака, так что мое настроение соответствовало празднику Преображения Господня» (л. 1242–1243), 6 августа. В этом сне смешались не только представления о браке и религиозном долге, но и смутные ощущения о несоответствии политической и административной практики не только государственной власти, но и самых духовных лиц христианским догмам. Действительно, вторая половина XVI в. в истории отечественного православия характеризуется сломом старых представлений, превращением православия в официозное вероучение. Дух истинной веры, одушевлявшей искусство и религиозную практику XV в., исчез, уступив место формальному исполнению обрядов, чего столь неукоснительно добивался и сам царь, и церковные

власти (в особенности на Стоглавом соборе 1551 г). Так восхищавшие Груневега искусно сделанные иконки Строгановской школы, предназначенные для массового потребления, действительно поражают ремесленным мастерством, изяществом форм, однако они лишены внутренней одухотворенности; столь характерной для икон XV в. Поразительным по силе впечатления была встреча с монахами новгород-северского монастыря, имевшими подворье в городе, на котором и расположился Ашвадур со своими слугами. «Они были посланы монастырем, чтобы после смерти их старшего одного из них назначили на его место. Так как в Москве им поставили (convermierte) одного вопреки их надеждам и свободам [правам], они по дороге убили его, но как это произошло, я не знаю» (л. 1184). Груневега, как верного сына своего времени, в ходе Реформации избавившегося от почитания икон, раздражало внешнее благочестие русских, их обычай креститься на церковь, которой «оказывают... честь как месту, посвященному Богу, преклоняются перед ней и благословляют себя» (л. 1190), необходимость при входе в помещение сначала креститься на иконы, а лишь потом приветствовать хозяев (л. 1191). При этом он с удивлением обнаружил у русских признаки ксенофобии. «...в Москве, — пишет он, — не знают более злого народа, чем евреи; ничего более злого не желают, кроме как стать евреем или сыном еврея, и ни один [еврей] не допускается в страну... Их убедили, — продолжает он, — что, после того как евреи принимают крещение, все они получают овечьи головы, которые указанный (константинопольский) патриарх преобразует своим благословением». Впрочем, ксенофобия — естественный результат невежества народа, представители которого «никуда не выезжают из страны и не имеют никаких книг» (л. 1191). Груневег приводит образцы тех рассказов, которыми на потеху хозяевам развлекались слуги Богдана Ашвадура Стефан и Кристоф, будто «Краков — такой же большой, как вся земля Московита, в нем церковь св. Стенцеля так же велика, как город Москва<sup>13</sup>, вся покрыта чистым золотом, к этой церкви нельзя добраться иначе, чем стоя на горе Синай, нужно только ехать в течение 8 дней вверх по горе на Красном море в серебряной комяге. Там есть такой большой колокол, что его начинают раскачивать в канун Великого поста, и каждый день привязывают новые веревки, он звучит на Пасху, и его радостный звон на Троицу доходит до Вильны... Народ прибежал толпами, как на проповедь, и говорили только «Ах, ах, ах, как были бы блаженны наши глаза, если бы увидеть все эти необыкновенные вещи...» (л. 1192).

Кошка с лицом «девушки» превратилась для него в символ неистинности православия и даже протестантизма. Этот сон оказался поворотным событием в жизни Груневега. Вернувшись на родину, в

возрасте 26 лет он расстался с верой родителей — лютеранством и обратился в католичество, принял постриг, став доминиканским монахом. В тиши монастыря он и создал свои «Записки» — своеобразную энциклопедию Центральной и Восточной Европы. Не случись у него поездки в Россию, сыгравшей столь важную роль в его судьбе, историк нашего времени потерял бы массу подробностей и о России, противоречивый образ которой создал Груневег, испытывавший симпатию и уважение к русским людям и страх и ужас перед ее верховной властью.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 *Walczak R.* Pamiętniki Marcina Grunewega // *Studia źródłoznawcze.* Warszawa; Poznań, 1960. Т. 5. S. 61–71.
- 2 *Poppe A.* Eine verkannte, unedierte Quelle zur osteuropaischen Geschichte: Martin Grunewegs Geschäftsreise nach Moskau in den Jahren 1584–1585 (рукопись).
- 3 *Исаевич Я.* Мартин Груневег і його опис Києва // *Всесвіт.* 1981. № 5. С. 204–211; *Он же.* Найдавніший історичний опис Львова // *Жовтень.* 1980. № 10. С. 105–114; *Он же.* Мандри Мартина Груневега — маловідомий німецький опис України на переломі XVI–XVII ст. // *Німецькі колонії в Галичині: історія — архітектура — культура.* Львів, 1996. С. 33–42.
- 4 *Berger A.* Eine frühe Beschreibung der Selimiye Camii in Edirne // *Istanbul-ler Mitteilungen.* 1994. Bd. 44. S.393–396.
- 5 Благодарю д-ра В. Дыбаша (Торунь) за разрешение пользоваться его компьютерным набором текста рукописи.
- 6 См. об этом: *Ульфгелд Я.* Путешествие в Россию. М., 2002.
- 7 О нем см.: *Хорошкевич А.Л.* Мартин Груневег о русской денежной системе (1585 г.) // Седьмая Всероссийская нумизматическая конференция. Ярославль 19–23 апреля 1999 г. Тезисы докладов и сообщений. М., 1999. С. 121–123; *Она же.* Иноземное население Москвы 1585 г. в «Записках» Мартина Груневега // *Экономика, управление, демография городов Европейской России XV–XVIII вв. История, историография, источники и методы исторического исследования. Материалы научной конференции.* Тверь, 18–21 февраля 1999 г. Тверь, 1999. С. 273–276; *Она же.* План Москвы и памятники московского церковного зодчества в «Записках» Мартина Груневега 1585 г. // *Русское искусство позднего средневековья. XVI век. Тезисы докладов международной конференции.* Москва, 12–14 января 2000 г. СПб., 2000. С. 16–21; *Она же.* Борис Годунов и русский иконописец в «Записках» Мартина Груневега (1585 г.) // *Казус.* 2000. Ин-



- дидуальное и уникальное в истории / Под ред. Ю. Л. Бессмертного и М. А. Бойцова. М., 2000. С. 273–282; *Она же*. Мартин Груневег о Москве 1585 г. // Россия и Германия. Ежегодник. 2000.
- <sup>8</sup> *Герберштейн С.* Записки о Московии. М., 1988.
- <sup>9</sup> *Хорошкевич А. Л.* Борис Годунов и русский иконописец... С. 273–282.
- <sup>10</sup> *Малицкий Г. Л.* Кремлевская великокняжеская и царская сокровищница // Сборник научных трудов по материалам Гос. Оружейной палаты. М., 1954.
- <sup>11</sup> *Демкова Н. С., Колгурина Н. И.* Силлабические вирши из сборника, содержащего «Повесть о „Горе-Злосчастии“» // Литература и классовая борьба эпохи позднего феодализма в России. Новосибирск, 1987. С. 216–224.
- <sup>12</sup> *Демкова Н. С.* Заздравная поморская чаша – «чаша моря Соловецкова» // Проблемы истории, русской книжности, культуры и общественного сознания. Новосибирск, 2001. С. 24–32.
- <sup>13</sup> На самом деле, по мнению Груневега, и Кремль, и Китай-город «по размерам равняется Торунни» (л. 1199). Правда, он несколько раз подчеркивал, что население в Москве немногочисленное, поскольку дома, окруженные садами, стоят редко: «не как названный Браун нарисовал на своем рисунке – стоящими вплотную друг к другу, но далеко один от другого, так что еще один смог бы уместиться между ними. Из этого ты легко можешь понять, что в городе не так много домов, как у нас, и не так много народа живет в нем, как у нас» (л. 1200) Однако «город с предместьями чрезвычайно велик, так что многие лавочники и торговцы должны проделывать очень долгий путь домой» (л. 1201). «Вышеназванный автор рисует московитские дома расположенными тесно друг к другу, на самом же деле... они стоят далеко друг от друга» (л. 1240).

В. В. Мочалова  
(Москва)

## Представления о России и их верификация в Польше XVI–XVII вв.

---

Вопрос польско-русских исторических связей, политических и культурных взаимоотношений справедливо вызывает исследовательский интерес<sup>1</sup>, обусловленный как богатым многообразием материала, так и наличием известного драматизма, напряжения, которое Ян Кохановский в «Эпиникии королю Стефану Баторию» (1582, XXXIX) объяснял противоречием между этнической близостью поляков и москвитов — и их конфессиональной разделенностью.

Действительно, общие представления о восточном соседе в Польше XVI в., несмотря на географическую и этническую близость, определялись прежде всего религиозными и культурными различиями, несоответствием системы ценностей, контрастом между европейским гуманизмом, к которому Польша этой эпохи тяготела и приобщалась, и жестокой самодержавной тиранией «Москвы», и потому были не лишены презрительного и высокомерного оттенка. В целом эта распространенная оценка сохранялась и позднее, несмотря на изменяющуюся ситуацию в Речи Посполитой и растущее могущество московского царства<sup>2</sup>.

Внешний взгляд на Россию (например, «*durna Moskwa*», «*niewier-na Ruś*», «*Ruś wiącołomna*» — у Вацлава Потоцкого), ее государственное, политическое устройство, сложившийся в Польше образ русского как «инога», «чужого», «враждебного» (описываемый, например, Кохановским как «*hardy Moskwicin*», «*rohanielc srogie*») имеют — по сравнению с «внутренней» оценкой — ряд преимуществ (как и недостатков) и чрезвычайно важны как с исторической, так и с культурологической точки зрения. Концепт загадочного, варварского, полумифического восточного соседа, установившего у себя тираническую систему правления, был составной частью польской картины мира, как бы оттеняя гуманистические ценности шляхетского общества, контрастно подсвечивая национальный автопортрет. Выполняя такую функцию в общественном сознании, этот концепт сам по себе

не нуждался в пересмотре, тем более примечательной представляется тенденция верификации представлений о Руси, особенно заметная со времен Ренессанса. Образ «Москвы», Московии в польских памятниках литературы, истории, дипломатии в значительной степени связан как с политическим контекстом, с опытом военных и дипломатических отношений между двумя государствами, так и с европейской традицией описаний Руси.

Познавательный импульс, стремление к рационалистическому пересмотру существующих понятий — по разным причинам — обнаруживаются уже у некоторых польских авторов XVI в., никогда не посещавших русские земли и обращавшихся к доступным им источникам информации. К таким писателям Сигизмунд Герберштейн<sup>3</sup> относит польского представителя ренессансной науки, стремившегося к верификации средневековых представлений о физической географии, к пересмотру архаичной картины мира, автора «Трактата о двух Сарматиях» (1517)<sup>4</sup> Мачея из Мехова. Уже в этом наиболее раннем польском труде о Руси содержатся сведения об ограничении свободы ее жителей, не могущих «без княжеской грамоты выйти отсюда», а также об изготовлении и употреблении ими «меда или других опьяняющих напитков» для спасения от холода.

И хотя Герберштейн очевидно раздосадован на польского ученого, преуспевшего в своей попытке перехватить у него пальму первенства в описании Московии, он берет книгу Меховского в свое путешествие на Русь, проверяет его сведения и отмечает не только ошибки «Трактата»<sup>5</sup>, но и его бесспорные достоинства (сообщения о величине и истоках русских рек, об отсутствии мифических Рифейских и Гиперборейских гор). Формулируемая Герберштейном ренессансная идея опытной проверки существующих сведений («я был свидетелем описываемых событий»); использования «заслуживающих доверия донесений» все более утверждается в историко-географических трудах эпохи. Так, Герберштейн отмечает заслуги в составлении (между 1537 и 1544 гг.) карт Руси и Великого княжества Литовского и другого польского автора — гданьского сенатора Антония Вида (Вида)<sup>6</sup>, хотя и не посещавшего Московию, но воспользовавшегося в своей работе не только существовавшей историографической традицией, но и содействием бежавшего к «непобедимому королю Польши» Сигизмунду I в 1534 г. окольничего Ивана Ляцкого. В связи со стремлением к наибольшей достоверности описаний существенно, что Герберштейн, по свидетельству Вида, многократно обращается к Ляцкому с просьбой составить для него описание Московии, а принятый в Польше «ласково и великолепно, как того заслуживают его мудрость и живость ума» окольничий «никогда не

упускал случая исследовать все, что, казалось, имеет отношение к познанию этой страны», впоследствии перепоручив свой труд Виду. В надписи к составленной карте Вид приводит ряд верных сведений о стране, хотя одинаково называет как ее целиком, так и столичный город («Столица всей страны Московия является самым благоденствующим из всех городов Московии как по причине благоприятного расположения рек, так и многолюдства и весьма защищенной крепости»), и конфессиональных различиях ее населения («Московиты были идолопоклонниками, теперь они христиане, обученные греческим догматам 500 лет назад. С тех пор и доселе те, которые обитают вблизи севера, упорствуют в застарелом безумии») <sup>7</sup>.

Никогда лично не бывал в Москве и итальянский военный инженер на польской королевской службе Александр Гваньини (1538–1614), однако, он широко использовал в своем «Полном и правдивом описании всех областей, подчиненных монарху Московии...» (1578) рассказы польских купцов и некоторые письменные источники <sup>8</sup>, что позволило ему остановиться и на впечатлениях о размерах столичного города («Он весь деревянный и очень велик. Если смотреть издали, он кажется больше, чем на самом деле; обширность придают ему сады и большие дворы при каждом доме и широкие улицы <...>. Город по величине таков, что его невозможно огородить стеною, рвом или укреплениями»), его нечистоте («Он так низмен и грязен, что по улицам в разных местах необходимо делать мост»), и, главное, способствовать распространению в Европе представлений о «тирании» Грозного <sup>9</sup>.

В Польше XVI в. не было иллюзий относительно принципов внешней и внутренней политики как Василия III (ср. письмо Сигизмунда I послам эрцгерцога Фердинанда, отправлявшимся в 1526 г. к этому «князю Московии»: «Королевское величество <...> отлично знает, сколь прочны бывают союз и дружба с князем московским и во что он ставит христианских государей при объявлении войны или при заключении мира, которые все определяются у него только его усмотрением и его выгодою» <sup>10</sup>); так и его сына, Ивана IV, о чем могут свидетельствовать, в частности, и авторская вставка Л. Гурницкого в тот фрагмент «Польского придворного» (1566), где обсуждаются монархическая, олигархическая и демократическая формы общественного правления («nigdziej gorzej ludziom, jako pod tyraństwem jednego, czemu się każdy dobrze przypatrzeć może, widząc <...> Moskwę, w jako srogiej żywą niewoli» <sup>11</sup>), и «Записки о московской войне» <sup>12</sup> королевского секретаря Рейнгольда Гейденштейна (1553–1620), которые, как полагают некоторые, правил сам Стефан Баторий.

О жителях Московии и их обычаях могли непосредственно свидетельствовать, в частности, участники дипломатических миссий,



среди которых посетивший Москву в 1536–1537 и 1555–1556 гг. в составе посольства Михалон Литвин (Венцеслав Миколаевич, 1490–1560), адресовавший свое сочинение Сигизмунду Августу и отмечавший, что «род москвитян хитрый и лживый», а их противостояние католицизму граничит с ненавистью: «Рассердившись на кого-либо из своих, московитяне желают, чтобы он перешел в римскую или польскую веру, настолько она им ненавистна»<sup>13</sup>.

Из полутора столетий — с начала войны Ивана III с Великим князем Литовским Александром (1492 г.) до Андрусовского перемирия (1667 г.) почти половина была занята русско-польско-литовскими военными конфликтами, конфронтацией двух государств. Понятно, что в связанных с этими событиями литературных текстах разного рода Русь и русские предстают в первую очередь в контексте военного противостояния, в сопряжении с темами битвы, героизма, тягот войны, прославления побед, с описаниями переговорного процесса, дипломатических усилий, достижения мира. Непосредственные контакты на военно-дипломатическом поприще становятся основой для конкретизации, уточнения представлений о Руси и русских, служат импульсом для воспевания мужества и воинской доблести польского воина.

Так, Анджей Кшицкий в «Эпиталаме» (1518) Сигизмунду и Боне упоминает военные столкновения польско-литовских войск с московским противником (1514) — «liczne kłęski srogiej wojny», «drogi tartarejskie», «chorągwie w sztykach <...> rycerzy mężnych, którzy przez Charybdy i Scyllę w głąb moskiewskich ziem szli»<sup>14</sup>. Победа польского оружия в битве под Оршей праздновались, по оценке Павла Йовия, так, «как будто были побеждены и перебиты враги имени Христова»<sup>15</sup>. Достойные воины, подобные Касперу Зебжидовскому («którego zjechałszy z dworu, hetmanem dzielnym teraz był w Litwie przeciwko Moskwi»), противопоставляются у Ст. Ожеховского осуждаемым италянизированным придворным («Dialog około egzekucyje», 1563); а Ян Кохановский (I, Песнь XIII), с сожалением говоря о мире, способствующем малодушию и изнеженности, воспекает победы польского оружия на московском фронте:

I już nam ma być ten poħaniec srogi,  
Którzy niedawno padał nam pod nogi,  
Kiedy Starodub, z gruntu wysadzony,  
Pod miecz okrutny lud wydał zwierzony?  
Albo gdy pycha nie mogła pokorze  
Wytrzymać stusu, a w głębokie morze  
Krwawy Niepr płynął miecząc na ostrowy  
Moskiewskie łupy i pobite głowy?<sup>16</sup>

Достоверность описываемого в эпическом сочинении представляется повышающей его ценность, чем объясняется использование в качестве основы, канвы разного рода документов, свидетельств очевидцев и участников событий. Кохановскому в «Походе на Москву» («Jezda do Moskwy», 1583), который Я. Пельц справедливо сближает со стихотворными дневниками<sup>17</sup>, важно подчеркнуть «правдивость», невымысленность повествования, декларируя ее уже в названии («prawdziwie opisane»), используя для создания местного колорита руссизмы (kniazia Fiedora cara, monastyr preczystoj, cerkiew Michaiła, Piątnice и др.<sup>18</sup>).

Отголоски польско-русских военных конфликтов встречаются и в европейской литературе — например, такие неожиданные, как в «Il Cortegiano» (1528) Балтазара Кастильоне, где с ними связаны единственные «русские» реалии. Сюжет, заимствованный у Плутарха, использован для описания попыток итальянского купца закупить у московских соболей именно во время такого военного столкновения (переговоры приходилось вести с разных берегов Днепра, крики купцов из-за холода замерзали, а польские переводчики разжигали огонь посредине реки, чтобы слова оттаяли и достигли нужного берега)<sup>19</sup>.

Купец, занимающийся своей деятельностью на фоне военных действий, не случайно упомянут у Кастильоне — это весьма распространенная фигура, а в Польше и еще одна важная ипостась известного русского. Показательно, как Гурницкий в своем «Придворном» заменяет «хитрых купцов, показывающих сукно в темных углах» из оригинала Кастильоне, который уподобляет им приукрашенных косметикой дам, ждущих вечернего освещения для произведения желаемого эффекта, — на московских купцов, «Москву», поджидающую подходящего времени для продажи соболей<sup>20</sup>. Возникающая здесь тема торговли соболями — наиболее ценным предметом русского экспорта — постоянно присутствует в литературных и исторических памятниках, так или иначе касающихся польско-русских контактов: она встречается в разных контекстах и у критикующего своих соотечественников Михалона Литвина («Хотя одни только москвитяне богаты соболями и другими подобными зверями, однако, запросто дорогих соболей не носят. Но, посылая их в Литву, нежных изнеженным, получают за них золото»<sup>21</sup>), и у Себастиана Клоновица, упоминающего, что Moschowie везут в Люблин пушнину, соболя с бесценным мехом, волчьей шкуры, кролика, куниц, зайцев, беличьей шкурки («Roxolania», 1584, ст. 809–818), и в дипломатических документах следующего века: когда в 1650 г. в Польше русские послы перед лицом надвигающейся между двумя государствами войны изолируются, а всем полякам запрещается ходить на посольский двор и

покупать там товары, то это «прямо» объясняется тем, что во время войны «деньги, на которые покупаются у нас и у купцов ваших соборы шубы, годятся на жалование войску»<sup>22</sup>, т. е. торговые отношения вступают в конфликт с военными интересами.

В процессе верификации представлений о русских в Польше существенную роль играли люди, принадлежавшие к разным профессиональным кругам, главным образом — купцы, военные, дипломаты<sup>23</sup>, переводчики. Новый этап этого процесса начинается в период русской Смуты<sup>24</sup>, когда «начало быть в людях смятение и неприятельское нахождение свыше прежнего»<sup>25</sup>, зашаталась устои созданной Грозным централизованной тирании, старого мировоззрения, а в результате внутреннего раскола и польской интервенции возникла возможность передачи русского трона в польские руки («колеблется поляками сей трон»<sup>26</sup>).

Польские памятники дневникового жанра, относящиеся к этому периоду, как правило, принадлежали перу людей, далеких от литературы и взявшихся за описания по причинам внелитературного характера — среди них гетман Станислав Жулкевский (1547–1620)<sup>27</sup>, придворный, дипломат Ст. Немоевский (1560–1620)<sup>28</sup>, ротмистр Николай Мархоцкий (ок. 1570–1625)<sup>29</sup>, гусар Самуэль Маскевич (1580–1632)<sup>30</sup>, автор так называемого «Дневника Марины Мнишек»<sup>31</sup>, государственный деятель Якуб Собеский (1588–1646), преимущественно оставшиеся в истории литературы именно как авторы текстов этого жанра.

Сближает эти документальные памятники и их рукописный характер, и их позднейшая судьба — как правило, долгий, занявший не один век путь к изданию, а в случае «Дневника московского похода 1617–1618 гг.» Собеского так и не завершившийся<sup>32</sup>, в отличие от его более позднего и широко известного «Дневника Хотимской войны»<sup>33</sup>. Московский дневник Собеского, весьма мало известный, хотя и наиболее ранний из всего написанного автором, подлежит рассмотрению как в контексте доминировавшей рукописной традиции эпохи, так и в рамках поэтики дневникового жанра, определивших характер и особенности текста — его структуру, календарный принцип фиксации материала, лапидарность, отсутствие размышлений, широких обобщений (или замечаний общего характера, подобных встречающимся, например, у Маскевича — «Пусть остаются при своих забавах, не зная лучших!»; «Науками в Москве не занимаются, они даже запрещены»<sup>34</sup>, и т. п.).

Присущая письменным жанрам этого времени подвижность, «диффузность» приводила к их взаимопроникновению, влиянию друг на друга. Не последнюю роль здесь сыграло и стремление к сближению

«поэзии» и «правды», повышающее, согласно бытовавшим представлениям, ценность литературного произведения. Исторический по своему характеру и функции текст — дневник путешествия, дипломатической миссии, военного похода мог становиться основой для последующей литературной обработки, осуществляемой либо самим автором, либо кем-то другим. Так, Элиаш Пельгжимовский создает стихотворную версию<sup>35</sup> своего дневника посольства Льва Сапегы к Борису Годунову в 1600 г.<sup>36</sup>, а Самуэль Твардовский — «славянский Вергилий», как называли его современники<sup>37</sup>, впервые запечатлевший исторические события в польской эпической поэзии, или, как выразил это в своей эпитафии ему Ян Гавиньский, «Илиаду польской истории» («*Marsie, twa to trąba była, Iliadę polskich dzieł co światu głosiła*»), — в 1633 г. перерабатывает свой дневник посольства Кшиштофа Збараского к турецкому султану (1621 г.) в поэму<sup>38</sup>. Вацлав Потоцкий, позднейший продолжатель начатой Твардовским традиции исторической эпики, используя «Дневник Хотимской войны» Собеского в качестве фактографической основы («*Twemi stopami, o wielki Jakóbie Sobieski, postępując, dobrze wróżę sobie*»), создает его поэтическое переложение, ставшее значительным произведением польской эпической поэзии — «Трансакцию хотимской войны» (1670).

Не ставя перед собой задачи дать объемное описание страны, в которой ему пришлось провести около двух лет (с апреля 1617 по декабрь 1618), Якуб Собеский, к этому времени уже имевший значительный опыт знакомства с европейскими государствами и описания путешествий (с 1607 г. он учился в Париже, затем путешествовал в Англию, Нидерланды, Испанию, Португалию, Италию и вернулся в Польшу в 1613 г.<sup>39</sup>), в своем московском дневнике, ориентированном на «внутреннее» потребление, скупыми средствами воссоздает скорее детальную зарисовку, чем живописное полотно московского похода, приводит ряд ценных сведений, наблюдений, описаний тогдашней России. На этом памятнике имеет смысл остановиться несколько подробнее, поскольку он не опубликован и практически не известен.

Вероятный участник того же похода 1616–1617 гг., Самуэль Твардовский очевидно имел совершенно иные цели, создавая стилизованный в духе античной мифологии «Удачный московский поход Навсветлейшего Короля Владислава IV» («*Szczęśliwa moskiewska ekspedycja Najświetniejszego Władysława IV Króla*», 1634), а в 40-е гг. — свою знаменитую поэму «Владислав IV, польский и шведский король» («*Władysław IV. Król polski i szwedzki*», 1649). Известность последней быстро вышла за пределы Польши, вызвав возмущение в московском государстве из-за оскорбительного для царя и русского народа содержа-



ния («многие хульные слова, что и писать стыдно; Михаил Федорович московский написан мучителем» и др.) и став поводом для шумного политического скандала. Московские послы к Яну Казимиру, которому посвящена эта панегирическая поэма, написанная после смерти его брата и предшественника на польском престоле, упоминали это произведение Твардовского в качестве одной из причин объявления Польше войны. За печатное оскорбление русская сторона требовала возврата русских городов, отданных Михаилом Федоровичем Владиславу, а также казни авторов возмутительных книг и значительной денежной компенсации<sup>40</sup>. Отголоски этого скандала 1650 г. звучат и спустя два десятилетия в «Хотимской войне» Вацлава Потоцкого, возмущенно упоминавшего о сожжении поэмы «Владислав IV» по указу сейма, как оскорбляющей соседние государства:

Nie trwoż mnie, cny Twardowski, nie pokazuj z zalem  
Prace swojej, przed grubym<sup>41</sup> spalonej Moskalem!<sup>42</sup>

Для Собеского, как позже и для воспевшего Владислава IV С. Твардовского<sup>43</sup>, чрезвычайно важно подчеркнуть законность притязаний этого короля на русский трон и нелегитимность Михаила Романова, который последовательно пренебрежительно называется в дневнике «Michałek»: «Iramotę swoją wysłał do Michałka i do bojar do Moskwy i do zamków, oznajmując o przyjeździe swym, i jurament im przypominając» (2 августа 1617); «posłali posła naszego do bojar dumnych, oznajmując im że tu od Rzeczypospolitej z Królewiczem przyjechali, jako z Panem ich dla uspokojenia Państw, aby się z obu stron nie lała krew chrześcijańska, aby chcieli do traktatów przystąpić» (13 сентября 1617). Вместе с тем Собеский стремится к стенографически точному отражению отношения русской стороны к обсуждаемым правовым аспектам: «Oni powiedzieli, że prawa Michałka nie ustąpią, bo to już w Królewicza minusowie dził dla naszych nieprawd (tych słów zażyli)». Настаивая на своей правоте, польская сторона, в освещении Собеского, склонна к демонстрации своих прав и обусловленного этим бесстрашия: «...pokazując że się nie boimy ich dla sprawiedliwości Królewicza, exprobrując im iż to jego ziemia i Carstwo pod Presną samą rzeczkę przed samemi murami Stołeczniemi» (31 октября 1618). Понимая московский поход Владислава как соответствующий закону, а не попирающий правовые нормы, и стремясь представить его таковым в тексте, Собеский прибегает и к историческим обоснованиям: «O miejsce do traktatów myśmy podali na Pokłonnej górcie pod Stolicą, gdzie też książę Olgier Litewski czynił traktati z Moskwą»; «Pokazował prawa nasze, na Nowograd i Pskow od Daumata księcia na Toropiec i Białą po żonach i powinowactwach różnych z książęty Litewskimi i Królami Polskimi».

Представление о законности вступления Владислава на русский трон подтверждается и соответствующим поведением разных слоев русского населения, радость и приветствия которых тщательно фиксируются автором дневника: «Popi wszyscy z strzelcami, z bojarami, z posadzkami ludźmi z sołą, z chlebem wyszli, witając Królewicza jako Cara swego» (29 октября 1617).

Вместе с тем Собескому присуща объективная оценка происходящего и взвешенный взгляд, он далек от тенденциозного стремления нарисовать картину всеобщего ликования русского народа. Так, опираясь на донесения посланного в Москву Рыздица («był w radzie kędy było czterdzieści i dwa bojar, i dworzan pełna sala, i ludzi nad zwyczaj»), он отмечает, что публичная речь, в которой разъяснялись правовые основы похода королевича («uczynił pochód swój jako ten co mu Moskiewska Ziemia chrest całowała»), вызвала неоднозначную реакцию: «poczęli sarkać na to niektórzy Michałkowi adhaerentowie barzo, jednak to obserwował że niektórzy mile go słuchali i pacifice» (13 января 1618).

Подобно многим польским авторам своего времени, Собеский употребляет топоним «Москва»<sup>44</sup> в качестве этнонима («napadli nań Moskwa w lesie», «nam chcą dać bitwę Moskwa», «aby się i Moskwa o nas osłyszeli», «Moskwa ostrzegli się», «mogliby naszym Moskwa szkodzić», «Moskwa na Borysowie», «pojawszy kilku Moskwy», «Moskwa wypadła pijana z Pożarskim», «wrócili się nazad Moskwa do Kaługi» и др.).

Автор широко использует русскую лексику для обозначения населенных пунктов (horod, derewnia, sloboda), церковной архитектуры (manaster, cerkiew, wrota carskie), титулов, должностей, профессий (kniaź, namiesnik, archiepiscop, pop, władyka, diak, poddjaczy, soldat), обнаруживая знакомство с местными реалиями и иногда сопровождая непонятные выражения переводом или толкованием: русские послы употребляют выражение «puszczoie dziło, to jest praeteritum»; «do miru to jest pospółstwa wszytkiego»; «posadcy ludzie to jest pospółstwo».

Судя по тексту дневника, Собеский знаком не с «ключевыми словами», показательными для русской культуры<sup>45</sup>, а с лексикой, имеющей отношение к описанию зримой реальности — географической, архитектурной, обрядовой сферам, к политической и социальной области. Вообще знание иных, кроме родного, языков Собеский считает «украшением всякого польского шляхтича», вменяя это в обязанность своим отправляющимся в путешествие сыновьям<sup>46</sup>.

Ему известны единицы измерения пространства, отличные от принятых в Польше (mila moskiewska), и времени — календарные расхождения (29 Juny według ich kalendarza, a według naszego 9 Julii). Он внимателен к конфессиональным особенностям — тщательно фик-

сирует ход богослужения во владими́ро-во́лыньско́й униатско́й церк-  
ви 4 мая 1617 г. с участием Королевича («...był to dzień Bożego wstą-  
pienia naszego słuchał mszy ruski in uniem w cerkwi włodzimierskiej, <...>  
tam more solemni przez wrota carskie władyka benedictią mu dawał,  
chorągiew moskiewską święcił, którą Kudakin moskiewski bojarzyn trzy-  
mał z wielkim Rusi ukontentowaniem»), знаком с праздниками и при-  
водит аналогии их польских названий («na Maslenice to jest na Mięso-  
pusty»), ориентируется в православном церковном календаре (напри-  
мер, отмечает, что некий факт происходит «w dzień Bożego Narodzenia  
Ruskiego»), к определенным датам которого противник может при-  
урочивать военные действия («Iż było święto wielkie ich Borysa i  
Hleba Książąt włodzimierskich, chcieli szczęścia spróbować z nami, cum  
benedictionibus porów swych», 4 августа 1618).

Польские дневники этого времени отразили очевидно привлек-  
шее внимание их авторов отношение русских к иконам: Немоевский,  
вообще отмечавший, что «у этих людей вся религия в колоколах и  
образах»<sup>47</sup>, приводит рассказ о том, как Иван Грозный приказал по-  
бить палками изображение Николы Можайского, не помогшего по-  
бедить Маскевича описывает, как русские крестьяне в гневе вешают  
вверх ногами иконы, не уберегшие их от поляков; у Собеского при-  
водится требование русской стороны как одно из 19 условий подпи-  
санного мира — «Mikuly Możajskiego obraz ma być im przywrysony».

В Дневнике Собеского находит подробное отражение географиче-  
ская сторона похода, упоминаемые топонимы — Łuck, Smoleńsk, Doro-  
hobuż, Wiaźma, Mesczersk, Kozielsk, Kaługa, Towarkow, Twer, Biała,  
Możajsk, Borysow (Борисово Городище — относительно него помече-  
но, что московские послы утверждают, «że to siolo tylko nie horod»),  
Witepsk, Mozyr, Kijów, Nowograd, Pskow, Siewier, Nowel, Siebież,  
Toropiec, Czerniejów, Jelca, Liwra, Kozielsk, Starodub, Popowa Góra,  
Krasno, Wieliska, Rosław, Masalsk, Brańsk, Poczapów, Starodub, Tru-  
besk, Trubczewsk, Nowogródek nad Dzieszną, Kurkow, Krzemieńsk, Mana-  
stersk, Moromsk, Sack, Liwno, Jelec, Borowsk, Juriow, Dimitrow, Pereasław,  
Sierpuchow, Sierpusk (Серпейск), Weresa, Kołonna, Ruza, Tuszyn — по-  
зволяют воссоздать его карту, включающую также и реки (У́гра,  
Dzieszna, Ока и др.). Часто указывается точное место расположения и  
расстояния: «pod Nowosiolkami derewnią mila od Wiaźmy», «aż do  
drogi wielkiej Wiaziemskiej», «nad rzeką Izdrą dwie mili od Zwingroda»,  
«stanęliśmy półmle maluśkie z tę stronę Tuszyna nad Moskwą rzeką»,  
«nad rzekę Chodynę, półmle dobre od Stolicy», «stanęliśmy na gościńcu  
Pereasławskim od Trójcy trzy mile»; «Królewicz stanął u Rohaczowa w  
derewni mil sześć za Trójcą», «ośmnaście mil od Stolicy, a od Pereasława  
Zaleskiego mil sześć».

Автор дневника стремится к тщательной и подробной фиксации имен русских людей, так или иначе участвующих в описываемых событиях: Filaret, Galiczyn (Голицын), Ługowski, Szujski, Książ Trubeczki, Solikow, Iwan Ododur (Ададуров), Chwedor Sumow, książ Proński, książ Nowosielski, Kudakin, Koniuchow bojarzyn, Pożarski, Lykow, Woliow (Григорий Волуев), Trzeciakow diak, książ Borys Czerkaski, książ Mesczerski, Iwan Hawryłowicz, Gondyrow, Theodor Sczepanow poddiacy, Iwan Szujski, Sein, Szehin (Шейн), Wasil jako kanclerz, Protazy Sołowiow, Piotr Seremetiow, Daniło Merecki, Artemij Izmailow, Bołotnik diak, Hreory Wolkow, Wasil Iwanowicz Polciow, Potemkin bojarzyn.

Трудности похода не делают автора безучастным к красоте окружающей природы, и стоянки позволяют не только отдохнуть войску, но и оценить, и описать пейзаж — автору: «Przyciągnęło wojsko nasze na ten Krzemieńsk, miejsce było piękne dla dwóch rzek i dla kilku krynic także i dla poblizszej żywności, z której się wojsko nieźle odżywiło (28 июня 1618); «przyść pod Borysow, bo miejsce było do obozu barzo piękne, dla pól i rzeki pięknej» (7 июля 1618); «Przyciągnęliśmy pod Zwingrod, kędy był manaster i zamek na pięknym kopcu. Obozem stanęliśmy nad rzeką Moskwą in planitia» (23 сентября 1618). Подробно описывается устройство крепостей, как, например, в Борисове: «zameczku situs taki był, cerkiew murowana a w sztakiecie z rowem i z usuwanym ziemią, a stamtąd potaynik do samego zameczku murowanego, w tym tedy była difficultas, że sztakietowi nic działa nie szkodziły, bo kule przeleciały, jednak choćby go wzięto, tedy znowu z cerkwi mogliby naszym Moskwa szkodzić i choć by i cerkiew wzięto a oni by uciekli do zameczku, który trudno było wziąć i szturmem dla muru miąższości wielkiej» (7 июля 1618).

Объективность повествователя обеспечивает отражение в дневнике и успешных действий войск противника («dała się znać dobrze Moskwa naszym; legło kilkadziesiąt pacholików», 5 декабря 1617), и сопротивления москвичей («Skoro nas tedy obaczyli Moskwa poczęli palić cerkwie poblizsze», 30 июля 1618), и неожиданно хорошего обращения русской стороны с польским послом («Rydzica, który i dobrze był nad spodziewanie traktowany»).

Автор обнаруживает свою осведомленность в применяемых противником методах организации обороны, как свидетельствует запись от 30 сентября 1617 г., посвященная осаде Дрогобыча («sama matka Michalka, która wszystkim rządziła tam dwieście synów bojarskich dzieci posłała, i żony im wzięwszy in obsides a strzelcom obiecawszy bojarskie prawa i włości»); в личных связях русских политических деятелей (князь Борис Михайлович Лыков, «który ciotkę pojąwszy Michalka był jego wszytek faciej» — 11 июля 1618). Собеский пытается понять



закулисные пружины действий противника, внимательно вчитываясь в корреспонденцию и догадываясь о ее подлинном авторстве: «Czytano hramoty moskiewskie z Drohobuża od wojewody Iwana Ododura barzo uporne i przeraźliwe, ale znać z stolicy była kopia mu napisana, listy także do Pana hetmana i od stryja Michałkowego strony więźniów wypuszczenia, w których nie przyznawając za Pana Królewicza pokoju jednak żądali i miejsce o traktaty o więźnie między Toropcem a Wielizem naznaczyli. Znać jednak było, że sama to tam factia sprawowała Michałka, wzięwszy od bojar pieczęć, taż pisała i te z Drohobuża listy» (1 октября, 1617).

Упоминая некоторые свойства национального характера, какими они могли представляться стороннему наблюдателю, Собеский отмечает «trudność dla uporu tego narodu», склонность русских послов к пышным одежам: «more suo właśnie jako na komedią jaką upstrzyli się i postroili byli, a dworu wszytkiego Carskiego florem przy sobie nam na ten czas ukazali». Вместе с тем в дневнике Собеского отсутствуют обобщенные оценки национального характера, подобные встречающимся в других его текстах описаниям французов (легкомысленные, переменчивые, болтливые, и т. п.), поляков (склонные к ссорам, сплетням, обладающие дурными манерами, и т. д.)<sup>48</sup>.

Автор способен отмечать достоинства противника («Złączyła się Moskwa czternaście chorągwi od Mastruka, <...> byli tam ludzie przedni barzo i komunni Smolanie zwłaszcza, którzy z Sołtikowem od Króla uciekli byli i dworu carskiego był flos» — 15 июля 1618; «dostali i więźnia Bezobrazowa zasnego słachcica; bojarzyna moskiewskiego»), демонстрируя, что для него русские — отнюдь не единая варварская масса, но, особенно в тех случаях, когда они склонны принять польскую сторону, заслуживают высокой оценки: «Zarudzkiego człowieka na wojnach tych moskiewskich z nami w dziele rycerskim barzo sławnego», «Kruow Moskwiczin sprawny», «Mesczeryn człowiek rycerski i wierny bojarzyn».

Воюющие стороны ведут между собой переговоры, иногда выходящие за рамки непосредственно обсуждаемых вопросов и затрагивающие общее положение: так, например, приехавший из Можайска для переговоров об обмене пленными<sup>49</sup> русский гонец предоставляет и доверительные сведения («siła in confidentia powiedział»), в том числе — «o nierządzie impotentiej wielkiej moskiewskiej» (18 марта 1618). В дневнике отразилось и стремление обеих договаривающихся сторон к сближению тактики поведения: «Odprawiono tedy Łykowego posłannika niesmacznie, że i naszego gończyka do miasta do siebie nie puścił i długo go zatrzymał» (2 апреля 1618); «Animose tam stawali i nie perturbowali się acclamatiami i wołaniem naszych, powiedając na to, że co chcecie to mówicie bo wam wolno, a nam też także» (4 апреля 1618).

Жестокость военных действий и трудности переговорного процесса получают в дневнике Собеского довольно широкое отражение: «*Exprobatia ich nieprawdy zdrad jako oni interim kiedy to z dobrym dzile poslom nam i mówić każą, ludzie pod ludzie wysyłają, tak z Możajska jako i z Białej i naszych więcej niż sto więźniów tyrańsko i nie po chrześcijańsku zatopili, a tośmy im ukazali z hramoty co była do Borysa Anareiwicza Chiłkowa wojewody na Białej z Stolicy, na co i więźnie ad verificandum przywodzono. Oni temu wrzкомо nie chcieli wierzyć i tak negando tylko zbyli» (9 апреля 1618); «*my zaś potym widząc że z nimi sprawa trudna, z tym deklarowaliśmy się, że jeżeli tak nie chcą, więc my przy swym zostaniem cośmy wzięli, a oni przy swoim, a inducie niech będą na trzy lata, i na to odpowiedzieli że resolutiej nie mieli od bojar i do nich odłożyli (6 ноября 1618)»; «*Tam P. kanclerz, rozgniewany począł i łajac ich Michalka i im grozić, protestując się że nic nie ustąpimy z zamków Siewierskiej Ziemi. Potym wzięli na swoje colloquium, odwiodszy się sami i przyjechali do nas, odpowiedzieli że bez bojar to uczynić nie mogą, ale to mieli im referować, żeśmy się na tym Siewierze zasadzili (4 ноября 1618). Неуступчивость московских послов делает их, в оценке польской стороны, виновниками продолжения военных действий: «*przed niemi protestowawszy się P. kanclerz, Boga i Aniołom jego, że oni autores będą uporem swym wojny» (2 ноября 1618).****

Переговоры осложнялись проблемами, встававшими перед обеими сторонами, о чем автор пишет без обиняков, демонстрируя свою осведомленность: *Tegoż dnia w Stolicy był wielki tumult od Sibiru na bojary, że tergiversowali w traktowaniu, a Królewicz interim w głąb szedł aż in penetratia Carstwa, sam Michalek dla tego tumultu, pokazać się nie śmiał, przez kniazia Janczyna populum mitigował, ale i ten zdesperowany, aż sama Marpha Matka Michalkowa ledwo ich umitigowała prośbą swoją, aby się nie buntowali» (6 ноября 1618).*

Стремящийся к объективному и всестороннему отражению событий, Собеский не укрывает и конфликтов внутри польского лагеря: «*Królewicz nas zwoławszy cuius consilio et instinctu, nie wiemy, począł czynić invectivy żeśmy on jako o charta traktowali, że dłużej wielkopiątkowe kazanie bywa, żeśmy go odstąpili, żałował że na diploma się w Warszawie podpisał»; «*nam żołnierze dokuczali, czego baliśmy się aby się Moskwa nie dowiedziawszy potym w traktatach trudniejszą nie była» (18 ноября 1618).**

Процесс заключения деулинского перемирия подан Собеским уже как вполне дружелюбная встреча, отличная от предыдущих, в связи с которой происходит и мирный контакт войск: «*już jednak confidentius o rzeczach traktując niż pod Stolicą bo i z koniśmy zsiadali i w jednej chacie, u jednegosz stołu umawialiśmy się z sobą, piechota nasza*

z ich strzelcami miszali się i jezda nasza z ich jezda, już się po przyjacielsku zjeżdżali» (6 декабря 1618). После подписания договора «по-польски» и «по-московски» между послами возникает уже совершенно дружеское общение («Potem częstowaliśmy ich konfektami i siedzieliśmy z sobą więcej niż pół godziny, rozmawiając już z sobą po przyjacielsku, et inter serio żarty mieszając»), вслед за чем между только что воевавшими сторонами незамедлительно восстанавливаются торговые отношения, включающие традиционные товары: «Nastąpiły zaraz commercium między naszymi i Moskwą, naszy do Troycy jechali futra u Moskwy kupując, oni zaś do pułków naszych, koni także a mianowicie podjezdaków u nas dostawając» (15 декабря 1618).

Особое место в дневнике занимает описание столицы Московского государства. Если Немоевский подчеркивает различие между первым и последующим впечатлением от размеров города («На первый взгляд въезжающему в город столица кажется очень громадной, но по въезде можно заметить, как много места занимает каждый двор; в дворах немалые огороды»), отмечая, однако, что «огромное количество церквей — 700, как сами они считают, и монастырей указывает на обширность города», а строения внутри Кремля свидетельствуют о «пышном великолепии», что подтверждает и Маскевич, предваря свой рассказ о разрушении города («Церквей везде было множество и каменных и деревянных; в ушах гудело, когда трезвонили во все колокола. И все это мы в три дня обратили в пепел»<sup>50</sup>), то польские послы у Димитрия, хваставшегося, «что в Польше нет такого обширного города», замечали: «Правда, что город обширен <...>, но позволю сказать тебе, Государь, что только Кремль, укрепленный каменною стеною с зубцами и башнями, можно назвать городом»<sup>51</sup>. Впечатления Якуба Собеского от Москвы значительно более восторженные:

«Tu trudno przestąpić situm i pozor stolicy. Co oboje inter pulcherrima orbis terrarum liczyć się może. Leży w haniebnie srodze wielkiej równinie, lasów ani puszcz blisko koło siebie nigdzie nie ma, tylko niski jałowiec; około niej zewsząd jako zajazdy jakie, manastery i cerkwie murowane świącą się, pod nią trzy rzeki przednie idą, Moskwa, Jauza, Nieglinna, oprócz derewiennego horodu jako z wali to jest nie murem ale parkanem opasanego, który był barzo wielki, i przeszłych wojen spalony, ma w sobie troje mury i trzy wielkie miasta, białe mury miąszsze barzo, które pewnie na mile dobrą ambitum mają w sobie, drugi mur czerwony tak zowią dla cegły, a w nim miasto Kitaygrad, trzeci mur, w którym Krimgrad jest miasto kędy. Carowie mieszkają sami, wszystkie te miasta jako osobne mury mają, tak i wieże, i bramy, pełno w nich manasterów i cerkiew murowanych, niektóre są cerkwie z wżłocistemi wierchami, owo rozumiem że trudno na świecie widzieć miasta takiego, które by pozor-

niejsze ab extra i piękniejsze przy takiej wielkości być miało, wewnątrz drewniane są domy i dwory, oprócz w Carskim pałacu samym jest muru sztuka».

В дневнике Собеского присутствует и еще один постоянный для описания Руси мотив — суровой русской зимы: «Tak wielkie mrozy, ku granicy naszej, barzo spustoszone kraje considerując, puściliśmy się różnemi stronami. <...> dla ciasności derewien roznośmy stawali, srogiego zimna ucirpiwszy, dla którego ludzi siła padając po drogach umierało, nie stało nam potym i żywności, skorośmy na spustoszone kraje przyszli, że nam siłom i wodę śnieżną przychodziło pić, wielki nam był impediment i śniegi srogie, przez któreśmy się z wielką pracą i fatywą naszą i koni przebijali». Этот мотив представил в дневниковых описаниях сурового климата Сибири, куда были сосланы уже во второй половине XVII в. многочисленные попавшие в русский плен поляки («tam naszych jest gwałt <...> wielką biedę cierpią»), Адам Каменьский Длужик («Diariusz więzienia moskiewskiego, miast i miejsc»), проводивший в ссылке несколько лет («Było tej biedy lat półczwarta ...krom nieba i ziemi niceśmy nie widzieli»).

Очевидно в польском обществе того времени существовал спрос на подобные «правдивые» рассказы о «Москве», с которыми многие выступали без достаточных на то оснований, о чем можно судить по критике подобных попыток с негодными средствами, например, у Вацлава Потоцкого: «Siłaż ich dziś powiada, że byli za Wolgą, / Ale wiary nie mają u nikogo, bo lga; / Przesłużywszy dwie lecie wojnę, w jednej zimie / Ledwie że o Smoleńsku słyżał i o Krymie» («Poczet herbów szlachty Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego», 1683–1695).

Как представляется, идея верификации представлений о Руси со временем все более утверждается в посвященных этой теме польских памятниках разных жанров, относящихся как к литературе, так и к исторической прозе дневникового характера, бесспорно стоящей, как можно судить, в частности, на основании московского дневника Якуба Собеского, чрезвычайно далеко от попыток мифологизации или демонизации «Москвы», от однозначности оценок, создающей достаточно объемный и яркий образ, причудливое сочетание варварства и изысканности, грубости нравов и мастерства.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 См., например: *Флоря Б. Н.* Русско-польские отношения и политическое развитие Восточной Европы во второй половине XVI — начале XVII вв. М., 1978; *Tazbir J.* W zwierciadle trzech epok // *Polaków portret własny.* Kraków, 1979; *Заборовский Л. В.* Россия, Речь Посполитая и Швеция в середи-



- не XVII в. М., 1981; *Кеґи́нски А.* Lach i Moskal. Z dziejów stereotypu. Warszawa; Kraków, 1990. *Giza А.* Polaczkowie i Moskale — wzajemny ogląd w krzywym zwierciadle (1800–1917). Szczecin, 1993; Культурные связи России и Польши XI–XX вв. — *Związki kulturalne między Polską a Rosją XI–XX w.* М., 1998; Поляки и русские в глазах друг друга. М., 2000; Polacy w oczach Rosjan — Rosjanie w oczach Polaków / Red. R. Bobryk, J. Faryno. Warszawa, 2000; Поляки и русские: взаимопонимание и взаимопонимание. М., 2000.
- <sup>2</sup> *Bystroń J. St.* Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI–XVIII / Wstęp J. Tazbira. Warszawa, 1994. T. I. S. 130.
- <sup>3</sup> *Герберштейн Сигизмунд.* Записки о Московии / Отв. ред. В. Л. Янин / Пер. А. И. Маленна и А. В. Назаренко / Вступ. ст. А. Л. Хорошкевич. М., 1988. С. 55.
- <sup>4</sup> *Maciej z Miechowa.* Opis Sarmacji Azjatyckiej i Europejskiej / Wstęp H. Barycza / Tłum. z jęz. łac. i kom. T. Bieńkowskiego. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1972; *Меховский Матвей.* Трактат о двух Сарматиях / Введ., пер. и коммент. С. А. Аннинского. М.; Л., 1936. См.: *Флоря Б. Н.* Об одном из источников «Трактата о двух Сарматиях» Матвея Меховского // Советское славяноведение. 1965. № 2. С. 52–64.
- <sup>5</sup> См., например: *Герберштейн Сигизмунд.* Указ. соч. С. 165, 222.
- <sup>6</sup> Там же. С. 55.
- <sup>7</sup> *Wied Antonius.* [Inscriptio tabulae Moscoviae] // Россия в первой половине XVI в.: взгляд из Европы / Сост., вводи. ст., примеч. О. Ф. Кудряцева. М., 1997. С. 307–316.
- <sup>8</sup> См. об этом: *Граля И.* Иван Михайлов Висковатый. Карьера государственного деятеля в России XVI в. М., 1994. С. 363, 367.
- <sup>9</sup> *Гваньини Александр.* Полное и правдивое описание всех областей, подчиненных монарху Московии... // Иностранцы о древней Москве. Москва XV–XVII вв. / Сост. М. М. Сухман. М., 1991. С. 83–84.
- <sup>10</sup> *Герберштейн Сигизмунд.* Записки о Московии... С. 273. Ср. у Кохановского: «Car Moskiewski <...> chciał świata wszystkiemu / Groźnym być: wszystkie lekce Króle Krześcijańskie / Uważając przy sobie, także i Pohańskie». — *Kochanowski Jan.* Jezda do Moskwy // *Dzieła wszystkie.* Wyd. Pomykowie. Warszawa, 1884. T. 2. S. 312. Далее цитаты из Кохановского приводятся по этому изданию.
- <sup>11</sup> *Górnicki L.* Dworzanin polski / Wyd. R. Pollak. Wrocław, 1954. S. 424.
- <sup>12</sup> *Heidensteinii Reinholdi,* secretarii regii de bello Moscovitico commentatotium libri sex. Kraków, 1584; *Гейденштейн Рейнгольд.* Записки о Московской войне (1578–1582) / Пер. с лат. СПб., 1889; *Heidenstein Reinhold.* Pamiętniki wojny moskiewskiej w 6 księgach / Przekł. J. Czubka. Lwów. 1894.

- 13 *Литвин Михалон*. О правах татар, литовцев и москвитян / Пер. В. И. Матузовой. Отв. ред. А. Л. Хорошкевич. М., 1994. С. 72, 85, 89, 91.
- 14 *Antologia poezji polsko-lacińskiej 1470–1543 / Wstęp i opr. A. Jelicz. Szczecin, 1985. S. 155–156.*
- 15 Павла Йовия Новокомского книга о посольстве Василия, великого князя Московского, к папе Клименту VII // Россия в первой половине XVI в.: взгляд из Европы / Сост., авт. вводн. ст., примеч. О. Ф. Кудрявцев. М., 1997. С. 260–261. См.: также: *Граля И.* Мотивы «оршанского триумфа» в ягеллонской пропаганде // Проблемы отечественной истории и культуры периода феодализма. Чтения памяти В. Б. Кобринна. М., 1992. С. 46–50.
- 16 Эта песнь, очевидно написанная в военном лагере, откуда войска под предводительством Сигизмунда Августа должны были двинуться на Москву (см.: *Kochanowski Jan. Dzieła wszystkie*. Op. cit. S. 283), дала основание автору статьи о Кохановском в авторитетном энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона считать польского поэта непосредственным участником московского похода 1568 г. См.: *Новый энциклопедический словарь*. Изд. Брокгауз–Ефрон. Пг., 6 г. Т. 23.
- 17 *Pelc J. Jan Kochanowski. Szczyt Renesansu w literaturze polskiej*. Warszawa, 1987. S. 480–481. Ср. также комментарий А. Павлинского к публикации поэмы, освещающий ее тесную связь с дневником в: *Kochanowski Jan. Dzieła wszystkie*. Op. cit. S. 305–308; *Мочалова В.* Historia sub specie litteraturae // *Necessitas et ars. Studia Staropolskie dedykowane Profesorowi Januszowi Pelcowi*. Warszawa, 1993. S. 37–39.
- 18 См. об этом: *Basaj M.* Stosunek Kochanowskiego do wyrazów z języków słowiańskich // *Jan Kochanowski. 1584–1984. Epoka – Twórczość – Recepcja*. Lublin, 1989. T. 1. S. 523–528.
- 19 *Górnicki Ł.* Dworzanin polski... S. 218–219. См.: *Krzyżanowski J.* Dokola Norwidowej paraboli o zamazłym słowie // *Ruch Literacki*. 1930.
- 20 *Górnicki Ł.* Dworzanin polski. S. 91. Кшижановский, однако, склонен интерпретировать поговорку «Czeka jak Moskwa czasu na przedanie soboli» как описание нетерпения, а не как намек на сомнительность транзакции, производимой не при дневном свете. По мнению исследователя, Адальберг не включил эту поговорку в свое собрание по цензурным соображениям. — *Krzyżanowski J.* Mądrej głowie dość dwie słowie. Warszawa, 1975. Wyd. 3. T. II. S. 166.
- 21 *Литвин Михалон*. Указ. соч. С. 76.
- 22 *Соловьев С. М.* История России с древнейших времен. М., 1961. Кн. V. Т. 10. С. 563.
- 23 См., в частности: *Pielgrzymowski Elias.* Diariusz poselstwa Lwa Sapiehy do Borysa Godunowa w 1600 // *Poselstwo Lwa Sapiehy w 1600 do Moskwy /*

- Wyd. W. Trębicki. Grodno, 1846; *Таннер Бернгард*. Описание путешествия польского посольства в Москву в 1678 г. М., 1891.
- 24 См.: *Муханов П. А.* Подлинные свидетельства о взаимных отношениях России и Польши, преимущественно во время Самозванцев. М., 1834; *Hirschberg A.* Polska a Moskwa w pierwszej polowie wieku XVII. Lwów, 1901; *Платонов С. Ф.* Москва и Запад в XVI–XVII веках. Л., 1925. С. 56.
- 25 *Котошихин Григорий*. О Московском государстве в середине XVII столетия // Памятники литература Древней Руси. XVII век. Книга вторая / Сост. и ред. Л. А. Дмитриева, Д. С. Лихачева. М., 1989. С. 252–254.
- 26 *Сумароков А.* Димитрий Самозванец // Русская драматургия XVIII века / Сост., вступ. ст., коммент. Г. Н. Моисеевой. М., 1986. С. 80–81.
- 27 *Zólkiewski St.* Początek i progres wojny moskiewskiej (1612) / Wyd. K. Slotwiński. Lwów, 1833 (рус. пер.: Рукопись Жулкевского. Начало и успех московской войны / Пер. П. А. Муханова. М., 1835; СПб., 1871).
- 28 *Pamiętnik St. Niemojewskiego (1606–1608)* / Wyd. A. Hirschberg. Lwów, 1899. Отдельный фрагмент дневника, содержащий «Описание столичного города Москвы и замка, а также расположения» см. в: *Pisarze polskiego Odrodzenia o sztuce* / Red. W. Tomkiewicz. Warszawa, 1955. См. также: *Записки Станислава Немоевского. 1606–1608* // *Титов А. А.* Рукописи славянские и русские, принадлежащие И. А. Вахрамееву. М., 1907. Вып. 6; *Флоря Б. С.* Немоевский о Русском государстве и обществе XVI – начала XVII вв. // *Russia Mediaevalis*. Т. IX. S. 105–114.
- 29 *Marchocki M.* Historia wojny moskiewskiej (1602–1612). Poznań, 1841.
- 30 Его дневники (*Diariusz z lat 1594–1621*) издавались несколько раз: *Pamiętniki do historii Rosji i Polski wieku XVI i XVII* / Wyd. J. Zakrzewski. Wilno, 1838; *Pamiętniki Samuela i Bogusława Kazimierza Maskiewiczów. Wiek XVII* / Wyd. A. Sajkowski. Wrocław, 1961. Рус. пер. см. в: *Устрялов Н. Г.* Сказания современников о Димитрии Самозванце. СПб., 1834; 1859. Т. 5.
- 31 *Устрялов Н. Г.* Сказания современников о Димитрии Самозванце. СПб., 1834. Ч. 4. С. 1–109; *Муханов П. А.* Подлинные свидетельства о взаимных отношениях России и Польши, преимущественно во время Самозванцев. М., 1834. С. 189–204; *Дневник Марины Мнишек* / Пер. В. Н. Козлякова. Отв. ред. Д. М. Буланин. Серия: *Studiorum Slavicorum Monumenta*. СПб., 1995. Т. 9.
- 32 *Diariusz ekspedycyjej moskiewskiej dwuletniej królewica Władysława Anno domini MDCXVII pisany przez JMP. Jakuba Sobieskiego komisarza tejże ekspedycyjej*. Рукопись памятника хранится в Библиотеке Чарторьских, № 2763. Фрагменты опубликованы в: *Malewska H.* Listy staropolskie z epoki Wazów. Warszawa, 1959. По сведениям участника этого похода,

- Ежи Оссолинського, рукопись дневника Собеского была сожжена по приказу Сигизмунда III (Nowy Korbut. Bibliografia literatury polskiej. Piśmiennictwo staropolskie / Opr. pod kier. R. Pollaka. Warszawa, 1965. Т. 3. S. 258). Об отсутствии внимания исследователей к этому памятнику свидетельствует не только его продолжающееся рукописное существование, но и, например, игнорирование его в монографии, посвященной старопольским дневникам путешествий (*Dziechcińska H.* O staropolskich dziennikach podróży. Warszawa, 1991).
- 33 Commentatorium Chotiniensis belli libri tres. Gdańsk, 1646.
- 34 Дневник Маскевича 1594–1621 годов // Иностранцы о древней Москве... С. 260–261.
- 35 *Pielgrzymowski Elias.* Poselstwo i krótkie spisanie rozprawy z Moskwą i traktatów w roku 1601... // *Brückner A.* Źródła do dziejów literatury i oświaty polskiej. IX. Wiersze historyczne. Biblioteka Warszawska. 1896. Т. 1.
- 36 *Pielgrzymowski Elias.* Diariusz poselstwa Lwa Sapiehy do Borysa Godunowa w 1600 // Poselstwo Lwa Sapiehy w 1600 do Moskwy / Wyd. W. Trębicki. Grodno, 1846.
- 37 «On ci to nasz słowiański Wirgili dowcipny, Maro polski, Samuel cny Twardowski z Skrzypny, Którego heroiczna Muza jest tej cery, że przeszła Enniusze i chlubne Homery» (*Kochowski W.* Nagrobek Samuelowi z Skrzypny Twardowskiemu, Wirgiliuszowi słowiańskiemu // *Kochowski W.* Utwory poetyckie. Wybór / Opr. M. Eustachiewicz. Wrocław, 1991. S. 243).
- 38 *Twardowski Samuel.* Przeważna legacyja / Wyd. R. Krzywy. Warszawa, 2000. Стоит отметить, что здесь содержатся упоминания и о русских реалиях: «богатом Новгороде» (I, 93), московских походах (I, 299–324), не соблюдающем перемирия заносчивом москале (I, 490–491). Русская тема присутствует и в таких произведениях Твардовского, как «Wojna domowa z Kozaki i Tataru, Moskwą...», издававшаяся частями и полностью в разные годы (с 1651 по 1681 гг., рус. пер. С. Савицкого — 1718 г.). Этим произведением как одним из источников пользовался С. М. Соловьев (см.: *Соловьев С. М.* История России с древнейших времен... С. 558, 690).
- 39 Дневники этих и более позднего (1638) путешествий, приобретшие окончательный вид уже после возвращения автора на родину, два столетия оставались в рукописи (Dwie podróże Jakuba Sobieskiego odbyte po krajach europejskich w latach 1607–1613 i 1638 / Wyd. E. Raczyński. Poznań, 1833; Reszty rękopisu Jakuba Sobieskiego, ojca króla Jana III, obejmującego jego podróże, odbyte w latach 1613 i 1638 / Z autografu wyd. A. Kraushar // Ognisko, 1902. Отдельное издание: Warszawa, 1903).
- 40 См.: Путешествие в Московию барона Августина Мейерберга <...> к царю и великому князю Алексею Михайловичу в 1661 году, описанное са-



- ним бароном Мейербергом // Утверждение династии / Сост. А. Либерман. Сер. «История России и дома Романовых в мемуарах современников XVII–XX». М., 1997. С. 48–49; *Kochowski Wespazyan. Annalum Poloniae ab obitu Vladislai IV Climacter primus. Cracoviae, 1683.* S. 182; *Соловьев С. М.* История России с древнейших времен... С. 558–564.
- 41 Эпитет *gruby* применительно к жителю Московского государства достаточно распространен в польской литературе того времени. — Ср.: «*Gruba Moskwa*» у Веспасиана Коховского («*Triumf po zwyciestwie pod Czudnowem*», 1665).
- 42 *Potocki W. Wojna chocimska* / Wyd. P. Chmielowski. Warszawa, 1880. S. 59–60. Этот эпизод упоминается и во вступлении к поэме: «е в конце концов по указу варшавского сейма сожгли с позором для нашего народа, в качестве дани москалю». Согласно другим источникам, в целях удовлетворения русских требований имело место лишь символическое сожжение некоторых страниц книги, а не всей ее целиком. — См.: *Kubala L. Poselstwo Puszkina w Polsce // Szkice historyczne.* Kraków, 1896. Ser. I. Wyd. 3. S. 231. Ср. также: *Соловьев С. М.* История России с древнейших времен... С. 564. Собственное произведение Потоцкого — панегирик Япу Собескому (1676) — по тем же причинам вызвало гнев московской дипломатии и стало причиной демарша как в год своего издания, так и в 1686 г. — См.: *Николаев С. И.* Польская поэзия в русских переводах (XVII–XVIII вв.). Л., 1989. С. 37–41; *Potocki Wacław. Muza Polska* / Wyd. A. Karpiński. Warszawa, 1996. S. 7–8.
- 43 Ср.:  
 ...Władysław do nich przychodzi,  
 Zaczyn jako przysięgli, y jako się godzi  
 Pana swego przyjmować powinność tę znali,  
 Ale o tym y mówić z sobą już nie dali...  
 ...Kiedy tam nie czuli  
 Nad sobą już nikogo, a obraz wyzuli  
 Wszytek y wstyd, y cnotę, na miejsce naszego  
 Michajła Fedorowicza obrawszy inszego  
 Sobie Cara...
- (*Samuel Twardowski.*  
 Władysław IV król szwedzki i polski.  
 Leszno, 1649. S. 47).
- 44 Это воспринималось русскими как оскорбление — ср. в речи московских послов в 1650 г.: «...Великого государя бесчестить, москвитинном называть». — *Соловьев С. М.* История России с древнейших времен... С. 559. Применение топонима в функции этнонима призвано, как представляется, подчеркнуть и сомнительность территориальных притязаний русского правителя, в то время как, по наблюдениям Я. Д. Исаевича, этноним «поляк» употреблялся как политоним, в духе «государственного» патриотизма,

- что согласовывалось с идеологическим обоснованием экспансии польского государства на восток. — *Исаевич Я. Д.* Этническое самосознание польской народности в XII–XIV вв. // Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху зрелого феодализма. М., 1989. С. 277.
- 45 См.: *Wierzbicka A.* Semantics, culture and cognition: Universal human concepts in culture-specific configurations. New York, 1992; *Вежбицкая А.* Понимание культур через посредство ключевых слов. М., 2001. С. 35–38.
- 46 Instrukcja Jakuba Sobieskiego, Wojewody ruskiego, dana synom jadącym do Paryża. Warszawa, 1833. S. 11.
- 47 Pamiętnik Stanisława Niemojewskiego... S. 172–173.
- 48 Instrukcja Jakuba Sobieskiego... S. 10–11.
- 49 Примечательно, что в обмен на троих поляков противная сторона требует отдать шестерых («trzech bojarskich synów a trzech Tatarów»), в то время как польская сторона настаивает на равной замене («aby głowę za głowę dać» — 20 марта 1618). Ср. запись от 26 мая того же года: «Przyjechał tegoż dnia właśnie gończyk od Łykowa do Pana hetmana strony więźniów zamiany, za czterech naszych chcąc dwunastu i to przedniejszych».
- 50 Дневник Маскевича 1594–1621 годов // Иностранцы о древней Москве... С. 265.
- 51 Цит. по: *Булгарин Ф.* Димитрий Самозванец // ПСС. СПб., 1842. Т. 2. С. 302–305.

## Станислав Август и Н. В. Репнин: преломление личного опыта и формирование стереотипного восприятия

---

Судьбы последнего польского короля Станислава Августа и российского посла в Речи Посполитой в 1763–1769 гг. Н. В. Репнина оказались весьма тесно связанными между собой. Репнин был одним из наиболее влиятельных участников избрания на трон С. Понятовского — стольника литовского, в 1764 г. Спустя 30 лет, в декабре 1794 г., Екатерина II поручила генерал-аншефу Репнину, тогдашнему русскому наместнику в Литве, принять в Гродно Станислава Августа и склонить польского короля к отречению от престола, а также убедить его не сопротивляться третьему разделу Польши, означавшему ликвидацию шляхетской Речи Посполитой.

Уже в глазах поляков-современников российский посол представлялся злым гением Польши, о чем свидетельствовали решения Сенатского совета 1769 г. и воспоминания С. Любомирского, не говоря уж о публицистике барских конфедератов и сочинении сочувствовавшего им К. Рюльера<sup>1</sup>. Позже такой образ прочно вошел в польскую историографию<sup>2</sup>. Подобная оценка деятельности Репнина имеет достаточно оснований. Можно упомянуть хотя бы депешу посла от 11 декабря / 30 ноября 1768 г., в которой тот впервые выдвигал идею первого раздела Польши<sup>3</sup>. В современной польской историографии политическая роль Репнина справедливо оценивается в контексте русской политики в отношении Польши в 60-е гг. XVIII в., когда посол последовательно и настойчиво проводил в жизнь политические планы Петербурга, а его собственная роль была определена инструкциями Н. И. Панина и Екатерины II<sup>4</sup>.

Однако, несмотря на это, изучение политических и личных взаимоотношений Станислава Августа и Н. В. Репнина представляет, на наш взгляд, несомненный интерес, во-первых, потому, что в обширнейшей литературе, посвященной истории станиславовской эпохи,

тема эта практически не затрагивается<sup>5</sup>, а научная биография Н. В. Репнина отсутствует даже в русской историографии<sup>6</sup>. Из всех исследователей наиболее близко к поставленной проблеме подошел С. М. Соловьев, но и его наблюдения и выводы в данном вопросе страдают некоторой поверхностностью<sup>7</sup>. Во-вторых, личные взаимоотношения короля и русского посла не могут быть ни по существу, ни источниковедчески отделены от взаимоотношений политических, которые вместе играли немаловажную роль в истории обеих стран во второй половине XVIII века.

В предлагаемой вниманию читателя статье мы хотели бы рассмотреть историю личных взаимоотношений Станислава Августа и Н. В. Репнина, чтобы сопоставить ее со сложившимся в общественном мнении и в историографии образом русского посла в Польше. Такое сравнение, по нашему мнению, позволит осветить особенности формирования стереотипа восприятия в общественном сознании образа политического деятеля, что представляется весьма существенным с точки зрения изучения соотношения объективных и субъективных факторов политического процесса.

В распоряжении исследователей нет источников, специально относящихся к поставленной проблеме (дневников, личной корреспонденции и т. п.), мемуары Станислава Августа также хранят молчание о его личных взаимоотношениях с Репниным. Однако обстоятельнейшие депеши посла 1764–1769 гг. в фондах Архива внешней политики Российской империи в Москве позволяют сделать некоторые, по нашему мнению, немаловажные наблюдения относительно личной позиции Станислава Августа и Репнина в наиболее важных политических вопросах, показать, как проявились в политике свойства их характеров и мировоззрения, что позволило бы сопоставить результаты этих наблюдений со сформировавшимися в исторической памяти народов Польши и России образами последнего польского короля и русского посла, на которых в общественном мнении в значительной степени возлагается ответственность за гибель польско-литовской шляхетской республики.

## I

По своему возрасту, общественному положению и воспитанию С. Понятовский и Н. В. Репнин были весьма близки друг другу. Оба они принадлежали к «золотой молодежи» своего времени, как потомки знатных и чиновных родов они с молодых лет предназначались для блистательной карьеры, обладали широким «европейским» кругозором.



Главное же отличие в становлении Станислава Августа и Н. В. Репнина как политиков состояло, на наш взгляд, в том, что жизненный путь первого был изначально связан с деятельностью публичного политика в шляхетской республике, переживавшей полосу перманентного политического кризиса, в то время как второго с детства готовили к службе в бюрократическом аппарате Российской империи; характер которого формировали писанные и неписанные нормы военной службы. Где бы ни служил Репнин: по ведомству иностранных дел или в качестве губернатора, он всегда оставался прежде всего боевым генералом. Эта роль была возложена на него и в 1764–1769 гг. в Польше, где Репнин одновременно являлся и послом, и главнокомандующим русскими войсками. Опыт генерала, по понятным причинам, не был знаком Станиславу Августу, а привыкший командовать полками и дивизиями посол не всегда мог найти верный тон общения с сеймиками и сеймом в Речи Посполитой.

Еще одно принципиальное отличие в судьбах и характерах молодых людей, а в 60-е годы XVIII в. Станиславу Августу и Репнину не исполнилось еще и сорока лет, оставившее в их отношениях неизгладимый след, заключалось в присутствии в их сознании и мировоззрении особого нравственного императива, названного Е. Михальским применительно к польскому королю «комплексом ставленника», а применительно к Репнину таковой может быть назван «комплексом наместника». По нашему мнению, он был свойственен русскому послу, метко названному в современной польской оппозиционной публицистике «проконсулом». Все это в известной мере питало в политике и характере Станислава Августа склонность к компромиссам, выжидательную пассивность, внутреннюю готовность смириться с обстоятельствами. Напротив, в Репнине преобладала жесткая решительность, нередко граничившая с прямолинейностью, устремленность, невзирая на препятствия, к поставленной цели, в чем его недоброжелатели усматривали заносчивость. Такая манера поведения посла определялась не только внешними обстоятельствами, но и была созвучна его натуре, в то время как для польского короля была более характерна рефлексия, иногда переходящая в меланхолию, сопровождавшуюся ощущением одиночества и «отчаянности» своего положения. Однако применительно к обоим (королю и послу) названные особенности проявлялись в темпераменте, стиле поведения, наконец, находили отражение в тех или иных чертах их политической тактики, но они не сказывались на избранных ими политических принципах, которым и Станислав Август и Н. В. Репнин следовали неукоснительно на протяжении всей жизни. Но судьба распорядилась так, что для первого такими принципами были интересы Польши, а для второго — России.

Назначение Н. В. Репнина послом в Варшаву состоялось в ноябре 1763 г. после кончины польского короля Августа III и объявления бескоролья в Речи Посполитой. «Фамилия»\* и С. Понятовский с настроенностью ожидали нового посла и намекали на желательность его скорейшего отозвания. Однако, как писал Х. Шмитт, прибытие Репнина в Варшаву и его первая встреча со стольником литовским 22 декабря 1763 г. рассеяла опасения: русский посол сообщил С. Понятовскому, что Екатерина II повелела уверить его в своей «наисильнейшей помощи»<sup>8</sup>.

Видимо, тревога, предшествовавшая личному знакомству между С. Понятовским и Н. В. Репниным, быстро прошла и сменилась по крайней мере внешним взаимным расположением. Сообщая о конвокационном сейме в Варшаве, посол в самых лестных выражениях описывал Н. И. Панину действия стольника литовского<sup>9</sup>. Похвалы будущему королю звучали особенно подчеркнуто на фоне негативной оценки послом политических нравов магнатов и шляхты. Обращаясь к Панину, он писал, что тот «не может себе изобразить, сколь мало основания имеет почти генерально вся здешняя нация»<sup>10</sup>. Разумеется, положительные отзывы Репнина о «российском кандидате» на польский престол вполне могли быть продиктованы желанием посла самому произвести благоприятное впечатление в Петербурге, ибо там должны были бы встретить такое мнение с удовольствием, а также стремлением самого стольника литовского представить себя в лучшем свете в глазах Екатерины II, чему Репнин с готовностью содействовал. Тем не менее все это не могло не свидетельствовать об их взаимном расположении.

Доверительные отношения между Станиславом Августом и русским послом продолжились и после сейма элекции. Главным вопросом их бесед накануне коронационного сейма стала проблема реформ государственного строя Речи Посполитой<sup>11</sup>. 22/11 октября 1764 г. Репнин уведомлял Панина о своем разговоре с королем в связи с депешами, полученными Станиславом Августом от польского посла в Петербурге Ф. Ржевуского. Передавая его содержание, Репнин писал, что представленный в Петербурге мемориал польского посла «с уважением принят и что надежда ему (Ф. Ржевускому. — Б. Н.) подана о согласии на то, что в оном мемориале изъясняется». Поэтому Репнин

---

\* В XVIII в. так именовалась одна из магнатских группировок в Речи Посполитой. Во главе ее стояли князь Август и Михал Чарторьские. К «фамилии» принадлежал и Станислав Понятовский — будущий польский король. Это название по традиции закрепилось за группировкой Чарторьских и в историографии.

просил прислать инструкции относительно задуманного введения «множества голосов» на сеймиках и высказывает по этому поводу обстоятельные соображения: «...кажется, что опасного во всей перемене только то, чтоб тот пример не подал желанья и на сеймах такое же учреждение сделать». Примечательно, что, во-первых, посол высказался, хотя и с существенными оговорками, в пользу проведения реформы сеймиков, а, во-вторых, говоря о тактике короля при избрании послов на сейм, все же отдавал предпочтение проведению сеймиков множеством голосов, указывая, что малое число послов на сейме для русской политики «кажется опаснее».

Наконец, рассуждения Репнина, предлагаемые послом как свои собственные, по всей вероятности, принадлежали Станиславу Августу. Об этом свидетельствует упоминание в депеше о разговоре посла с королем по поводу мемориала Ржевуского, а также продемонстрированное Репниным довольно детальное знание практики проведения сеймиков. Это подтверждается контекстом и стилем депеши, в которой Репнин использовал неопределенно личную форму высказывания для передачи слов польского короля. К этому приему посол неоднократно прибегал и в дальнейшем. В его депешах, как правило, содержалось указание на действующее лицо или источник информации (магнаты, наша партия, угодные послы и т. п.). Неопределенно личная форма («не похотели», «здесь говорят» и другие аналогичные высказывания) использовалась русским послом для изложения позиции Станислава Августа, когда Репнин по каким-то соображениям не хотел прямо указать, что то или иное действие или высказывание принадлежит польскому королю.

В депеше № 58 от 7 ноября / 27 октября 1764 г. Н. В. Репнин вновь просит инструкций об изменении порядка сеймиков с добавлением вопроса об увеличении численности польских войск: «если об каком ни есть прибавлении войска здесь помышлять будут — и до какого числа то допускать, или совсем не позволять [...] PS. Если совсем никакого прибавления войска здесь высочайший наш двор дозволить не намерен, тоже и держания сеймиков множеством голосов, то считаю, — утверждал Репнин, — нужно об том точно отозваться с твердостью к графу Ржевускому, дабы он в своих доношениях то изъяснил».

Вплоть до начала декабря 1764 г. русское посольство не получало предписаний по поводу возможных реформ государственного строя и вооруженных сил Речи Посполитой. Однако Репнину мнение Петербурга было, несомненно, известно. Тем не менее посол вновь просил точно определить позицию русского правительства. Очевидно, что к этому его побудили разговоры со Станиславом Августом. При чем в депешах Репнина звучала и мысль о возможности положитель-

ного решения не только о сеймиках, но и об увеличении численности войск, о чем посол прямо спрашивал Н. И. Панина. С этой точки зрения настоятельные просьбы Репнина об инструкциях приобретали дополнительный смысл — они были призваны подтолкнуть Петербург к окончательному решению, которое, как рассчитывал Станислав Август накануне коронационного сейма, могло быть благоприятным для Польши. И в этом отношении корреспонденция русского посла в Варшаве была призвана оказать помощь королю в разъяснении сути предлагаемых преобразований, а королевские идеи, изложенные Репниным от своего имени, приобрели бы, таким образом, дополнительную убедительность.

Разумеется, сочувствие Н. В. Репнина преобразовательным планам Станислава Августа ни в коей мере не выходило за рамки определенной в Петербурге стратегии и тактики в отношении Польши. Однако в пределах своих возможностей и «долга службы» русский посол с пониманием относился к королевским проектам и пытался содействовать в получении согласия Екатерины II на их осуществление, что, беремась утверждать, было бы невозможно без доброжелательных личных взаимоотношений.

Об этом свидетельствовало и письмо Репнина о реакции Станислава Августа на отказ императрицы в проведении реформ. 3 декабря / 22 ноября 1764 г. посол сообщал Панину: «Ответ его (Станислава Августа. — Б. Н.) был — оскорбление наичувствительнейшее и печаль, понимая довольно, что без согласия её и. в. все учреждения не в пользу, но во вред обратятся». В будущем посол не раз писал в Петербург о своих разговорах с королем по самым острым вопросам, прибегая к самым образным выражениям, отражавшим драматизм возникавших ситуаций, но приведенная депеша осталась уникальной. В нескольких словах Репнин сумел передать трагическое ощущение обманутых надежд, горечь осознания неосуществимости задуманных планов, охвативших Станислава Августа, которых польский король не смог или не захотел скрыть от русского посла. В этих словах прозвучало и косвенное признание собственной вины за то, что иллюзорная вера в возможность преобразований поддерживалась русской дипломатией до той поры, пока нужда в ней не отпала, и смутное ощущение Репниным совершенной несправедливости, и слабая надежда, что с согласия Петербурга реформы все же могут быть проведены в будущем. Разговор этот конечно же не мог состояться в рамках холодного дипломатического протокола, да и сама депеша свидетельствовала о его неформальном характере. Едва ли подобная беседа могла бы иметь место между Станиславом Августом и кем-либо еще из русских дипломатов, даже приняв во внимание,



что в XVIII в. «прямодушие» считалось хорошим дипломатическим тоном. Поэтому можно заключить, что драматическая беседа польского короля и Репнина вечером 2 декабря 1764 г. произошла не просто между двумя политиками, но между людьми близкими по духу, способными к сопереживанию, личное расположение которых друг к другу столкнулось с жестоким испытанием, оказавшись в горниле антагонизма государственных интересов.

Поэтому, вероятно, не только из соображений политической целесообразности сохранения добрых отношений с польским королем и поддержания его авторитета среди шляхты Н. В. Репнин поступил вопреки инструкциям Екатерины II и Н. И. Панина, дав согласие на вывод из Польши русских войск после окончания коронационного сейма. 24/13 декабря 1764 г. посол уведомил Петербург, что накануне обсуждения на сейме диссидентского вопроса он объявил королю и магнатам, что войска не уйдут из Польши, пока требования России не будут исполнены. Однако видя, что этого никакими средствами достичь невозможно, Репнин согласился на просьбу короля объявить об отводе русских войск, надеясь, как писал посол, «возбудить благодарность в нации» и способствовать таким образом разрешению диссидентского дела. Как сообщал посол Панину, «видя страх короля» и «его преданность» императрице, он все же решился на вывод русских войск, за исключением отряда В. М. Долгорукова. В заключение депеши посол просил утвердить принятое решение<sup>12</sup>.

## II

В начале 1765 г. Репнин стал одним из инициаторов разжигания конфликта между Станиславом Августом и Чарторьскими<sup>13</sup>, посол доносил 6 марта / 23 февраля: «Что же касается до моего обращения с князьями Чарторьскими, то после сейма коронации, усомнясь в их прямодушии [...] о делах же я более с самим королем говорю». В той же депеше сообщалось о намерении братьев Станислава Августа образовать собственную партию<sup>14</sup>. Вопрос о роли русской дипломатии в конфликте короля со старшими членами «фамилии» был рассмотрен Э. Зелинской<sup>15</sup>. Для нас же важно только указать, что, как следует из депеши Репнина, посол поддержал сторону короля задолго до получения соответствующих инструкций из Петербурга. Содержание противоречий между Станиславом Августом и его дядями понималось польским королем и русским послом совершенно по-разному, но можно предположить, что в своем выборе, сделанном в известной мере независимо от предписаний из Петербурга, Репнин руководствовался и личными соображениями. Разумеется, довери-

тельность отношений Станислава Августа и Репнина с обеих сторон имела весьма определенные границы, продиктованные политическими интересами России и Польши, но все же даже в таком положении король и посол умели находить общий язык.

Так, во время польско-прусского конфликта из-за генеральной таможенной позиция Репнина была гораздо менее жесткой, чем точка зрения Петербурга. Посол в своих донесениях постоянно указывал Панину на опасения поляков по отношению к Фридриху II, уговаривал прусского посла Г. Бенуа содействовать смягчению позиции Берлина<sup>16</sup> и даже позволил себе критику в адрес ближайшего союзника России<sup>17</sup>.

Однако если в вопросе о реформах политического строя Речи Посполитой или же о привлечении Польши к проектируемой Н. И. Паниным «северной системе» позиция Репнина была строго детерминирована инструкциями из Петербурга, то в делах сугубо российско-польских, как то: подтверждение договора о вечном мире 1686 г. (трактата Гжимутовского) и о делимитации границы, а также о создании вновь пограничных судов, посол мог чувствовать себя более свободным, что создавало почву для соглашения со Станиславом Августом. Еще накануне коронационного сейма (рескрипт № 54 от 10 октября / 29 сентября 1764 г.)<sup>18</sup> урегулирование названных проблем предполагалось в рамках «особливого акта»<sup>19</sup>, переговоры о котором Репнин вел с королем без участия Чарторыских. На это указывает неопределенно личная форма изложения их содержания послом в депешах Н. И. Панину<sup>20</sup>. При этом, там где взаимопонимание было достигнуто, Репнин писал: *«согласился я с королем»*, *«король твердо уверяет»*, а в случае, когда возникали противоречия — *«они вмешивают в сие дело»*, *«опасаются здесь очень»*, *«трактат же им старый уничтожить не можно»*, *«гарантии також очень боятся»*. Подобные уловки посла явно указывали на его стремление выгородить Станислава Августа, подчеркнув его положительную роль, с точки зрения Петербурга, и возложив ответственность за сопротивление российским настояниям на неких не названных по имени людей (может быть — на Чарторыских). «Особливый акт» так и не был принят сеймом. Российской дипломатии пришлось удовольствоваться конституцией «О трактовании с петербургским двором»<sup>21</sup>, которая мало соответствовала требованиям Екатерины II, однако Репнин в донесении в Петербург выразил удовлетворение достигнутым компромиссом, повторив от своего имени слова Станислава Августа, что принятая сеймом конституция «также тверда, как и акт»<sup>22</sup>.

Сотрудничество польского короля и русского посла в вопросе о пограничных судах продолжилось и в 1765 г., когда Н. В. Репнин в

апреле представил в Петербург от своего имени проект их установления<sup>23</sup>. На участие в его составлении Станислава Августа указывает детальная проработка в проекте юридических деталей, соответствовавших польской системе судопроизводства, и глухое упоминание об имевшемся также проекте «здесьнего двора». О достаточно доверительных отношениях Репнина со Станиславом Августом в 1765 г. свидетельствуют донесения посла о ходе «монетного дела»<sup>24</sup>.

Главной задачей русской политики в Польше, согласно планам Екатерины II, было разрешение т. н. «диссидентского вопроса». Опасность его для русско-польских отношений, как это показал еще С. М. Соловьев, была для Н. В. Репнина очевидной. Историк даже называл посла, наряду с А. И. Бибиковым, противником диссидентской политики Петербурга<sup>25</sup>. Тем не менее, несмотря на то, что и Станислав Август, и Н. В. Репнин, будучи людьми «века Просвещения», в религиозных вопросах придерживались принципов веротерпимости, для них обоих было наиболее трудно по политическим соображениям найти взаимопонимание в деле диссидентов.

Тем более примечательно, что в 1765 г. такие попытки королем и послом были все же предприняты, когда Н. В. Репнин в определенной мере дистанцировался от миссии «нашего архирея» Г. Конисского или когда он попытался смягчить негативные для польско-русских отношений последствия волнений православных на Украине. 2 октября / 21 сентября 1765 г. Репнин писал Панину о составленных им и Станиславом Августом проектах решения «диссидентского вопроса»<sup>27</sup>. Не рассматривая детально содержание переговоров, хотелось бы указать на две принципиальные уступки, сделанные Репниным Станиславу Августу: во-первых, посол предлагал решить диссидентский вопрос поэтапно на двух сеймах, возможно, приписывая себе, как это делалось и ранее, идею Станислава Августа, и, во-вторых, не выдвигал возражений против положения королевского проекта об увязке перемен в сословном статусе диссидентов с проведением реформ в Речи Посполитой. Умолчание об этом пункте в донесениях посла в Петербург представляется нам весьма многозначительным; хотя сделанные им предложения и были оставлены там без ответа.

### III

С начала 1766 г. русская политика в Польше постепенно переориентируется от сотрудничества со Станиславом Августом в сторону опоры на магнатскую оппозицию. Примечательно, что, задумав создать новую прорусскую «партию», Репнин хотел бы видеть во главе

ее Станислава Августа. В январе 1766 г. он предложил королю, минуя Чарторыхских, «иметь дискретную переписку во всех воеводствах с главными тамо живущими знатными людьми»<sup>28</sup>. Эти предложения русского посла свидетельствовали, что накануне сейма 1766 г. он, предвидя отказ от опоры на «фамилию», в поисках новых методов осуществления русской политики в Польше отдавал предпочтение сотрудничеству с королем.

С. М. Соловьев, подробно описавший переговоры Репнина со Станиславом Августом и Чарторыхскими в это время, обратил внимание, что тактика посла в определенной мере выходила за рамки предписаний, адресованных ему из Петербурга<sup>29</sup>, и привел, в частности, выдержки из депеши Репнина от 11 октября / 30 сентября 1766 г., опустив весьма примечательный эпизод из «последнего разговора» посла с королем, когда Станислав Август вторично отказался удовлетворить требования России в деле диссидентов. После слов, «что пропасть для него разверзлась [...] но он первого своего ответа держаться должен», польский король упомянул о своем одиночестве. «Я на сие ему донес, — писал далее Репнин, — что он один с Россиею более сочиняет, нежели все достальное число здешней нации, а при том просил его величество, чтоб он вывел меня из удивления и открыл, каким образом он один быть чает, хотя б его друзья и противны ему были, то не имеет он несколько собственно своей персоне преданных людей, кои могли б обще со мною о успехе сего дела работать. Но его величество просил меня, чтоб я сей откровенности не требовал, что он не может мне ничего более сказать [...] а прибавления в том ни малейшего не делает, когда говорит, что он действительно один». Далее Репнин замечал, что не понимает причины упорства Чарторыхских и Станислава Августа, так как для сопротивления у них нет сил и даже денежной помощи от католических держав. По мнению посла, «фамилия» могла рассчитывать спастись в политическом отношении, привязав к себе короля. Но позиция самого Станислава Августа для Репнина оставалась непонятной, хотя в искренности короля он и не сомневался<sup>30</sup>.

Приведенный выше эпизод и рассуждения Репнина во многом проливают свет на его взаимоотношения с королем в момент наибольшего обострения русско-польских противоречий, когда Репнин безусловно олицетворял злую волю великой державы, обрекшую на поражение реформаторские планы Станислава Августа и «фамилии». И даже в этот драматический момент русский посол сообщает в Петербург о своей уверенности в искренности короля, передает ощущение трагического одиночества, охватившее Станислава Августа, и вместе с тем его внутреннюю твердость и волю к сопротивле-



нию. Едва ли можно упрекать польского короля за то, что позже он покорился обстоятельствам, как не раз поступал ранее, да и в дальнейшем. Трудно сказать, в какой мере в ситуации, описанной Репниным, внешняя политическая необходимость оказалась созвучна чертам характера Станислава Августа, хотя сам он, несомненно, осознавал эту связь, о чем писал, в частности, М. Т. Жоффрен. Важно другое, что в минуту высокого душевного напряжения, когда мужество восторжествовало, состояние духа короля было прочувствовано Репниным, осознано сердцем, хотя и совершенно не понято послом. Тогда же, но по другому поводу он писал Панину: «Причин сопротивления князей Чарторьских я не могу понять, каким образом они решаются испытывать все бедственные следствия, не имея, по моему рассуждению, никакой надежды противиться нашей силе? Мысль о сопротивлении может запасть только в ветреные головы, которые в отчаянии думают найти твердость»<sup>31</sup>.

Но описанный в депеше разговор замечателен не только по отношению к Станиславу Августу, но и к самому Репнину, ибо из-под личины посла-диктатора вдруг выступил человек, стремившийся рука об руку с королем пойти наперекор обстоятельствам, противопоставить собственную решимость воле противников, и главное, что в этом порыве Репнина, а такой поворот беседы не мог быть предусмотрен им заранее, прозвучало искреннее желание видеть в Станиславе Августе, вопреки очевидным политическим препятствиям, не противника, а — союзника. Однако такой исход был, разумеется, невозможен для них обоих.

#### IV

Итоги сейма 1766 г. положили начало крутой перемене в политических взаимоотношениях польского короля и русского посла, что не могло не отразиться на их личных связях. С начала 1767 г., судя по донесениям Репнина, его общение со Станиславом Августом приобрело сугубо официальный характер. Мотивы своей подчеркнутой отстраненности от Станислава Августа и Чарторьских Репнин объяснил тогда же нежеланием «отдалить опять всех наших новых партизанов»<sup>32</sup>. Но, несмотря на это, посол продолжал уверять Петербург, что сам король не препятствует его действиям и удерживает от этого своих сторонников, а поэтому Репнин намерен и далее сохранять лояльность по отношению к Станиславу Августу<sup>33</sup>. Наконец в сентябре 1767 г., накануне сейма Репнин писал Панину о разговоре с королем, в котором тот подтвердил свою покорность русской политике, причем изложение беседы ясно свидетельствовало, что Репнин

был сам убежден и хотел уверить своих шефов в Петербурге в искренности Станислава Августа<sup>34</sup>.

Таким образом, можно заключить, что разрыва между ними в период между сеймами 1766–1767 гг. не произошло, хотя мы и не встречаем в это время следов совместного обсуждения ими каких-либо политических проблем, тем более поддержки послом предложений короля. Разумеется, не закрывая совершенно путь к сотрудничеству, они руководствовались в первую очередь политическими обстоятельствами. Для Репнина поддержка короля диктовалась принципиальной позицией русской дипломатии начиная с 1764 г. и тактическими соображениями важности привлечения его на свою сторону на сейме. Для Станислава Августа даже видимость согласия с Россией позволяла избавиться от угрозы детроизации. Названные причины, конечно же, имели решающее значение, но немаловажную роль в таком взаимном подходе сыграла также трехлетняя традиция взаимного доверия, что определенно проявилось в дальнейшем, во время сейма 1767–1768 гг.

С. М. Соловьев писал, что после проведенного по приказу Репнина ареста К. Солтыка «страх сделал свое дело», что Станислав Август, «видя как враги его обманулись в своих надеждах [...] снова сблизился с Репниным» в расчете «провести свое любимое дело, именно ограничение *liberum veto*»<sup>35</sup>. Однако далее в изложении С. М. Соловьевым депеши Репнина от 27/16 октября 1767 г.<sup>36</sup> оказались опущены немаловажные обстоятельства: во-первых, обращенные к Панину вопросы посла представляли собой как бы две части: пересказ письма Станислава Августа, адресованного шефу русской внешней политики, с выражением согласия посла с позицией польского короля и одновременно соображения самого Репнина, содержащие по сути отрицательный ответ на идею частичного ограничения *liberum veto*. Аналогичный прием и по тому же вопросу Репнин использовал и в 1764 г. накануне коронационного сейма. Во-вторых, посол высказался в пользу установления кардинальных законов, которые, по плану польского короля, не могли быть изменены даже по воле конфедерации. При этом следует иметь в виду, что право конфедерации, против которого выступал еще С. Конарский, представляло собой как бы обратную сторону *liberum veto*. Поддержка Репниным королевских планов ограничения права конфедерации, нашедшая отражение в октябрьской депеше, проявилась еще в июне 1767 г., когда посол по тем же основаниям запретил радомским конфедератам закрыть суды. Поэтому согласие Станислава Августа и Репнина в вопросе об ограничении творимого конфедерациями произвола приобретало особое звучание.

Наконец, обращение Репнина за инструкциями, когда планы Петербурга в польских делах были вполне определены и известны послу, а тот в свою очередь пользовался полным доверием Екатерины II и Панина, нельзя было истолковать иначе, как косвенную поддержку Станислава Августа. Именно к такому заключению и пришел С. М. Соловьев. И если в ответных депешах Н. И. Панина Н. В. Репнину мы не встречаем замечаний послу по этому поводу<sup>37</sup>, то в резолюции Екатерины II они прозвучали вполне недвусмысленно.

В итоге ни в ответе Панина на письмо польского короля, ни в инструкциях Репнину до конца 1767 г. не содержалось даже намека на какое-либо ограничение права «вольного голоса»<sup>38</sup>. О том, что предложения Репнина были восприняты в Петербурге как недопустимое и опасное потворство планам польского короля, свидетельствовали также депеши в Берлин прусского посла в России В. Ф. Сольмса, писавшего, что «отношения посла (Репнина. — Б. Н.) к королю не оставляют никакого сомнения в конфедератах (радомских. — Б. Н.) относительно намерений России, тем более, что посол этот восставал против их проектов, тогда как благоприятствовал и охотно принимал всё, что исходило от друзей двора»<sup>39</sup>.

Однако невзирая на инструкции из Петербурга, Н. В. Репнин вновь, в декабре 1767 г., возвращается к идеям, изложенным им 27/16 октября. Правда, на этот раз он не прибегал к прежней альтернативе: согласие на реформы или напротив — их недопущение. В депеше от 22/11 декабря 1767 г. посол утверждал, что исполнит все повеления императрицы, но одновременно предостерегал от губительных последствий для русско-польских отношений принятых решений<sup>40</sup>. При этом мысли Станислава Августа присутствовали не только в духе депеши Репнина, но и текстуально.

Спустя всего лишь три месяца после декабрьской депеши 1767 г. Н. В. Репнин после завершения сейма, 15/4 марта 1768 г., адресовал Н. И. Панину два постскриптума, в которых описал аудиенцию у Станислава Августа предводителей новой «русской партии» во главе с Каролом Радзивиллом и «политическое положение здешней земли» (Польши)<sup>41</sup>. Более подробно об этой политической системе с анализом конкретных ролей действующих лиц Репнин писал во втором (собственноручном) постскриптуме, подчеркнув, что в Польше нет больше почвы для влияния других держав, кроме России. Таким образом, посол откровенно высказался в пользу политики, об опасности которой он столь же недвусмысленно предупреждал в депеше от 22/11 декабря 1767 г.

Указанное противоречие может быть объяснено только гипотетически. Возможно, что после установления российской гарантии кон-

ституции Речи Посполитой Репнин не считал нужным более сохранять прежнюю видимость сотрудничества со Станиславом Августом и отказался от показного сочувствия его преобразовательным планам. Возможно, что доверительные отношения Станислава Августа с русским послом и сохранились, однако оба они поняли, что утвержденные сеймом решения не оставляют почвы для проведения преобразований, и покорились обстоятельствам. Вероятно, идя навстречу королевским пожеланиям в конце 1767 г., Репнин стремился сохранить польского короля на стороне России, поэтому не мог отказать ему в поддержке по принципиальному для Станислава Августа вопросу о реформах. После же сейма 1767–1768 гг. посол считал свой долг перед королем исполненным и более не беспокоил Панина предложениями, отражавшими позицию Станислава Августа, причем сам польский король, по словам Репнина, не только не считал себя оскорбленным нынешней тактикой российской дипломатии, но даже находил ее «справедливой». Таким образом, покорность польского короля, выказанная им в марте 1768 г., оказалась связана в сознании Репнина с ощущением «наичувствительнейшего оскорбления», пережитого Станиславом Августом вследствие русского запрета на проведение реформ накануне коронационного сейма.

В историографии известная близость польского короля и русского посла во время сейма 1767–1768 гг. находила различные объяснения<sup>42</sup>. В связи с этим хотелось бы только отметить, что попытки «опорочить» Репнина, бросить тень на его взаимоотношения со Станиславом Августом, «посеять подозрения по отношению к ним обоим» не раз предпринимались оппозицией в Польше. Из т. н. «патриотического лагеря» исходили многие слухи и сплетни, отразившиеся впоследствии в воспоминаниях современников и вошедшие частично в историографию.

Однако внимательный анализ донесений самого Репнина показывает, что его личные взаимоотношения со Станиславом Августом развивались сравнительно ровно и не были подвержены влиянию придворных интриг. Разумеется, характер самих отношений не мог не быть тесно связан с переменами во взаимоотношениях России и Речи Посполитой, но даже с учетом перемен политической конъюнктуры между Варшавой и Петербургом колебания в личных отношениях короля и посла были менее выражены. По всем политическим вопросам, бывшим предметом их обсуждения, Репнин и Станислав Август умели находить компромисс, а ответственность за то, что он оставался не реализованным, ложилась на решения, принятые Екатериной II и Н. И. Паниным. Главным среди таких вопросов была проблема реформ в Речи Посполитой. И то, что польский король и



русский посол в течение четырех лет умели находить взаимопонимание, свидетельствовало о существовании объективной возможности разрешения этого вопроса как в интересах Польши, так и России.

## V

Неудача польской политики Петербурга, ставшая очевидной со времени восстания Барской конфедерации и с началом русско-турецкой войны 1768–1774 гг., в результате повлекшая за собой первый раздел Польши, не была, следовательно, predetermined некоей изначальной враждебностью России и Польши, как это утверждал С. М. Соловьев, или же интригами Фридриха II и роковым стечением обстоятельств, но была обусловлена избранной в России политической стратегией, осуществление которой шаг за шагом влекло за собой ухудшение польско-русских отношений, что в свою очередь не могло не повлиять отрицательно на взаимоотношения Станислава Августа и Н. В. Репнина.

Однако вопреки сложившейся ситуации польский король и русский посол умели находить взаимопонимание, иногда даже приобретавшее черты дружеского расположения, не отступая от собственных принципов и не принося в жертву отношениям друг с другом интересов своих государств в том виде, как они их понимали. Сохранение между ними личного взаимопонимания и доверия, несмотря на острейшие противоречия, раздиравшие Россию и Польшу, указывало на то, что Станислава Августа и Репнина связывала не только необходимость политического общения, но и искреннее взаимное расположение, свидетельством которого, по нашему мнению, могут служить последние беседы посла с польским королем в 1769 г. Одна из них зафиксирована в депеше от 7 февраля/27 января. Репнин упрекал Станислава Августа за то, что тот якобы намерен отступить «от нашей системы». В ответ король сказал, что он не будет «действовать против должности, коею он обязан к своей нации». Тогда Репнин заговорил об опасности, грозящей королю лично от барских конфедератов. На это Станислав Август отвечал, что он ее видит, «что его падение может весьма скоро случиться [...] Я, — писал далее Репнин в депеше Панину, — представил его величеству, что всегда неприятно с престола сходить, а согнано быть и стыдно. Он мне на сие отвечал, что его конечно не согнут, а я (Репнин. — Б. Н.) натурально его спросил, какой же он способ к сему употребит? На что мне (король. — Б. Н.) сказал, что он умрет, дав себя застрелить в своем дворце, а места своего не покинет и что тут защищаться станет. На сие я ему доложил, что, кажется, лучше бы не дожидаться сей крайности, чтоб пришли его злодеи его атаковать в самом его дворце, — славнее

бы было умереть, коли нужда будет, в поле, а не в своей комнате, а что я сам желал бы его адъютантом быть, если бы он взял сие мужественное намерение, соединяя свои силы, сколько их ни мало было, с нашими, и что слава и благосостояние всякое сами не приходят, а надлежит навстречу им итти и их сыскать. В настоящих же обстоятельствах он к тому себе двери отворит, если захочет доказать свою преданность к России. На сие его величество мне отвечал, что он в его состоянии не смеет помышлять об славе и что свыше оной поставляет свою должность, а по оной считает, что не может поведения своего переменить [...] Коими словами, он разговор пресек, вышед из той комнаты, в коей мы говорили», — этими словами Н. В. Репнин закончил изложение своей беседы со Станиславом Августом<sup>43</sup>.

В этом разговоре вновь прозвучали мотивы, уже встречавшиеся накануне сейма 1766 г., когда русский посол призывал польского короля, опираясь на силы России, пойти навстречу опасности наперекор воле «здешней нации». Теперь на рубеже 1768–1769 гг. Репнин вновь заговорил об объединении с королем, продемонстрировав, с одной стороны, свое стремление к совместным действиям со Станиславом Августом, а с другой — полное непонимание политической позиции короля, для которого восставшие конфедераты и вся оппозиция двору, именуемые Репниным «злодеями» и королевскими «недоброжелателями», были отнюдь не бунтовщиками, изменившими долгу подданства, но частью вольного шляхетского народа, первым представителем которого являлся сам польский монарх, народа, насилие над которым было для польского короля недопустимым ни в политическом, ни в моральном отношении. Об этом, в частности, говорил Станислав Август Репнину еще 20/9 декабря 1768 г., когда русский посол предлагал королю стать во главе конфедерации для защиты конституций последнего сейма. «Князь Репнин — честный человек, — передавал слова короля русский посол в депеше Панину, — но посол пользуется всем; он искушает души, продажные и честолюбивые; он страшит патриотов [...] Так зачем же мне быть здесь, — отвечал Репнин королю, — если никто не может и не хочет ничего делать? Лучше меня отозвать и прислать другого, — на это Станислав Август ответил: — Лучше ничего не делать, чем дурно делать. Вы, князь Репнин, лично заставили меня страдать больше, чем кто-либо в мире; но я уверен, что вы не можете меня ненавидеть и презирать; потому я не выиграю ничего от вашего отозвания»<sup>44</sup>.

Этот разговор польского короля и русского посла не был самым последним, но прозвучал он как заключительный аккорд и в дипломатической миссии Репнина в Польше, и в его личных отношениях со Станиславом Августом, причем в нем отразилось сожаление обо-

их, показавшее, что политический разрыв означал для них не только предстоящий поворот политической конъюнктуры, не суливший для польско-российских отношений ничего хорошего, но и утрату личной привязанности, о которой и король и посол, вероятно, сожалели.

Только после отъезда Н. В. Репнина из Варшавы, весной 1769 г., спустя полгода на Сенатском совете в октябре 1769 г. против бывшего посла были выдвинуты обвинения, которые по сути были направлены не лично против Репнина, а выражали осуждение политики Петербурга в целом. Именно так их и расценил сменивший Репнина М. Н. Волконский<sup>45</sup>.

Более мы не располагаем свидетельствами личных отношений Н. В. Репнина и Станислава Августа. Вероятно, разрыв между ними объяснялся не только итогами Сенатского совета и службой Репнина в армии, но и теми настроениями в правящих кругах в Петербурге, которые наиболее определенно отразились спустя четверть века в прямом требовании Екатерины II накануне последней встречи польского короля и Репнина — тогдашнего российского наместника в Литве, — которому императрица писала 4 декабря / 23 ноября 1794 г. и приказывала принять в Гродно доставленного туда, по сути, под конвоем Станислава Августа и добиться от него отречения от престола. В письме Екатерины говорилось: «Многие опыты нас удостоверили, что сей господин (польский король. — Б. Н.) был всегда вопреки польз наших, ибо ни единое не совершилось в Польше противное видам нашим событие, в котором он не нашелся главою или соучастником и соревнителем. Известность таковая, да и давнее познание ваше свойств и качеств его, должны повелевать поставить вас против его в крайнюю осторожность»<sup>46</sup>.

\* \* \*

Таким образом, завершая рассмотрение личных отношений Станислава Августа и Н. В. Репнина в той мере, в которой это позволяют имеющиеся источники, можно сделать заключение, что не их личные качества и собственная позиция оказали определяющее влияние на представление о них в общественном мнении как о политиках. Это представление было сформировано исключительно под воздействием господствовавших во второй половине XVIII в. тенденций развития польско-российских отношений, которые персонифицировали польский король и русский посол. Они же оказали решающее влияние на их поведение и поступки. Можно также отметить, что в абстрактном представлении об исторических деятелях преобладает, скорее, дедуктивное начало, нежели абсолютизация индивидуальных черт и личной политической позиции.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Сообщая об итогах Сенатского совета 30 сентября — 6 октября 1769 г., М. Н. Волконский писал Н. И. Панину (депеша от 8 октября / 27 сентября 1769 г.), что сенаторы прямо не решились осудить политику Петербурга в Польше, а выдвинули обвинения против Н. В. Репнина, что «трактат насильственно сделан» (Архив внешней политики Российской империи (АВПРИ). Ф. 79. Оп. 6. Д. 966. Л. 33–35 об.); *Lubomirski St. Pod władzą księcia Repnina. Ułamki pamiętników i dzienników historycznych 1764–1768* / Oprac. J. Łojek. Warszawa, 1971; *Rulhière C. C. Histoire de l'anarchie de Pologne et du démembrement de cette republique*. Paris, 1807.
- 2 *Schmitt H. Dzieje panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego*. Lwów, 1868–1884. Т. 1–4; *Kraushar A. Książę Repnin i Polska w pierwszym czteroleciu panowania Stanisława Augusta (1764–1768)*. Kraków, 1879. Т. 1–2.
- 3 АВПРИ. Ф. 79. Оп. 6. Д. 939. Л. 123.
- 4 Фундамент современной историографии станиславовской эпохи и истории польско-российских отношений был заложен в трудах В. Конопчиньского, Э. Ростворовского и Е. Михальского. Из новейших исследований укажем: *Rostworowski Ł. Ostatni król Rzeczypospolitej. Geneza i upadek Konstytucji 3 maja*. Warszawa, 1966; *Zahorski A. Spór i Stanisława Augusta*. Warszawa, 1988; *Michalski J. Problematyka aliansu polsko-rosyjskiego w czasach Stanisława Augusta. Lata 1764–1766* // *Przegląd Historyczny*. 1984. Т. 85. № 4. S. 695–721; *Zielińska Z. Początek rosyjskiej nienacki Czartoryskich i «slabość» Stanisława Augusta (1764–1766)* // *Trudne stulecia. Studia z dziejów XVII i XVIII wieku*. Warszawa, 1994. S. 60–72; *Зелиньска З. Проблема русско-польского союза в первые годы правления короля Станислава Августа* // *Польша и Европа в XVIII веке. Международные и внутренние факторы разделов Речи Посполитой (Памяти Лукаша Кондзелі)*. М., 1999. С. 102–123.
- 5 Укажем только на две новейшие биографии Станислава Августа: *Zamoyski A. The Last King of Poland*. London, 1994; *Idem. Ostatni król Polski*. Warszawa, 1994 (польский перевод); *Zienkowska K. Stanislaw August Poniatowski*. Wroclaw etc., 1998.
- 6 Единственная биография Н. В. Репнина, принадлежащая перу Д. М. Бантыш-Каменского, увидела свет в 1840 г. Главное внимание в ней уделено военной карьере Репнина, а краткие упоминания о его дипломатической деятельности в Польше страдают неточностями и ошибками. См.: *Бантыш-Каменский Д. М. Биографии российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов*. М., 1991. Ч. 2. С. 204–233.
- 7 *Соловьев С. М. История России с древнейших времен*. Т. 25–28 // *Соловьев С. М. Сочинения*. М., 1994. Кн. 13–14.
- 8 *Schmitt H. Op. cit.* Т. 1. S. 200.
- 9 АВПРИ. Ф. 79. Оп. 6. Д. 849. Л. 31–31 об.; *Соловьев С. М. Указ. соч.* Кн. 13. С. 351.



- 10 На противоречие в оценке Репниным польского короля и окружавших его противоборствующих магнатских группировок указывал еще С. М. Соловьев, см.: *Соловьев С. М.* Указ. соч. Кн. 13. С. 351.
- 11 Дешеш Н. В. Репнина № 54, 58, 66 от 22/11 октября, 7 ноября/27 октября и 3 декабря / 22 ноября 1764 г. (АВПРИ. Ф. 79. Оп. 6. Д. 850. Л. 47–49 об.; 61–62 об.; 87–89).
- 12 Там же. Л. 106–109 об.
- 13 Сб. РИО. СПб., 1887. Т. 57. С. 180.
- 14 *Соловьев С. М.* Указ. соч. Кн. 13. С. 425–427.
- 15 Подробно о роли русской дипломатии в конфликте Станислава Августа со старшими членами «фамилии» см.: *Zielinska Z.* Początek rosyjskiej nie-laski Czartoryskich...
- 16 *Соловьев С. М.* Указ. соч. Кн. 13. С. 428; Friedrich der Große und Polen. Auszüge aus der Correspondenz mit den Gesandten in Warschau und Petersburg 1762–1766 // *Forschungen der deutschen Geschichte.* Göttingen, 1869. Bd. 9. S. 37.
- 17 *Соловьев С. М.* Указ. соч. Кн. 13. С. 428.
- 18 Сб. РИО. СПб., 1887. Т. 57. С. 7–10.
- 19 Проект «особливого акта», составленный Н. В. Репниным, хранится в фонде Варшавской миссии Архива внешней политики Российской империи в Москве. Впервые проект был исследован Зофьей Зелиньской. См.: *Зелиньска З.* Проблема русско-польского союза...
- 20 Дешеш Н. В. Репнина от 15/4 ноября, 3 декабря / 22 ноября, 12/1 декабря 1764 г. (АВПРИ. Ф. 79. Оп. 6. Д. 850. Л. 69–70 об.; 87–89; 94–96 об.).
- 21 *Volumina legum.* T. VII. № 60. P. 158.
- 22 *Соловьев С. М.* Указ. соч. Кн. 13. С. 350–351.
- 23 Дешеш Н. В. Репнина от 17/6 апреля 1765 г. (АВПРИ. Ф. 79. Оп. 6. Д. 866. Л. 17–22 об.).
- 24 Дешеш Н. В. Репнина от 18/7 и 22/11 декабря 1765 г. (Там же. Д. 872. Л. 106–109 об.).
- 25 С. М. Соловьев писал в 26 томе «Истории России», изданном в 1876 г., что «дело о защите православных было, разумеется важнее всех», что идея политического сближения России и Польши оказалась сокрушена «под тяжелыми стопами истории, когда диссидентский вопрос поднял в двусоставной Польше ожесточенную борьбу между двумя народностями. Мы видели, — продолжал историк, — как князь Репнин, находясь на месте, предвидел страшные, неодолимые препятствия к решению диссидентского вопроса» (*Соловьев С. М.* Указ. соч. Кн. 13. С. 418.) Аналогичной точки зрения С. М. Соловьев придерживался и в вышедшей в 1863 г. «Истории падения Польши» (*Соловьев С. М.* Сочинения. М., 1995. Кн. 16. С. 427–433).
- 26 *Соловьев С. М.* История России. Кн. 13. С. 429–430.

27. Дешеш Н. В. Репнина от 21/10 октября и 11 ноября / 31 октября 1765 г. (с приложениями) (АВПРИ. Ф. 79. Оп. 6. Д. 871. Л. 47–50; 102–104 об.).
28. Дешеш Н. В. Репнина от 13/2 января 1766 г. (Там же. Д. 882. Л. 7 об.).
29. *Соловьев С. М.* Указ. соч. Кн. 14. С. 141–146.
30. Дешеш Н. В. Репнина от 11 октября / 30 сентября 1766 г. (АВПРИ. Ф. 79. Оп. 6. Д. 887. Л. 130–137).
31. *Соловьев С. М.* Указ. соч. Кн. 14. С. 144.
32. Дешеш Н. В. Репнина от 13/2 мая 1767 г. (АВПРИ. Ф. 17. Оп. 6. Д. 907. Л. 55–57 об.); Дешеш Н. В. Репнина от 27/16 мая 1767 г. (Там же. Л. 96 об.).
33. Дешеш Н. В. Репнина от 11 июня / 31 мая 1767 г. (Там же. Л. 119–121 об.).
34. Дешеш Н. В. Репнина от 10 сентября / 30 августа 1767 г. (Там же. Д. 910. Л. 160–160 об.).
35. *Соловьев С. М.* Указ. соч. Кн. 14. С. 201.
36. Постскриптум к дешешу Н. В. Репнина от 27/16 октября 1767 г. с резолюцией Екатерины II (АВПРИ. Ф. 79. Оп. 6. Д. 913. Л. 105–107); *Соловьев С. М.* Указ. соч. Кн. 14. С. 203–204.
37. См.: дешеш Н. И. Панина — Н. В. Репнину от 26/15 октября, 9 ноября / 29 октября 1767 г. (с прибавлениями) (Сб. РИО. СПб., 1889. Т. 57. С. 499–509).
38. Н. И. Панин — Станиславу Августу от 20/9 ноября 1767 г. (Там же. С. 509–511).
39. Дешеш В. Ф. Сольмса от 26/15 октября и 14/3 декабря 1767 г. (Сб. РИО. СПб., 1883. Т. 37. С. 113–119, 124–128).
40. Дешеш Н. В. Репнина от 22/11 декабря 1767 г. (Сб. РИО. СПб., 1893. Т. 87. С. 279–286).
41. Постскриптум 1 и 2 к дешешу Н. В. Репнина от 15/4 марта 1768 г. (АВПРИ. Ф. 79. Оп. 6. Д. 925. Л. 135–136 об., 139–146).
42. *Соловьев С. М.* Указ. соч. Кн. 14. С. 203; *Herrmann E.* Geschichte des russischen Staates. Hamburg, 1852. Bd. 5. S. 375; 405; *Чечулин Н. Д.* Внешняя политика России в начале царствования Екатерины II. СПб., 1896. С. 289; *Костомаров Н. И.* Последние годы Речи Посполитой // *Костомаров Н. И.* Собр. соч. СПб., 1905. Кн. 7. С. 73–74.
43. Дешеш Н. В. Репнина от 7 февраля / 27 января 1769 г. (АВПРИ. Ф. 79. Оп. 6. Д. 953. Л. 72 об.–73 об.).
44. *Соловьев С. М.* Указ. соч. Кн. 14. С. 310–311.
45. Дешеш М. Н. Волконского от 8 октября/27 сентября 1769 г. (АВПРИ. Ф. 79. Оп. 6. Д. 966. Л. 33–35 об.).
46. Екатерина II — Н. В. Репнину 4 декабря / 23 ноября 1794 г. (Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. ВУА. Д. 2729. Л. 421 об.–422).

*И. И. Свирида*  
(Москва)

## Варшава глазами русских. Конец XVII — начало XX в.

---

«Варшава суть место великое... Кляшторов и костелов... много, все римскаго закону, и домов сенаторских великих изрядного строения... [и] садов изрядных... [и] полат... в четыре жилья в высоту, много»<sup>1</sup>. Так в 1697 г. излагал свои впечатления от польской столицы Петр Андреевич Толстой, названный современником «умнейшая голова в России». Этот стольник был среди первых русских людей, совершавших зарубежное путешествие не в качестве паломника по святым местам или участника посольства, как это обычно происходило до тех пор. Он был отправлен за границу с образовательной целью — обучиться в Италии военному и морскому делу, что свидетельствовало о наступлении новой культурной эпохи.

Поэтому описание, сделанное Толстым — это уже подробный путевой дневник, а не так называемое хождение или статный список, какие оставляли паломники и посольства. Их знакомство с чужим миром регламентировалось особыми предписаниями. Однако конфессиональные границы и конфессиональная ментальность и без подобных предписаний несколько столетий весьма надежно отделяли Русь от латинского мира, воспринимаемого как средоточие греховности. Частью этого мира долгое время оставалась Варшава. С конца XVII в. конфессиональные оценки постепенно утратили доминирующую роль, более самостоятельные права начали приобретать оценки эстетические. Поэтому Толстой мог с интересом описывать польские костелы, ходить на католическую службу в варшавский кафедральный собор, где были «арганы зело великие... уборы изрядные и богатство многое».

Приезжая в Речь Посполитую, русские с любопытством приглядывались к новым для них явлениям, в русской лексике появлялись новые, порой заимствованные из польского языка слова, которых часто еще не хватало для описания увиденных там произведений европейского искусства постренессансного типа. О подобных произ-

ведениях Толстой говорил, что они «деланы итальянскою работою» — «итальянских дивных писем» были особенно понравившиеся ему картины, «предивной итальянской резной работы» потолки и мебель. При этом слово «дивное» в основном употреблялось в значении не «удивительное», а «превосходное», «редкое».

Русские обычно направлялись в Варшаву по службе, в большинстве военной, и были, если воспользоваться классификацией путешественников, позднее данной Л. Стерном, хотя и «пытливыми путешественниками», однако часто, особенно на рубеже XVII–XVIII вв., являлись прежде всего «путешественниками поневоле», попадая за границу по велению царя или в составе русской армии. Частные выезды за границу в принципе получили распространение лишь после указа Петра III о вольности дворянства (1761). Однако и после этого Польша не стала специальной целью. Ещё в 1881 г. публицист В. О. Михневич писал, что «русский в Варшаве — непременно либо военный, либо чиновник». Сам же он, по его словам, хотя и направился в Варшаву для нее «самой», но в этом отношении был в вагоне единственным, «все остальное... принадлежало к служебному миру, ехало... ради карьеры и по воле начальства, следственно, в данном случае представляло исключительно элемент русской государственности»<sup>2</sup>. Так было и в XVIII в. В то время Речь Посполитая, как и Россия, была объектом повышенного культурно-этнографического интереса для западноевропейских путешественников, внимательно и систематично осваивавших еще недостаточно знакомое им культурное пространство, которое казалось им, особенно в первой половине столетия, экзотичным.

Русские, едущие в Западную Европу, в большинстве случаев лишь кратко останавливались в Варшаве. Они могли и миновать польскую столицу, если плыли морем. В отличие от других соотечественников, которые для поездок в Южную Европу выбирали морской путь через Архангельск, Толстой предпочел в Италию сухопутную дорогу. Проложив за два месяца путь в «1162 версты с полуверстою», он в апреле 1797 г. прибыл в польскую столицу, где провел пять дней.

Приезд стольника в Варшаву «прилучился», как он пишет, «во время самые аелеции», т.е. «обирания короля польского», которое происходило после смерти Яна III Собеского. Столица польско-литовского государства тогда была переполнена депутатами элекционного сейма, приехавшими с семьями, и стольник «с великим трудом постоялый двор себе приискал». Город в описании Толстого предстает полным жизни: «По городу... ездят сенаторы и жены их, дочери-девицы в коретах». Там и «иноземцов приезжих из разных государств бывает немало». Для продажи «зело много всяких товаров», в



том числе «харчевых... немало». В каменных погребах «много продажных виноградных вин разных, которых поляки нередко и немало употребляют» — сам Толстой был абстинентом и страдал от необходимости пить по принуждению царя Петра.

«В лавках за всякими товарами сидят мещане, богатые люди... и жены их, и дочери-девицы, и в зазор себе того не ставят», — продолжал Толстой свой рассказ, удивленный этим обстоятельством. Движение царит на Висле: на паромах перевозят «народ и всякие вещи», переправляются также в лодках, как то сделал сам Толстой. По реке «ходят суды великие с хлебом и со всякими таварами». «Для алекции чрез реку Вислу зделан мост... на судах». В свое время здесь существовал постоянный мост, сооруженный в 1573 г. и снесенный ледоходом в 1603 г., а «начальники полские... за бездельным своим гулянием мосту чрез тое реку... не имеют», — писал с осуждением Толстой (через сто лет А. Ф. Раевский отметит: «Прекрасный мост ведет на Прагу»<sup>3</sup>).

Висла же «величеством подобна Волге под городом Ерославлем», — продолжал он. Сравнение с чем-то своим постоянно служило средством донести до читателя сведения или впечатления (еще Вяземский напишет о Вавеле, что в нем есть «что-то Кремлевское»<sup>4</sup>). Этот прием мог использоваться как бы апофатически — отмечалось то, чего нет на Руси, или чего нет за границей (второе у Толстого чаще): «В Варшаве около посадов города нет», — писал он, а в королевском Замке «крылец к полатам выставных нет» — привыкнув к декоративным крыльцам в Москве и помня о парадном Красном крыльце в Кремле, Толстой сразу же отметил отсутствие такового в Замке. Авторы старались объяснить незнакомые предметы, как, например, мраморные колонны, посредством ассоциаций с известными вещами. Согласно тому же Толстому в ченстоховской каплице «стены мраморовые... деланы великими столпами, как бывают деревянные столбы столярной доброй работы с резными капителями».

Толстой хорошо ориентировался, что нужно смотреть в Варшаве (вероятно, ему в этом помог московский резидент дьяк А. В. Никитин), и не пропустил ее основных достопримечательностей. Стольник, приехавший из деревянной по преимуществу Москвы, прежде всего отметил, что в Варшаве «домы и всякое строение в замке — все каменное» — это обстоятельство и спустя почти 200 лет отметит цитированный Михневич («Варшава хорошо застроена исключительно почти каменными домами»<sup>5</sup>). В ее же предместье Прага, продолжал Толстой, «дворы строения деревянного, хорошего». Они просуществуют еще почти сто лет и сгорят во время покорения Суворовым Варшавы.

Пока же именно на Праге Толстой нашел себе жилье. Оттуда он впервые увидел Варшаву, как это обычно происходило с русскими, которые приезжали в город с восточной стороны. Прага навсегда сохранила роль места, с которого наиболее эффектно открывается панорама расположенного на Висле города. Не случайно именно оттуда изобразил общий вид Варшавы лучший ее «портретист» Бернардо Белотто, прозванный Каналетто.

Толстой описал королевский Замок и находившийся там катафалк Яна Собеского («обит тот рундук весь бархатом червчетым, по шивкам кладены кружива золотные... гроб весь обит аксамитом золотным, и галуны и бахрамы золотные, гвозди серебряные, золоченые. Кругом... гробу тритцать шанданов»). Однако в целом Замок показался «невелик». Внутренним убранством больше привлек дворец Радзивиллов, где «полат зело много. Одна полата обита бархатом червчетым, две обиты золотными парчами, две полаты обиты байбе-реками золотными (крученым шелком)». Поехал Толстой и в Лазенку Станислава Гераклиуша Любомирского, построенную знаменитым Тильманом Гамерским<sup>6</sup>. Это «палаты предивные», украшенные «пре-славною работою», «картинами узорочными», чего «подробну описать невозможно». «Предивной италианской резной работы» украшения и на «королевском подворье», т. е. в Вилянове, о садах которого Толстой рассказал особенно подробно — подобных им в России еще не было. (Вилянов позднее произвел впечатление и на Петра I. В «Юр-нале» его путешествия за 1709 г. записано, что там «зело изрядный дом и огород, убраный фонтанами и протчими украшениями».)

Внимательно и с интересом описывая варшавские дворцы, монастыри и костелы, Толстой неоднократно порицал поляков за раздоры. В Сенаторском зале он обратил внимание на «окна великие» и «окончины... стеколчетые». Однако они оказались «все повывломаны и... разбиты от нестройного совету и от несогласия во всяких делех пьяных поляков». «Во время алекции между поляков бывают многие ссоры и бой... и смертное убивство... и всегда у них между собою мало бывает согласия, в чем они много государства своего растеряли», — заключает Толстой. Поскольку поляки «не могут никакого государственного дела сделать без бою и без драки, и для того о всяких делех выезжают думать в поле, чтобы им пространно было без размышления побиватися и гибнуть» — так объяснял автор устройство элекционного поля на Воле. Осмотрев его по дороге, Толстой покинул Варшаву, направившись в Ченстохову, от описания которой веет спокойствием по сравнению с образом беспокойной столицы (именно этот маршрут будет рекомендовать русским и специально изданный для них путеводитель<sup>7</sup>).

Записки Толстого по времени предваряли саксонское правление. К его концу относится сообщение о Варшаве Алексея Романовича Воронцова<sup>8</sup>. Будущий дипломат попал в этот город 1758 г. проездом во Францию, куда ехал учиться в версальскую кавалерийскую школу. Если Толстой, привыкший к нерегулярности древнерусской застройки, особо отмечал, что в Варшаве «полоты все строены по улицам», то Воронцову, приехавшему не из Москвы, а из Петербурга, она показалась «неправильно обстроенной». Тем не менее позднее он вспоминал, что Варшава «уже тогда была довольно красивым городом. В ней множество огромных дворцов... но рядом лачужки, несколько похожие на те, которые встречаются в Москве, но выстроенные с большей правильностью» — по сравнению с Москвой и в отличие от Петербурга польская столица представлялась Воронцову более упорядоченной, несмотря на ее контрасты, которые отмечали также западноевропейские путешественники<sup>9</sup>.

В Варшаве Воронцов проводил время совершенно иначе, чем Толстой. Здесь он вращался при дворе, был представлен Августу III, его опекал министр Г. Брюль. «Всего приятнее бывать у русского палатина кн. [Адама Казимежа] Чарторижского... у супруги маршала г-жи [Марии Амалии] Мнишек, дочери графа Брюля». Он посещал и придворного банкира Риакера, у которого «собиралось высшее общество, любившее прогуливаться в его прекрасном саду». На Воронцова, с юности привыкшего в России к атмосфере абсолютистского правления, особое впечатление произвело положение польских магнатов, их вольный стиль жизни. «Все поражало меня и заставляло думать, что нет более завидного положения, чем положение польского вельможи», — писал Воронцов. В его записках возник образ Варшавы не как буйного и беспокойного, а как веселого, богатого, открытого для удовольствий города — эта ипостась польской столицы будет присутствовать в сознании русских и в последующие годы<sup>10</sup>.

Ситуация Варшавы постоянно менялась. А. И. Бибииков, усмирявший Барскую конфедерацию, сообщал в Петербург в 1771 г. Д. И. Фонвизину: «Варшава теперь походит на пустой овин большого села, в котором была ярмарка... Отсюда даже до делателей зубочисток все разбежались, а по пресечении коммуникации от защитников веры и вольности (он имел в виду конфедератов. — *И. С.*)... ниоткуда ничего сюда не везут»<sup>11</sup>. В 1773 г. Бибииков писал тому же адресату: «Без всякого огорчения и с охотою покидаю прескучную... Польшу»<sup>12</sup>. После первого раздела Речи Посполитой эта оценка несомненно соответствовала действительности — веселья там не было.

Однако Д. И. Фонвизину, который впервые попал в польскую столицу в 1777 г., она уже не показалась унылой. На приемах у рус-

ского посланника О. М. Штакельберга он, по собственным словам, перезнакомился со всею Варшавой, наносил и принимал многочисленные визиты<sup>13</sup>. Как свидетельствуют дневник поручика Васильева, служившего при штабе русского корпуса в Варшаве, а также воспоминания «капитана имперской армии» С. Протасьева, русские там не скучали, посещая маскарады, трактиры, предаваясь иным светским развлечениям<sup>14</sup>.

Варшава эпохи Просвещения предоставляла и более интеллектуальные занятия. Васильев «в Радзивилском доме... смотрел комедии польской». Это происходило во дворце Кароля Радзивилла, где до постройки специального здания (1779) играли польские и иностранные труппы. Фонвизин там пересмотрел «комедии... с десятков, переводных и оригинальных» — варшавская театральная жизнь была интенсивной, хотя стоял сентябрь и «многие из деревень своих еще не возвратились»<sup>15</sup>. Наряду с пьесами польских авторов Ф. Богомольца, Я. Заблоцкого, А. К. Чарторыского, Фонвизин мог видеть и поставленного в том же 1777 г. «Тартюфа» Мольера. Исполнителями были получившие признание артисты, как А. Трусколяская, К. Овсинский, К. Б. Свежавский, Я. Хемпинский, и Фонвизин полагал, что они «играют изрядно». В Варшаве существовала также французская труппа, которую своей протекцией активно поддерживал российский посол Штакельберг<sup>16</sup>. Вероятно, Фонвизин мог побывать и на ее спектаклях.

Поколение Фонвизина уже не владело польским языком, как это было свойственно еще М. В. Ломоносову, и будущий автор «Недоросля» писал: «Польский язык в наших ушах кажется так смешон и подл, что мы помираем со смеху всю пьесу... странно видеть и любовника плешивого, с усами и в длинном платье»<sup>17</sup>. Позднее Ф. Н. Глинка реагировал более адекватно: «Отдадим справедливость выбору пьес, на здешнем театре представляемых: они все служат или к возбуждению любви к отечеству, или к порицанию разврата, или заключают в себе сатиры на нынешнее воспитание и похвалу стародавним обычаям. Сколько я заметил, — писал он, — во французском фраке выпускают на сцену всегда или плута, или развратника, или, по крайней мере, шалуна и ветренника; а в польском кунтуше — человека честного, твердого, любящего отечество, древнюю славу его, добродетели предков»<sup>18</sup>.

В Варшаве русские могли слышать мало известную в России органную музыку. Васильев писал, что в кафедральном соборе во время богослужения в честь папского нунция была «музыка... инструментальная и авакальная (sic!) весьма изрядная; на конец служба великогласными органами кончалась»<sup>19</sup>. Орган, не известный пра-



вославленным церквям, и в дальнейшем нравился русским: «Костелы Варшавские извне огромны, высоки, но мрачны; внутри красивы и богаты. Церковное служение здесь пышно, и затейливо; музыка сильно действует на чувства», — писал Ф. Н. Глинка<sup>20</sup>.

Внимание русских привлекали художники, которые работали в Варшаве и которым они часто заказывали свои портреты<sup>21</sup>. Интересовались они архитектурными и историческими достопримечательностями города, однако их описаний сохранилось чрезвычайно мало. «Графа Хоткевича дом каменной, стоящий близ Шульца (Сольца) на горе подле клаштора Милосердных сестр, снаружи кажетца мал, а вошедши в него, увидел покоев довольно, — отметил в дневнике поручик Васильев со свойственной ему курьезностью стиля и грамматики. — В нижнем этаже стены обиты малиновой камкой, а над ними во втором стены белые, только статуи лебастровы, а в зале вырезан граф Хоткевич на коне, тот кто победил турков во время нападения на Варшаву (так!), и у того коня копыто поддерживает турок. Над сим этажем третий: простые покои, ничем не украшены. Снаружи пред сими палатами плацпарадное место... окошки, где пушки стояли, видны» (за этим в дневнике следует фантастическое описание, как Хоткевич защищал свой варшавский дом от нападения турок)<sup>22</sup>.

В 1800 г. в городе, находившемся под властью Пруссии, проездом побывал Ф. П. Лубяновский: «Варшава сама на себя не походит, — писал он. — Уныние заступило место забав, коими она прежде столько славилась»<sup>23</sup>. Имея конечной целью Италию, этот адъютант В. М. Репнина лишь бегло осмотрел Варшаву, посвятив ей две страницы из своего трехтомного описания путешествия по Европе.

Позднее Глинка напишет, что «следы времени не заглаживаются здесь стараниями людей. Одно только мирное время сзывает искусства для украшения и обнови городов; а Варшава с давних уже лет, как древо на высокой скале, была жертвою бурь и непогод»<sup>24</sup>. Со стороны Праги Варшава по-прежнему являла впечатляющее зрелище: «Отсюда вид... наилучший. Громада зданий в амфитеатре, на берегу светлой и широкой реки, прекрасно рисуется в воде и нравится глазам», — отмечал Глинка<sup>25</sup>. Однако сама Прага производила тяжелое зрелище. «Мы поехали посмотреть на Прагу, которая за 20 пред сим лет не уступала в красоте, великолепии и даже в обширности и богатстве самой Варшаве. Переезжаешь Вислу, — продолжал тот же автор, — едешь чрез Прагу — и не видишь ее! Тут только одни пространные поля, хлебом, разрушенные окопы и бедные дома. Где же Прага? Ее нет: она высилась, как цедр Ливанский; прошел мимо герой — и странник не находит места, где она была!»<sup>26</sup>. Русский путеводитель по Варшаве в 1850 г. менее образно и более завуалированно вспоми-

нал о взятии Суворовым Варшавы: «Политические перевороты и снесение строений под укрепления значительно уменьшили число жителей Праги, которое в конце прошлого века доходило до 35 000»<sup>27</sup>.

Тем не менее в 1813 г. офицеры, вступившие в город с российской армией, вновь испытали здесь «всякого рода удовольствия, [которые] могли бы очаровать, разнежить закаленных в боях»<sup>28</sup>. Они находили в Варшаве и другие занятия, в 1813 г. оставив свои подписи в «Книге посетителей» в Вилянове, — находившееся там художественное собрание Ст. К. Потоцкий сделал первым в Польше открытым для публики<sup>29</sup>. Глинка, который был в числе посетителей, писал об этой бывшей резиденции Яна Собеского, некогда призведшей впечатление на П. Толстого: это «подлинно королевский замок! Какое величие в расположении, в зодчестве, в уборах. Стенная живопись прекрасна. Лепной работы множество. Две большие галереи наполнены картинами, в числе которых есть прекрасные, драгоценные, например, Пуссеневы сельские виды; все семейство Собиеского [так транскрибировал Глинка имя Яна III]; сам он на коне. Прелестная Собиеского жена представлена... в разных видах; в одном месте... прекрасною пастушкой, сидящей над чистым ручьем и в зеркале вод поправляющею свой цветочный наряд; в другой картине... прелестным ангелом, летающим под голубыми небесами. Здесь более всего портретов. Прекрасные женские лица стоят подле усатых, железными латами покрытых и лаврами увенчанных поляков»<sup>30</sup>.

Романтически вдохновенно Глинка воспринял Лазенки: «Я не скажу: какая пышность! Какое великолепие! Но поневоле должен воскликнуть: какой вкус!» В фантазии писателя возникла картина былой жизни, наполнявшей этот королевский парк. «Но полно мечтать! остановите свое воображение, — писал он, — ...[теперь] только светлые пруды, прекрасный дворец, развалины театра... беседок, гротов... освещены бледным лучом задумчивой луны... Унылый ветер в ущелиях развалин и в сумерках опустелых рощей в пустынной песни своей, кажется, говорит вам: „Как быстро все проходит в мире; как скоро исчезает роскошь, величие и блеск!“»<sup>31</sup>. У П. А. Вяземского Лазенки также вызвали исторические ассоциации: при лунном свете классицистический дворец, возведенный Д. Мерлини, показался ему одиноким древним замком, а запустение, царившее в парке, явило ему судьбу «разжалованной», как он выразился, Польши. Здесь она впервые «сказалась ему языком поэзии», а не «политической необходимости»: «Я ужаснулся, — писал Вяземский, — и готов был воскликнуть: „Государь, восставь Польшу!“»<sup>32</sup>.

Если Глинка обычно воспринимал в Польше все с восторгом, то А. Ф. Раевский, его коллега по войску, реагировал иначе: «Напрасно

взоры мои искали картины величественной, необыкновенной... въехав в город, я ожидал найти в нем торжество вкуса, богатства и зодчества» (вероятно, Раевский был соответственно наслышан от соотечественников о Варшаве). Однако «ни с какой стороны столица Польши не восхищает зрения: длинный беспорядочный ряд кровель, большею частью черепичных, и изредка мелькающие верхи храмов не имеют ничего прелестного. Только от Праги... вид ее несколько разнообразнее; но грязные улицы и почерневшие от времени и небрежения стены прибрежных зданий ослабляют первое приятное впечатление... я видел две-три изрядные, но не великолепные улицы, видел несколько огромных чертогов... нет даже следов изящной архитектуры. Невольно я пожалел о бедных поляках, которые называют (или по крайней мере называли) нас варварами». «Если устройство городов и сел... дают право народам стоять на высшей ступени просвещения и величия, то без всякого сомнения, — полагал он, — поляки должны уступить нам первенство»<sup>33</sup>. О причинах, по которым Раевский застал Варшаву в таком состоянии, он не писал.

На обратном пути из Франции и Глинка увидел Варшаву в ином свете: «Видно много опустелых селений: жители их вымерли; здесь пахнет смертию!.. окрестности так пусты, что кажется, будто едешь к какому-то уездному городку, и вдруг въезжаем — в Варшаву! Все пусто и уныло... Эти высокие, мрачные дома так угрюмо на нас смотрят!.. Кажется, что радость умерла здесь. Варшава вздыхает»<sup>34</sup>.

Тем не менее в последующие годы, вплоть до июльского восстания, в описании русскими Варшавы можно найти праздничные тона, приобретавшие особый характер в рассказах и воспоминаниях о пребывании в городе царской семьи. К. П. Колзаков, считавший годы, проведенные в Варшаве, самыми счастливыми в его жизни, писал, что в 1814 г. с приездом вел. кн. Константина «заликовала Варшава, и загремела музыкой и увеселениями» и в целом полагал, что в «таком городе, как Варшава... невозможно было жить замкнуто»<sup>35</sup>. В 1830 г. А. Х. Бенкендорф записывал, что «прибытие государя, императрицы, множества иностранцев и нунциев утишили ропот, по крайней мере по внешности, и Варшава приняла блестящий и очень оживленный вид. Балы и праздники следовали один за другим, со всею роскошью и со всем весельем богатой столицы»<sup>36</sup>. Однако после подавления восстания город надолго утратил столичный облик, который в значительной мере обрел в годы существования Польского королевства, благодаря широкому строительству, развитию промышленности и торговли<sup>37</sup>.

После включения Варшавы в состав Российской империи в ее восприятии русскими появился особый оттенок — ощущается ли она

как зарубежный или как российский город (это в целом касалось польских земель, вошедших в состав российского государства). Об изменениях говорят походные записки, оставленные русскими, которые во время наполеоновских войн передвигались с российской армией по землям бывшей Речи Посполитой. В 1813 г. уже цитированный Раевский писал, что на мосту через Буг, отделявший тогда Россию от Герцогства Варшавского, можно было видеть «шумные ряды юношей, толпившихся... с радостными песнями и поздравлявших друг друга с переходом через границу»<sup>38</sup>. А в 1815 г. другой из них, А. Н. Михайловский-Данилевский, возвращавшийся с русской армией из Европы, спокойно отметил: «Мы сегодня ночуем уже в пределах России, в Калише, лежащем в Царстве Польском»<sup>39</sup>.

П. А. Вяземский, приехавший сюда в 1818 г., писал: «До Варшавы я знал почти одну Москву, в Петербург наезжал я только на короткое время, за границей же не бывал. Варшава, тогда не только *мирная* (курсив Вяземского. — И. С.), но и празднующая перерождение свое, повеяла на меня незнакомым, новым воздухом»<sup>40</sup>.

Позднее скульптор Федор Толстой, который был в Варшаве проездом в середине XIX в., в своем дневнике разочарованно отметил: «Нет, а Варшава не то, что я себе воображал. Я полагал ее Европейским хорошим городом, коли не так большим, как другие столичные города... но все-таки похожим на столицу, и не знаю, почему, я предполагал ее быть веселым городом с чистыми домами, улицами — но совсем не то Варшава, совсем не похожа на столичный город, он некрасив, невесел и грязен»<sup>41</sup>. В том, что у русских теперь складывалось такое впечатление, были виновны не столько их глаза, сколько имперская политика, превратившая польскую столицу в рядовой губернский город. Как заметил еще Вяземский, «польских губерний города — то[т] же Рим. Все прах, все воспоминания... Это какаля-то подложная жизнь»<sup>42</sup>. Александр Блок описывал дорогу в Варшаву: «Жандармы, рельсы, фонари... И вот в лучах больной зари / Задворки польские России» (Возмездие. 1910–1821)<sup>43</sup>.

Российская политика привела и к искажению архитектурного облика Варшавы<sup>44</sup>. «Я не поляк, однако я принял к сердцу резкое, довольно-таки „бестактное“, да и прямо оскорбительное вторжение русского национализма в этот чисто западный город, начиная со здания в русском стиле, что выросло позади памятника Копернику»<sup>45</sup>, — писал в своих воспоминаниях А. Н. Бенуа. Речь шла о перестройке под православную церковь в псевдовизантийском стиле классицистического дворца Сташица, который некогда был местом пребывания Общества друзей наук. Бестактным Бенуа показался и собор Александра Невского на центральной Саксонской площади города с



70-метровой колокольной: «Я ненавидел этот собор, хотя он и был построен моим братом Леонтием»<sup>46</sup>. У Блока в поэме «Возмездие» говорится об этом сооружении: «На миг скользнул ослепший взор / По православному собору... / (Какой то очень важный вор, / Его построив, не достроил...)» — поэт, вероятно, не имел в виду архитектора<sup>47</sup>.

В первый раз Бенуа побывал в Варшаве в 1881 г., когда там еще не было этих зданий. Варшава в его тогда еще детских глазах выглядела «столь нарядной», столь «заграничной». В целом, вспоминал он, в то время русским «заграница представлялась... каким-то земным раем», но в Варшаве «заграница была не настоящей», так как она находилась «не где-либо за пределами государства Российского, а в одном из ее же губернских городов...» (здесь автор поставил выразительное многоточие). «Но этот губернский город был Варшавой, бывшей столицей Царства Польского! — продолжал Бенуа. — Все население говорило не по-нашему, одеты были также по-иному... не перечать всего, что с полной несомненностью свидетельствовало о „заграничности“ Варшавы: наемные коляски с кучером, одетым „по-господски“... главные улицы были залиты асфальтом, всюду видел я бритых и опрятно одетых людей... на каждом шагу кофейни-цукерни... нектароподобный кофий со сбитыми сливками»<sup>48</sup>.

С этим описанием перекликается относящееся к тому же времени мнение Михневича: «Для русского человека, не бывавшего за границей, Варшава, по своей внешности, производит с первого раза впечатление иностранного города. В ней, кроме местной своеобразности, несомненно больше *европейского* (курсив автора. — И. С.), чем в наших, даже больших городах»<sup>49</sup>.

У русских поэтов начала XX в. образ города приобретет драматическую окраску. Александр Блок увидит Варшаву, в которой «Жизнь глухо кроется в подпольи, / Молчат магнатские дворцы», «Вокзал заплеванной; дома, / Коварно преданные выюгам; / Мост через Вислу как тюрьма», а эхо разносит по пронизанному зимней непогодой городу слова «Мсть! Мсть!»<sup>50</sup>. Андрей Белый в «Путевых заметках» лишь кратко скажет: «Варшава! / Я помню — пролетки, пронзительный ветер над Вислой, мост и — вокзал; на вокзале сидели... Мы писали открытки»<sup>51</sup>.

Так на протяжении двух веков изменились впечатления русских от Варшавы. В польско-русских отношениях культура и политика часто особенно сближались. Поэтому восприятие русскими Варшавы отличалось от восприятия ими других европейских столиц, оно зависело не только от индивидуальности смотрящего и смены культурных эпох, но и от движения эпох политических.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Путешествие стольника П. А. Толстого по Европе / Издание подгот. Л. А. Ольшевская, С. Н. Травников. М., 1992. С. 25; далее цитируются с. 23–30. Польский перевод: *Sawinicz J. Podróż do Włoch... przez stolnika P. A. Tolstoja // Księga Świata. Warszawa, 1859. Cz. 2. S. 178–183.*
- 2 *Михневич В. О.* Варшава и варшавяне. СПб., 1881. С. 3, 46.
- 3 *Раевский А. Ф.* Воспоминания о походах 1813 и 1814 годов. М., 1822. С. 25.
- 4 *Вяземский П. А.* Полн. собр. соч. СПб., 1878. Т. 1. С. 91.
- 5 *Михневич В. О.* Указ. соч. С. 30.
- 6 У Толстого речь идет именно об этой постройке, а не дворце на площади За железной брамою (ср.: Путешествие стольника П. А. Толстого по Европе. Указ. соч. С. 331, примеч. 90).
- 7 Описание Варшавы и ее окрестностей с дополнением описания Чепстоховы / Составил П. Д. (с новейшим планом Варшавы). Варшава, 1850.
- 8 Записки графа А. Р. Воронцова. Публ. и прим. П. И. Бартенева // Русский Архив. 1883. Т. 21. Кн. 1. № 2; далее цитируются с. 256–257.
- 9 См.: *Polska stanislawooska w oczach cudzoziemców / Opr. W. Zawadzki. Warszawa, 1963. Т. 1–2, passim.*
- 10 Подробнее см.: *Свирида И. И.* О гедонистической ипостаси топоса Варшавы // *Studia polonica. К 70-летию Виктора Александровича Хорева. М., 2002. С. 398–408.*
- 11 Цит. по : *Вяземский П. А.* Фон-Визин. СПб., 1848. С. 81.
- 12 Там же. С. 75.
- 13 *Фонвизин Д. И.* Сочинения, письма и избранные переводы. СПб., 1866. С. 271.
- 14 Дневник поручика Васильева. Предисловие Е. Щепкиной. СПб., 1896; [*Протасьев С.*] Из записок неизвестного лица // Русский архив. 1898. Кн. 3. Вып. 9. С. 37–38.
- 15 *Фонвизин Д. И.* Указ. соч. С. 412.
- 16 *Wierzbicka-Michalska K.* Teatr w Polsce w XVIII wieku. Warszawa, 1977. S. 142, 156–208.
- 17 *Фонвизин Д. И.* Указ. соч. С. 412.
- 18 *Глинка Ф. Н.* Письма русского офицера. М., 1990. С. 163. См. также: *Софронова Л. А.* Польская театральная культура эпохи Просвещения. М., 1985. С. 199–201.
- 19 Дневник поручика Васильева. Указ. соч. С. 1, 10.

- 20 Глинка Ф. Н. Указ. соч. С. 68.
- 21 См.: Свирида И. И. Между Петербургом, Варшавой и Вильно. Художник в культурном пространстве. XVIII — середина XIX вв. М., 1999. С. 23–24; 148.
- 22 Дневник поручика Васильева. Указ. соч. С. 14.
- 23 Лубяновский Ф. П. Путешествие по Саксонии, Австрии и Италии. СПб., 1805. Т. 1. С. 9.
- 24 Глинка Ф. Н. Указ. соч. С. 63.
- 25 Там же. С. 159.
- 26 Там же. С. 157–158.
- 27 Описание Варшавы и ее окрестностей. С. 102.
- 28 Глинка Ф. Н. Указ. соч. С. 65.
- 29 Свирида И. И. Польская художественная жизнь конца XVIII — первой трети XIX вв. М., 1978. С. 163–164.
- 30 Глинка Ф. Н. Указ. соч. С. 29.
- 31 Там же. С. 234–235.
- 32 Вяземский П. А. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 45.
- 33 Раевский А. Ф. Воспоминания о походах 1813 и 1814 гг. М., 1822. С. 19.
- 34 Глинка Ф. Н. Указ. соч. С. 158.
- 35 Колзаков К. П. Воспоминания 1815–1831 // Русская старина. 1873. Т. 7, апрель. С. 423; Т. 8, сентябрь. С. 589.
- 36 Император Николай I в 1839–1831 гг. (Из записок графа А. Х. Бенкендорфа) // Русская старина. 1896. Т. 88, октябрь. С. 69–70.
- 37 Szczypliowski A. Świerć wieku Warszawy. 1806–1830. Warszawa, 1964; Beauvois D. Le développement d'une capitale: Varsovie, 1815–1830 // Revue d'histoire moderne et contemporaine 1971. Т. 18. janvier–mars. P. 91–105.
- 38 Раевский А. Ф. Указ. соч. С. 2.
- 39 Михайловский-Данилевский А. Н. Журнал путешествия из Швейцарии через Богемию и Пруссию в Варшаву 1815 г. // Вестник Европы. 1817. Ч. 96. № 23.
- 40 Вяземский П. А. Полн. собр. соч. Т. 1. С. XXXVIII.
- 41 Толстой Ф. Дневники. Гос. Русский музей. Рукописный отдел. Ф. 4. Ед. хр. 4. Тетрадь 27. Л. 14.
- 42 Вяземский П. А. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 103.
- 43 Блок А. Сочинения в одном томе. М., 1946. С. 252.

- 44 О постройках русско-византийского стиля в Варшаве см.: *Paszkiewicz P. Pod berłem Romanowów. Sztuka rosyjska w Warszawie 1815–1915; Idem. W służbie Imperium Rosyjskiego. 1721–1917. Funkcje i treści ideowe rosyjskiej architektury sakralnej na zachodnich rubieżach cesarstwa i poza jego granicami. Warszawa, 1999.*
- 45 *Бенца А. Н. Мои воспоминания. М., 1990. Кн. 4. Т. 2. С. 44.*
- 46 Там же. Кн. 1. С. 412.
- 47 *Блок А. Указ. соч. С. 252, 255.*
- 48 *Бенца А. Н. Указ. соч. Т. 1. С. 415.*
- 49 *Михневич В. О. Указ. соч. С. 24.*
- 50 *Блок А. Указ. соч. С. 252.*
- 51 *Бельй А. Офейра. Путевые заметки. М., 1922. С. 8.*



С. М. Фалькович  
(Москва)

## Представление русских о религиозности поляков и его роль в создании национального польского стереотипа

---

Становление стереотипных представлений о том или ином народе — явление, растянутое во времени на века. Это процесс, развивающийся параллельно с формированием нации, складыванием национального характера и менталитета данного народа. Поэтому проследить рождение национального стереотипа приходится, начиная с далекой истории, и некоторые его черты появляются еще в эпоху Средневековья. В дальнейшем они могли развиваться, претерпевать изменения и даже вовсе исчезать под влиянием различных факторов, роль и значение которых в разные периоды также могут меняться<sup>1</sup>.

Все это видно на примере эволюции представлений о религиозности поляков, складывавшихся в процессе формирования в русском обществе национального польского стереотипа. Важнейшим фактором здесь являлись конфессиональные различия между обоими народами, противостояние и противоборство православия и католичества. В средние века значение религиозных различий было огромно и воспринималось особенно остро: в глазах православного русского поляки-«латиняне» были такими же «нехристями», «басурманами», как татары-мусульмане и немцы-лютеране. По словам историка И. П. Филевича, в то время «русские беса представляли в виде ляха»<sup>2</sup>, а В. О. Ключевский утверждал, что поляк и татарин были постоянными врагами истинно русского человека и в XVIII в.<sup>3</sup>

Отголоски такого представления о поляках нашли отражение и в художественной литературе, воспроизводящей атмосферу XVII—XVIII вв. Так, в исторических повестях Н. В. Гоголя «Тарас Бульба», «Страшная месть» запорожцы называют поляков не иначе как «погаными католиками», «проклятыми недоверками», «нечестивым»,

«неверным» народом, служащим врагу рода человеческого — сатане. У А. С. Пушкина в исторической драме «Борис Годунов» католичество предстает наступающим на Русь об руку с польским нашествием, а ксендз Черниковский, взывая к святому Игнатию (основателю ордена иезуитов Лойоле), предлагает Самозванцу руководствоваться иезуитским принципом: «притворствоваться пред оглашенным светом» во имя исполнения «духовного долга» — обращения русских в католическую веру<sup>4</sup>.

Иезуитизм не вошел в польский стереотип в качестве постоянной черты, но понятия «поляк» и «католик» слились в представлении русских: Этому способствовала специфика эпохи разделов Польши, когда польский народ боролся против национального угнетения, за свободу, за восстановление своего государства. В этой борьбе религия была для поляков опорой и оплотом; конфессиональный признак акцентировался ими, так как лишний раз подчеркивал их особенность, противопоставлял угнетателям. Особенно наглядно это проявилось в период манифестаций конца 1850-х — начала 1860-х гг. и во время восстания 1863–1864 гг. в Королевстве Польском. Хоровое пение молитв и национальных гимнов в костелах, массовое участие в панихидах, демонстративное ношение траура, национальных и религиозных эмблем с надписями религиозного и патриотического характера, использование религиозной символики для изображения страданий «мученицы-Польши» — все это создавало специфическую окраску польского освободительного движения и дало основание заместнику Королевства Польского А. Н. Лидерсу заявить, что «дух непокорности проявляется в особенности [...] в костелах»<sup>5</sup>.

Столь ярко выраженная католическая окраска польского национально-освободительного движения давала ему мало шансов встретить сочувствие в русском православном обществе. Это хорошо понимали российские революционеры, стремившиеся поддержать польских повстанцев в борьбе против царизма. В революционной пропаганде они старались акцентировать не конфессиональные особенности, а общий религиозный характер движения, поскольку именно это могло найти отклик в душе русского человека: как отмечал А. А. Потемкин, «солдату совесть запрещает разгонять толпы, идущие за духовенством с крестами, со свечами, с пением молитв»<sup>6</sup>. С учетом такого менталитета в листовках и прокламациях, направленных на поддержку и защиту восстания, российские революционеры-демократы изображали поляков не католиками, а просто «добрыми христианами». Так говорилось о них в «Солдатском письме». «Печатная правда» также писала о «добрых христианах», которые не хотят «ни убивать, ни обижать» русских. «Они только защищаются против начальст-

ва, — говорилось в листовке, — которое заставляет их жить не так, как Бог приказал, а так, как черту угодно». Эта фраза почти дословно была приведена и в листовке: «Товарищи, вы несчастный народ». А в прокламации Н. П. Огарева «Братья солдаты, ведут вас бить поляков» на вопрос: «Почему Польша восстает?» давался ответ: «Потому что на то воля Господня, потому что слушний час приходит»<sup>7</sup>.

В то время как русские революционные демократы пытались использовать религиозную аргументацию для создания положительного образа «поляка-христианина», официальная российская пропаганда внедряла в общественное сознание иной стереотип: польская национальность неразрывно связывалась с католичеством, отождествлялась с ним. Против этого двуединого врага царские власти перешли в наступление сразу после подавления восстания. Разработанные российскими чиновниками в 60–70-е гг. XIX в. проекты реформ предусматривали в качестве одной из главных целей подготовить почву для насаждения в Королевстве Польском православия, а также вытеснения польской культуры из западных губерний России. Возник «план располячивания католицизма в Западной России» (о нем рассказывалось в статье А. И. Владимирова в 1884 г.), предусматривавший введение русского языка в католическом богослужении. Об использовании русского языка при дополнительных церковных службах говорилось и в циркуляре каноника Ф. Е. Сенчиковского в 1877 г., а один из рьяных русификаторов П. А. Кулиш требовал запретить печатать по-польски даже молитвенники<sup>8</sup>.

Все эти меры должны были нанести удар по католическому духовенству, сыгравшему в восстании активную роль и потому являвшемуся объектом особой ненависти со стороны властей. Активность духовенства, особенно низшего, подчеркивали авторы записки «О ходе восстания в Польше»: ксендзы и монахи принимали присягу «заговорщиков», благословляли повстанцев, вели пропаганду и сами нередко сражались в повстанческих отрядах. В результате массовых обысков в конце 1863 г. были обнаружены запасы оружия и революционной литературы а также тайные типографии<sup>9</sup>. Министр П. А. Валуев считал, что от ксендзов исходит главная опасность; генерал К. П. фон Кауфман подчеркивал необходимость ослабить католическое духовенство, звучали голоса, требовавшие «придавить» его<sup>10</sup>. На священников была наложена контрибуция, многие монастыри оказались заняты войсками. Но, как писал Н. Н. Новиков, добиться лояльности католического клира административными методами является бесполезной затеей, и потому оставался один путь — замена всех нелояльных священников.

Такая «чистка» в рядах католического духовенства была произведена: князь В. А. Черкасский специально занимался изучением

следственных дел для выявления участвовавших в восстании служителей католической церкви. Эти факты послужили основанием для закрытия 39 монастырей, а позднее, в результате монастырской реформы, их осталось лишь 35 из 197. Монахов перевели на штатное содержание, возникло материальное неравенство между черным и белым духовенством, что внесло раздор в его среду. Это как раз отвечало замыслам правительства. Черкасский в 1864 г. писал, что необходимо в Польше, «в этой стране ультрамонтанизма подорвать слепое, безусловное повиновение канонам католическим; важно рубить сплошную стену католицизма; разбить само духовенство на группы и дать в польско-католическом мире право самостоятельной жизни всякому меньшинству». Выдвигались также и более радикальные проекты: еще в 1856 г. родилась записка С. С. Ланского «О подчинении в некотором отношении латинской церкви в западных губерниях православным епархиальным начальствам». Эта мысль была развита Е. Прошинским и архиепископом Антонием, предложившими в 1865 г. создать независимую от Рима католическую иерархию<sup>11</sup>.

Осуществить все проекты царских чиновников и подорвать позиции католической церкви в Польше не удалось, зато другая цель правительства была достигнута. В ходе антипольской и антикатолической шовинистической кампании, развернутой в официальной печати, был широко растиражирован образ «поляка-католика». Он прочно укрепился в сознании русского общества, это словосочетание стало как бы стереотипом в стереотипе.

Во второй половине XIX в. и в консервативных, и в либеральных кругах России «латинство» Польши рассматривалось как важный элемент ее истории. Известные славянофилы И. С. Аксаков и А. С. Хомяков считали, что измена поляков славянским принципам в пользу католицизма и шляхетских привилегий имела следствием гибель Польского государства. При этом они противопоставляли латинизированной польской шляхте славянское крестьянство и видели в проведении крестьянской реформы путь к возвращению Польши в лоно славянства<sup>12</sup>.

Русские историки этого периода, пытавшиеся подвести научную базу под объяснение польского национального характера, также признавали католицизм, «латинство» поляков важным фактором его формирования наряду со славянскими и сарматскими корнями. По мнению П. Д. Брянцева, И. П. Филевича, М. О. Кояловича, М. Ф. Владимирского-Буданова и др., католицизм оказал разрушительное влияние на польский национальный характер и определил тем самым форму общественно-политического устройства Польши, которое привело ее к гибели. Негативную роль католицизма подчеркивал и Н. Я. Данилевский, утверждавший, что с ним связана неотъемлемая черта поль-



ской истории — насильственность и нетерпимость, в том числе и религиозная<sup>13</sup>. В то же время в русской исторической науке существовало и другое мнение на этот счет: в частности, Ф. М. Уманец отмечал, что политическая и религиозная свобода для шляхты воцарилась в Польше раньше, чем в других странах Европы<sup>14</sup>.

Таким образом, формула «поляк-католик» в целом была принята общественным мнением России, различны были лишь ее интерпретации представителями тех или иных его течений. Подобная ситуация сохранялась и в начале XX в., когда образ «поляка-католика» стал предметом обсуждения не только в прессе и публицистике, но и даже на форуме Российской Государственной Думы. В думских выступлениях русских националистов, ставивших знак равенства между конфессиональной и национальной принадлежностью, этот образ приобретал зловещий характер, подчеркивалась его агрессивность, фанатизм, ненависть к русским и православным<sup>15</sup>.

Значительную часть правого крыла Думы занимали служители православной церкви, наиболее рьяные представители которой называли католиков «двуногими зверями», «предтечами антихриста» (так писал, например, епископ Полоцкий Серафим в «Слове на католиков»<sup>16</sup>). С думской трибуны с разоблачением «латино-польской пропаганды» постоянно выступал епископ Евлогий, депутат от Люблинской и Седлецкой губерний, а также православные священники А. Д. Юрашкевич, Н. Е. Гепецкий, Е. Я. Ганжулевич, представитель Витебской губернии епископ Митрофан<sup>17</sup>. Обличителями «поляков-католиков» были и светские ортодоксы и реакционеры — Г. Г. Замысловский, В. А. Бобринский 2-й, В. Н. Львов 2-й и др. В частности, Бобринский ставил в один ряд «национальный (т. е. польский. — С. Ф.) шовинизм и фанатизированное латинство», а Замысловский в подтверждение этого приводил пример восстания 1863 г. в Королевстве Польском, напоминая, что ксендзы тогда возглавляли повстанческие отряды, входили в Варшавское общество кинжальщиков. Те же «жестокость, непримиримость, фанатизм» поляков он отмечал и в событиях 1905 г., происходивших в западных губерниях России. Евлогий также подчеркивал, что массовое «сращивание» в католичество русского населения Западного края в революции 1905 г. польские ксендзы проводили вместе с польской шляхтой под лозунгом: «насталась власть Польши», что они распространяли слухи, с одной стороны, о «полном банкротстве и бессилии русской власти, о полном торжестве Польши», а с другой, «об изгнании всего православного», о принятии католической веры якобы даже царем и царицей<sup>18</sup>.

Акцентируя связь национальной и религиозной агрессивности поляков в западных губерниях, Юрашкевич заявлял: все, «что в За-

падном крае носит название поляков и католиков, — это бывшие русские православные, те, которые изменили вере своих отцов», и окатоличивание местного православного населения продолжается. Бобринский подчеркивал, что «кровавую историю Забужского края поляки творили с благословения папы», что процессы ополячивания и окатоличивания на Холмщине шли одновременно. Евлогий особо отмечал «злое дело» унии в западных губерниях, которая в начале XIX в. «перевела в латинство и ополячила все родовитое русское дворянство [...] латинизировала, полонизировала русское униатское духовенство». Он обвинял «поляков-католиков» в «злобе и ненависти по отношению ко всему русскому и православному». В речах русских националистов постоянно звучало противопоставление «польского латинства» и «православной русской народности», причем не только при обсуждении религиозных проблем, но и при решении вопросов, затрагивавших политические интересы. Так, во время обсуждения интерpellации об отнятии у верующих костела в Ополе, Львов 2-й доказывал: возвращение костела послужило бы «лозунгом, что католичество сильно, что Польша восторжествовала»; поэтому ни один русский и православный не мог этого допустить. «Мы защищаем свое правое русское дело», — заявил он<sup>19</sup>.

Мысль о противостоянии католической Польши и православной России откровенно выразил Юрашкевич. Выступая против законопроекта о свободе перехода в иную веру, он сказал, что закон нужен полякам для окатоличивания Холмщины, и «прямо и открыто» назвал их «врагами русского народа», а католиков Западного края «изменниками веры своих отцов». Четкую формулу дал Замысловский: «для Западной России католицизм — это символ польской национальности и польской государственности»; он обращал внимание на тождественность борьбы между православием и католичеством на Западе России с борьбой русской государственности против государственности польской, а также отмечал связь идей этой последней с религиозным фанатизмом, приводя в пример проповеди католического священника, толковавшего не только о вере, но и польском орле. Замысловский подчеркивал, что католицизм «закалился в нетерпимости, в фанатизме [...] под влиянием политической национальной борьбы»<sup>20</sup>.

Таким образом, взаимозависимость национальной и конфессиональной активности поляков являлась для русских националистов в Думе непреложным фактом. «...Если по всему лицу земли русской понятия религии и национальности смешиваются, — говорил депутат от Минской губернии И. Я. Павлович, — то это имеет место в высшей степени там, где исповедуется религия католическая». На связи национальной и религии настаивал и Гепецкий, считавший,

что переход в католичество влечет за собой ополячение, т. е. измену русской национальности. Юрашкевич же, вскрывая суть закона о свободе перехода в иную веру, так определил его цель: «увеличить число католиков, а через это — поляков». Он доказывал, что «нет православных поляков и нет католиков неполяков. Католик означает поляк»; поэтому нужно задержать процесс окатоличивания и ополячивания на Холмщине и в целом на Западе России, где раздается «воплъ о новом нашествии католицизма»<sup>21</sup>.

Об отождествлении, с одной стороны, русского и православного, а с другой, польского и католического говорил и представитель Гродненской губернии В. К. Тычинин, который также предупреждал об угрозе окатоличивания и ополячивания, указывая, что проводником полонизации является польское духовенство<sup>22</sup>. Русские националисты стремились предотвратить эту угрозу, перекрыв ксендзам возможность вести католическую пропаганду среди масс, и, в частности, хотели бы вернуться к дореволюционным временам, когда, как об этом свидетельствовал член польского кола (фракции) А. Парчевский, в костелах запрещались проповеди на польском языке и даже говорить с прихожанами по-польски ксендзы не имели права<sup>23</sup>.

Запретить польский язык как средство окатоличивания — такой метод правые депутаты пытались использовать и при решении в Думе вопросов образования и просвещения. Прежде всего речь шла о языке преподавания религии в начальных училищах. Тычинин жаловался, что белорусов учат закону Божию по-польски; вместе с Евлогием, выступавшим против ополячивания русских жителей Холмщины и Западного края на основании их принадлежности к католической церкви, он требовал преподавать религию католикам-неполякам на русском языке. Юрашкевич шел дальше, предлагая назначать учителями в Западном крае только православных; как и Евлогий, он считал, что иначе школа попадет в польские руки и станет орудием полонизации. «Поляк, — заявлял Юрашкевич, — не только любит свою народность, он любит и свою историю, свое прошлое [...] в настоящее время он не оставляет своей мысли когда-нибудь восстановить это прошлое, восстановить польское царство [...] все силы, все помышления, все чувства, все сердце, вся душа поляка теперь устремляются к этому делу». Юрашкевичу вторили выступавшие в дебатах по бюджету Министерства просвещения священники Ф. И. Никонович и Кузьминский, представители Витебской и Гродненской губерний, и С. Н. Алексеев, депутат от русского населения Варшавы. Последний подтвердил, что польские противники русской православной школы все стремятся к независимости, к восстанию против русского народа и государства<sup>24</sup>.

Как показали дебаты о школе и языке обучения, русские националисты, вопреки своим категоричным заявлениям, вынуждены были признать, что католичество в западных губерниях исповедуют не одни поляки, что там есть католики русские, украинцы, белорусы. Украинцев и белорусов они особенно стремились уберечь от «польского окатоличивания», добиваясь запрета обучать их закону Божию по-польски. Но при этом молчаливо обходилась тот факт, что для украинцев, литовцев русский язык, предлагавшийся в качестве языка обучения, также был неродным. Об этом напоминали в Думе и ксендз С. Мацеевич, и представитель трудовиков А. А. Булат, который подчеркнул, что если со стороны ксендзов литовцы подвергаются полонизации, то цель православного духовенства — их обрусение<sup>25</sup>.

Слова Булата свидетельствовали, что и на левом фланге Думы тесная связь Польши с католичеством не подвергалась сомнению, хотя отношение к национальным и религиозным правам поляков резко отличалось от позиции думских реакционеров. Это подтверждало и выступление социал-демократа Т. О. Белоусова, назвавшего в качестве звеньев одной цепи «кровавую историю униатов, кровавую историю Польши». Член кадетской фракции В. А. Караулов также подчеркивал тенденциозную направленность религиозной политики польских властей в Речи Посполитой и аналогичную религиозную нетерпимость по отношению к полякам в православной России<sup>26</sup>. Что касается октябристов, то их взгляд на проблему польской национальности и католической веры еще в 1907 г. выразил А. И. Гучков в органе своей партии «Голос Москвы». Он признавал национальную и религиозную особенности поляков и призывал к уважению их в этнографической Польше, но одновременно требовал прекратить полонизацию Западного края, не навязывать католицизм и польский язык русскому населению, заменить ксендзов-поляков русским католическим духовенством, обучать в польских школах только поляков-католиков, а отнюдь не католиков-русских. Эта позиция во многом перекликалась с тем, чего требовали для западных губерний русские националисты, правда, в отличие от последних, называвших поляков врагами России, Гучков заявлял, что хотел бы видеть в польском народе «не врага, а брата и друга»<sup>27</sup>.

Несмотря на разницу и даже диаметрально противоположность позиций различных партий в Думе, в выступлениях их представителей неизменно присутствовал образ поляка-католика, хотя отношение к этому образу было неодинаковое. Созданию и поддержанию такого образа способствовали и сами польские депутаты, защищавшие национальные права польского народа и католическую церковь, подчеркивавшие свою национальную и конфессиональную принад-



лежность. Так, Парчевский в связи с выдвиганием законопроектов, носивших антипольский характер, заявил 23 мая 1909 г.: «Католики и поляки убеждены в том, что и в будущем они будут заставлены многое перенести и перестрадать, как перестрадали уже в прошедшем времени и как страдают сегодня»<sup>28</sup>.

Фраза Парчевского неслла в себе не только привычную формулу «католик-поляк» в качестве подтверждения характерной черты польского стереотипа, но и нечто большее — то содержание этой формулы, которое четко воспринималось известной частью русского народа, не ангажированной в тенденциозную политику, не ослепленной национализмом и религиозным фанатизмом. Парчевский говорил о страданиях «поляков-католиков», а русской душе было свойственно отзываться на чужую боль. Н. А. Бердяев, видевший в «распре России и Польши» «столкновение православной и католической души» внутри славянства, писал, что «в польской душе есть переживание Христова пути, страстей Христовых, Голгофской жертвы», это «наиболее утонченная и изящная в славянстве душа, упоенная своей страдальческой судьбой». «Польская душа, — отмечал он, — вытягивается вверх. Это — католический духовный тип». Бердяев подчеркивал, что именно «латинско-католическая прививка к славянской душе» создала «польский национальный лик» и именно она затруднила взаимоотношения между поляком и русским. «Для погруженной в себя русской души, получившей сильную православную прививку, — писал он, — многое не только чуждо и непонятно в поляке, но неприятно, отталкивает и вызывает вражду», русским людям труднее всего «постигнуть католическую культуру и душевный тип, на ее почве вырастающий», так как они «остаются православными по своему душевному типу»; в складе их души «нет ничего готического», «русская душа расплывается перед Богом», в ней больше смирения, тогда как в польской душе — «пафос страдания и жертвы». И тем не менее Бердяев видел «общее и роднящее» «на вершинах духовной жизни русского и польского народа, в мессианском сознании»: «И русское, и польское мессианское сознание, — утверждал он, — связывает себя с христианством [...] Жажда Царства Христова на земле, откровение Св. Духа есть жажда славянская, русская и польская жажда». На этой основе можно и нужно «взаимно полюбить качества народных душ и простить их недостатки». При этом «русская душа останется православной по своему основному душевному типу, как польская душа останется католической. Это глубже и шире православия и католичества, это — особое чувство жизни и особый склад души»<sup>29</sup>.

Статья «Русская и польская душа» была написана Бердяевым во время Первой мировой войны, накануне событий, ставших перелом-

ными в судьбах народов России и Польши. После Октябрьской революции 1917 г. в Советском государстве проводилась политика воинствующего атеизма, и религиозные различия в связи с этим утратили значение; ушли из жизни многие привычные понятия и выражения, в том числе стерлось и понятие «поляк-католик»; эта характерная черта не акцентировалась в польском стереотипе. Правда, порой образ польского ксендза, коварного иезуита возникал в том или ином произведении советской литературы и искусства (например, в фильме «Богдан Хмельницкий»), но в целом стирание этой грани польского стереотипа явилось иллюстрацией к процессу его эволюции под влиянием различных факторов.

Представляется, что эта эволюция далеко не завершена, и одна из характернейших черт в национальном стереотипе поляка вновь может занять свое место в новых, изменившихся условиях, когда в России возрождается интерес к религии. К счастью, в стране пока еще не получило распространения и не вошло в массовое сознание противопоставление православия и католичества. Поэтому представление россиян о религиозности поляков работает скорее на создание положительного образа носителя христианских ценностей. И это еще один пример того, как может меняться трактовка и оценка тех или иных черт национального стереотипа в зависимости от условий, от общей установки.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 См.: *Falkowicz S. M. Polski charakter narodowy w oczach Rosjan. Kształtowanie się narodowego stereotypu Polaka // Dzieje najnowsze. Warszawa, 1995. № 2.*
- 2 *Филевич И. П. Польша и польский вопрос. М., 1894. С. 2.*
- 3 *Ключевский В. О. Курс русской истории // Ключевский В. О. Сочинения. М., 1989. Т. 5. С. 36.*
- 4 *Пушкин А. С. Сочинения. М., 1949. С. 421.*
- 5 *Штакельберг Ю. И. Об эмблематике польского восстания // Связи революционеров России и Польши в XIX — начале XX вв. М., 1968: С. 81–83; Он же. Архив «Русской старины» // К столетию героической борьбы «за нашу и вашу свободу». М., 1964. С. 308.*
- 6 *Литературное наследство. М., 1941. Т. 41–42. С. 350–351.*
- 7 *Дьяков В. А., Миллер И. С. Революционное движение в русской армии и восстание 1863 г. М., 1964. С. 392–393, 405–406, 396–397.*
- 8 *Штакельберг Ю. И. Фонды личного происхождения в ЦГИАЛ // Русско-польские связи и восстание 1863 г. М., 1962. С. 420; Он же. Архив... С. 346.*

9. *Тальвирская З. Я.* Фонд Ф. Ф. Берга // Восстание 1863 г. и русско-польские революционные связи. М., 1960. С. 362–364.
10. *Штакельберг Ю. И.* Фонд П. А. Валуева // Русско-польские революционные связи... С. 363; *Он же.* Фонды... С. 405, 423.
11. *Обушенкова Л. А.* Фонд князей Черкасских // Восстание 1863 г.... С. 458, 460, 466–467; *Тальвирская З. Я.* Указ. соч. С. 398; *Штакельберг Ю. И.* Фонды... С. 416, 424; *Он же.* Архив... С. 300.
12. *Kurpiszowa G.* Poglądy Iwana Aksakowa na kwestię polską // Zeszyty naukowe Wydziału humanistycznego. Historia. Uniwersytet Gdański. 1976. № 6. Gdańsk, 1977. S. 29, 31–32, 34–35; *Bezwiński A.* Chomiakow w kręgu spraw polskich // Studia polono-slavico-orientalia. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk. 1976. T. 3. S. 127.
13. *Дамлевский Н. Я.* Россия и Европа. СПб., 1871. С. 187–188.
14. *Уманец Ф. М.* Вырождение Польши. М., 1872. С. 16, 172, 281.
15. См.: *Фалькович С. М.* Проблемы католической церкви и католической веры в Государственной Думе после революции 1905–1907 гг. в России // Католицизм в России и православие в Польше (XI–XX вв.). Warszawa, 1977. С. 277–285.
16. Государственная Дума. III созыв. Степнографические отчеты (далее – ГД). Сессия II. Ч. 4. СПб., 1909. Стлб. 2038–2041.
17. ГД. Сессия IV. Ч. 1. СПб., 1910. Стлб. 2000, 2047.
18. ГД. Сессия II. Ч. 4. Стлб. 1768–1769, 2010, 2013–2014, 2016–2017; Сессия III. Ч. 2. СПб., 1910. Стлб. 436–437, 739–740, 1084–1085.
19. ГД. Сессия II. Ч. 4. Стлб. 1838–1840; Сессия III. Ч. 2. Стлб. 440–442, 732, 740, 1084–1085.
20. ГД. Сессия II. Ч. 4. Стлб. 1837, 2007–2008, 2011–2015.
21. Там же. Стлб. 1792–1793, 1843–1845, 2030–2031.
22. ГД. Сессия IV. Ч. 1. Стлб. 581–587; Сессия IV. Ч. 2. СПб., 1911. Стлб. 3397–3400.
23. ГД. Сессия II. Ч. 4. Стлб. 1877–1879.
24. ГД. Сессия IV. Ч. 1. Стлб. 986–987, 1022–1035, 1312–1315, 1320–1325, 1370–1374.
25. ГД. Сессия IV. Ч. 1. Стлб. 1152–1158, 1242–1244, 1318–1322.
26. ГД. Сессия II. Ч. 4. Стлб. 1813, 1884.
27. Цит. по: «Трибуна» (PPS-фракція). 1.IX.1907. № 18, S. 49–50.
28. ГД. Сессия II. Ч. 4. Стлб. 1881–1882.
29. *Бердяев Н. А.* Судьба России. М., 1990. С. 152–158.

## Русские и поляки в Королевстве Польском (1815–1830): стереотипы взаимного восприятия

---

Годы существования Конгрессового Королевства Польского были, безусловно, одним из наиболее благоприятных периодов для русско-польского культурного взаимодействия и добрососедского общения двух народов. О связях в области науки, искусства, литературы в ту эпоху написано немало. Тем не менее даже в пору удачных политических условий и более или менее мирной общественной атмосферы в отношениях представителей двух народов преобладала сдержанность и отчужденность. Это видно на примере жизни русских в Варшаве, которая в целом гораздо менее изучена, чем история поляков в России в это же самое время<sup>1</sup>.

Известны слова П. А. Вяземского: «Русская колония в Варшаве не была представительницею пословицы, что товар лицом продается». По его воспоминаниям, в Варшаве было мало русских, «с кем образованные из поляков могли иметь какое-либо сближение»<sup>2</sup>. В те годы там жили в основном военные, служившие в Литовском полку, свита великого князя Константина и окружение Н. Н. Новосильцева. Оставлю сейчас в стороне роль этих двух одиозных фигур в формировании образа русского — это хорошо известно; и обращусь к другому — к повседневному общению и общим впечатлениям русских и поляков друг о друге. В эпоху «Конгресувки» русские офицеры бывали, конечно, приняты в польских домах и порой завязывали тесные индивидуальные контакты с жителями Королевства Польского. Они сходились с семьями польских гражданских чиновников (в основном с полонизированным мещанством французского или немецкого происхождения)<sup>3</sup>. Не были исключением также и внеслужебные контакты польских и русских офицеров. Тем не менее, как свидетельствует большинство мемуаристов, их отношения, в целом, определяла сдержанность и ярко выраженное представление об ина-



циональной среде как о чужеродной. Оппозиция мы/они, свой/чужой постоянно присутствовала в сознании как поляков, так и русских, даже при внешне безоблачных отношениях. «Мы жили среди них с чувством полной своей безопасности, так как ничто с их стороны не представлялось угрожающим. „Они не посмеют“, — говорили тогда у нас», — вспоминала княгиня Н. И. Голицына, жена А. Ф. Голицына, заведующего канцелярией великого князя Константина<sup>4</sup>. Подобные характерные высказывания представителей просвещенного русского и польского общества друг о друге, встречающиеся в мемуарах и переписке тех лет, позволяют воссоздать общепринятые в те годы стереотипы в их историко-культурном контексте.

В основе взаимного восприятия и характеристики русскими поляков и наоборот лежала, чаще всего, разница политических воззрений и представления об уровне просвещенности и цивилизованности другой стороны.

Что касается политических разногласий, то при всех публичных выражениях радости по поводу создания конституционного Королевства Польского, дифирамбах Александру I как «воскресителю нации» и признании конституции 1815 г. самой либеральной в Европе, прибывших в Польшу москалей все же воспринимали как завоевателей. Период с 1815 по 1822 гг. был временем взаимной притирки и, пожалуй, наименее всего омрачался взаимными подозрениями. В польском обществе еще жила надежда на расширение Королевства Польского и распространение конституции на часть западных губерний России, ранее входивших в состав Речи Посполитой. По свидетельству капитан-командора К. Колзакова, прибывшего в Варшаву вместе со свитой цесаревича Константина в 1814 г., эти годы были и для русских «самые веселые в Польше». Русские офицеры, многие из которых открыли для себя Европу после кампании 1812 г., всячески стремились служить в Королевстве Польском потому, что служба там имела вкус новизны, приближала их к «загранице», к Европе. Несмотря на ограниченность межнациональных контактов, они, согласно воспоминаниям, считали жизнь в Польше яркой и интересной. Русская молодежь охотно обучалась польскому и заговорила, в угоду польским паннам, «ломаю свой благозвучный язык на их шипящее наречие». «Военная молодежь дружилась с польскою, дух прежней вражды понемногу исчезал»<sup>5</sup>.

Но после того как наметился отход Александра I от либерального курса в Королевстве Польском, начались репрессии Новосильцева в Виленском учебном округе, а тем более после начала следствия по делу польских тайных обществ, бывших в связи с декабристами, отношения не могли уже развиваться столь благополучно, как вначале. Образ политического врага вновь возобладал в польском сознании.

Ф. Булгарин в сообщении Третьему отделению в 1828 г. писал о взаимоотношениях поляков и русских в Королевстве Польском так: «Под именем России они (поляки. — Н. Ф.) воображают себе какой-то фантом, привидение, от которого произошли все бедствия Польши, и за долг и честь почитают не любить России... Но между тем нигде русские не живут так весело, так скоро не дружатся и не женятся, как в Польше, а это потому, что ненависть к России существует в одном воображении, есть следствие политических правил, а не сердечных побуждений. Если только поляк может перед русским высказать свое горе и свой образ мыслей и русский не только не прогневаётся, но согласится, что он прав и что Польша разделена против прав народных, тогда ненависть национальная исчезает и восстанавливается дружба. Не говорят уже ни о Польше, ни о России, а живут как братья славяне. Если ж русский станет противуречить, гордиться пред поляками и хвалиться победами, тогда ненависть возгорается и русский не получит ни хорошего приема, ни доверенности. Вот от чего некоторые из русских, живущих в Варшаве, укоренились в Польше и живут там, как в Отечестве, любя и выхваляя поляков, а другие скучают пребыванием, будучи везде дурно приняты, и не имеют ни уважения, ни приязни»<sup>6</sup>. Свободолюбивые и патриотические стремления поляков, действительно, не могли быть чаще всего поняты русскими. Национально-освободительная проблематика вообще была чужда в то время российской общественной мысли. Поэтому, даже вспоминая о своих светских и дружеских, иногда искренне сердечных отношениях с поляками, русские офицеры делают оговорку, что эти отношения сложились вопреки разнице в политических убеждениях. Колзаков характеризует недовольство поляков сложившейся политической ситуацией как «ложный и неуместный патриотизм». Генерал, а в ту пору батальонный адъютант А. Одинцов, принадлежавший к полковой интеллигенции, признавая превосходство польской культуры над другими славянскими, обвиняет поляков в «политическом безрассудстве». По его словам, «образованный поляк рассуждает о политических событиях других народов совершенно правильно, но только речь коснется его народа, он тотчас увлекается несбыточными надеждами и начинает говорить вздор. Как твердо еврей уповает на пришествие Мессии, так поляк на восстановление польской республики с прежними границами»<sup>7</sup>. Одинцов свидетельствует, что «жители из поляков не имели большого желания сблизиться с русскими офицерами, а они, в свою очередь, не искали этого сближения и потому довольствовались только общественными удовольствиями, театрами, концертами в публичных садиках, прогулками и своим обществом»<sup>8</sup>. Н. Макаров, в 1826–1830 гг. учившийся в Школе подхо-

рунжих, в своих воспоминаниях, отдавая должное польской истории и «высокой честности поляков в коммерческих делах», желает этой нации «побольше политического такта». В то же время он пишет: «оставляя в стороне оценки их *политического* характера... я не знаю людей более добросовестных, честных и аккуратных»<sup>9</sup>.

Общепринятой же точкой зрения русских военных, для которых Царство Польское «казалось какой-то счастливой Аркадией» (Колзаков), было то, что польское благоденствие создано Россией и Александром I. Так, Н. И. Голицына пишет о Польше как стране «когда-то бедной и несчастной», а теперь, благодаря заботливости великого князя Константина, «благоденствующей, богатой и хорошо управляемой»<sup>10</sup>. Колзаков характеризует ситуацию еще более определенно: «Из прежней, опустошенной междоусобными и наполеоновскими войнами страны являлось новое, благоустроенное, цветущее торговлею и богатством государство. [...] Конституция и либерально-гуманное управление, дарованное полякам Александром I, сделалось залогом для будущего счастья всех сословий; национальный дух поляков поднялся: у них был свой сейм, свои судьи, свои министры, свой сенат, свое войско...»<sup>11</sup>. При этом в свободах, дарованных полякам, после того как они принимали участие в войне с Россией на стороне Наполеона, русские часто усматривали принижение их победителей. Распространенной была зависть подданных Российской империи к историческим противникам России, а ныне гражданам конституционного государства. Ю. У. Немцевич, вспоминая о том, что «отношение к москалям у жителей Польши недоброжелательное», ссылался при этом на «зависть» и «предвзятое отношение» москалей к полякам<sup>12</sup>. Уважаемый всеми польский писатель и общественный деятель полагал, что планы Александра I относительно соединения двух народов братскими узами разобьются, с польской стороны, о «память давних обид», с русской же — о «зависть и ненависть»<sup>13</sup>.

Сопоставление «мы — они», неизбежно возникавшее при оценке друг друга, часто выражалось в противопоставлении дикости и цивилизации, при этом варварство и отсталость могли приписываться соответственно как русским, так и полякам. Представление о просвещенности и цивилизованности как о главных критериях исторического, в том числе национального сообщества, сложилось для того времени сравнительно недавно, в эпоху Просвещения, и для политических дискурсов начала XIX в. было как нельзя более значимо. Оно значимо и по сей день, но в ту пору являлось культурной доминантой, позволявшей однозначно осуждать сообщество людей, в котором царит темнота и невежество, отсутствуют мораль, законы, «общественные добродетели» и господствует грубая сила.

Для поляков представления о «московском варварстве» были особенно характерны. Подавляющее большинство польских мемуаристов — среди них и Ю. У. Немцевич и Н. Кицкая, — описывают великого князя Константина буквально как «полудикого человека», «дикого деспота», его приближенных как угодливых невольников. По словам Кицкой, Д. Курута, начальник штаба при Константине Павловиче, был «вроде негра, находящегося в рабском повиновении»<sup>14</sup>, другие русские генералы — «угодливы до раболепия». Типична и такая ее характеристика: «порядочный человек, хотя и москаль»<sup>15</sup>. Польское свободлюбие, приверженность республиканским ценностям, гражданское достоинство противопоставляются раболепию российских придворных, «русские понятия», «представления петербургского двора самодержавных царей» настрою привыкших к вольности поляков. Так, по словам Наталии Кицкой, «слово двор звучит как фальшивый аккорд в ушах полек, они чувствуют в себе врожденное влечение к республике»<sup>16</sup>. В российских придворных церемониалах (речь идет в данном случае о коронации Николая I в Варшаве) польских дам коробит чинопочитание, ибо «в Польше каждый считает себя равным с самым титулованным сановником». Участие в придворном церемониале Кицкая называет «отбытой барщиной»<sup>17</sup>. Находясь в гуще событий польского восстания 1830–1831 гг., она видит проявления варварства в бросающейся в глаза нищете русских солдат, в то время как офицеры везут на войну «духи и гравюры». К. Бродзинский в «Речи о польской национальности», прочитанной на заседании Общества друзей наук 3 мая 1831 г., скажет, что поляки страдали под русским ярмом не только от национального угнетения, но и «как народ цивилизации XIX века»<sup>18</sup>.

Но могли и русские рассуждать о «польском варварстве». В эпоху Просвещения на Западе сложился образ Польши как отсталого во всех отношениях государства, где царит анархия. Оттуда он проник и в Россию. Представления о Польше как о стране шляхетской вольницы и беззакония, дезорганизации государства, вызывали у корреспондента П. А. Вяземского, будущего декабриста, либерала по убеждениям Н. И. Тургенева опасения, что стараниями Александра I конституционные свободы могут прийти в Россию через Польшу как «чистая вода через нечистый водопровод». В 1818 г. Н. И. Тургенев, стоя на просветительских позициях, продолжал утверждать, что хотя и «печально для друга человечества видеть уничтожение Польши, но сие уничтожение сблизило тогда Россию с Европой». «Польша в недавнешнем ее существовании, — писал он в своем дневнике, — была бы всегда стеной, отделяющей нас от Европы с сей стороны, и грязным источником, из которого бы текла в Россию безнравственность и подлость дворянства польского и ненависть и презрение к консти-



туционным государствам. Народ или публика судят по первым впечатлениям; первые же впечатления, поражающие обыкновенных людей при виде Польши, были бы конституция и беспорядки, своевольство и рабство!»<sup>19</sup>.

Выяснение того, кто имеет право называться цивилизованным, составляло общепринятую тему дискуссий, в том числе салонных бесед. В ходе отступления Константина и его армии из Королевства Польского княгиня Лович и княгиня Н. Голицына раздраженно спорят о воспитании, получаемом русскими и поляками, сравнивая его с французским. Причем обе они, говоря о национальных обычаях и воспитании учтивости, которую «познают с рождения», ссылаются на «настоящую культуру, которая отличает человека от животного»<sup>20</sup>.

П. А. Вяземский, — наиболее яркий представитель российской интеллектуальной элиты, пожалуй, единственный для своего времени человек, который вжился в польское образованное общество, в первые месяцы своего пребывания в Варшаве оценивает его с точки зрения традиционных просвещенческих ценностей. Его очень тонкие и, надо заметить, созвучные современным суждения укладываются в традиционное противопоставление России и Европы. Польское общество видится Вяземскому более цивилизованным, но одновременно он усматривает в этой цивилизованности издержки, ведущие к отчуждению людей друг от друга, их обособленности, замкнутости, унификации поведения, формализации общения. Все это пример классического дискурса Просвещения: противопоставление цивилизации и дикости и одновременно ее критика. Польское общество, пишет русский поэт в самом начале своего пребывания в Варшаве, «довольно сухо, хотя и встречаешь в нем много умных людей; но в этих умах нет ничего союзного: каждый умен про себя и про свое дело. [...] И для того буду, вероятно, иметь здесь одне шапочные связи»<sup>21</sup>. Варшаву Вяземский называет «европейскою Костромою», отмечая там зачаточные «вздохи свободы». И действительно, в первое время, когда Вяземский еще не сошелся с варшавским обществом («сегодня вечером в первый раз с приезда своего в Варшаву кормлю пятьдесят сарматских шгук»), он жалуется на то, что «bardzo nudno»<sup>22</sup>. Ему там некому не только читать стихи, но и говорит он будто бы в «говорную трубу» «с лодьми, в нарочитом отдалении находящимися», которые «иногда вам не отвечают»<sup>23</sup>. Здесь нет «сладострастия ума»; «нечего смотреть, нечему учиться; все это под спудом. Литература в каком-то школьническом ребячестве; поэзия — в полустушиях; политика — в гамбургских газетах; народная слава — в воспоминаниях; красота — в семидесятих годах, то есть дворянская; мещанская и современная — на улицах... Начало портрета сбивается на Россию, но

Польша заснула, а Россия не проснулась»<sup>24</sup>. (Как эти упреки в отсутствии духовности напоминают впечатления современных русских эмигрантов от Запада!)

Однако любопытно, как резко меняется тон высказываний Вяземского о Польше, стоит ему ненадолго съездить в Москву. Теперь он благодарит Бога за то, что местом его службы стала Варшава. «Боже великий, где это я жил? Надобно взойти из другой комнаты в эту, чтобы догадаться, какой в ней чад. [...] В Варшаве я живу с отоматами (т. е. автоматами. — Н. Ф.), а здесь дикие звери, то есть, кабаны, то есть, дикие свиньи. Нет, лучше скучать, чем содрогать. В Варшаве, по крайней мере, европейское молчание, и в воздухе человеческое дыхание». Угнетает его лишь отсутствие близких по духу друзей, но сидеть с ними «при Больших и Малых Лужниках» и «нужниках» он больше не в состоянии. Итак, подытоживает он: «В Варшаве не уживается мое сердце, а в Москве — мой ум»<sup>25</sup>. (Опять же, типичные переживания просвещенного русского в Европе и в наши дни.) Интересно, что по возвращении в Польшу меняется и представление поэта о варшавском высшем свете, он находит его более интересным, восхищается высокоразвитым там искусством салонного общения. В России, по его словам, нет таких «общежительных волков (иначе говоря, светских львов. — Н. Ф.). У нас есть говоруны, а нет собеседников. Дар говорить может встретиться и в диком, дар разговаривать — только в образованном»<sup>26</sup>. С этого времени начинается преодоление предубеждения и сближение Вяземского с варшавским обществом, политическими интересами которого он вскоре проникается, начинаются и творческие контакты. Сближение это, согласно его последующим воспоминаниям, было основано на «общей и хорошо осознаваемой образованности», в которой «есть так много точек сближений и сочувствий, что незачем отыскивать и выводить наружу точек пререканий и преткновений». «Политика, т. е. международная, или, если хотите, междоусобная оставалась совершенно в стороне»<sup>27</sup>. «Живя в Польше, не ржавел я в запоздалых воспоминаниях о поляках в Кремле и русских в Праге, а был посреди соплеменных современников с умом и душою, открытыми к впечатлениям настоящей эпохи»<sup>28</sup>. Интересно, что в воспоминаниях Вяземский напишет также, что литературные его «наклонности встречали в русском обществе менее деятельных сочувствий и соприкосновений, нежели в польском»<sup>29</sup>, а уровень варшавской интеллектуальной жизни оценит следующим образом: «Политическая и литературная деятельность была в самом цветущем и горячем развитии»<sup>30</sup>.

Итак, воспоминания и переписка тех лет позволяют представить проблему национальных образов и стереотипов в культуре двух на-

родов в несколько ином ракурсе, нежели публицистика, историософия или художественная литература. Они дают возможность проследить их непосредственную роль в жизни образованного общества, их функционирование на уровне повседневного общения. Рассмотренный материал показывает, что стереотипы взаимного восприятия, с одной стороны, были обусловлены доминирующими дискурсами, да и просто политической ситуацией первой трети XIX в. С другой же стороны, они оказались поразительно живучими, и многие из них по сей день воспроизводятся не только в русско-польских отношениях, но и вообще в ситуации эмиграции или жизни русского национального сообщества по ту сторону западной границы.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 См. об этом: *Сидоров А. А.* Русские и русская жизнь в Варшаве (1815–1895). Исторический очерк. Варшава, 1899. Т. 1.
- 2 *Вяземский П. А.* Моя исповедь // Полн. собр. соч. 1879. Т. 2. С. 90.
- 3 *Bortnowski W.* Powstanie listopadowe w oczach Rosjan. Warszawa, 1964. S. 16.
- 4 *Голицына Н. И.* Воспоминания. Рукопись (готовится к публикации). С. 3.
- 5 *Колзаков К.* Воспоминания. 1815–1830 // Русская старина, 1873. Т. 7. № 4. С. 427.
- 6 Видок Фиглярин: Письма и агентурные записки Ф. В. Булгарина в III отделение / Публ., сост. и коммент. А. И. Рейтблата. М., 1998. С. 338.
- 7 *Одинцов А. А.* Посмертные записки А. А. Одинцова, генерала от инфантерии // Русская старина. 1890. № 1. С. 33.
- 8 *Он же* // Русская старина. 1889. № 11. С. 314.
- 9 *Макаров Н.* Мои семидесятилетние воспоминания. СПб., 1882. Ч. 4. С. 90. См. также: *Bortnowski W.* Op. cit. S. 31.
- 10 *Голицына Н. И.* Указ. соч. С. 17.
- 11 *Колзаков К.* Указ. соч. С. 427.
- 12 *Nietcewicz J. U.* Pamiętniki, 1809–1820. Poznań, 1871. Т. 2. S. 221, 227.
- 13 *Ibidem.* S. 346.
- 14 *Kicka N.* Pamiętniki. Warszawa, 1972. S. 153.
- 15 *Ibidem.* S. 205.
- 16 *Ibidem.* S. 159.
- 17 *Ibidem.* S. 166–167.
- 18 *Brodziński K.* Wybór pism / Oprac. A. Witkowska. Wrocław, 1966. S. 446.

- 19 Дневники и письма Н. И. Тургенева за 1816–1824 гг. Архив братьев Тургеневых. Пг., 1921. Вып. 5. С. 44, 397.
- 20 *Голицына Н. И.* Указ. соч. С. 69.
- 21 Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 1. Переписка князя П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым, 1812–1819. СПб., 1899. С. 97.
- 22 Там же. С. 124.
- 23 Там же. С. 145.
- 24 Там же. С. 148.
- 25 Там же. С. 180–181.
- 26 Там же. С. 197.
- 27 *Вяземский П. А.* Автобиографическое введение // Полн. собр. соч. 1879. Т. 2. С. VIII.
- 28 *Вяземский П. А.* Моя исповедь. С. 90.
- 29 *Вяземский П. А.* Автобиографическое введение. С. X.
- 30 Там же. С. XVII.



М. В. Лескинен

(Москва)

## Польша и поляки в российских этнографических очерках конца XIX в.

---

Период 1890–1910 гг. в российской научной и общественной мысли характеризуется ростом интереса к собиранию и систематизации различного рода сведений, относящихся к изучению жизни и характера народов. Строго говоря, в этот период этнография, еще не будучи самостоятельной отраслью науки, находилась на этапе активного собирания того, что на сегодняшний день является ее источниковой базой. В это время появляются первые этнографические собрания и музеи, резко возрастает количество и уровень краеведческих исследований<sup>1</sup>. Особо необходимо отметить деятельность Российского Географического Общества (1845), которое отвечало также за организацию первых социологических исследований. Именно в конце XIX — начале XX в. были созданы первые этнографические журналы и серийные издания по «народоведению».

Первые работы и публикации такого рода принадлежат ученым — историкам, филологам, географам, и деятелям народного просвещения — «любителям родной старины». Тогда же намечается определенная тенденция: наибольшей популярностью пользуются описания и исследования, посвященные фольклору, религиозным верованиям и обрядам народов России. Быт и материальная культура вызывают гораздо меньший интерес как в среде ученых, так и в кругу читателей. Эта особенность русской этнографии XIX в., на которую обращал внимание С. А. Токарев<sup>2</sup>, по нашему мнению, весьма показательна. Подобный уклон во многом определил национальное своеобразие русской школы этнографии и позже, в XX в. Такое предпочтение, отдаваемое изучению духовной жизни перед материальной ее стороной, не могло не повлиять на специфику создающегося комплекса этнографических источников, что, в свою очередь, отразилось на общем уровне первых этнографических, в особенности научно-популярных работ.

Определенным образом отразились в этнографических работах дискуссионные проблемы и обстоятельства общественно-политической жизни России конца XIX в.: государственное финансирование экспедиций по сбору статистических данных о народонаселении отдельных регионов России (в частности, на Кавказ, в Среднюю Азию, в западные губернии); влияние народнического движения на формирование устойчивого интереса земской провинциальной интеллигенции к жизни и быту русского крестьянства; внимание к практически неизученной истории, обычаям и нравам многочисленных народов («племен») Российской империи; огромное значение, которое придавали сохранению и воссозданию национальной (в том числе и имперской) культуры деятели литературы и искусства в эпоху русского модерна, и др. Исключительно важен и еще недостаточно оценен по достоинству вклад военного ведомства в сбор сведений, организацию экспедиций и первых полевых исследований<sup>3</sup>.

Все это приводит к тому, что в 1890–1910 гг. устойчивое внимание к народоведческой, фольклорной и историко-бытовой проблематике обусловило необходимость популяризации этнографических знаний. Этой цели служили различные журналы и серийные издания, например, «Природа и люди» (1889–1918), «Живописная Россия» (1901–1911), «Естествознание и география» (1896–1917) и др. Авторами и редакторами этих публикаций были видные ученые, педагоги, деятели просвещения.

Основными материалами нашего исследования стали те очерки, издания и публикации, целью которых была сознательная популяризация сведений о странах и народах, накопленных к тому времени как серьезными учеными-исследователями, так и краеведами-любителями. Целью этой «познавательной» литературы было ознакомление широкого круга читателей «из народа» — в первую очередь учащихся земских и церковноприходских школ, народных училищ, городских образованных слоев с образом жизни, бытом и нравами различных народов России и мира. Эти работы выходили большими тиражами, многократно переиздавались.

Еще не изучена их роль в процессе формирования представлений об истории, культуре, жизни и быте людей в России и других странах в массовом сознании, между тем именно такие издания, а не учебники или серьезные научные труды, служили главным источником информации (в том числе и стереотипной) о других народах.

Косвенным подтверждением этому являются исследования книжного спроса населения России. На протяжении 1886–1895 гг. известный Петербургский Комитет грамотности и его деятели неоднократно публиковали результаты работы по изучению книжного спро-

са русского народа. Интересные сведения приводит в «Очерках русской культуры» П. Милоков: литература историко-географического характера составляет 8,9% всей приобретаемой литературы и занимает третье место после традиционно излюбленных духовных книг и беллетристики<sup>4</sup>.

Популярные этнографические очерки, как правило, не претендуют на научное обоснование и объяснение тех или иных особенностей антропологического типа народов, происхождения их языка, материальной культуры или суеверий, их главная задача — доступное изложение (характерно в этом смысле название серии очерков Е. Н. Водозовой «Как люди на белом свете живут»). Они написаны просто, ясно, часто иллюстрированы. Весь довольно многочисленный круг текстов можно разделить условно на две части. Первые написаны учеными, которые пытаются в той или иной степени обосновать этническое разнообразие особенностями исторического развития страны проживания, географическими и климатическими условиями. Вторая группа очерков по сути представляет собой путевые заметки очевидца или компиляцию уже изданных серьезных работ. Если в работах первого типа акцент сделан на различно трактуемом научном объективизме в изложении фактов, процессов истории и культуры, то для второго характерны такие черты, как непосредственность и живость авторского (или заимствованного) восприятия иной культуры; неосознанная замена конкретных сведений и наблюдений собственными суждениями и оценками, понимаемыми как равнозначные научным. Второй тип, безусловно, наиболее интересен для исследования функционирования стереотипов (в особенности тех, которые конструируются в период формирования национальной идеи). Некоторые из этих работ демонстрируют этнокультурные стереотипы авторов и их социального круга, но именно они, как можно предполагать, были более понятны и близки той специфической читательской аудитории, на которую рассчитывались.

Существенной особенностью всех привлеченных очерков является их несомненная лояльность по отношению к официальной политике и позиции Министерства просвещения, поскольку все они изданы в государственных издательствах, все они прошли через цензуру и получили «рекомендацию» Министерства. Потому можно полагать, что они в значительной степени отражают одобрительное мнение властей.

Все это позволяет нам сделать вывод о том, что популярная литература для широких народных масс, будучи явлением массовой культуры, отражает двойной стереотип: во-первых, в определенном смысле тиражирует общепринятые в среде специалистов представления о предмете этнографического изучения, набор основных сведений о на-

родах и их интерпретацию (что позволяет нам реконструировать научный уровень эпохи). Во-вторых, поскольку выбранные нами для анализа книги издавались большими тиражами и поступали в народные библиотеки, можно утверждать, что их вторичной целью является формирование определенного («политически корректного») образа «чужого». Это важно, поскольку дает возможность судить и о сниженном, адаптированном для массового потребителя комплексе этнокультурных характеристик разных народов<sup>5</sup>.

Набор этих стереотипов обусловлен иным, нежели сегодня, пониманием предмета этнографии. Информация в очерках дана в строгой последовательности: вначале излагаются общие сведения по географии страны проживания, дается характеристика климата и природных ресурсов, далее следуют статистические сведения о сельском хозяйстве, промышленности, торговле, народонаселении, языке, антропологическом типе, материальной и духовной культуре народов, а затем — обязательно — о характере и нраве народа. Последнее представляет для нас особый интерес, так как можно с уверенностью сказать, что в отличие от современной российской науки<sup>6</sup> этнография XIX и XX вв. разделяла точку зрения об объективном существовании черт национального характера, которые, в свою очередь, могут быть объясняемы историей народа и условиями его проживания.

Другим отличием историко-географических описаний этого периода было вызванное популяризацией социологического подхода к истории убеждение в том, что носителем этнического и культурного своеобразия народа и его исторических традиций является только крестьянство. Именно на изучении крестьянства и был сделан акцент во всех без исключения исследованиях. Городское население, рабочие, ремесленники, купеческое сословие и, конечно же, высшие социальные слои если и попадали в сферу внимания, то лишь в общем — отмечались главным образом уровень жизни и основные занятия. Крестьянство олицетворяло собой как историю и традиции народа, так и его собирательный образ. «Для ознакомления же с отличительными чертами той или иной народности необходимо обращаться к крестьянству, сельской массе, которая лучше сохраняет свой народный характер, свои природные черты», — пишет один из авторов десятитомного издания «Русская земля» (Сборник для народного чтения)<sup>7</sup>.

Эти начальные посылки и обусловили особенности характеристики Польши и поляков в этнографических популярных очерках. Многие их авторы отмечали, что, несмотря на довольно длительный период нахождения польских земель в составе Российской империи, «в широких слоях русского народа о Польше и поляках имеется весь»



ма смутное понятие. Сведения многих о ней ограничивается лишь тем, что Польша составляет неразрывную часть Российской империи, что населена она поляками, исповедующими католическую религию, которые почему-то постоянно бунтуют против русского правительства»<sup>8</sup>. Потому необходимость дать подлинную картину польской истории и быта народа формулируется как главная задача этой литературы. Важно отметить и то обстоятельство, что априори речь идет только о поляках, населяющих так называемый «Привислинский край»<sup>9</sup>. Это способствует созданию ложного впечатления о том, что современный читателям образ жизни поляков в разных государствах не имеет социально-политических особенностей и в некоторой степени замалчивает саму проблему национального самоопределения польского народа.

Описание Польши и поляков начинается с характеристики географического положения и природно-климатических условий, а также с исторического очерка, в котором в краткой или более пространной форме излагаются основные этапы развития польского государства. Именно в нем в наибольшей степени отражены следующие типичные оценки и интерпретации.

Государственная история Польши дается до конца XVIII в., т. к. события после разделов изложены чрезвычайно лаконично, и в них акцент сделан только на земли в составе России. В этой части приводятся основные сведения о польском дворянстве: «Несмотря на внешние успехи и завоевания, Польша всегда страдала внутренними неурядицами, причиной которых был главным образом недостаток связи между ее населением, разъединенным между дворянами и крестьянами. Польская шляхта (дворяне), забыв общее благо, донельзя ослабила у себя правительство, до последней степени поработила народ и делала что хотела, представляя из себя тысячи независимых королей»<sup>10</sup>. Шляхта рассматривается и как главная виновница экономического и политического ослабления Польского государства, приведшего к потере национальной независимости, и как социальная группа, несущая ответственность за бесправное и тяжелое положение собственного польского крестьянства. «Нигде между ними (дворянством и крестьянством. — М.Л.) не лежало такой глубокой пропасти, как в Польше»<sup>11</sup>. От многовекового угнетения и жесточайшей эксплуатации польских крестьян избавила, по мнению другого автора, лишь реформа Александра II — т. е. вхождение польских земель в состав Российской империи — обусловила, так или иначе, освобождение народа от крепостничества. Потому «настоящее положение польских крестьян несравненно лучше положения их в те времена, когда еще Польша была самостоятельным государством»<sup>12</sup>. Это утвержде-

ние очень показательно. Государство (в данном контексте оно отождествляется с единоличным правлением самодержца или с законом, гарантом которого царь является) регулирует отношения сословий, и, в частности, степень крепостнического угнетения и произвола со стороны шляхты. Поскольку в Польше такой ограничивающий фактор отсутствовал, это привело к безграничной крепостнической эксплуатации. Именно острота социальных противоречий в Польше рассматривается в качестве причины ее упадка и гораздо более тяжелого, чем в России, положения крестьянства: «В Польше XVI–XVIII вв. мы встречаем... с одной стороны, роскошь и расточительство в образе жизни шляхты, с другой стороны — крайне бедственное положение крестьян...»<sup>13</sup>. В основе данного отрывка лежит мнение о том, что крепостничество в России не привело к такой чудовищной степени порабощения крестьянства именно потому, что сдерживалось государством в лице самодержца. Более того, «хорошее» (русское) государство выступает как бы примирителем и объединителем двух социальных полюсов.

Таким образом, исторический очерк польского народа позволяет нам выяснить и позицию авторов относительно собственного государства и народа (крестьянства). Такая проницаемость параллели может быть объяснима искренней убежденностью исследователей в подобном нравственном обосновании самодержавия. Вместе с тем, такой прием был продиктован желанием власти придать определенную окраску итогам вхождения польских земель в состав российской империи как зримое доказательство благоденствия польского народа.

Образ поляка некрестьянского сословия дается очень кратко, и он явно отличен от идеализированного облика крестьянина. Непременно упоминается «следование не лучшим обычаям польской старины» (знание о которых, судя по всему, почерпнуто из произведений Мицкевича и Сенкевича), включающее неумеренное питье, хвастливость и драчливость: «Крепостнические замашки поляков дают себя знать и теперь, проявляются кичливостью, высокомерием, заносчивостью в своих отношениях к служащим. Поляк любит во всем первенствовать, даже и в том, что заслуживает полного осуждения; когда идет спор о том, кто больше выпил... даже и при таком споре он весь горит, приходит в нервное, лихорадочное состояние, того и смотри, что по этому поводу наговорит величайших дерзостей. То же было и прежде. Нравы и привычки прошедших времен, изображенные замечательным талантом Мицкевичем, дают себя чувствовать и теперь, но проявляются менее грубо и дико, чем прежде»<sup>14</sup>. Оценка современного «образованного сословия» также скорее негативна и объяснима преобладанием заблуждений и привычек прошлого: «то с лихорадочным блеском в глазах он произносит блестящие речи, ды-

шашие такой отвагою, мужеством, силою и смелостью, то является он в них более чем следует, податливым, уступчивым, трусливым. [...] (ведь. — М. Л.) поляки энергично восставали против некоторых своих королей, наделавших Польше много вреда, но последовательно провести эту ненависть в жизнь, изгнать этих королей из своей страны у них не хватило ни настойчивости, ни постоянства»<sup>15</sup>.

Высшее сословие несет ответственность за нравы и характер народа (крестьянства). В чертах польского крестьянина заметны следы угнетения собственной шляхтой («долгое рабство»): «приниженность, подобострастность и лицемерие по отношению к имеющим силу и власть. Польский крестьянин переносит оскорбления от помещика или чиновника так же униженно, как раньше; целование руки или даже ноги у пана также еще случается наблюдать в Польше»<sup>16</sup>. Это же обуславливает особое отношение к богатым людям: «...среди крестьян богатые часто в большом почете. Богатый держится совсем важным, господином, бедняк приближается к нему с почтением, и покорно целует руку или колено»<sup>17</sup>.

Описания народов в этнографических популяризаторских очерках обязательно, как уже говорилось выше, сопровождаются непрменной характеристикой темперамента, характера и нравов целого народа. При этом обобщающий образ дается в собирательном образе одного, якобы конкретного человека (часто и использование этнонима «поляк» в единственном числе). Так человеческое измерение этноса, с одной стороны, делает его более понятным для читателя, как бы приближая к нему, а с другой, выдает черты общие (причем они могут различаться у субэтносов, которые авторы называют «отраслями» народа) за индивидуально-присущие. Удивительное единодушие в подобных характеристиках иногда вызывает удивление.

В качестве примера подобного описания приведу значительный отрывок довольно редко встречающейся в подобных очерках характеристики дворянства. Одно из немногих исключений — «Рассказы о Польше и поляках», в которых в разделе «Мелкие дворяне» описывается сословие мелкой безземельной шляхты. «Жили они среди крестьян целыми деревнями и работали на клочке земли паравне с ними; дворяне только тем и отличались от крепостных, что были свободны и могли при случае, благодаря ли военному счастью, или милости сановников, добиться высшего положения, богатства и почестей... Большинство как жило, так и осталось жить в бедности... Но сохрани Бог говорить на «ты» этому мужику или позвать его по имени или фамилии без прибавления «пан». — обидится смертельно или обругает. В разговоре между собой они сами иначе не обращаются друг с другом, как со словами «пан», «пани», «его мосць», «ей мосць».

На лице, в осанке мелкого дворянина виднеется спесь и удалство; рядом с крестьянином он видится человеком другого племени. Движения его даже в тяжелом труде отличаются ловкостью и гордыми замашками. С низкими он обращается очень уверенно в себе, свысока, с высшими он покорен и гибок. Крикливый и податливый на ссору, он из-за глупости лезет в драку... Говорит он громко, тихо не умеет... обыкновенно со своим дворянином такой бывает простой и искренний, в гневе зато скрытный, неудержный и мстительный. Назвать кого-нибудь из них вором, это — кровная, смертельная обида»<sup>18</sup>. Как видно, автора в первую очередь — и это вполне закономерно, — привлекают те черты, которые кажутся ему необычными, а шляхетский этос поведения вызывает у автора негативную оценку. Нетрудно заметить, что подобный, явно стереотипизированный образ как будто заимствован из художественной литературы, и маловероятно чтобы он был результатом научных изысканий.

Почти все без исключения авторы уделяют большое внимание эмоциональному складу народа, его темпераменту и своеобразию реакций. При этом каждый из них, высказывая оценочное суждение, исходит из собственного опыта, уровня образования и личных пристрастий. На одном из первых мест в подобной характеристике стоит описание внешних проявлений и объяснение связи эмоционального склада человека с «живостью ума» и нравственностью народа: народ «довольно нравственный, излишеств избегает, пьет мало, нравом спокойный, но особенно чувствителен к обидам чести „гонора“. Больше всего дел, которые заводятся в [...] суде, заводятся из-за обиды чести; воровство же очень редко случается»<sup>19</sup>.

Однако, отмечая некие особенности, авторы исходят прежде всего из представлений (в частности, о моральном и аморальном в рамках закона и правовых норм) и этоса поведения своего сословия. Так, характеризуя мазур, один из составителей замечает, что «нрав у них веселый и беззаботный... только очень горячий, вспылчивый, а потому так часто встречаются у них ссоры и драки. Мазуры думают о том, что воровать из жадности — грех, но воровать нужное (особенно у панов) — можно»<sup>20</sup>. Прямое текстуальное совпадение о том, что воровать лес у господ не считается грехом, но при описании крестьян Германии, мы находим в книге Е. Н. Водовозовой<sup>21</sup>. Однако удивление, сквозящее в упоминании подобного отношения к господскому лесу, выдает незнание авторами представлений собственного российского крестьянства о нормах морали<sup>22</sup>. Таким образом, определяемое как национально-специфическое в действительности оказывается элементом традиционного общества, черты и принципы которого представляются авторам признаками иной культуры.



Важно отметить, что кажущиеся наиболее удобными и привычными в такой литературе приемы сравнения встречаются в очерках крайне редко. Исключение представляет собой статья Л. Весина: «Нет суеты и крика, которые характеризуют восток да нашу матушку Россию. Поляк не суетлив, когда он работает, и не ругается так адски, как сквернословит восточный или русский человек»<sup>23</sup>. Мало отмечено и региональное этническое своеобразие, хотя в XIX в. оно выражалось довольно явственно. Сходства и отличия польских субэтносов, однако, формально фиксируются во всех очерках. Выделяется несколько «племен» — великополяне, кракусы (малополяне), сандомирцы, куявяки, курпы. Мнения авторов о том, какое из «племен» в большей степени отражает польский национальный тип, расходятся, но многие из них называют «типичными» великополян и мазур. Краковяне описываются как особо зажиточные в связи с плодородием местных почв и потому характеризуются как более бойкие, «в нраве их много бесшабашной веселости»<sup>24</sup>. Сандомиряне в отличие от краковян видятся деловитыми и серьезными<sup>25</sup>.

Особой характеристики удостоиваются варшавяне. Все авторы отмечают, что варшавяне предпочитают жить на улице, а не дома, «главное, что есть в нраве варшавян, это — страсть к суете, к веселью, говорливость, живой и отзывчивый характер, страсть ко всему изящному и блестящему... они любят хорошо одеваться и любопытствуют про всякие новости на свете»<sup>26</sup>.

В перечне типичных черт польского крестьянина превалируют добродетели (трудолюбие, честность, добросовестность), которые, впрочем, в равной степени могли бы относиться к характеристике крестьянства любой другой национальности. Но в сравнении с осуждающими определениями польской шляхты образ крестьянина видится явно идеализированным (о пороках, даже о пьянстве — ни слова!).

Мотив постоянного веселья не просто повторяется из книги в книгу, но как бы пронизывает ту часть повествования, которая рассказывает о нравах поляков. «Это очень даровитый народ, сметливый, ловкий, проворный, отличающийся большою живостью, подвижностью и общительностью. Они очень любят веселое общество, охотники до песен и плясок»<sup>27</sup>. Любовь к танцам подчеркивается особенно; популярность и известность польских танцев — краковского краковяка, великопольского полонеза, мазурка мазур, куявяк куявян объясняется именно природной склонностью к веселью<sup>28</sup>. «Поляк, в большинстве случаев, человек бесконечно веселый, живой, остроумный и находчивый. Первая свободная минута, и он бежит в общество товарищей, всегда шумное, говорливое. Со всем пылом страсти он отдается пирушке, музыке, пению и прежде всего тан-

цам»<sup>29</sup>. «Подвижный, веселый, поляк очень любит общество. Одинокий, замкнутый, жизни он не выносит», — повторяет и другой автор<sup>30</sup>.

Вспоминаются слова известного польского писателя и идеолога Станислава Ожеховского, который в 80-х гг. XVI в. писал: «Поляк в своем королевстве всегда весел, поет, танцует свободно [...] никакими обязательствами не обремененный и ничего своему королю не должный...»<sup>31</sup>. Хотя Ожеховский имел в виду шляхтича, веселость и беззаботность и в том, и в другом случае является символом, пространством благополучия и свободы народа. Таким образом, авторы очерков, видимо, стремились подчеркнуть благоденствие крестьянства под властью российского самодержца и в какой-то степени указать на его политическую лояльность. Можно сказать, что образ поляка-земледела на удивление позитивен или в худшем случае нейтрально окрашен. Иное дело, когда речь заходит о некрестьянских сословиях («образованных» поляках), которые столь враждебно настроены к России. Их отличает утонченное и злое остроумие, крайняя обходительность, хорошие манеры и, как следствие... политическая нелояльность: «Эта неровность характера, это отсутствие уравновешенности дают себя чувствовать в политической, общественной жизни поляка... Переходы от одного настроения к совершенно противоположному — одна из самых характерных черт польского народа. Также переменчивы и его отношения к людям. Он является то кичливым, заносчивым, надменным, самоуверенным, злобноостроумным, то более чем нужно, добродушным, иногда даже искательным и льстивым. Таким же мы видим его в области политической деятельности»<sup>32</sup>; «поляки — большие фантазеры и мечтатели»<sup>33</sup>. Но подобная, на первый взгляд неидеологизированная характеристика, попадая в контекст разъяснения причин того, что «поляки почему-то постоянно бунтуют против русского правительства»<sup>34</sup>, объясняет известные события в Польше не осознанной позицией «бунтовщиков», а особенностями темперамента и необузданного нрава, тем самым низводя идейную мотивацию участников польского движения до уровня массового психоэмоционального порыва. Естественно, что и польский патриотизм также интерпретируется в сочетании с его темпераментом: «До сих пор характерными чертами польского народа следует также считать сильную впечатлительность и страстную любовь к родине. Среди поляков вообще, и особенно среди образованных людей, много горячих и пылких голов, людей, страстно увлеченных национальными идеями... Трудно представить, какие великие жертвы приносят они во имя своей родины, которую они любят пламенно, до обожания и самозабвения. Однако эта страстная любовь к родине, которая может воодушевить на великие подвиги почти каж-

дого поляка с искоркой божией, не приносит той пользы для их национального дела, какую можно было бы ожидать при их всеобщем увлечении национальными идеалами. Это происходит оттого, что поляки большие фантазеры, им трудно отрываться от своих мечтаний»<sup>35</sup>.

Подобная трактовка содержится и в настойчиво повторяющемся мотиве вспыльчивости и возбудимости поляка: «Слишком поддающийся влечению сердца, поляк легко воспламеняется, способен на геройские дела, готов на всевозможные самопожертвования для доброго дела, но часто не доводит его до конца, бросает на половине дороги»<sup>36</sup>. Вряд ли можно отнести эти слова к польскому крестьянину.

Порывистость и пылкость поляка тесно связана, по мнению авторов, с его религиозным чувством, которое именно в католицизме отличается особой страстностью (в противоположность холодному протестантизму). «Католическая вера так свойственна увлекающейся натуре поляков, одаренных пылким воображением и фантазией»<sup>37</sup>, — пишет Е. Н. Водовозова. И ни слова о расхождении между православными и католиками, об изначальной «злонамеренности» польских ксендзов и иезуитов — а ведь еще десять лет назад без них не обходится ни одно описание Польши!<sup>38</sup> Деятельность костёла и его отдельных представителей лишь иногда оценивается как «воспитание фанатизма». Лейтмотивом в характеристике веры и религиозности являются свидетельства искренней набожности польского крестьянина («он — добрый католик»<sup>39</sup>) и эмоциональности ее выражения: «Они очень религиозны, часто посещают костёл и строго исполняют все обряды. В костёле поляк всегда сосредоточен; он охотно кладет поклоны, беспрестанно крестится и шепчет молитвы. Пышные обряды католической церкви нравятся поляку... (он. — М.Л.) любит всякий блеск и великолепие»<sup>40</sup>. Однако отсутствуют негативные оценки католического костёла или скрытое сравнение с православным вероучением.

Таким образом, этнографические очерки 1890–1917 гг. свидетельствуют о целом комплексе не только этнонациональных, но и шире — социальных (общественных) стереотипов в целом. Их анализ демонстрирует нам не только сугубо научные позиции зарождающейся этнографической науки (признание национального характера, обусловленного историко-географическими факторами), но и идеологические установки популяризаторов страноведения (политическая лояльность и — явное влияние распространения народнических доктрин в обществе — акцент на изучении крестьянства).

Сам способ конструирования и сфера выражения стереотипа «чужого» в данном случае демонстрирует неизбежную в процессе подобного обобщения адаптацию наиболее известных польских автосте-

реотипов для характеристики эмоционального и нравственного своеобразия облика соседа.

В целом образ Польши и поляка в этнографических популярных очерках рубежа веков отличается несколькими особенностями. Последовательность изложения и акценты в очерках о польском народе свидетельствуют о том, что их авторы руководствуются обычным для своего времени набором теоретических построений и суждений, одним из которых является и мнение о явных и очевидных для стороннего наблюдателя нравах и характере народа. Эти характеристики представляют собой объективные (сознательные) исследовательские стереотипы.

С другой стороны, перед нами очевидная попытка социально дифференцировать прежний единый стереотипный образ поляка, т. е. приписать известные негативные этнические и политические черты одному только — «образованному» — сословию. По контрасту с ним положительный образ польского крестьянина призван подчеркнуть, во-первых, наличие социальных типов в одном этносе (обосновывающим разное отношение к крестьянам и «образованным» бунтовщикам со стороны российского государства); и, во-вторых, косвенно объяснить причины целояльности польского общества в отношении к самодержавию его отличиями от народа. Важно отметить, что в этом есть явные сходства с польским дворянским автостереотипом (возникшим еще во времена сарматизма)<sup>41</sup>.

Стремление к идеализации крестьянства, кроме того, вызвано желанием подтвердить наличие сходств, а не различий между русским и польским земледельцами. Хотя последнее, быть может, правильное объяснять влиянием народнических доктрин в России второй половины века. Все это указывает на попытку авторов сблизить два славянских народа в рамках единого имперского организма.

Однако свидетельствуют ли подобные расхождения об изменении набора стереотипов поляка в русском восприятии? Нет. Скорее — о том, что наличествует тенденция повлиять на этнонациональные представления о поляках в массовом сознании. Иначе говоря, существует осознание того, что это воздействие (смену элементов комплекса стереотипов) возможно осуществить «сверху». И в этом отношении неважно, что лежало в основе мотивации — государственный заказ или искреннее гуманистическое стремление авторов избежать малейших проявлений негативизма в отношении к другим народам, особенно гражданам одной империи. Не исключено, впрочем, и желание русских интеллигентов, пишущих «для народа», изменить при помощи научной (или псевдонаучной) аргументации по их мнению, заблуждения этнонационального характера (т. е. стереотипы). Одна-



ко современная история с убедительностью доказала, что социальные и, в частности, этнические стереотипы подкорректировать, изменить и тем более искоренить нельзя, но гораздо более эффективно — ими манипулировать.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 *Токарев С. А.* История русской этнографии. М., 1966. С. 28.
- 2 Там же. С. 285.
- 3 Многими бесценными свидетельствами этнографы обязаны офицерам Генерального штаба, которые с тщательностью и педагогичностью добывали и обрабатывали статистические, политические и иные сведения из всех регионов России, Европы и Азии. Довольно большой корпус источников (в том числе и неопубликованных) относится к славянскому региону. (См.: *Токарев С. А.* Указ. соч. С. 314–315.) Особенно это важно подчеркнуть, когда речь идет об этнографии польских земель. В 1863 г. в связи с обеспокоенностью правительственных кругов активизацией национального движения в Польше Министерство иностранных дел совместно с Военным министерством направили офицеров Генерального штаба в Привислинский край для изучения «народонаселения по вероисповеданиям». В результате общие выводы были опубликованы, в частности, в работах А. Риттиха и Р. Ф. Эркerta, изданных в 70-е годы XIX в. (*Эркерт Р. Ф.* Взгляд на историю и этнографию западных губерний России. СПб., 1864; *Риттих А. Ф.* Приложения к материалам для этнографии Царства Польского. СПб., 1864). Их рассмотрение не является предметом анализа в рамках данной статьи, хотя многие авторы очерков явно пользовались этими изданиями.
- 4 *Милюков П. Н.* Очерки по истории русской культуры: В 3 т. М., 1994. Т. 2. Ч. 2. С. 357. См. также: *Кузнецов С. В.* Культура русской деревни // Очерки русской культуры XIX в.: В 2 т. М., 1998. Т. 1. С. 241–242; *Громыко М. М.* Мир русской деревни. М., 1991. С. 297–298.
- 5 В избранных нами для изучения очерках особо отмечается своеобразие читательской аудитории: например, серия «книжки для народа», «рассказы о родной стране и ее обитателях», «сборник для народного чтения» и т. п.
- 6 Разумеется, речь идет о доминирующих теориях, так называемых «основах» этнографической дисциплины.
- 7 Русская земля. Природа страны, население и его промыслы. Сборник для народного чтения. В 10 т. / Составил Я. И. Руднев. Т. 6. Привислинский край. [Автор текста — Л. Весин]. М., 1904. С. 5.

- 8 *Терешкович Н.* Польша и поляки. М., 1906. С. 3.
- 9 За редким исключением. Так, например, использованные нами очерки известного педагога-общественника Е. Н. Водовозовой (*Водовозова Е. Н.* Как люди на белом свете живут. Чехи. Поляки. Русины. СПб., 1905) рассказывает о поляках Австрии (Галиции) и Германии. Характерно, однако, что и в названии этой книги никак не отражена государственная принадлежность поляков.
- 10 *Пуцыкович Ф. Ф.* Поляки. СПб., 1908. С. 4.
- 11 Русская земля. Т. 6. С. 27.
- 12 *Сно Е. Э.* На западных окраинах. Поляки и литовцы. СПб., 1904. С. 7.
- 13 *Терешкович Н.* Указ. соч. С. 5.
- 14 *Водовозова Е. Н.* Указ. соч. С. 119.
- 15 Там же. С. 114.
- 16 *Слободзинский С.* Поляки // Народы Земли. Географические очерки. Т. 4. Народы России. М., 1897. С. 73.
- 17 *Г. Р.* (составитель) Рассказы о Польше и поляках. М., 1899. С. 30.
- 18 Там же. С. 71–74.
- 19 Там же. С. 29.
- 20 Там же. С. 58–59.
- 21 *Водовозова Е. Н.* Указ. соч. С. 101.
- 22 Такое отношение к преступлению с точки зрения закона (в частности, речь идет о краже леса) обычно для традиционного крестьянского общества, и не только в историко-географических регионах, где было распространено крепостное право. См.: *Громыко М. М.* Указ. соч. С. 64–68; *Томсинов В. А.* Правовая культура // Очерки русской культуры XIX в. В 2 т. М., 1998, Т. 2. С. 155–156.
- 23 Русская земля. Т. 6. С. 128.
- 24 *Г. Р.* Указ. соч. С. 35.
- 25 Там же.
- 26 Там же. С. 51.
- 27 *Пуцыкович Ф. Ф.* Указ. соч. С. 11.
- 28 *Слободзинский С.* Указ. соч. С. 75.
- 29 *Водовозова Е. Н.* Указ. соч. С. 114.
- 30 *Сно Е. Э.* На западных окраинах. Поляки и литовцы. СПб., 1904. С. 12.
- 31 *Orzechowski St.* Polskie dialogi polityczne (Rozmowa okolo egzekucyjej i Quincunx) // Biblioteka pisarzy Polskich. Kraków, 1919. S. 231.

- 32 Водовозова Е. Н. Указ. соч. С. 115–116.
- 33 Там же.
- 34 См. примеч. 5.
- 35 Водовозова Е. Н. С. 119–120. Единодушие в умах этой части поляков формулируется и более жестко: «Почти все общественные группы, от крайне правых до крайне левых, ярко окрашены национализмом, все идеализируют польское в ущерб русскому» (Слободзинский С. Указ. соч. С. 79).
- 36 Пуцыкович Ф. Ф. Указ. соч. С. 11.
- 37 Водовозова Е. Н. Указ. соч. С. 121.
- 38 Это характерно для уже упоминавшихся работ Р. Ф. Эркерта и А. Риттиха.
- 39 Русская земля. Т. 6. С. 67.
- 40 Сно Е. Э. Указ. соч. С. 14.
- 41 Неясно, однако, в какой степени именно сарматские представления о разном этническом происхождении польской шляхты и крестьянства (даже через указанное посредство творчества А. Мицкевича) могли быть известны авторам. Быть может, этот шляхетский стереотип был усвоен в русском обществе? Но допустимо полагать иное: такое социальное противопоставление было просто веянием времени — результатом усвоения народнических и появления марксистских идей.

А. В. Лунатов  
(Москва)

Польскость в русскости:  
разнонаправленный параллелизм восприятия  
культуры западного соседа  
(Государство и гражданское общество)

---

Каждая значительная национальная культура является значимой для других народов. Тем самым круг ее воздействий шире границ ее собственного государства, как и духовного пространства создающей ее нации. Это своего рода вовлеченное в историю *возвращение* представляющих общецивилизационную значимость ценностей в наднациональный круг культуры определенной цивилизационной общности, но возвращение именно *национальное*. Осознаваемое в категориях процесса, оно предстает как проявление закономерностей обратной связи: генезис и начальные стадии истории национальных культур Европы имеют в христианском универсализме общий источник, общую культурную основу и общую направленность развития.

Обращаясь к новой системе ценностей, интегральной частью которой была литература на сакральных языках (латынь, древнегреческий, древнецерковнославянский), отдельные народы создавали локальные слагаемые тем самым эволюционирующего универсального целого. От степени и темпов освоения универсальной культуры (а в ее рамках — культуры филологической) зависело время перехода к созданию локальных (этнических вариантов) универсальных первообразцов и этнически своего литературного языка на основе норм и эталонов надэтнического койне. Тем самым в последующем развитии отдельных культур и литератур универсальное и национальное являют собой диалектическое единство. Там, где происходит разделение этого двуединого целого, превращение его в дихотомическую расчлененность, исчезает сама возможность возникновения подлинных ценностей: любое творчество, а вернее — профессиональное (ремесленное) производство, подчиненное локальной политике, идеологии, узконационалистическим или государственно-экс-



пансионистическим устремлениям, исчезает вместе со сменой настроений и потребностей властной элиты. Помимо этого — вегетация таких поделок, ограниченная самими локальными условиями, потребностями и временем своего функционирования, не могла преодолеть собственные национально-государственные задворки, ибо была не только лишена универсального измерения, но и противопоставлена ему, а тем самым не могла вызывать интереса у других.

В культурно-историческом процессе сосуществования-взаимодействия европейской универсальности и национальной локальности Польша занимает особое место как с точки зрения своего собственного — внутреннего — развития, так и ввиду проникновения и последующего распространения своих ценностей в круг восточнославянских культур.

Входящие в *Rex Orthodoxa* культуры восточного славянства, воспринимая польские ценности (которые являли собой национальное воплощение ценностей *Rex Latina*) создавали вследствие взаимодействия собственного варианта византизма и польского варианта латинства тот синтез, который дал начало формированию общеевропейского процесса<sup>1</sup> в высокой культуре, литературе и искусстве.

Исключительная роль Польши в начальные периоды этого процесса была обусловлена обращенными в сторону *Rex Latina* восточнославянскими устремлениями, которые возникли вследствие уничтожения Византии как живого и жизненного культурного центра, вследствие чего витальная сила византизма трансформировалась в инерционное качество застывшей традиции. В этих условиях наряду с факторами географического соседства и этно-языковой близости сама специфика польской культуры оказалась для восточного славянства особенно притягательной вопреки конфессиональным конфликтам и государственно-политическим столкновениям.

Своеобразие и связанная с этим притягательность культуры западного соседа проистекала оттого, что Польша испокон веков находилась не только в полосе непосредственного взаимодействия *Rex Orthodoxa* и *Rex Latina*, но и взаимонакладывания этих кругов культуры (миссия Кирилла и Мефодия, позднее — украинско-белорусские земли в составе Польско-Литовского государства)<sup>2</sup>. С особенной полнотой это обрело отражение в культурном феномене восточных окраинных земель (*Kresy*) Речи Посполитой, которые начиная по крайней мере с Павла Русина (ок. 1470–1517) из Кросна или Миколая Рея (1505–1569) и вплоть до наших времен дали стране столько выдающихся личностей. Сама атмосфера, люди, обычаи, культура и нравы этих многонациональных<sup>3</sup> сторон наложили отпечаток не только на латино- и польскоязычные научные (в частности — исто-

риографические) и литературно-художественные произведения. Они отразились и в самих названиях жанров польской литературы (селянка, дума), а также целых литературных течений: украинская и литовская (включающая белорусский спектр культуры) школа во времена романтизма, окраинное течение (*nurt kresowy*) в литературе XX в. от М. Ваньковича и С. Винценца до наших современников Т. Конвицкого, В. Одоевского, Ю. Стрыйковского и мн. др. Истоки этих течений и свойственных им тенденций (обращенность к местному колориту; культурам коренных народностей, их верованиям, истории и современности) восходят к временам Ренессанса и Барокко (Миколаї Гуссовский, Шимон Шимонович, Шимон и Юзеф Бартоломей Зиморовицы и др.)

Такому культурному сосуществованию и порождаемому им взаимодействию благоприятствовала открытость государства и культуры титульной нации, равно как и сама система шляхетской демократии<sup>4</sup>, благодаря которой в XVI — «золотом» веке Речи Посполитой Двух Народов сформировалась польская *политическая* нация — разнотническая и разноконфессиональная. Эта внутренняя предрасположенность польскости к открытости на другие культуры, равно как и воздействие внешних факторов (трансформация византизма без Византии в историческое «вчера») обусловили возникновение такой культурно-исторической ситуации в Восточной Европе, когда польская культура и литература сыграли здесь такую роль и обрели такое значение, которые сравнимы лишь с культурой и литературой Италии. Здесь в ренессансные времена локальная словесность одновременно стала хронологически первой национальной литературой на родном языке, которая в Западном круге культуры (куда входила и Польша) обрела наднациональное значение в условиях доминирования генетически и генологически универсальной латиноязычной литературы, способствуя возникновению творчества на вернакулярных языках и являясь для них культурно-эстетическим и идейно-филологическим эталоном. Такое наднациональное функционирование двух национальных литератур в двух разных частях Европы обрело синхронность во времена Возрождения и Барокко.

В истории возникновения, выработывания и формирования национального облика отдельных вернакулярных литератур в русле наднационально-универсального — общелитературного — процесса особое место принадлежит эпохе Барокко. После обращенного к античности, классицизирующего Ренессанса филологическая мысль и словесное искусство которого сформировали национальные литературные языки (в славянских странах с этой точки зрения наиболее репрезентативны литературы Чехии, Польши и Хорватии), Барокко отличалось

особенной восприимчивостью не только в отношении национальной тематики, сюжетов, мотивов, но также взаимосвязанных с ними форм воплощения (фольклоризм), особенностей стиля (коллоквиализм, разговорная стихия), языковой специфики, культурного колорита и самого все это пронизывающего национального менталитета. С этой точки зрения польский сарматизм может служить, пожалуй, ярчайшим примером, представлять своего рода модель материализации и свершений исторически эволюционирующей тенденции к национализации первоначально универсальных явлений и связанных с ними ценностей на этнически локальной почве, являющейся органичной составляющей частью цивилизационной целостности.

Это эталонное совершенство сарматизма, с одной стороны, и высокого Барокко в его польском варианте — с другой, предопределило не только значимость польской литературы «самой по себе» — внутри Польши и для поляков — их самосознания, восприимчивости и самоидентификации, но также и вовне, обуславливая характер и масштабы ее внешнего воздействия. Причем это последнее в силу своей сущности имело значение не только локальное, но одновременно — с точки зрения именно своих локальных последствий — также и общеевропейское.

Европа, которая на протяжении позднего Средневековья вследствие конфликта институтов Церкви дифференцировалась на Восток и Запад — Византию и Рим, тем не менее в силу изначальной общности системы ценностей являла собой цивилизационное целое и вопреки или же параллельно известным конфессиональным конфликтам была связана культурно, политически и экономически. Эта циркуляция ценностей, хорошо известная историкам искусства, религии, политических и экономических отношений, в значительно меньшей степени или же порой вообще не учитывается культурологами и литературоведами.

Судьбы славянских литератур византийского круга, которые, по крайней мере, до XIV в. являли собой относительную целостность<sup>5</sup>, как с точки зрения языка (древнецерковнославянский), генологии, так в значительной степени и самого состава памятников, постепенно начинали дифференцироваться сперва в рамках той же самой ранневизантийской поэтики, а позднее — вследствие обращения к той литературной системе, которая была создана итальянским Возрождением.

Среди славян византийского круга раньше всех этот процесс охватил культурное пространство украинцев и белорусов. Симбиоз культур в границах Речи Посполитой сделал возможным — вопреки конфессиональным различиям — усвоение этой частью восточного

славянства как литературных образцов, так и двух языков литературы поляков — латыни и польского. Этот процесс перехода к другой литературной системе при польском посредничестве медленно зарождался с конца XV в. и, постепенно нарастая, вошел в стадию зрелости на протяжении первой половины XVII в. Свой обновленный облик литература Украины и Белоруссии окончательно обрела в период Барокко и именно сквозь его призму усваивала литературную систему, сформировавшуюся в ренессансные времена, равно как взаимосвязанные с ней культурные представления и ценности той эпохи.

Московское государство в своем стремлении к выходу на политическую арену современной Европы было вынуждено к постепенному изменению культурной ориентации, что было взаимосвязано с процессом преодоления восходящей к византизму теократической концепции собственной государственности и ее земного предназначения<sup>6</sup>. Это осуществлялось благодаря инициативам светской элиты власти вопреки церковной традиции и противодействиям православной иерархии. Посредническую роль — особенно в течение последних десятилетий первой половины XVII в. и позже (во времена церковной реформы патриарха Никона и государственных реформ Петра I) — сыграла просвещенная среда выходцев из Украины и Белоруссии, где латинский тип образованности в результате прямых связей с Польшей (а вследствие ее открытости — также и с Западом) уже стал национальной традицией. Благодаря этим православным собратьям московские книжники перенимают и осваивают их филологическую культуру, что со временем способствует и облегчает их непосредственные контакты с польскоязычными и латинскими текстами, которые создавались в самой Польше.

Для восточнославянских литератур польские воздействия были всеохватывающими: они присутствовали как в сфере литературы полемической, богословской, так и художественной, а также составляли основу нового литературно-теоретического мышления. При польском посредничестве и по польским образцам усваивается силлабическая система стихосложения, которая становится основой для к тому времени уже существующей в восточнославянском мире светской поэзии. Новые жанры и стили воспринимались одновременно как путем заимствования, так и своего рода «ассоциирования» их с уже существующей традицией своей словесности. Здесь связующим звеном была во многом общая для Средневековья европейского Востока и Запада жанровая система, которая в Польше, постепенно отходя на второй план, сохранилась в ренессансную эпоху и оживилась в период Барокко, обретая соответствующий времени стилизованный облик. Это относится к полемической литературе, агно-



графии, паремиографии, гимнографии, гомилетике. Восточнославянские книжники Нового времени ассоциировали не только жанры генологически близкие, но и разнящиеся по стилю, а также и «созвучные» своим — привычным, традиционным. Так, например, свойский для писателей Московского государства жанр воинской повести был «ассоциирован» с одой, а похвальное слово — с панегириком. Высокий, торжественный стиль барочных проповедей «ассоциировался» с восходящим к XIV в. стилем «плетения словес»<sup>7</sup>. Все это в значительной степени обусловило особенности барокко как школы (а не эпохи — в отличие от мира латинской культуры) в восточнославянских письменностях, которые выборочно (в соответствии с собственными потребностями и возможностями) осваивали новую для себя литературную систему при польском посредничестве и в таком облике, который отдельные барочные образцы обрели именно в польском культурном пространстве<sup>8</sup>. То же самое можно констатировать и в отношении литературно-теоретического мышления. Польские поэтики и риторики использовались в Киево-Могилянской академии, а позднее — в Славяно-греко-латинской академии в Москве и российских духовных семинариях конца XVII–XVIII вв.<sup>9</sup>. Отсюда и просматриваемые еще в 30-е гг. XVIII в. известные воздействия польской поэзии на русскую. Их позднейшее ослабление связано с реформой стиха, осуществленной в 30-х гг. М. В. Ломоносовым, когда, вероятно, по образцам великолепно ему известной немецкой поэзии он вводит силлабо-тоническую систему, которая более соответствовала особенностям русского языка. Тем не менее польская поэзия по-прежнему пользовалась российским признанием. Это же относится и к литературной эстетике, особенно — российским судьбам теоретического наследия М. К. Сарбевского. Его труды присутствуют в каталоге библиотеки Академии Наук, составленном в 1742 г. О нем с признанием пишет в своем теоретическом исследовании (1752) сторонник силлабо-тоники, известный российский поэт В. К. Тредиаковский, который ставил этого европейски знаменитого поляка рядом с Горацием, а позднее (1755) охарактеризовал его как величайшего латинского поэта нового времени<sup>10</sup>. Во второй половине XVIII в. слава Сарбевского возрастает вместе с общим развитием системы образования в России. Это был также период высочайшего расцвета литературы русского Просвещения, использовавшего те достижения своего барокко, в которых национальная традиция породнилась с польской.

Целостное понимание польского Барокко невозможно без осмысления и оценки его наднационального значения. Одновременно знание польского Барокко необходимо для славистов, занимающихся

историей духовной жизни, художественного творчества и самой бытовой культуры восточного славянства. Без таких знаний полное понимание и объективная оценка локальных (национальных) явлений, веяний и целых процессов в этой части Европы невозможна, если учесть известные воздействия польской мысли на богословское мышление и эстетику, живопись иконописную и светскую (например, появление парсуны — светского портрета), архитектуру (в частности, своеобразии внешнего облика и интерьера православных храмов на просторах от Украины и Белоруссии до «нарышкинского барокко» в Москве), театральную и массовую культуру (что, например, отразилось в песенном жанре, моде, поведенческих стереотипах).

Благодаря как польскому посредничеству, так и в соприкосновении с ним возникшим собственным достижениям барочные веяния распространяются во всем восточнославянском этническом пространстве, откуда в течение XVII–XVIII вв. проникают в южнославянские культуры православного круга<sup>11</sup>. Вместе с новыми формами, текстами словесности и свойственным им стилем сюда начинают проникать имплицитно присущие им новые аксиологические представления и порождаемые ими мировоззренческие убеждения и поведенческие стереотипы. Тем самым барокко становится художественным и культурным веянием всеевропейского масштаба, открывая историю теперь уже общеевропейского процесса в литературе и искусстве.

С XVII вв. ведет свое начало также история польского языка как койне высокой культуры, а в ее границах — новой литературной культуры восточного славянства. Вслед за Украиной и Белоруссией — в последних десятилетиях XVII в. — польский становится языком двора и культурной элиты Московского государства. Он включен в программу Славяно-греко-латинской академии, где присутствует до конца следующего столетия. Именно отсюда знание польского у Ломоносова. Наряду с рукописными русско-польскими словарями XVII в. в следующем столетии появляется первый печатный словарь К. Кондратовича. Польский знали такие видные представители русской литературы первой половины XVIII в. как А. Д. Кантемир и В. К. Тредиаковский. Этот последний — реформатор русского стиха — свое высокое мнение о польской литературе выразил в «Эпистоле от Российской поэзии к Аполлину» (1735). Позднее — во времена Просвещения и романтизма, когда французский обретает ранг языка современной европейской культуры, — польский по-прежнему остается известным части просвещенной среды. В этом отношении знаменательным свидетельством является написанное по-польски письмо (11.09.1822) известного в ту пору поэта, будущего декабриста К. Рылеева знаменитому польскому писателю и политическому дея-

телю (в прошлом — адъютанту Костюшко, узнику Петропавловской крепости) Ю. У. Немцевичу: «Любовь к правде и ко всему, что связано с Родиной, воодушевила меня предложить вниманию моих соотечественников великие подвиги русских героев и друзей всего рода человеческого. Ваши „Исторические песни“ были для меня изумительным образцом, из-за которого я выучил язык, украшенный именами Кохановского, Красицкого, Трембецкого и Немцевича». Далее, посвящая Немцевичу свой перевод его песни о Глиньском, Рылеев писал: «Плоды гения являются всеобщим достоянием, и я смею заверить уважаемого Нестора польской литературы, что и на берегах Невы молодые в царстве наук поколения с восторгом упиваются сладкими звуками сарматской лютни и умеют ценить друзей великого Вашингтона»<sup>12</sup>. Интересным с точки зрения историчности характера осознания русскими специфичности культуры родича во славянстве является это определение «сарматская лютня», свидетельствующее о продолжающемся по-прежнему (с XVII в.) ассоциировании в России польского своеобразия с сарматизмом. Знаменательна и череда перечисленных польских писателей. Все они были известны в России не только своими произведениями на польском, но и переводами второй половины XVIII — первых десятилетий XIX в. В эту полосу времени наряду с многочисленными переводами, в первую очередь французских и немецких авторов, появляются также и русские варианты Красицкого, Нарушевича, Трембецкого, Немцевича, Богомольца. Художественная проза зачинателя просветительного романа в Польше — Красицкого<sup>13</sup> — оказала воздействие на формирование современного русского романа: первоначально через творчество поляков, писавших по-русски (Ф. Булгарин, О. Сенковский)<sup>14</sup>.

Итак, параллельно все нарастающим непосредственным контактам русской культуры с Западной Европой польская культура (и польский язык) по-прежнему остается значимым фактором общекультурного русского развития, теперь порой выступая уже как *внутренний*, а тем самым еще более органичный (как некогда для Украины и Белоруссии). Множество поляков пребывало в России, особенно динамичностью отличалась польская среда в столичном Петербурге. Именно здесь в собственной типографии известный ученый и писатель Ян Потоцкий издает (1804–1805) два тома «Рукописи, найденной в Сарагосе», романа, который до сих пор остается живым явлением европейской культуры. Написанный на французском, он сразу же обретает международную известность. Его отзвуки появляются в поэзии Пушкина.

От пушкинских времен, а в сущности от самого Пушкина роль польской литературы для русских писателей и мыслителей начинается

проявляться уже не в качестве образца, а творческого стимула. Ранее здесь уже была отмечена роль «Исторических песен» Немцевича в создании жанра думы Рылеевым. Другим примером является творчество будущего декабриста А. Бестужева (Марлинского), который под впечатлением польской патриотической поэзии времен Просвещения и романтизма стремился создать русский тип гражданственной лирики. В этом отношении знаменательно его признание: «Я весьма доволен польской поэзией, — писал он матери. — Патриотизм в ней дышит, и вымысел облекается часто в одежду новых мыслей и счастливых выражений. Далее, учась по-польски, разрабатываю новую руду для русского языка»<sup>15</sup>.

Другое измерение современная польская словесность обретает в произведениях Пушкина. Очарованный талантом Мицкевича и его личностью, переводящий его творения Пушкин, как каждая творческая личность, оставался собой. Отсюда иной (нежели у Рылеева и Бестужева) характер пушкинского восприятия как вообще польскости, так и польского видения русскости (а особенно у Мицкевича<sup>16</sup>). В этой связи можно полагать, что без русских отрывков III части «Дядюв» — этого шедевра польского романтизма — не появился бы шедевр русского романтизма — «Медный всадник». Оба произведения отличаются друг от друга во всем — с точки зрения жанра, стиля сюжета, не говоря уже о типе мышления. Однако связывают их узы генетические: польский поэт решительно вошел в круг болезненных для России проблем<sup>17</sup>, которые живо обсуждались как в среде его русских друзей, так и в более широких кругах российской элиты, а позднее стали стержнем полемики славянофилов и западников относительно раздвоения русской культуры со времен правления Петра I и вследствие его насильственных реформ.

Поэтическое видение Мицкевичем деспотизма первого российского императора, унижения человеческого достоинства в имперской России и подавления русской традиции и исконной русской культуры, слепого копирования западных форм, воплощенных в облике новой столицы — городе военных, полицейских и чиновников, — обращение польского поэта к русским друзьям — повешенным декабристам и сибирским мученикам, сохранившим верность своим идеям, а также к тем, кто от этих идей отошел, поддержав жестокое подавление свободолубивой Польши, — все это стало для Пушкина не столько предлогом, сколько толчком к конкретизации своего видения деяний Петра, импульсом к созданию своего образа обновленной им России.

«Медный всадник» — поэтическая отповедь, где и задетое Мицкевичем глубоко личное, и державно-патриотическое чувство поэта-государственника проявилось в художественно оригинальных образах,



полемический подтекст которых (как и сам их генетический исток) были сокрыты поэтическим вдохновением.

Вероятно, именно эта творчески-полемическая взаимосвязь двух великих поэтов и два национальных шедевра, возникших на ее фоне, являют собой начало такого процесса, когда польскость как составляющее русской культуры и польский фактор истории русской литературы обретают наряду с уже традиционной функцией *внешнего образца* функцию *внутреннего стимула*.

Наряду с этим и параллельно польские сюжеты используются в русской прозе и поэзии. Здесь проявляется явно просматриваемая двунаправленность: польские мотивы и образы поляков выступают в темах, связанных с историей, что вполне естественно и закономерно, если принять во внимание непосредственное соприкосновение двух стран и народов во времени и пространстве. Однако появление этих же мотивов и образов в произведениях на различные темы современности уже непосредственно связано с изменениями в самой этой общей истории: после разделов Польши значительная ее часть оказалась в пределах России. Отсюда перемены в трактовке польской темы — и притом весьма существенные. Изменилось само ее измерение, масштаб, смысл, значение, качество: польскость стала составной частью *внутренней* истории России и связанных с ней проблем (так же как украинские, крымские, кавказские или сибирские мотивы в русской общественной мысли, историографии, литературе и искусстве). Отсюда и иные мерки подхода к Польше и полякам, иные критерии оценок, иной тип ее восприятия, что в расхожем мнении *государственного общества* обрело губительное для русско-польского взаимопонимания отражение в прибаутке — «Курица не птица, Польша не заграница».

В связанном же с *гражданским обществом* внеофициальном русском мышлении польская тема после декабристов появлялась как составляющая славянофильства, развивающегося с конца 20-х гг. XIX в. Выступая в романтических рамках так называемой «славянской идеи», «славянской взаимности», «славянского единства», она использовалась как своего рода мифологически-эстетическая инкрустация либо элемент литературной экзотики (пресловуто-сказочное «славянское своеобразие», например, в поэзии Я. П. Полонского). Отсюда — в соответствии с закономерностями обратной связи — известность этнологических и фольклористических изысканий З. Доленги-Ходаковского, популярность польских писателей (но только с земель, присоединенных к империи). Это начинается уже в первой половине XIX в. (помимо Мицкевича, запрещенного цензурой после восстания 1830 г., феноменальный успех Крашевского<sup>18</sup>), а затем вопреки известным

политическим обстоятельствам не только продолжается, но и усиливается во второй половине столетия, создавая основы той традиции и тех вкусов российской читающей публики, которые будут длиться в течение всего XX в. Эта до сих пор существующая популярность и связанные с ней переиздания польского реалистического романа обуславливаются тем каноном чтения русской интеллигенции, который сложился в последние десятилетия XIX в. и живет до сих пор. Именно этот тип романа (называемого в Польше позитивистским) наряду с классической русской и западноевропейской прозой формировал представления, вкусы и горизонт ожиданий сменяющихся поколений российских читателей, что уже на наших глазах проложило путь к популярности «Ночей и дней» М. Домбровской<sup>19</sup>, «Хвалы и славы» Я. Ивашкевича.

Этот связанный с гражданским обществом *культурный континуум* XIX–XX вв. в силу самой своей внутренней сущности пребывал вне *политического континуума* — то есть вне официальной идеологии государственного общества и вопреки ей, создавая позитивную основу русских представлений о Польше и поляках, о художественном уровне польской литературы, будучи одновременно образцом идейно-эстетических обретений<sup>20</sup> для русских писателей XIX–XX вв. С этой точки зрения симптоматичны суждения последнего русского лауреата Нобелевской премии И. Бродского, которые показательны и как отражение самосознания литературы и ее творцов. Говоря о своих переводах Норвида, Галчиньского, Милоша, Герберта, Шимборской, Стаффа, он констатирует: эти переводы «были не столько вкладом в так называемый русско-польский культурный диалог, сколько фактом моей собственной биографии. Мне кажется, что их читателям я, как переводчик, дал не так уж много. Скорее, я дал им нечто как человек, читавший этих названных и неназванных мною поэтов. Что же касается вклада, то все обстоит как раз наоборот — это польские поэты и их произведения способствовали формированию или, точнее, сформировали мысль стоящего перед вами»<sup>21</sup>.

Наряду с таким *культурным* континуумом в российском восприятии польскости и польской литературы существовал континуум *идеологический*, созданный и актуализируемый элитой власти в течение XIX–XX вв. Польский вопрос (как и еврейский) был тем оселком, на котором оттачивался официальный патриотизм и официальный национализм, обретающий порой шовинистический облик. Публицистика, символизируемая именем М. Каткова, историософия — именем Н. Данилевского, беллетристика — антинигилистическим романом, знаменует этот континуум во второй половине XIX — начале XX в.

Такое сосуществование континуума культурного и континуума идеологического в течение второй половины XIX в. постепенно изменяется с точки зрения своего удельного веса: культурный континуум начинает неизменно возобладать над континуумом идеологическим. Важным этапом развития этого процесса была работа А. Н. Пыпина «Польский вопрос в русской литературе», опубликованная в «Вестнике Европы» в 1880 г., которая стараниями А. Свентоховского уже в следующем году появилась в польском переводе отдельным изданием. Отбрасывая идеологические схемы, русский ученый разбивал в ней стереотипы официальной российской мысли, не останавливаясь перед спокойной и уравновешенной критикой антипольских стихотворений Жуковского и Пушкина. Мышление в общеевропейских категориях культуры исключает в суждениях Пыпина традиционное для количественно преобладающего государственного общества великодержавное и националистическое восприятие польскости; благодаря чему им выявляются цивилизационно общие ценности, которые объективно сближают и соединяют русские и польские начала. «На этом пути, — отмечал Пыпин, — при наличии доброй воли обе литературы могут объединиться в общем понимании многих важных вопросов русской и польской исторической жизни, настоящего. В особенности же они могут начать прояснение того исторического раздора, который так угнетает польское общество и вредит обеим сторонам — с тем, чтобы найти общие пути в будущее»<sup>22</sup>.

Это стремление выдающегося русского ученого осуществилось в период «серебряного века» русской литературы, который был параллельным литературному периоду Молодой Польши. Тогда польская литература по отношению к русской играла роль как образца, так и стимула, что особенно проявилось в увлеченности российских символистов творчеством Словацкого и Красиньского, а также в особом нарастании интереса к поэзии Мицкевича. Благодаря произведениям этих ранее запрещенных цензурой художников слова русские познавали как сугубо эстетические, художественно-философские ценности, так и специфически национальные, культурно-исторические особенности Польши. Русские — вне идеологии официальной России — открывали для себя Польшу как воплощение польскости, а не как стихии чужой и чуждой русскости, силы, враждебной Российской империи и угрожающей русскому православию:

В этом процессе очередного открывания для себя русскими Польши и поляков большую роль наряду с крупнейшими поэтами польского романтизма по-прежнему играет современный польский реалистический роман и новая — модернистская — проза Молодой Польши (С. Жеромский, А. Струг, В. Серошевский и др.), поднимающая об-

щественные, культурные, нравственные и ментальные проблемы, близкие русской интеллигенции, которая также имела своих Юдымов и Силачек. Подобно этим популярнейшим в Польше героям Жеромского они также шли в народ, посвящая этому себя и свою личную жизнь. С другой стороны, необычайный русский успех С. Пшибышевского свидетельствовал, что он отражал такие же или подобные явления модерна, которые в то время возникали и на русской почве. Пшибышевский им соответствовал, освобождал, динамизировал, являясь и образцом, и стимулом как самого художественного творчества, так и своего образа жизни.

Подобное распространение, популярность и как следствие этого особая роль польской литературы в культурном пространстве России на рубеже XIX–XX вв.<sup>23</sup> непосредственно связана с такими внешними по отношению к художественной и духовной жизни факторами, как ослабление цензуры и изменения в государственной и общественной действительности, происходящие вследствие реформ Александра II. Благодаря им естественный, не ограничиваемый государственными требованиями и идеологическими установками процесс контактов, взаимосвязей и обмена культурными ценностями вне национальных разграничений и государственных границ, ранее сдерживаемый, контролируемый и регламентируемый сверху, теперь стал возможным и, набирая темпы, к концу XIX в. все более усиливался и нарастал. До этого — в николаевские времена — вынужденная самодержавной системой правления ограниченность, фрагментарность, а порой скрытность русской рецепции польскости (например, публикации переводов Мицкевича без указания его имени) теперь обрела облик естественного эволюционного процесса. Эта теперь уже сверху не ограничиваемая открытость на Польшу способствовала нарастанию объективности ее восприятия в русском сознании, что предопределило постепенное увеличение удельного веса польской литературы и польской проблематики в духовной и общественной жизни России. В сравнении с другими европейскими литературами в русском культурном пространстве это увеличение было более динамичным и напряженным, ибо непосредственно взаимосвязанным с внутрироссийской ситуацией и внутрироссийским самоосознанием в современном мире.

Процесс российского познания польскости, обусловливаемый и осложняемый как внутренними проблемами империи (в которую входила часть Польши), так проблемами внешними (частью которых неизменно оставался польский вопрос), обрел особую напряженность с началом Первой мировой войны. Помимо этого взрыва — до него и помимо него — польский вопрос постоянно (хотя и с разной степе-



нию интенсивности) оставался составляющей частью русских вопросов более широкого плана, нежели только политика или идеология. Это до сих пор не угасающие споры о цивилизационных судьбах России, русской культуре, русском самосознании — споры, стержнем которых является проблема отношения к Европе.

Ставшее афоризмом пушкинское определение устремленности реформ Петра I как «окно в Европу» в реальности — учитывая направленность движения идей, научно-технических достижений, культурных ценностей и их носителей — долгое время в силу специфики российского прошлого было «окном из Европы». Это был процесс, начавшийся задолго до Петра (вспомним обращенность Ивана III к Западу и итальянских строителей московского Кремля). Петр его насильственно динамизировал, сменив присущее эволюционности органичное качество на принудительно привнесенное революционное со всеми известными последствиями, вызвавшими раздвоение русской культуры, расщепление русской природы, что и стало предметом межросийских споров, не утихающих со времен славянофилов и западников.

Именно в эволюционном процессе особую и значительную роль сыграла для России Польша еще в допетровское время, подготавливая в XVII в. русскую культуру к восприятию и усвоению новых для нее ценностей латинского мира, а тем самым создавая само культурное поле непосредственной встречи русскости с окцидентальностью. На этом поле, начиная с XVIII в., польская культура уже выступала наряду с другими культурами народов Запады, составляя один из спектров русско-европейского взаимодействия. В конце XIX в. польскость, будучи одновременно внутренней и внешней составляющими русской проблемы, сыграла особой важности роль как «окно из Европы», а одновременно «окно в Европу», способствуя созданию таких синтезов идеи русской и польской в рамках европейского универсализма, как философия В. Соловьева<sup>24</sup> или воззрения В. Иванова<sup>25</sup>. Это своего рода практические реализации предположений А. Н. Пыпина, которые были дальнейшим продолжением созвучия русскости и польскости времен декабристов, Мицкевича, Вяземского. Это созвучие было приглушено «сверху» системой правления Николая I и официальной идеологией, которая душила независимую русскую мысль. Отсюда — вследствие действия социотехники, а не естественной эволюции русской культуры — фигуры и идеи Уварова, Данилевского или Каткова заслонили собой духовную жизнь страны, что также (если речь идет о польском вопросе) отразилось, например, не только в художественно второстепенном, но достаточно популярном и влиятельном направлении антинигилистической прозы, но и в по-

зиции Л. Н. Толстого времен восстания 1863 г., а также в воззрениях Достоевского и Лескова.

Дифференцированное рассмотрение русского отношения к Польше — с учетом расслоения общества на государственное и гражданское — приводит к констатации того, что конфронтация русскости и польскости была на поверхности жизни империи, в то же время под этой единственно допускаемой режимом, а поэтому видимой поверхностью — в стране и эмиграции — существовала непрерывная преемственность русско-польских связей. Она была обусловлена не политическим, а культурологическим типом мышления, а следовательно, проявлялась и конкретизировалась не в государственных, великодержавно-националистических, а общецивилизационных категориях. Этот непрерываемый (хотя и ослабляемый внешними обстоятельствами) внеидеологический континуум существовал с XVII в. вопреки внешним обстоятельствам. Периодически заглушаемый официальными факторами, ослабевающий, отступающий на второй план вместе со своим источником и носителем — гражданским обществом, он в перспективе времени оказался неистребимым и вместе со сменной внешних обстоятельств возрождался вновь вместе с возрождением, усилением и нарастанием независимой от государственной власти духовной жизни русской интеллигенции. Одним из проявлений русского очарования польскостью как национальным воплощением западнохристианского универсума было (и остается) принятие русскими католичества<sup>26</sup> или экуменические поиски восстановления исторического единства Западной и Восточной Церкви<sup>27</sup>.

Итак, проблематику отношений русскости и польскости целесообразно рассматривать и интерпретировать не только в категориях национальных, государственных, конфессиональных, но и общецивилизационных, равно как и принимать во внимание факторы внутренней обусловленности самого дифференцированного существования русскости. Отсюда принятие во внимание времени, особенностей возникновения и судеб *гражданского общества* в России способствует прояснению как феномена русского увлечения польскостью вопреки известным обстоятельствам внутреннего и внешнего характера, так и выяснению исторической непрерывности этого процесса, его векторов и изменяющейся интенсивности. Одновременно учет факта и фактора *государственного общества* способствует пониманию сущности российско-польской конфронтации.

Именно эти первоэлементы социально-культурного бытия России создают и формируют две параллельные и по своей сущности противоположные тенденции: русского восприятия и понимания польскости. Может быть, впервые это не столько рационалистически

осознал, сколько поэтически почувствовал Мицкевич, который изнутри познал Россию и русских.

Направленность русской мысли в рамках гражданского общества, как и сам исторически естественный — то есть обусловленный свойственными ему внутренними закономерностями, а не социотехническими манипуляциями элиты власти — культурный процесс были подавлены большевистским режимом. Он по-своему воссоздавал и формировал новое государственное общество и по-своему продолжал российский империализм и свойственное ему великодержавное мышление и великодержавный национализм. Закономерным следствием первой Российской империи был кровавый развал 1917 г., второй (советской) — распад 1991 г. и его последствия, не преодоленные по сей день.

В советские времена современная польская литература в границах СССР присутствовала выборочно и фрагментарно в силу самой системы власти и насаждаемой ею идеологии: критерием «допуска» было идейно-тематическое созвучие культурной политике партии, а со второй половины 30-х гг. — также и соответствие художественно-формальным требованиям, соотносимым с догматически трактуемыми эталонами критического реализма и нормами соцреализма. Из предшествующей литературы присутствовал польский романтизм (естественно, без Красиньского) и польский позитивизм (реализм) в соответствующей идеологической реинтерпретации — той самой, которой подвергалась также классическая русская и западноевропейская литература. В результате польская литература утратила свойственную ей в предшествующий период «серебряного века» роль стимула и эталона (как, впрочем, насильственно прервалась и сама отечественная литература этой направленности, которая обрела продолжение в эмиграции).

Тотальность государственного регулирования духовной жизни постепенно и непоследовательно ослабевала, начиная с «оттепели», а особенно в период перестройки, окончательно исчезая после распада СССР. Однако последствия более чем семидесятилетнего существования режима, который полностью уничтожил гражданское общество, остаются и проявляют себя, вегетируя в стереотипах и ментальности, свойственных государственному обществу как времен Российской империи, так и СССР<sup>28</sup>. *Nota bene*: польскость — известная и ценимая в этот период благодаря литературе, кинематографу и живописи — по мере возрождения гражданского общества в СССР<sup>29</sup> со времен «оттепели» оказывала воздействие не только художественное. Она способствовала разрушению этих стереотипов и ослаблению этой ментальности. Так начинался процесс возобновления

континуума, восходящего к XVII в. и почти уничтоженного большевизмом. Снова явлением распространенным становится в значительной степени самостоятельное освоение польского языка, чтобы иметь доступ к распространяемым в стране польским газетам, журналам и книгам<sup>30</sup>. Эта современная польскость притягивала советских читателей не только своей открытостью на Запад и не только своей многокрасочностью, выходящей за монолитные рамки «единственно верной идеологии», но и своим персонализмом, которым она была обязана как исторической традиции универсализма (изначальные генетические связи с культурой латинской Европы), так и своей собственной (шляхетская демократия, формирующая культуру и ментальность поляков и гражданское общество в Польше еще с ренессансных времен). В этом отношении знаменательно признание И. Бродского, который во времена «оттепели» самостоятельно освоил польский язык. В речи на церемонии присуждения ему почетной степени доктора Силезского университета он сказал: «Искусству сопротивления я научился главным образом у вас... Говорю это не потому, что хочу польстить, но потому, что, оглядываясь на свою молодость, понимаю: в те времена, сорок лет назад, вряд ли возможно было избрать иную линию поведения — по крайней мере в моем обществе. В этом смысле я и в самом деле гожусь, быть может, на роль почетного поляка»<sup>31</sup>.

Обобщая изложенные здесь суждения, которые отнюдь не претендуют на исключительность и полноту рассмотрения данной проблемы, а только лишь содержат предложения определенного исследовательского подхода, особого аспекта и иного восприятия давнего сплетения русско-польских вопросов, можно констатировать, что польская литература и шире — польскость, наряду с другими средствами и формами выражения воплощенная также и в искусстве слова, воспринимались в России двумя путями. Эти пути были начертаны историей и определялись формированием и судьбами общества государственного и общества гражданского, что в русской истории, русском мышлении, ментальности и культуре соответственно обуславливалось и связывалось с традициями государственности и церковности (которые восходили к *Pax Orthodoxa*) и значительно более поздним персонализмом. Последнее явилось следствием русского западничества, первоначально в значительной степени восходящего к контактам с Польшей как составляющей *Pax Latina*. Эти два пути означают (и отражают) раздвоение русской культуры, которое имманентно (ибо эволюционно) началось в XVII в., а с периода реформ Петра I — революционно (ибо внешне и насильственно) действиями элиты власти («сверху») расщепило русскость.



Свойственные этим двум путям типы мышления обусловили сущность и стиль двух русских культурных восприятий. Отсюда противоречивые связи русскости и польскости можно осознать не столько (или — не только) в свете конфронтаций государственно-политических, конфессиональных, национально-ментальных, но также и сквозь призму конфронтации внутри самой русской культуры, как следствия насильственного ускорения процесса ее окцидентализации. Этот процесс, способствуя развитию традиционного государственного общества в новом направлении, в то же время в силу самой своей имманентной сути неминуемо — вопреки элите власти — вел к возникновению и последующему развитию общества гражданского.

Именно эта *внутрирусская конфронтация*, отражая по-прежнему продолжающееся *культурное раздвоение России*, проецируется на русское восприятие польскости — как позитивное, так и негативное. Это первое — со знаком плюс — свойственно гражданскому обществу, для которого польская литература была специфически национальным отражением универсальных ценностей, типа мышления и менталитета, близких независимо мыслящим индивидуумам, создающим русское культурное пространство вне официальной идеологии и требований государственной власти. Основой этой близости и связующим русскость и польскость звеном был *европеизм* — осознанное чувство принадлежности к общей цивилизации, что исключало национальную замкнутость, великодержавное высокомерие и предопределяло партнерское отношение к другим народам. Это второе восприятие польскости — со знаком минус — свойственно государственному обществу. Лишенное самостоятельного мышления вследствие абсолютного подчинения государству, оно служило опорой для режима и одновременно было носителем и распространителем официальной идеологии и официальной культуры.

Первое восприятие отражало такой тип культуры, в котором универсальные и национальные ценности являли взаимосвязанное целое, диалектическое единство, органичный симбиоз.

Второе восприятие было проявлением культуры, идеологизированной «сверху» и «сверху» же политизированной вследствие своей огосударствленности. Отсюда манихейское разделение национального и универсального, их искусственный разрыв, следствием чего был национализм (порой граничащий с шовинизмом) и великодержавная надменность. Отсюда амбивалентное отношение к общеевропейским ценностям. Отсюда и конъюнктурная изменчивость в отличие от аксиологического постоянства культуры гражданского общества. Управляемая и направляемая элитой власти официальная культура отражала ее актуальные требования, следуя амплитуде ее представ-

лений о роли государства и государственных интересах — внешних и внутренних — в данный исторический момент. Постоянным же был общий идеологический фундамент самой государственной доктрины, выраженной в сакраментальной формулировке Уварова — «православие, самодержавие, народность».

Историческим продолжением огосударствленного восприятия польскости (хотя и в идеологически трансформированном виде) стала советская литература и искусство межвоенного периода. В те времена идейной основой уже традиционной для государства и государственного общества конфронтации стал большевизм, который развернул ожесточенную борьбу против «панской Польши» как в пропаганде, так и управляемом и направляемом режимом художественном творчестве<sup>32</sup>. Эта классово реинтерпретированная антипольская направленность постоянно нарастала. Антипольская устремленность, перерастающая порой в одержимость и истерию, объясняется тем, что как военное поражение в 1920 г. (сорвавшее поход в Германию для организации революционного взрыва в центре Европы), так и сам факт существования национального польского государства рушили сами основы большевистской идеологии и пропаганды — тезис о солидарности пролетариев всех стран и связанную с ним идею мировой революции.

Это антипольское острие в 30-е гг. ударило в польскую культуру и поляков на территории СССР, затем — в саму польскую компартию, а в 1939 г. — в независимое польское государство и ее граждан разных национальностей, конфессий и культур.

Если же речь идет об истории восприятия польскости и о самом изменяющемся типе этого восприятия, то следует принять во внимание, что это только составляющая общего спектра направленности советской культуры как «вовнутрь», так и «вовне» СССР. Общей основой этой внутренней и внешней направленности была постоянно и строго (при всех конъюнктурных изменениях) соблюдаемая и обязующая партийная идеология, а единственно существующими средствами распространения управляемого «сверху» творчества — государственные издательства, пресса, радио, театр, кинематограф.

Проведенная после большевистского переворота культурная революция как составная часть общей коммунистической доктрины в ленинском варианте была очередным (после коренных изменений России, начатых реформами Петра I) уже не потрясением, а уничтожением русской культуры. Если Петр I уничтожал традиционную культуру России путем насильственного насаждения западных образцов (ускоряя тем самым процесс возникновения гражданского общества), то большевизм искоренял как традиционный (народный),

так и европеизированный (к тому времени натурализованный) слой культуры вместе с его носителем — гражданским обществом.

Итак, история русской культуры в категориях гегелевской триады, которую большевики использовали в своей идеологии, предстает как тезис (исконная, традиционная культура России), антитезис (европеизированная культура России), синтез (советская культура), образ и последствия которой хорошо известны как в пределах бывшего СССР, так и всех бывших стран «социалистического лагеря».

Очередное стирание польских границ в 1939 г. возымело для СССР, как некогда во времена разделов Речи Посполитой — для России, не предвиденные элитой власти побочные последствия: непосредственные контакты советских людей с поляками на огромном пространстве от Буга до Сибири разрушали пропагандистские мифы и вызывали если не абсолютное понимание, то сердобольное сочувствие к страданиям и бескорыстную помощь очередному потоку преследуемых и депортируемых. Эта новая — вынужденная и низовая (то есть программно и идеологически не санкционированная «сверху») встреча русскости и польскости помогла взаимоосознанию общности судьбы и страданий на «бесчеловечной земле»<sup>33</sup>. Только эта «бесчеловечная земля» была для россиян своей, и сознание этого побуждало как к размышлению о судьбах России и русскости, так и к покаянию. Именно это внутреннее прозрение в конечном счете привело к распадению изнутри непобедимого для внешних врагов и бесчеловечного для своих народов государства. И в этом процессе польский фактор и польский пример также сыграл свою роль.

Как культурологически заметил И. Бродский, «истоки коммунистической системы коренятся не столько в дурном вкусе ее создателей, сколько в дурном вкусе ее подданных»<sup>34</sup>. Теперь эти бывшие подданные в той или иной степени изживают прежние свои склонности. Этот путь изнурительный и долгий. Он осиливается медленным и трудным возрождением личности и личностности, а тем самым — гражданского общества, которое было интеллектуально и физически уничтожено большевизмом.

В этом процессе возрождения Польша присутствует постоянно, как постоянно и само двухколейное (что означает также — разнонаправленное) русское восприятие польскости.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- <sup>1</sup> См.: История литератур западных и южных славян. М., 1997. Т. 1; *Lipatow A. W. Słowiańszczyzna — Polska — Rosja. Izabel in 1999.*
- <sup>2</sup> Подробнее об этом см.: *Лунатов А. В.* Кирилло-мефодиевская традиция, истоки польской литературы и проблемы славянской взаимности (О взаи-

- модействии латинского Запада и византийского Востока) // Известия Академии наук. Сер. лит-ры и яз. 1995. Т. 54. № 6.
- 3 Помимо коренных жителей — украинцев, белорусов, литовцев — здесь проживали немцы, евреи, караимы, армяне, татары и представители разных народов Запада.
  - 4 См.: Лунатов А. В. Литература в кругу шляхетской демократии. М., 1993.
  - 5 Толстой Н. И. История и структура славянских литературных языков. М., 1988.
  - 6 Ср. аналогичные выводы таких православных мыслителей, как А. В. Карташев (Церковь. История. Россия. М., 1996) и протонерей А. Шмеман (Исторический путь православия. М., 1993).
  - 7 Подробно на конкретных примерах это рассматривается в моей статье *Barok i literatury wschodnioslowiańskie* // *Studia Polono — Slavica — Orientalia. Acta litteraria XII*. Wrocław, 1990. См. также: История западных и южных славян. М., 1997. Т. 1.
  - 8 Славянское Барокко. М., 1979. Барокко в славянских культурах. М., 1982.
  - 9 *Łuźny R.* Pisarze kręgu Akademii Kijowsko-Mohylańskiej a literatura polska. Kraków, 1966; *Lewin P.* Wykłady poetyki w uczelniach rosyjskich XVII wieku (1772–1774) a tradycje polskie. Wrocław, 1972. Об этой книге см.: Лунатов А. В. Польское Возрождение и Барокко в русских поэтиках XVIII в. // Русская литература. 1974. № 4.
  - 10 Николаев С. И. Польская поэзия в русских переводах (XVII–XVIII вв.). Л., 1989.
  - 11 *Angyal A.* Die slawische Barockwelt. Leipzig, 1961; *Павић.* Историја српске књижевности барокног доба, XVII и XVIII век. Београд, 1970; *Медаковић.* Трагом српског барока. Београд, 1976; *Георгиев Е.* Българската литература в общославянското и общеевропейско литературно развитие. София, 1973; *Бехиньова В.* Барокът и литературата на българските католици // Литературна мисъл. 1975. № 2.
  - 12 *Kraushar A.* Obrazy i wizerunki historyczne. Warszawa, 1906. S. 330.
  - 13 См.: Лунатов А. В. Возникновение польского просветительского романа. Проблемы национального и общеевропейского. М., 1974.
  - 14 *Mejszutowicz Z.* Powieść obyczajowa T. Bulharyna. Wrocław, 1978.
  - 15 Цит. по: Памяти декабристов. Л., 1926. Т. 1. С. 30.
  - 16 Лунатов А. В. Мицкевич и Пушкин: образ на фоне историографии и историософии // Поляки и русские: взаимопонимание и взаимонепонимание. М., 2000; *Он же.* Пушкин и Мицкевич: личная дружба или творче-



- ское содружество? (К проблеме литературоведческой мифологии) // Пушкин и мир славянской культуры. М., 2000.
- 17 См.: *Lipatow A.* Polska Puszkina i Rosja Mickiewicza (Konflikt mentalności narodowych w sferze wysokiej kultury) // Polacy w oczach Rosjan — Rosjanie w oczach Polaków. Warszawa, 2000.
- 18 См.: *Лунатов А. В.* «Русский» Крашевский. (Русско-польские литературно-типологические параллели) // Сов. славяноведение. 1990. № 4.
- 19 *Станюкович Я.* Реализм Марии Домбровской. М., 1974; *Лунатов А. В.* Эволюция романа-эпопеи («Ночи и дни» М. Домбровской: жанровые традиции и авторская индивидуальность) // Сов. славяноведение. 1991. № 2.
- 20 С этой точки зрения симптоматична высокая оценка «Без догмата» Г. Сенкевича Л. Н. Толстым.
- 21 *Бродский И.* Польша // Новая Польша. Варшава, 2000.
- 22 Вестник Европы. 1880. № 1–2. С. 708.
- 23 *Barański Z.* Literatura polska w Rosji na przełomie XIX i XX wieku. Wrocław, 1962.
- 24 *Walicki A.* Rosyjska filozofia i myśl społeczna od Oświecenia do marksizmu. Warszawa, 1973; *Nowak A.* Polacy, Rosjanie i biesy. Kraków, 1998.
- 25 *Дудек А.* Польская душа и русская идея в творчестве В. Иванова // Поляки и русские: взаимопонимание и взаимонепонимание. М., 2000.
- 26 *Mucha B.* Rosjanie wobec katolicyzmu. Łódź, 1989.
- 27 Может быть, наиболее яркий пример — философия В. Соловьева.
- 28 *Лунатов А. В.* Россия и Польша: «домашний спор» славян или противостояние менталитетов? // Поляки и русские: взаимопонимание и взаимонепонимание. М., 2000.
- 29 *Lipatow A.* Rosyjska inteligencja wobec władzy: od samostanowienia do samozagłady // Inteligencja. Tradycja i nowe czasy. Kraków, 2001.
- 30 *Британишский В.* Польша в сознании поколения оттепели // Поляки и русские: взаимопонимание и взаимонепонимание. М., 2000.
- 31 *Бродский И.* Указ. соч. С. 4.
- 32 *Лунатов А. В.* От «ублюдка Версальского договора» до «братской страны соцлагеря» (государственное искусство и идеологические стереотипы) // Поляки и русские в глазах друг друга. М., 2000.
- 33 Название документальной книги Ю. Чапского о страданиях поляков в СССР.
- 34 *Бродский И.* Указ. соч. С. 6.

Е. З. Цыбенко  
(Москва)

## Образы русских в польской литературе второй половины XIX века

---

Понятие «вторая половина XIX века» для истории польской литературы — понятие чисто условное, принятое у нас скорее по аналогии с периодизацией истории русской литературы. Известно, что для Польши рубежом были 1863–1864 гг., годы январского восстания и аграрной реформы.

Конкретный разговор об образах русских в польской литературе после 1863 г. хотелось бы начать с того, что принято было думать, будто подобные образы в литературе Польши этого периода отсутствовали. М. Понксинский в своей в целом весьма содержательной статье «Русские и Россия в польской культуре конца XIX–XX вв.» считает, что тема России присутствовала в польской литературе в периоды романтизма и модернизма (что их до известной степени объединяло), как бы «обходя» при этом вторую половину XIX в., особенно период после 1863 г., когда, как известно, Россия оказалась «табуированной» темой в польской культуре и «великим отсутствующим» в польской литературе. Шокирующий опыт январского восстания воздействовал на эту литературу столь сильно, что представления обо всем русском и его оценки следует искать скорее в публицистических текстах, исторической и философской эссеистике, а также литературной критике этого периода»<sup>1</sup>.

Думаю, что это не совсем так. Действительно, у самых крупных писателей эпохи позитивизма — Сенкевича, Пруса, Ожешко образов русских нет. Можно упомянуть только русского купца Сузина в романе «Кукла» Пруса. С Сузиным Вокульский познакомился в ссылке в Сибири, и он потом во многом помогает Вокульскому. Но его образ не развернут, хотя в свете нашей темы и заслуживает внимания. В том же романе упоминаются (но только упоминаются) русский судья, русские приказчики в магазине Вокульского, привезенные Мрачевским из Москвы, русские генералы (названные просто

«генералами», но известно, что тогда ими могли быть только генералы русской армии).

Однако много образов русских людей и размышлений о России содержится в группе польских романов, посвященных периоду кануна январского восстания или непосредственно изображающих эпизоды восстания. Естественно, что все эти произведения издавались не в Королевстве Польском, а в Познани, Львове, Брюсселе и т. д., хотя авторы этих романов были выходцами из Королевства Польского. Среди них следует прежде всего назвать Юзефа Игнация Крашевского. Около десятка его романов, или прямо посвященных восстанию, или связанных с ним, писались «по горячим следам», под непосредственным впечатлением тех трагических событий: «Дитя Старого города» (Познань, 1863), «Шпион» (Познань, 1864), «Мы и они» (Познань, 1865), «Москаль» (1865), «Красная пара» (Познань, 1864), «Еврей» (1866), «Дедушка» (1869), «Загадки» (Познань, 1870). Все эти произведения Крашевского печатались под псевдонимом Богдан Болеславита.

Создавали романы о восстании 1863–1864 гг., а также о событиях, связанных с ним, и другие, менее известные польские авторы: Михал Балущкий: «Пробудившиеся» (Брюссель, 1864), Эдвард Любовский: «Сильные и слабые» (1865), Мария Садовская: «Оксана» (1868), Юзеф Дзежковский: «Кровавое Крещение» в трех частях (1865, дальше совместно с В. Сабовским 1875, 1876), Юзеф Нажимский: «Отчим» (Познань, 1873), Вацлав Кошчиц (псевдоним Валерия Вацлава Володько): «Труд Сизифа» (Львов, 1877), и другие. Все это — исключая Крашевского — писатели «второго ряда». Однако, во-первых, без них трудно представить себе литературный процесс, во-вторых, возможно, именно по их произведениям можно в первую очередь воспроизвести мнение польского общества о русских и России: они словно бы ближе массовому читателю, события восстания у них описываются, быть может, и без большого художественного мастерства, но более непосредственно.

Нельзя сказать, чтобы польские исследователи об этих романах не писали — вспомним, в частности, серьезную статью Яна Детко «Январское восстание в творчестве писателей *minorum gentium*» в сборнике «Литературное наследие Январского восстания» (Варшава, 1964)<sup>2</sup>. Однако ни в этой статье, ни в других работах этого сборника образы русских, тема России специально не рассматриваются.

Писала об этих романах и автор настоящего доклада. В моей монографии «Польский социальный роман 40–50-х годов XIX века» (М., 1971) есть специальный раздел «Романы о восстании 1863–1864 гг.», но меня в то время интересовали жанровые особенности

романа на эту тему. Я тогда пришла к выводу, что романы о восстании 1863–1864 гг. показали отсутствие у польских романистов опыта в создании жанра социально-политического романа, в центре которого стояли бы важные социальные и политические проблемы, что обнаруживающаяся в них романтическая традиция с ее сенсационной интригой, условным любовным сюжетом оказалась непригодной для создания романа нового типа, какими позднее явятся произведения романного жанра Сенкевича, Пруса и Ожешко. Таким образом, в своей прежней работе я в очень малой степени касалась образов русских и темы России как таковой.

В названных выше романах о январском восстании русские, особенно те, которые принимали непосредственное участие в подавлении восстания, изображаются крайне отрицательно, что вполне естественно для произведений о трагических и кровавых событиях того времени. Основные определения душителей национально-освободительной борьбы — «палачи», «кровопийцы»<sup>3</sup>, сатрапы. Русские генералы на своих совещаниях, рассуждая о том, что делать, приходят к выводу: «стрелять, бить, вывозить»<sup>4</sup>.

Крашевский в романе «Шпион» дает описание разных типов русских генералов — все, конечно, отрицательные: «...они относятся к числу хищных зверей, хотя одни из них и кажутся спокойными, а другие сознательно хотят казаться дикими»<sup>5</sup>. Несколько более мягкая характеристика дается генералам, происходящим из простого звания, живущим на жалование, послушно выполняющим приказы, но у них, как пишет автор, «есть сердце в груди, и они неплохие люди, насколько им позволяет царь»<sup>6</sup>. Гораздо хуже — «образованные» генералы, которые говорят по-французски (часто плохо). При этом описывается один из них, из «тех палачей, которых правительство использовало для кровавых услуг... равнодушный ко всему. Крики несчастных в цитадели не производили на него никакого впечатления»<sup>7</sup>.

Но страшнее всего, как представляется Крашевскому, третий тип русского генерала — немец по происхождению: «Немец по рождению готов с немецкой систематичностью резать, убивать и жечь во имя философии истории»<sup>8</sup>.

Конкретных образов русских военных, обрисованных в этих романах довольно подробно и всегда или почти всегда отрицательно, много. Назовем в качестве примеров лишь некоторых. Адьютант наместника князь Шкурин, в недавнем прошлом завсегдатай петербургских салонов, готовый «ради остроумия и известности в свете продать родную мать и отца», «в шкуре француза это был дикий татарин, внешне соблюдающий приличия, но на деле не признающий ни моральных обязательств, ни тормозов»<sup>9</sup>.



Русский офицер Никитин попадает в плен к повстанцам; полковник Свобода — как назвал теперь себя главный герой романа Крашевского «Москаль» Станислав Наумов, русский офицер польского происхождения, перешедший на сторону восставших, — освобождает Никитина; тот, едва отойдя, начал говорить, что, попадись ему этот полковник, он бы его повесил. В конце концов Наумов оказывается в его руках, Никитин берет в дом добровольно пришедших к нему ради спасения Наумова его двоюродную сестру и любимую девушку и только потом соглашается их отпустить за большую сумму.

Подлый и лживый исправник Павел Онуфриевич («Кровавое крещение» Ю. Дзежковского), желая жениться на дочери богатого польского помещика, но не имея согласия избранницы, сначала угрожает ее дедушке бумагой, компрометирующей его как польского патриота, а затем доносит на него, в результате чего тот попадает в Сибирь.

Живущие в самой России русские люди также чаще всего обрисованы самыми черными красками. Всюду взяточничество, варварство — и не только по отношению к полякам (во время восстания и после в Петербурге и Москве поляков ненавидят — так считают почти все авторы, о которых идет речь)<sup>10</sup>, но и по отношению к своим крепостным. Княжна Ольга Михайловна Карташова до полусмерти избивает свою служанку Дуньку за слегка порванные кружева на бальном платье, а когда польский врач, работающий в этом российском городке, подает в суд, Дуня оказывается в тюрьме, где и умирает («Труд Сизифа» В. Кошчица). Можно встретить в романах и обобщения типа: «Москва, хотя и верующая, сохранила старый татарский обычай и звериную безжалостность»<sup>11</sup>.

Правда, следует обратить внимание на то, что и среди персонажей-поляков встречаются «черные» характеры. Это, разумеется, не относится к тем, кто принимает участие в восстании — последние справедливо изображаются как герои, мученики, жертвы. Маркиз Кеттелер и его сын Артур прикидываются польскими патриотами, но совершенно равнодушны к борьбе за независимость, эти подлые люди незаконно присваивают имение сосланного в Сибирь родственника, который, боясь, что имение конфискуют и оно не достанется его внучке, записывает все свое состояние на маркиза, надеясь на его благородство («Кровавое крещение» Ю. Дзежковского).

Помещик Игнаций Пиотрович, отчим чистой, светлой девушки Поли, хитрый, бесчестный человек, пускается на всевозможные уловки, чтобы присвоить себе состояние падчерицы, идет на обман и подлог, чтобы отдалить Полю от любящего ее Артура Карлиньского, «продает» ее за 300 тысяч богатому сыну соседнего помещика. Пиот-

рович, который во времена патриотического подъема «громко вздыхал над несчастной отчизной и при хорошо закрытых дверях заверял, что он готов отдать за Польшу последнюю каплю крови»<sup>12</sup>, совершает предательство, предупредив царские войска о приходе в его имение отряда повстанцев. В конце романа («Отчим» Юзефа Нажимского) он выдает в руки царских карателей раненого Карлиньского, которого укрывала дома Поля. По его вине и Артур, и Поля погибают. «Смотри, подлец, что ты наделал», — говорит ему с презрением русский офицер, показывая на трупы влюбленных. Восстание подавлено. Артур и Поля погибли. Многие патриоты сосланы. А подлец и предатель Пиотрович по-прежнему процветает: «Он здоров и бодр и еще вчера ел устрицы»<sup>13</sup>.

Юзеф Крашевский в романе «Шпион» показывает трагедию обедневшего шляхтича, бывшего поручика Преслера, за деньги согласившегося доносить русской полиции о деятельности патриотов. В результате одного из таких доносов арестован его любимый сын Юлек, состоявший в тайной организации; очевидно, также по его вине погибает и дочь Рузя. Жена решает отправиться вместе с сыном на каторгу, а сам Преслер сходит с ума и бросается в воды Вислы. Автор замечает, что таких шпионов было много, но население их ненавидело.

Таким образом, главная мысль всех произведений о восстании: между русскими и поляками вражда, полное отсутствие взаимопонимания. Один из героев романа Крашевского «Мы и они», старый шляхтич Еремий, говорит генералу Живцеву (еще до восстания): «Я не знаю ни единого русского, который мог бы оценить Польшу и поляков, и ни единого поляка, который понял бы „москаля“»<sup>14</sup>.

Однако в этих же произведениях мы читаем о том, что некоторые русские офицеры перешли на сторону повстанцев. Русский офицер Желобня в романе Юзефа Дзежковского «Кровавое крещение» так объясняет свое решение присоединиться к отряду польских патриотов: «Придет еще время, когда моя Россия будет стремиться к свободе, тогда с уважением будут целовать прах ваших мучеников как апостолов нашей свободы... Я жажду борьбы, чтобы и моя капелька крови приблизила будущий союз польских и русских друзей свободы»<sup>15</sup>. В романе М. Балущкого «Пробудившиеся» рассказывается о таком же офицере, поручике Р., приговоренном русским полковником к расстрелу<sup>16</sup>. И такая еще деталь — русский полковник долго не соглашается на похороны поручика, но когда ему напоминают о дочери — случись подобное с ней, — полковник уступает: «В нем отец победил тирана», — добавляет автор<sup>17</sup>.

Иногда оказываются способны на человеческие жесты и те офицеры, которых, казалось, иначе как сатрапами не назовешь. Один из

таких героев сперва не разрешает Марии из романа «Мы и они» сопровождать пешком польских ссыльных, среди которых ее любимый, но потом сожалеет о своем поведении и даже просит прощения.

Среди русских офицеров, как это можно заключить по польским произведениям о восстании, были и просто порядочные люди. Таким рисуется служивший в Польше генерал Живцев в романе Крашевского «Мы и они». Автор так его характеризует: «Живцев больше, чем другие, выглядел человеком. Это был москаль, но его лучший тип, слегка испорченный в быту, распущенный, но мягкий и чувствительный. У него был не очень сильный характер, ибо деспотизм его иметь никому не позволяет, в нем было много сердца, которое сохранилось у него чудом»<sup>18</sup>. Генерал Живцев и своим поведением подтверждает данную ему характеристику. По просьбе его знакомой — Марии (польки по происхождению) он помогает смягчить приговор для Юлиуша, участника тайных организаций — вместо казни — ссылка на каторгу.

Очень симпатичными чертами наделен в романе Крашевского «Москаль» русский офицер Александр Петрович Наумов, который попал в Варшаву еще при великом князе Константине. Сын бедного чиновника, рано оставшийся сиротой, но благодаря помощи одной из княжон при петербургском дворе ставший кадетом, потом и офицером. «Сердце у него было доброе, натура честная, его не испортила легкомысленная среда, которая окружала его. ...Было в нем что-то простодушное и поэтическое. Ум его был готов принять всякую красоту»<sup>19</sup>. Офицер Саша Наумов полюбил польку Михалину и женился на ней. В семье долгие споры: «Вы не можете проклинать народ, которого Вы не знаете, — говорит Наумов Михасе, — или судите о нем только по тем „отбросам“, которые вас здесь угнетают, но у этого народа есть сердце, перед этим народом будущее. Разве он виноват, что веками жил в неволе, опустился, оподлился? Пусть над ним засветит солнце свободы. Пусть падет на него роса добродетельной науки, пусть его раскуют и развяжут, и ты увидишь, что он сумеет быть великим и достойным любви народом»<sup>20</sup>.

Еще один русский офицер, обрисованный с большой симпатией — офицер гвардии, граф Павел Петрович Туранцев в романе Вацлава Кошчица «Труд Сизифа». Его фигура и черты лица, замечает автор в самом начале романа, «представляли собой гармоническое целое, тип красивого москаля. От него веяло уверенностью в себе и приятием окружающего мира. „Любите меня, ибо я этого стою“, — казалось все говорило в этом красивом офицере»<sup>21</sup>. Дальнейшее благородное поведение Туранцева показывает, что в этой последней фразе автора отсутствует ирония.

В том же произведении выведен образ обаятельной русской девушки Маши Авериной, дочери богатого купца, но одновременно крепостного крестьянина князя Карташова. Образованная, умная, несколько эксцентричная, но вместе с тем поэтическая натура, необыкновенно добрая и деликатная, вызывает всеобщее восхищение у жителей небольшого русского городка Обоянь.

Маша трагически погибает по вине княжны Карташовой, которой показалось, что она понравилась графу Туранцеву, за которого она сама стремится выйти замуж. Маша — ее крепостная; княжна приказывает ей послужить у нее горничной. Уважающей свое достоинство Маше остается лишь бежать (на что и рассчитывала княжна), спасаясь от погони, она погибает.

Отец Маши — купец Аверин — знает, что дочь влюблена в поляка Довнара, местного врача, и ничего не имеет против их брака (впрочем, так и не свершившегося). «Поляк для него, — читаем в романе, — имел как бы особую притягательную силу, ибо, будучи угнетаем той же самой силой, что и его обижала, он не хотел поддаваться: в глазах невольника каждый товарищ Спартака был, несомненно, существом необыкновенным»<sup>22</sup>.

Еще один русский купец в другом романе («Мы и они» Крашевского), Прокоп Васильевич (в прошлом простой крестьянин Ярославской губернии) помогает Марии, приехавшей в Петербург хлопотать по делу Юлиуша, своего возлюбленного, которого ждет сибирская каторга (а он калека, потерявший в восстании руку), в результате молодой паре разрешают поселиться в небольшом городе под Вологдой. Там им помогает еще один добрый русский человек — врач Сахаров. После смерти Марии от туберкулеза он почти становится другом Юлиуша. Примечательно, что писатель подчеркивает сочувствие, с каким жители городка отнеслись к юной паре.

Надо заметить, что в романах, о которых идет речь, показывается, что народ, толпа чаще не понимает поляков — таков результат воздействия властей, прессы, чиновников. Но бывают и исключения. Так, Крашевский в упомянутом выше романе выводит эпизод, когда в толпе русских, наблюдающих, как по этапу ведут группу ссыльных поляков, сначала слышны голоса осуждения по их адресу, но вот те запели свою песню — и тогда толпа словно бы опомнилась, прониклась сочувствием к ссыльным.

Можно сказать, что общим выводом почти всех названных выше произведений является мысль о том, что отрицательные черты русского народа сформировались в результате условий, в которых он много веков жил — деспотизм, тирания власти. Крашевский в романе «Мы и они», представив разные типы русских высших офицеров,



замечает: «На военном совете все русские представляли черты, сформированные московской неволей, результатом которой было унижение человеческого достоинства; когда приходилось быть деспотом по отношению к низестоящим и пресмыкающимся перед властью... Все это клеймо московских кандалов»<sup>23</sup>.

Юзеф Дзежковский в романе «Кровавое крещение» размышляет о том, что по своей натуре русские — добрые и порядочные люди, что когда они выполняют приказ начальства, то делают это по долгу службы, а вообще-то они способны на добрые поступки. «Об этом рассказывают наши изгнанники, которые часто на себе испытывали доброту жителей городов и деревень. Почти любой москаль, даже тот, который „по приказу“ готов хладнокровно совершить самое дикое варварство, часто это человек доброго сердца, готовый делиться с другим, что он имеет, склонный уважать моральное и интеллектуальное превосходство, благодарный за добро, которое ему оказывается, жалостливый для несчастных, готовый прийти на помощь нуждающимся, умеющий привязаться и любить»<sup>24</sup>.

Частый мотив в романах, тематически связанных с восстанием, — судьба молодых людей из смешанных русско-польских семей, или поляков, с детства воспитанных в русской армии. Самый яркий пример — роман Крашевского «Москаль», само название которого связано не столько с образом Александра Наумова, о котором речь шла выше, сколько с образом Станислава Наумова, сына русского офицера и польки. После смерти родителей восьмилетнего Стася отдают — как сына русского офицера — в Кадетский корпус в Петербурге, где он воспитывается в строгом послушании. «Маленький Наумов из польского мальчика был переделан в чистого москаля»<sup>25</sup>. Уже офицером в 1861 г. Святослав (так его называли в России) Наумов оказывается со своим полком в Варшаве. Он знает, что среди поляков его двоюродные братья и сестры. Уже в их доме он понимает, что был когда-то поляком, потом приходит на могилу матери. «С этого времени в душе Наумова боролись москаль и поляк. Во время кровавой расправы с польскими демонстрантами погиб его двоюродный брат, Наумов ранен. „Пролитая кровь сделала его поляком“»<sup>26</sup>.

Когда начинается восстание, Святослав Наумов становится его активным участником. Попав в тюрьму, он говорит следователю: «Мой отец был русский, моя мать — полька, если бы мой отец в приступе безумия убивал людей и совершал преступления, я бы пошел против собственного отца. Если бы я был русским и по отцу и по матери, я бы имел право и обязанность встать в ряды защитников свободы. Как русский я выступил сейчас не против своего народа, но против деспотизма, который угнетает и нас, и их»<sup>27</sup>.

Так, почувствовав себя поляком, Наумов не отрекается от своего русского происхождения. Избитый и мучимый в тюрьме, он говорит своей кузине Магде: «Я — москаль, и мне стыдно, стыдно за моих братьев-поляков. Позор палачам, слава жертвам!»<sup>28</sup> (Наумов чудом остается жив).

Еще один пример — судьба польского юноши, ставшего генералом русской армии в романе Крашевского «Загадки»: Станислав Карлович Збыский, внук барского конфедерата, сражавшегося в армии Костюшко, и сын участника ноябрьского восстания, погибшего в ссылке, еще ребенком по приказу Николая I взят в кадетскую школу в Петербурге, становится офицером русской армии, делает блестящую карьеру. Но остается польским патриотом, поддерживает связь с тайными организациями своей страны. По словам героя Крашевского, примером для него был Конрад Валленрод из известной романтической поэмы Мицкевича. Однако, в конце концов, герой романа убеждается, что его деятельность не имеет смысла. Он даже пытается задержать вооруженное выступление поляков. Но, когда восстание уже начинается, он вступает в один из партизанских отрядов и вновь убеждается как в слабости движения, так и в том, насколько полученное в России воспитание отдалило его от повстанцев.

В этом произведении выведены и образы собственно русских. Рассказывается о «роковой» любви к герою русской аристократки, оставившей ему свое состояние, о планах матери Збыского, мечтающей женить его на польской патриотке, и о неожиданном бегстве этой девушки с его русским другом, и о самоубийстве главного героя.

Некоторые консервативные польские критики были недовольны тем, что Крашевский показывает любовь и счастливую супружескую жизнь польской патриотки и русского (у Крашевского, правда, это армянин из России, князь Арусбек). Комментируя эту сюжетную линию, журнал «Пшеглэнд Львовски» в 1871 г. писал: «Не является ли это еще одним доказательством того, что Крашевский, идя вслед за своими политическими устремлениями, теряет в своей самоуверенности не только остатки таланта, но и всякое понятие порядочности... Не должен ли грустный финал Збыского быть выражением того морального самоубийства, на которое идет сам автор?»<sup>29</sup>

Возвращаясь к образам поляков, воспитанных в русской армии и ставших русскими офицерами, заметим, что, очевидно, к ним и только к ним, может быть приложима мысль, высказанная М. Понксинским в упоминавшейся выше работе: «Поляк как зеркало русского, русский как зеркало поляка — это очередной мотив, проходящий через всю польскую литературу рубежа веков»<sup>30</sup>. Автор, правда, имеет в виду литературных героев несколько более позднего време-

ни, чем то, которому посвящена настоящая статья, но это не меняет дела. Характерно и то, что М. Понксиньский в качестве подтверждения своей мысли приводит пример из рассказа Элизы Ожешко «Офицер» (сб. «Gloria victis»), когда во время восстания русский офицер Аполинарий Карловицкий освобождает польского повстанца, а затем совершает самоубийство. Но автор работы не упоминает одной очень важной вещи — что этот русский офицер был поляком, и его самоубийство оказалось своего рода покаянием за службу в русской армии и участие в подавлении восстания.

Особое место по своей концептуальности занимает в рассматриваемой группе произведений роман Вацлава Кошчица «Труд Сизифа». Кстати, автор этого романа был русским офицером, но в 1863 г. перешел на сторону повстанцев, после чего провел семь лет в эмиграции. В центре романа Кошчица русский гусарский офицер, граф Павел Туранцев, завсегдатай петербургских салонов, приехавший временно в небольшой провинциальный городок (об этом герое уже говорилось выше), и его университетский коллега — поляк Мирослав Довнар, окончивший медицинский факультет в Москве и работающий в этом городке врачом. Довнар любит родину, но не видит для нее другого выхода, кроме славянофильской идеи. Несмотря на иронические улыбки окружающих, он упорно стремится к тому, чтобы примирить поляков и русских при помощи оживления концепции славянского братства. Он часто упоминает лютню Пушкина, Мицкевича, Коллара, Караджича. «Это были для него «святыни славы и силы, алтари которой будут воздвигнуты над Волгой, Вислой, Днепром, Дунаем...»<sup>31</sup>. Довнар в конце концов приходит к убеждению, что для того, чтобы углубиться в русское общество, нужно войти в него при помощи семейных связей. Знакомится с Машей Авериной, влюбляется в нее, Маша погибает по вине жестоких крепостников — умирает у него на руках. Это первый удар по славянофильской идее Довнара. «Труд Сизифа» — сорвалось с его уст<sup>32</sup>. И герою решает вернуться в Польшу.

Действие эпилога романа происходит во время январского восстания, когда бывшие друзья Туранцев и Довнар оказываются по разные стороны баррикады. Русский полковник — это Туранцев, который и в этих условиях, выполняя свой офицерский долг, пытается остаться человеком, — не разрешает солдатам убивать женщин и детей: «Мы войско, а не разбойники!»<sup>33</sup>. Увидев на земле раненого повстанца, которого добивают солдаты, он восклицает: «Прочь, скоты, я пушу пулю в лоб каждому, кто посмеет дотронуться до лежащего»<sup>34</sup>. И в этом раненом повстанце он вдруг узнает Довнара. «Брат! Друг! — вскричал Туранцев, — а наши думы славянские? — „Утону-

ли в нашей крови“, — прошептал Довнар и скончался»<sup>35</sup>. Это заключительные слова произведения.

Таким образом, естественно, что после почти семидесяти лет неволи, после жестокого подавления польского восстания под руководством Тадеуша Костюшко, ноябрьского и январского восстаний отношение поляков к России и русским не могло быть позитивным. Как и в произведениях польских романтиков, Мицкевича прежде всего («III часть» *Дзядов*), Россия была для польских писателей 1860–1870-х гг. государством тирании и деспотизма. Естественно, что персонажи русских — офицеров особенно, — это резко отрицательные в общественном и моральном отношении герои. Но польские писатели, анализирующие художественными средствами драматические русско-польские отношения, как правило, не выступали с националистических позиций. Большинство из них сумело увидеть человеческие черты и в части русских офицеров, и в представителях разных социальных слоев русского народа. Можно только удивляться, что и в произведениях о таком трагическом и напряженном периоде русско-польских отношений были выведены положительные герои из числа русских, что стереотип москаля-врага оказался, в конце концов, не столь устойчив.

Русские даны в большом разнообразии характеров, подчас с попыткой проникнуть в их душу. Авторы показали также сложное переплетение в некоторых случаях польских и русских корней, порой мучительные поиски своего места в трагических событиях восстания.

В целом же рассмотрение конкретного материала произведений о январском восстании позволяет прийти к выводу, что польские художники слова и в них остались верны гуманистическим традициям своей национальной культуры.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- <sup>1</sup> *Понксивский М.* Русские и Россия в польской культуре конца XIX — начала XX // *Поляки и русские в глазах друг друга.* М., 2000. С. 93.
- <sup>2</sup> *Detko J.* Powstanie styczniowe w twórczości pisarzy minorum gentium // *Dziedzictwo literackie powstania styczniowego.* Warszawa, 1964.
- <sup>3</sup> См., например: *Kraszewski J. I.* My i oni: odrazek współczesny narysowany z natury przez B. Bolesławitę. Poznań, 1865. S. 134.
- <sup>4</sup> *Ibid.* S. 40.
- <sup>5</sup> *Ibid.* S. 32.
- <sup>6</sup> *Kraszewski J. I.* Szpieg. Obrazek współczesny narysowany z natury [przez B. Bolesławitę]. Poznań, 1864. S. 193.



- 7 *Kraszewski J. I. Szpieg. S. 202.*
- 8 *Ibid. S. 197.*
- 9 *Ibid. S. 256–257.*
- 10 См., например, в романе «Мы и они» Крашевского: «В Петербурге ненавидят поляков. „Московские ведомости“ особенно... это столица разврата» (*Kraszewski J. I. My i oni. S. 150.*)
- 11 *Kraszewski J. I. Szpieg. S. 299.*
- 12 *Narzymiski J. Ojczym. Wrocław, 1958. S. 48.*
- 13 *Ibid. S. 319.*
- 14 *Kraszewski J. I. My i oni. S. 32.*
- 15 *Dzierzkowski J. Krwawy chrzest. Powieść ze zdarzeń ostatnich w 3 częściach. Poznań, 1900. Część II: Partyzańci. S. 60.*
- 16 *Balucki M. Przebudzeni. Powieść z naszych czasów. Napisał Elpidon (псевдоним). Bruxella, 1864. S. 25.*
- 17 *Ibid. S. 119.*
- 18 *Kraszewski J. I. My i oni. S. 37.*
- 19 *Kraszewski J. I. Moskal. Obrazek z r. 1864 narysowany z natury. Łomża, 1938. S. 12.*
- 20 *Ibid. S. 24.*
- 21 *Koszczyz W. Praca Syzyfa... Powieść przez [Wołodzkę Waclawa]. Lwów, 1877. S. 7.*
- 22 *Ibid. S. 59.*
- 23 *Kraszewski J. I. My i oni. S. 36–37.*
- 24 *Dzierzkowski J. Krwawy chrzest. Poznań, 1900. Część III. Emigrant i wygnaniec. S. 35.*
- 25 *Kraszewski J. I. Moskal. S. 24.*
- 26 *Ibid. S. 107.*
- 27 *Ibid. S. 203.*
- 28 *Ibid. S. 210.*
- 29 *Przegląd Łwowski. 1871. T. 2. S. 200. Цит. по: Osmolska-Piskorska B. Powstanie styczniowe w twórczości J. I. Kraszewskiego. Toruń, 1963. S. 202.*
- 30 *Понксиньский М. Указ. соч. С. 103.*
- 31 *Koszczyz W. Praca Syzyfa. S. 86.*
- 32 *Ibid. S. 185.*
- 33 *Ibid. S. 193.*
- 34 *Ibid. S. 194.*

М. Рудковская  
(Варшава)

## Русская тема в польской прозе второй половины XIX века. Взгляды Ю. И. Крашевского

---

«К сожалению, эти сцены — не вымысел автора повести, эти истории правдивы в той же степени, в какой многократно происходили в действительности в тот несчастливый год — год нашего мученичества. Нам лучше было бы не упоминать об этих реалиях жизни. Но мы придерживались фактов и следовали правде, ничего не прибавляя к тем образам, мерзости которых нам легче затушевать, нежели приукрасить, чтобы нарисовать истинную картину, и поэтому мы использовали все, что могло послужить достоверности изображения нашей вековой горькой участи»<sup>1</sup>, — так писал Юзеф Игнацы Крашевский в повести «Москаль» (1865) о внутренней борьбе автора в работе над болезненной темой кровавого российского вторжения в Польшу; о том, как трагедия подавленного восстания обнажает слабость современной прозы. В сущности, он раскрыл перед читателем два вида бессилия — национальной сущности и писательского мастерства.

Литература вопроса о присутствии образа России (или же о его мнимом отсутствии) в польской прозе после восстания 1863 г. довольно обширна<sup>2</sup>. Русские мотивы в их традиционном понимании находились в центре внимания исследователей постольку, поскольку поддавались своеобразной «тематизации», непосредственному называнию. В произведениях искали подтверждения стереотипа русского, непосредственно высказанных суждений о конкретных вопросах российской политики в отношении Польши или польской в отношении России<sup>3</sup>. Предлагаемый нами подход также включает в сферу интерпретации «тематизированные» русские мотивы в указанном выше смысле. Но мы считаем, что их проблемное значение второстепенно, что они требуют новой тщательной интерпретации посредством их соотнесения с богатейшим комплексом скрытых мотивов, выраженных во многих случаях опосредованно, часто как бы случайно

(например, в связи с проблематикой французского романа 80-х гг. XIX в.)<sup>4</sup>. Эмоционально насыщенное, иногда исполненное противоречий, восхищение Крашевского русской культурой сказалось на глубинных пластах его творчества<sup>5</sup>. Начитанность писателя, знакомство с творчеством Лермонтова, Гоголя и Тургенева приносили новые смыслы в его размышления о судьбах современной цивилизации.

Такой ракурс позволяет отделить творчество Крашевского от сложившегося представления о нем как о поляке-патриоте, страстном русофобе, поклоннике истинно польских традиций и ценностей. Он делает возможным взгляд на Крашевского как на писателя, видящего свое призвание в поддержании, укреплении, воссоздании, наконец, забытого единства центральноевропейских культур. В такой перспективе легко оказывается, что в своих произведениях и размышлениях о России писатель никогда не рассматривал российскую тему в отрыве от анализа более широкого, внероссийского, круга проблем — их истоков, контекстов и последствий (например, в вопросе о так называемом нигилизме). Речь идет не только о естественном «синдроме» польско-русских сопоставлений. Намного более неожиданным, а, в конечном счете, и самым важным оказывается тот факт, что, говоря об истории русской культуры, Крашевский всегда принимал во внимание комплекс иных соотношений: немецко-русских, франко-русских, и в большей степени даже немецко-польско-русских или итальянско-польско-русских. В его творчестве, таким образом, пересекаются различные культурные пространства. А русская тема становится призмой, через которую эти множественные взаимовлияния культур преломляются в его литературных произведениях. Данная статья представляет лишь небольшой фрагмент исследования этого круга проблем.

Слова из романа Михала Балуцкого «Жизнь среди руин» (1870): «Польши нет. Есть только новый Вавилон, над которым ступились тучи Божьего гнева»<sup>6</sup>, — раскрывают сущность сложного характера польской литературы после 1863 г. Первые произведения о январском восстании — Юзефа Игнацы Крашевского, Михала Балуцкого, Владислава Сабовского, Юзефа Нажимского — следует читать как один польский роман — многовариантный, разрозненный, незаконченный, раздираемый противоречиями амбиций, целей, выбора поэтики<sup>7</sup>. Прочитанный не столько «между строк», сколько с преодолением границ между разными частями Польши и разными поэтиками, он стал в определенном смысле тем парадоксальным романом,

о котором Болеслав Прус в «Душах в неволе» (1877) заметил, что таковой не может быть написан<sup>8</sup>. И, обосновав невозможность его создания, сам же, в конце концов, его написал (хотя и не очень удачно).

Метафора Вавилонской башни получила развитие и распространение в публицистике и литературной критике второй половины XIX в. Она стала своеобразным диагнозом новой общественной ситуации, при которой произошел разрыв связей, отразившийся в дифференциации мнений, нарушениях табу, а также в цензурных ограничениях. Трагедия российского присутствия в Польше<sup>9</sup> и, как следствие, навязанная стратегия сдержанности и умолчания, парадоксальным образом оказалась насыщенной богатством смыслов и эмоций. Даже аллюзии или незначительные упоминания о России одновременно очень многое говорили о Польше. Таким образом проявлялась и внутренняя неоднородность польского общественного мнения по отношению к захватчикам, и отличия в технике повествования.

Драматизм столкновения Польши с Россией во время январского восстания 1863 г. Крашевский пытался выразить как можно более наглядно, путем умножения экспрессивных образов. В результате его роман то и дело рассыпался на отдельные эпизоды, описания, бурные диалоги, авторские комментарии. Он и сам понимал, что повествование в таком ключе становится аморфным и неоднородным («гибридным»). Можно предположить, что методичное нарушение «правил литературной архитектуры»<sup>10</sup>, повествование как беспорядочный набор сцен призваны были точнее передать драму сокрушительного разгрома восстания. Болеславита в романе «Мы и они» (1865) писал: «Из тысячи сцен, будто бы не связанных между собой, складывается эта страшная драма, эта трагедия Польши, в пятом акте которой [...] рядами поднимаются виселицы и текут реки крови, которых не знала история нового времени. И мы вынуждены, забыв об условностях искусства, надрываясь, возводить здания из трупов, подобно монахам-капуцинам, воздвигшим из костей умерших прекрасную подземную часовню под своим римским костелом»<sup>11</sup>.

Сложность для польского романа после 1863 г. представляло даже простое повествование о поражении в доступных правилах, поэтике и литературных традициях<sup>12</sup>. В романе Крашевского «На кладбище — на вулкане» (1864) героиня подсказала восходящую еще к Декамерону идею объединения нескольких новелл в единое связанное повествование. Так обозначился источник привлекательности малых литературных форм: необходимость быстрого избавления от мучений и привыкание к ним.

«...У нас есть право на бегство, как у тех трусов-флорентийцев, которые боялись чумы, ведь и наш век исполнен мора и смерти, и



нельзя закрывать на них глаза — надо набраться сил для страданий, которые преследует все человечество»<sup>13</sup>.

Однако само страдание в романах Крашевского о подавленном восстании представлено двояко. С одной стороны, оно трактуется как испытание духа и мистическое обретение высшей истины, а с другой — как уничтожение, полный упадок и утрата телесных и душевных сил, находящих выход в неясном, бессмысленном бормотании<sup>14</sup>. Русская тема, таким образом, обращается вызовом польской поэтике романа, о которой Генрик Каменский в 1854 г. писал, что ее — так же как Польши — истинной и непреложной — не существует<sup>15</sup>. Нет Польши — нет польского романа — что же является предметом польского писателя?

Герой Крашевского констатирует беспомощность традиционного искусства слова перед «зародышем в руинах»<sup>16</sup>, перед «гнилью, разложением тайного, бесформенного навоза жизни»<sup>17</sup> и всякими силами биологического разрушения. Новое искусство должно принять эту ужасающую метафору эмбриона в развалинах, ребенка, брошенного в том, что не имеет уже никаких форм, ребенка, который еще не родился, даже не приобрел еще человеческих черт. Процессы гниения и умирания становятся особенно близки переживаниям поляков. Поэтому жизнь под гнетом обреченности уверенно входит в круг тем и вопросов, достойных искусства. И не только во имя правды или откровенности несдерживаемых чувств. Образы разложения, умирания, месива — как в повестях «На кладбище — на вулкане» или в «Дрезденских вечерах» (1866) — могут дать утешение мученикам, превратиться в надежду: в возрождение через смерть.

Образы вечного круговорота жизни и смерти являются лейтмотивами творчества авторов, пишущих о трагедии 1863 г. В повести о восстании Михала Балуцкого «Пробужденные» (1864) делириум слов проявляется у героев подсознательно<sup>18</sup>. Ощущение поражения и физическое унижение преследуют героев в их видениях и ночных кошмарах. Сон Владислава объясняет не известный ранее источник страха героя — его внутреннюю лихорадку, причина которой не названа прямо. Нарастающее беспокойство получает разрядку лишь наяву. Муки Владислава, брошенного в повозку — «связанного, избитого, почти без признаков жизни, выставленного на посмешище и издевательства пьяных»<sup>19</sup>, — это его сбывшийся пророческий сон о римском цирке, о гладиаторе, растерзанном тигром, а также и о сожжении на костре Яна Гуса<sup>20</sup>. Воображение Балуцкого подсказало ему неожиданные мотивы: не златогривый Овидиев лев, а тигр; не католический мученик, а еретик Гус. Упоминание о тигре заслуживает особого внимания. Этот мотив неоднократно появляется в снах

героев. Он символизирует неясную угрозу, которой сопутствует ощущение необъяснимого страха, отчуждения и удивления. В некоторых других фрагментах тигр однозначно ассоциируется с Россией.

Послеповстанческие произведения обоих писателей прочно укоренены в их непосредственном современном опыте, но они также тесно связаны с литературной традицией: У Крашевского это отголоски «Дзядов» и «Книг Польского Народа...»<sup>21</sup>, у Балуцкого чаще — реминисценции из «Кордиана» и мистических драм Словацкого. Принимая сторону Короля-Духа, Балуцкий вводил в свои произведения героев, сны которых — удивительные, беспокойные, — разбивали заданную, почти дискурсивную структуру повествовательного целого. Писатель отказался также от позиции пророка — Интерпретатора Истории. Слова повествователя из «Пробужденных» необходимо также отнести к традиции Мицкевича — традиции обличения России, которая была поддержана Крашевским: «Ужасно смешно читать некоторые дневники тех лет, где они корят Москву как непослушное дитя: Видишь, Ванечка, что ты наделал? — а ведь мы просили, говорили тебе: дай нам реформы, а ты — нет — а теперь вот какую кашу заварил. И снова жалуется и поражается, что Ванечка не воспитан, что московское быдло не имеет представления о чести, порядочности, человечности. Они удивлены, что тигр лобит кровь, что завоеватель ненавидит нас, и уговаривают его исправиться. Константин подписывал в Варшаве смертные приговоры, награждал вдохновителей резни и пожаров, а большинство кричало: „Да здравствует Константин, король польский!“»<sup>22</sup>.

Язвительная ирония Балуцкого обращена была ко всем тем, которые не желали помнить или стремились забыть, что из Ванечки вырастает Иван, а тот, по московской своей природе, бывает Грозным. Балуцкий, в отличие от Крашевского, не удивлялся России, не уговаривал ее, не грозил ей. Не пытался он и склонить ее к диалогу. Для него речь шла скорее об окончательном признании «великой пропасти»<sup>23</sup> между Польшей и Россией. Такого радикального определения Крашевский никогда бы не одобрил (см. «Москаль»). Он призывал русских к внутреннему возрождению и покаянию. Отказаться от подобных попыток увещания ему не позволило бы христианское отношение к морали и вопросам страданий, боли и смерти.

Рискнем допустить, что Крашевский следовал за Данте, который, описывая самые трудные, наиболее болезненные, субъективные переживания, никогда не избегал этических аргументов. От «Божественной комедии» идет моральная, а затем и рациональная и эпическая дистанция автора по отношению к лично познанному им злу. Эмоциональному прочтению «Божественной комедии» Данте в творче-

стве Крашевского сопутствовало переживание русского насилия над польской душой. Опыт изгнанников и скитальцев, который выпал на долю и Данте, и Крашевского, давал польскому писателю право на прочтение поэмы «здесь и сейчас»<sup>24</sup>. Исследование Крашевского о «Божественной комедии» (1869) — это великая похвала страданию как творческой силе, своеобразная апология его величия и смысла.

«Все великое в жизни человека всегда рождается в муках, — счастье делает его пугливым и бессильным; а страдание возвышает и укрепляет людей и народы. Мелкие существа погибают, раздавленные его бременем, но то, в чем есть зародыш жизни — выживает»<sup>25</sup>.

Размышляя о судьбах и страданиях поляков, Крашевский в своем творчестве после восстания 1863 г. пользовался, в сущности, принципами объемного изображения. В польско-русские отношения он включал Италию — средиземноморскую традицию. Мечты об Италии были не только формой эскапизма. Совершенная в жизни — и в прозе.<sup>26</sup> поездка по Италии как бы заменяла паломничество в Польшу. Путешествие — для того, чтобы приблизиться, а не для того чтобы отдалиться.

Во вступлении к произведению «Под небом Италии» (1845) Крашевский писал: «Теперь я знаю — и согласен в этом с Эмерсоном, — что, попав туда, я нашел бы только то, что вывез с собой; что, может быть, я испытал бы одним разочарованием больше и заработал бы себе тоску, но сегодня еще живо во мне это желание. Раньше мне сопутствовала надежда, а теперь, с годами, силы ее истощились. Но, вспоминая Рим, Венецию, Флоренцию, Неаполь, Геркуланум и Помпеи, я еще вздыхаю»<sup>27</sup>.

А в предисловии к роману «На кладбище — на вулкане» он прямо объяснял, почему события произведения, помеченного 1863 г., происходят не в Варшаве, а в Пизе. Крашевский убеждал, что — вопреки видимости — он «касается множества проблем, которые удручают разум человека в минуты тяжелых испытаний» и в этом произведении «гораздо более ощущается наша родина, нежели чужбина»<sup>28</sup>.

Итальянский контекст имеет значение не только в произведениях Крашевского о первых христианах («Рим времен Нерона»; «Капри и Рим»), которые, как пишет Зыгмунт Швейковский, особенно после «Иридиона» Красиньского и «Марафона» Уейского можно непосредственно отнести к русско-польским отношениям<sup>29</sup>. Так и современная Италия для Крашевского оказывалась пространством, иницирующим вопросы и образы. Античная аллегория не была единственным способом рассказать о польских делах с помощью метафоры и аллюзии<sup>30</sup>. Впрочем, не только Крашевский пытался найти в ней элементы польской действительности и взглянуть на нее совершен-

но другими глазами, Йозеф Кремер в своем «Путешествии в Италию» (1878) тоже не скрывал истинного намерения этой поездки: чтобы с «сердцем, обращенным назад», быть в состоянии вылечить «ум, изболевшийся каждодневной жизнью»<sup>31</sup>. Эту традицию упрочил Юлиан Клячко в «Флорентийских вечерах» (1880), написав об Италии как о пространстве культурной памяти и спасения: «В эпоху такую, как наша, — эпоху измельчания характеров и смешения умов, самое верное и безопасное — крепко держаться того, что прошлое любило и почитало. И тогда, по крайней мере, останутся в целостности и будут спасены честь и достоинство»<sup>32</sup>.

Эксперимент по возвращению к польским реалиям на фоне итальянского пейзажа стал участью героини Крашевского графини Адели Живской, которую страшная гроза на пизанском кладбище вернула к жизни, полностью изменив. Она поражена этой внезапной переменой и спрашивает себя: «отчего мы? почему кладбище, зачем гроза и луна после нее?»<sup>33</sup>. Гроза и луна после грозы — звенья цепи, которые, где-то разомкнувшись, снова соединились. Можно понять, почему именно такой комплекс ощущений возникает в итальянском пейзаже. Об этом, собственно, и роман: о неясных очертаниях в измученном сознании, о навязчивости польского воображения — о грозе, кладбище, вулкане, руинах, агонии и гибели. Et in Arcadia ego; и в Аркадии встретишь смерть. А в Италии — Польшу, Россию. И в Италии — смерть.

Крашевский убедительно показал, что броня исторической памяти и культурной тождественности никого не спасет от ослепления, но и снять ее невозможно, потому что она является последним связующим звеном со старым миром, с прошлым, которое отнять труднее всего<sup>34</sup>. Герои «Москаля» видят в разграбленной русскими усадьбе разорванные в клочья портреты с дырками от пуль, разбитое распятие, порванные книги, порубленный рояль, куклу, одетую в свадебное платье, служившую солдатам для бесстыдных забав, и где-то там же, на полу, обезумевшую от потрясения девушку, изнасилованную и избитую<sup>35</sup>. Их «жизнь, мечты, — все унесла буря, началось умирание»<sup>36</sup>. Как можно было возродиться из этого физического унижения, оправиться от пережитого погрома?

Немного пользы было и в воспоминаниях о благородных традициях, мало кому удалось найти в них опору. Крашевский в романах «Москаль» и «Мы и они» неоднократно прибегал к сильному художественному приему, который можно сравнить с ударом обуха. Как только герои — как поляки, так и русские — принимались искать утешения в традиции, тут же до них доносились крики черни, одержимой целью уничтожения. И что с того, что польская усадьба на-



поминала существовавшие некогда «римские виллы во времена набега галлов или нашествия гуннов?»<sup>37</sup>. Удержаться в сознании этому сравнению не позволял глумливый гогот пьяной солдатни. Так же и русским было трудно предаваться воспоминаниям о том, «когда мечтали еще о свободе, пока величие монархии не опьянило их и не создало илотов... — посмешище веков»<sup>38</sup>. Когда старый русский генерал захотел послушать «что-нибудь русское», «строгательное и печальное, не сегодняшнее», песню заглушило «громкое пение пьяных офицеров, дикое и разгульное»<sup>39</sup>. Тот же гротесковый аккомпанемент сопровождает декламацию стихотворений Лермонтова, поэта — как считал Крашевский — «даже слишком европейского для того времени», когда «единственный поэт эпохи — знаменитый господин Катков, а единственная известная строфа — из нынешней песни Чингисхана»<sup>40</sup>.

Отношение к Западу в «современных зарисовках» Болеславиты не было однозначным и неизменным. В этих произведениях существует, по определению Яна Прокопа, один лишь «дискурс в защиту западных ценностей»<sup>41</sup>. Ни один из героев Крашевского не защищал Запад, поскольку, если уж на то пошло, Европа должна была бы прийти на помощь Польше. Традиции средиземноморской культуры служили слабым утешением, но сама культура выступала символической преградой на пути варварского вторжения.

Польша и Россия противопоставлялись в их отношении к европейской традиции, а возникающие при этом смысловые связи акцентировали зачастую неожиданные коммуникативные ситуации — вопреки приписываемой романам Болеславиты «стереотипности»<sup>42</sup>. Красноречивым с этой точки зрения представляется польско-русский спор о Дон Кихоте, или, точнее, о том, кто лучше его понимает.

«— Когда взойдет для нас солнце свободы, мы должны суметь ее уберечь; а вам всегда будет ее мало [...] мы — солдаты — будем повиноваться, а вы — рыцари — как Дон Кихоты, станете сражаться с ветряными мельницами, лишь бы сражаться...»<sup>43</sup>, — так говорит в романе «Мы и они» генерал Живцов, — тот, который в другом месте и по другому поводу тосковал по былой, мирной России, по ее европейским поэтам. Ему отвечает Иеремий:

«— В чем-то вы правы — и я это признаю [...] Мы выглядим Дон Кихотами, но пожалуйста, помните: вы совсем не понимаете рыцаря из Манчи. Этот роман, этот шедевр люди читали триста лет и так не поняли, что Сааведра показал в герое человека, а, быть может, и народ, который по ощущению идеала выше окружающего мира...

— Никогда нам не понять друг друга, — раздраженно прервал его генерал»<sup>44</sup>.

Поляк считает, что его интерпретация Дон Кихота вернее, чем русского. Ему понятны, однако, и аргументы собеседника о бесплодности борьбы с ветряными мельницами. Это проявляется в его признании правоты генерала, хотя и ослабленном неопределенным местоимением «в чем-то». За этим исключением Польша понимала Дон Кихота лучше, чем все человечество, в том числе и Запад. Она имела на Ламанчского рыцаря больше прав. В истории Сервантеса Иеремий не замечает гротеска, возникающего из столкновения идеала с действительностью, а видит один лишь идейный пафос. Парадоксальным оказалось то, что не в Польше, а в России Дон Кихота понимали так же, как на Западе. Необходимо подчеркнуть, что роман о странствующем рыцаре читали и «солдатские дети», а не только избранные «потомки рыцарей»<sup>45</sup>.

Противопоставление солдат и рыцарей\* в романе Крашевского было не сиюминутным риторическим приемом, но в определенном контексте обогащалось семантически. «Солдат повинуется командиру, рыцарь — вдохновению»<sup>46</sup>, — объясняет Иеремий, пытаясь унижить собеседника, попрекая его низким — нецивилизованным — происхождением. Но русские в романе «Мы и они» осознавали, что «благородное происхождение» мешает прогрессу, а культ предков — это вериги для поляков. Александр Герцен, полемизируя с изданием «Przegląd Rzeczy Polskich», писал о русском комплексе неполноценности, обернувшимся «дерзкой самоуверенностью», о недостатке национальных традиций — «истории на манер Тита Ливия», об «отсутствии народных преданий»<sup>47</sup>. К такой традиции, к такой семье человек не чувствует себя привязанным. В романе «Мы и они» Крашевский показывал — вопреки стереотипам — поляков и русских в отношении к исчезающим рыцарскому этосу. И неожиданно они оказываются объединены общим чувством беспомощности.

Иеремий в романе «Мы и они» настаивает, что нет ни одного русского, который понял бы Польшу, и, «быть может, ни одного поляка», который понимал бы Россию<sup>48</sup>. Глубоко укорененный барьер в таком познании должен был оберегать национальную сущность. Декларативно в романе Болеславиты заявлено: мы никогда не поймем друг друга и ничему не научимся друг у друга. Но в этом произведении поляк осознавал, что в своей борьбе с Россией он одинок, а русский понимал, что его ждет гражданская революция.

То, что Запад не защитит поляков, предсказывал еще Герцен<sup>49</sup>. Крашевский хорошо знал это. Поэтому в таких сценах, как в «Мос-

\* Т. е. русских («солдат») и поляков («рыцарей»). Это продолжает метафору, заданную цитатой из повести «Мы и они» (см. выше) (*примеч. перев.*).

кале», он, помимо всего прочего, настойчиво испытывал на выносливость тело и дух поляков. Проверял силу европейской традиции.

\* \* \*

Польская культура после восстания 1863 г., хотя и испытывала жесткие ограничения, функционировала в открытой системе, в которой публицистика, частная переписка, исторические романы<sup>50</sup> и повести о современности Крашевского наглядно являли собой — во всех личных и общественных формах слова — существование польской проблематики в российском и европейском контексте. Впрочем, — и это касается и личного опыта — польский вопрос страдал болезненной неоднозначностью, «разорванностью» между тремя разделами, родиной и эмиграцией.

Позиция Юзефа Игнацы Крашевского была обусловлена представлением о принципиальной гетерогенности этнических культур. Нет плавного перехода между польской и русской культурами; он отсутствует даже между различными русскими культурами или субкультурами. В то время как основополагающей идеей славянофильства была, напротив, уверенность в отсутствии резких преград между славянскими культурами. Несогласие Юзефа Игнацы Крашевского с этими взглядами славянофилов после 1863 г. не имело, следовательно, исключительно актуального политического характера. Его позиция была обусловлена опытом повседневного общения с многочисленными культурами. Российская тематика, таким образом, становилась в творчестве писателя катализатором поисков решения цивилизационных и художественных проблем.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- <sup>1</sup> [Kraszewski J. I.] Moskal. Obrazek współczesny narysowany z natury przez B. Bolesławitę. Lipsk, 1865. S. 290.
- <sup>2</sup> См. в частности: *Tuszyńska A.* W oczach Polaków. Polacy i Rosjanie. Życie codzienne w Warszawie w latach 1865–1905 // *Przemiany formuły polskości w drugiej połowie XIX wieku* / Pod. red. J. Maciejewskiego. Warszawa, 1999; *Bachórz J.* Polak wśród swoich i obcych. Rozmyślenia o «Lalce» Bolesława Prusa // *Op. cit.*; *Kulczycka-Saloni J.* Nieobecni? // *Z domu niewoli. Sytuacja polityczna a kultura literacka w drugiej połowie XIX wieku* / Pod. red. J. Maciejewskiego. Wrocław, 1988.
- <sup>3</sup> Ср., например: *Michnik A.* 1863. Polska w oczach Rosjan // *Szkice*. Kraków, 1981; *Prokop J.* «Мы и они» J. I. Kraszewskiego // *Specima Philologiae Slavi-*

- cae. Supplement. 1987. № 23; *Jankowski M.* Polska, Rosja i zagadnienia współzycia w myśli Włodzimierza Spasowicza // *Acta Universitatis Lodzensis: Folia Juridica* 38. Łódź, 1988; *Kępiński A.* Lach i Moskal. Z dziejów stereotypu. Warszawa, 1990; *Giza A.* Polaczkowie i Moskale. Wzajemny ogląd w krzywym zwierciadle 1800–1917. Szczecin, 1993; *Karpiński W.* Polska a Rosja: z dziejów słowiańskiego sporu. Warszawa, 1994; *Opacki Z.* Barbaria rosyjska. Rosja w historiografii i myśli politycznej Henryka Kamieńskiego. Gdańsk, 1993; *Opacki Z.* W kręgu Polski, Rosji i Słowiańszczyzny. Myśl i działalność polityczna Mariana Zdziechowskiego do 1914 roku. Gdańsk, 1996; *Stępnik K.* «Zbójca, trup i zwierzę...» Stereotypy zaborców w «Rachunkach» i «Programie polskim» Kraszewskiego // *Kraszewski – pisarz współczesny* / Pod. red. E. Ilnatowicz. Warszawa, 1996; *Stępnik K.* Kraszewski jako «sowietolog» // *Akcent*. 1997. № 3; *Brzezina M.* Stylizacja rosyjska. Stylizacja językowa i inne ewokaty rosyjskości w utworach literackich ukazujących okres zaborów. Warszawa, 1997; *Fiećko J.* Rosja, Polska i misja zesłańców. Syberyjska twórczość Agatona Gillera. Poznań, 1997; *Maciejewski J.* Stereotyp Rosji i Rosjanina w polskiej literaturze i świadomości społecznej // *Więź*. 1998. № 2; *Głębocki H.* Fatalna sprawa. Kwestia rosyjska w rosyjskiej myśli politycznej (1856–1866). Kraków, 2000.
- 4 См.: *Kraszewski J. I.* Kronika zagraniczna // *Tygodnik Illustrowany*. 1884. № 88. S. 156–157.
- 5 *Францез В. А.* Славянские элементы в литературной деятельности Ю. И. Крашевского. Варшава, 1913; *Bar A.* Charakterystyka i źródła powieści Kraszewskiego w latach 1830–1863. Warszawa, 1934; *Borowy W.* Kraszewski jako krytyk literatury europejskiej // *Studia i rozprawy*. Wrocław, 1952. T. 1.
- 6 *Balucki M.* Życie wśród ruin. Lwów, 1870. S. 49.
- 7 Более подробно на эту тему в моей статье: *Rudkowska M.* Formy nieobecności. Kwestia rosyjska w literaturze postyczeniowej. Idiolekty Kraszewskiego // *Pozytywizm. Języki epoki* / Pod. red. G. Borkowskiej i J. Maciejewskiego. Warszawa, 2001.
- 8 См.: *Prus B.* Szkice i obrazki. Dusze w niewoli. T. IV // *Pisma* / Pod. red. Z. Szweykowskiego. Warszawa, 1948. T. 8. S. 45.
- 9 См.: [*Kamieński H.*] Rosja i Europa. Polska. Wstęp do badań nad Rosją i Moskalami przez X. Y. Z. Paryż, 1857; *Kraśiński Z.* Uwagi nad dziełem o Rosji, Europie i Polsce [1857] // *Pisma Zygmunta Kraśińskiego*. Wydanie Jubileuszowe. T. 7. Pisma filozoficzne i polityczne. Kraków, 1912; [*Krzemiński S.*] Dwa-dzieścia pięć lat Rosji w Polsce (1863–1888). Zarys historyczny. Lwów, 1892.
- 10 См.: [*Kraszewski J. I.*] Z roku 1866. Rachunki // *Op. cit.* Lipsk, 1865. S. 4.
- 11 *Kraszewski J. I.* My i oni. Obrazek narysowany z natury przez B. Bolesławitę. Kraków, 1902. S. 35.



- 12 Подробнее об этом я пишу в очерке: *Rudkowska M.* Gruzy i ruiny w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego // *Napis*. 2001. S. VII.
- 13 *Kraszewski J. I.* Na cmentarzu — na wulkanie. Powieść współczesna. Kraków, 1970. S. 54.
- 14 *Ibid.* S. 51.
- 15 [*Kamiński H.*] Pan Józef Bojalski, dziedzic dóbr Osin z przyległościami przez Szymona Gadulskiego. Poznań, 1854. Ks. 1. S. IX.
- 16 *Kraszewski J. I.* My i oni. S. 24.
- 17 *Kraszewski J. I.* Na cmentarzu — na wulkanie. S. 54.
- 18 О повстанческих повестях М. Балуцкого см.: *Rudkowska M.* Balucki versus Kraszewski // *Świat Michała Baluckiego* / Pod red. T. Budrewicza (в печати).
- 19 [*Balucki M.*] Przebudzeni. Powieść z naszych czasów przez Elpidiona. Bruck-sella, 1864. S. 123.
- 20 *Ibid.* S. 121–122.
- 21 См.: *Burkot S.* Powieści współczesne (1863–1887) Józefa Ignacego Kraszewskiego. Kraków, 1967. S. 65.
- 22 *Balucki M.* Przebudzeni. S. 125.
- 23 *Balucki M.* Życie wśród ruin. S. 75.
- 24 *Kraszewski J. I.* Dante. Studia nad «Komedią Boską». Poznań, 1869. S. 2.
- 25 *Ibid.* S. 16.
- 26 См.: *Burkot S.* Polskie podróżopisarstwo romantyczne. Warszawa, 1988.
- 27 *Kraszewski J. I.* Pod włoskiem niebem. Fantazja. Warszawa, 1857. S. 1.
- 28 *Kraszewski J. I.* Na cmentarzu — na wulkanie. S. 5.
- 29 *Szweykowski Z.* Klasyfikacja powieści Kraszewskiego pisanych po roku 1863 // *Księga ku czci Józefa Ignacego Kraszewskiego* / Pod red. I. Chrzastowskiego. Łuck, 1939. S. 129.
- 30 См.: *Martuszevska A.* Pozytywistyczne parabole. Gdańsk, 1997.
- 31 *Kremer J.* Podróż do Włoch. Warszawa, 1878. T. 1. S. 15.
- 32 *Klaczko J.* Wieczory florenckie. Dzieło uwieńczone przez Akademię Francuską. Z upoważnienia autora tłumaczył S. Tarnowski. Warszawa, 1903. S. 307.
- 33 *Kraszewski J. I.* Na cmentarzu — na wulkanie. S. 38.
- 34 Подробнее об этом в статье: *Rudkowska M.* Dwór polski i przemoc obca (obrazki narysowane z natury przez Bolesławitę) // *Dworki — pejzaże — konie* / Pod red. K. Stępnika (в печати).
- 35 *Kraszewski J. I.* Moskal. S. 243–244.
- 36 *Ibid.* S. 245.

- 37 *Kraszewski J. I.* Moskal. S. 235.
- 38 *Ibid.* S. 138.
- 39 *Ibid.*
- 40 *Ibid.* S. 162.
- 41 См.: *Prokop J.* Jak nawrócić Rosję («My i oni» Kraszewskiego) // *Prokop J.* Szczególna przyгода żyć nad Wisłą. Studia i szkice literackie. London, 1985. S. 94.
- 42 *Bachórz J.* Dydaktyka i rozterki Bogdana Boleslawity (kilka refleksji na przykładzie «Moskala» Józefa Ignacego Kraszewskiego) // *Alegorie. Style. Tożsamość.* W darze Profesor Annie Martuszeńskiej / Pod. red. M. Bukowskiej-Schiellmann. Gdańsk, 1999. S. 140–141.
- 43 *Kraszewski J. I.* My i oni. S. 24.
- 44 *Ibid.*
- 45 *Ibid.* S. 23.
- 46 *Ibid.*
- 47 *Герцен А. И.* Россия и Польша. Письмо третье // *Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1958. Т. 14. С. 30–31.
- 48 *Kraszewski J. I.* My i oni. S. 32.
- 49 «Европа допустит» расправу с Польшей (*примеч. перев.*): См.: *Герцен А. И.* Первое мая // *Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1958. Т. 17. С. 137.
- 50 О России в исторических повестях Крашевского см.: *Rudkowska M.* Stanisław August Poniatowski – dekadencja władzy? Obraz ostatniego króla Polski w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego // *Ruch Literacki.* 2001. Z. 4.

Перевод М. Лескинен

М. Соколовский  
(Варшава)

## Стереотип русского нигилиста в творчестве Юзефа Игнацы Крашевского

---

Юзеф Игнацы Крашевский был одним из крупнейших теоретиков и критиков нигилизма. В дискуссиях вокруг этого явления, проходивших в 60-е гг. XIX в., он принимал активное участие. Как и Тургенев, польский писатель выразил свое неприятие людей, провозглашавших отказ от веры и всех авторитетов. Проблема нигилизма появляется в романах Крашевского, посвященных январскому восстанию 1863 г., особенно во втором цикле, включающем «Москаля», «Жида» и повесть «Мы и они». В «Москале» он создает образ барона Книфузена, многими чертами напоминающего фигуры русских нигилистов. В «Счетах» писатель с ними страстно полемизирует. Наиболее серьезные претензии он предъявляет Александру Герцену и Михаилу Бакунину, считая их «образцовыми» нигилистами.

Само понятие «нигилист» ввел в обиход Тургенев, опубликовавший в 1862 г. роман «Отцы и дети». Главный герой, Базаров, воплощающий в себе черты, неприемлемые для автора, отвергает любую власть, не признает никаких принципов и правил, регулирующих общественную жизнь.

В творчестве Крашевского появляется стереотип русского нигилиста. На его создание повлияла собственная, принятая писателем, интерпретация нигилизма. Она заключается в трех формулах: революция, мессианизм, «лишние» люди. Крашевский не отделял революционного движения от деятельности царского правительства по подавлению польского восстания. Оба явления были, по его мнению, следствием распространения нигилизма в России. Он породил невиданные до сих пор зверства и террор. Анархические настроения пробуждались там, где слабела вера в исторические законы. С точки зрения Крашевского, нигилизм был своеобразным преломлением мессианского мировоззрения. Автор «Москаля» к тому же отождествлял поколение «лишних» людей с поколением радикалов, появившихся в 60-е гг. Книфузена он наделил чертами, характерными как

для людей 40-х гг., так и для нигилистов позднейших десятилетий. В вопросе о Гамлете и Дон-Кихоте писатель занял непримиримую позицию. И российские Гамлеты, и российские Дон-Кихоты были для него нигилистами.

Крашевский считал, что нигилизм был порожден деспотизмом. Абсолютизм власти Николая, жестокая борьба с политическими противниками привели к возникновению движения, не признающего никакой формы власти. «Несмотря на жестокость, та эпоха, и косвенно сам деспотизм, породили Герцена, Бакунина, Огарева, Чернышевского и т. п., стали колыбелью сегодняшних нигилистов, социалистов, мечтателей, реформаторов, демагогов всех мастей», — отмечал писатель в «Счетах»<sup>1</sup>. События в России развиваются согласно определенной закономерности. Абсолютизм стремится ограничить все гражданские свободы, препятствует введению в России демократии. Вольномыслие жестоко наказывается. Целью деятельности царского правительства остается безусловное подчинение человека власти. Реализации этого стремления служит среди прочего и система образования. Университеты должны готовить будущих чиновников, которые нужны бюрократическому государству. По мнению Крашевского, этот план не приносит желаемых результатов. Вместо слепого послушания русская школа учит совсем другому поведению. Она воспитывает глубокую неприязнь к угнетенному народу. Вместе с уважением к полякам она отбирает веру. Воспитываемые таким образом поколения приходят к выводу, что «все дозволено»<sup>2</sup>. Деспотизм превращается, как показывает Крашевский, в свою противоположность — «неверие и бунт»<sup>3</sup>.

Когда в школах и университетах преподают люди, целиком подчиненные правительству, учащимся не могут быть привиты настоящие убеждения. Воспитателям не удастся пробудить уважение и доверие к тому, что они провозглашают. Реакция учеников состоит не только в отбрасывании всего того, что они узнали в школе, их позиция заключается в полном отказе от всякой веры. Их нападкам подвергаются и государственные власти, и церковная иерархия. Они лишаются веры в Бога. Отсутствие свободы приводит к нигилизму.

По мнению Крашевского, это явление и политическое, и религиозное. Нигилисты — это не только люди, лишённые веры в распоряжения царя, прежде всего они атеисты.

Политику царского правительства писатель определяет как «необу́тый патриотизм» («patriotizm bosu»). Царь, находящийся под влиянием радикальных политиков, соглашается на восстание в Польше. Может быть, даже его инспирирует. В «Жиде» Крашевский высказывает мнение о том, что восстание, которое должно привести к окончательному решению польского вопроса, готовится царским прави-



тельством. Вооруженное подавление освободительного движения поможет расправиться с радикалами в самой России. Восстание — это способ усилить русское влияние на польских территориях, к тому же удобный предлог избавиться от оппозиции в России. Итак, царь руководствуется логикой нигилизма. Тот же образ мыслей демонстрируют революционеры. И царское правительство, и революционеры в равной степени рассчитывают на силу и террор<sup>4</sup>.

Романы Крашевского содержат множество описаний поведения российских солдат. Жестокие и бесчеловечные, они совершают самые тяжкие преступления против повстанцев и гражданского населения<sup>5</sup>. Выразительным примером может служить садистская ампутация войсковым хирургом руки Юлиуша в романе «Мы и они». Автор видит в таком поведении «москалей», нарушающем все моральные нормы и заповеди, не только влияние политики царизма. Пьяный солдат, хладнокровно убивающий на улицах Варшавы молодых манифестантов, является, по Крашевскому, типичным русским нигилистом. Его сформировали — в равной мере — и политика царского правительства, и идеи, провозглашаемые Герценом, Бакуниным и Чернышевским. Этот человек убежден, что ему все можно.

Критика Крашевским России опирается на убеждение, что Польша и Россия принадлежат двум различным цивилизациям: латинской и языческой. Церковь в России попрадала веру в единого Бога. Все, кто не хотел лишиться своей веры, обратились в католицизм. Атеизму присуще отсутствие уважение к частной собственности. Поднимая проблему помещичьего землевладения, Крашевский предостерегает сторонников коллективного владения землей. По его мнению, это приводит к изъятию капитала, ограничению развития и, прежде всего, к сосредоточению средств производства в руках небольшой группы людей. Отстаиваемый многими русскими мыслителями, например, Герценом, социализм приводит, по мнению Крашевского, к ограничению собственности. Этим «живет нигилизм, который хочет сначала все ниспровергнуть, затем воссоздать звероподобное общество под руководством нескольких безумцев»<sup>6</sup>.

В «Счетах» (1868) писатель вновь возвращается к проблеме частной собственности. На этот раз он анализирует последствия ее ликвидации в семейной жизни. Крашевский приводит, вслед за швейцарским журналом «Бунд», манифест «нигилистов», оглашенный по окончании конгресса в Брно. Он не соглашается с тезисом о том, что «духовная, экономическая, социальная и политическая свобода народа» невозможна без уничтожения наследственной собственности, а также семейного и брачного законодательства, которое является ее гарантом. По этой причине Крашевский отвергает концепцию панс-

лавизма. Идея объединения славян подразумевает главенство России. Сторонники славянской общности хотят подчинить Москве народы Восточной Европы. Замыслы нигилистов, которых Крашевский сравнивает с индийскими душителями, тем легче проникали бы в самые отдаленные уголки империи.

В стереотипе русского нигилиста в творчестве Крашевского идеология царизма отождествляется с позицией революционных мыслителей. Автор «Москаля» считает, что и революционные стремления Герцена и Бакунина, и захватническая политика царя суть следствия утраты веры и уважения к ценностям в России. Нигилист — это жестокий преступник, пользующийся грубой силой, чтобы уничтожить и убивать. Крашевский как теоретик нигилизма не видит различий между позитивным и негативным разрушением. Он считает, что nihil есть только negatum, и не предполагает, что отрицание может привести к положительным результатам.

Отсутствие у Крашевского различий между позитивным, благотворным отрицанием и отрицанием, выражаясь парадоксально, негативным, деструктивным, проявляется в его взглядах на философию Гегеля. В 1845 г. «Атенеум» поместил несколько материалов, посвященных этой проблеме. Статья «Идея системы у Гегеля» была переводом из Августа Отта, чью позицию Крашевский в известной степени разделял. Текст был помещен в первом номере, а автором перевода был Крашевский. Во втором и третьем номерах были опубликованы его статьи «Очерк истории философии по Гегелю», «Философия природы по Гегелю». В 1847 г. появилась работа под названием «Система Трентовского, показанная в ее содержании и логическом анализе». Основное возражение Крашевского Гегелю и гегельянцу Трентовскому звучит следующим образом: неправда, что нет «Бога вне мира». Принятие гегелевских принципов приводит к пантеизму. Крашевский не соглашается с утверждением о том, что нет трансцендентного Бога. Писателя привлекала идея безграничной милости Божьей и безусловной разумности исторического процесса. По его мнению, отрицание личностного Бога тесно связано с гегелевской концепцией бытия. Трентовский утверждал, что правде отвечают две категории. Первой является собственно бытие, а второй — «небытие». «Вторая категория оказывается, естественно, отрицанием первой и ее полной противоположностью, — писал автор статьи „Система Трентовского“. — Онтологизму противостоит Нигилизм, Догматизму — Скептицизм. В словах „Я е с м ь“ автор открывает зародыш „Не бы т и я“. Здесь он доказывает (абсолютно ошибочно), что Бытие, будучи в действительности абстрактным Ничто, является небытием, составляющим ядро и сердцевину, то есть сущность всякого Бы-

тия»<sup>7</sup>. Гегельянство помещает в самом сердце бытия небытие. Оно является метафизическим фундаментом, на котором Трентовский возводит свою систему.

Крашевский соглашается с интерпретацией Отта, который считает, что следствием введения небытия в бытие является утверждение равенства Бога и человека. Идеи Гегеля приводят к ограничению Божественного всемогущества, подрыву веры в исторические закономерности, в конце концов — к атеизму и нигилизму. Мариан Чаманьский пришел к выводу, что Крашевский отверг гегельянство, так как не мог согласиться ни с релятивистской концепцией истории, ни с законом необходимости, управляющим историей. Философия Гегеля могла служить аргументом, оправдывающим существующую политическую ситуацию в Европе. Кроме того, в согласии с ней, все эпохи преходящи и уступают место более современным формациям. Гегельянство, понимаемое таким образом, противоречило убеждению Крашевского о Божественной любви, о том что Бог намерен переменить участь всех притесняемых народов. Не мог он принять и констатации того факта, что новая, искупленная Польша будет только этапом странствия духа в истории.

В 1888 г. Август Отт опубликовал книгу, посвященную проблеме зла в истории. Она называлась «Le problème du mal». Основа этой теории излагалась в работах, известных Крашевскому. Эта концепция направлена была против гегелевского понимания отрицания. Отт полагает, что небытие и отрицание не существуют как таковые. Зло обладает только логическим статусом, а не онтологическим. Оно рождается в момент сотворения мира. Именно тогда Бог вынужден отказаться от своего абсолютного совершенства. Встает вопрос: разве Он не мог бы создавать вещи столь же превосходные, как и Он сам? Нет, отвечает Отт, и доказывает свой тезис весьма любопытным образом. Бог всемогущ, следовательно, может создать все, что желает. Он может, например, придумать различные системы исчисления и одновременно математические законы, которыми они управляются. Зло появляется именно в этот момент. Бог не в состоянии изменить правила, действующие в данной системе, не меняя саму систему. Но такое зло не является реальным, убеждает Отт, оно только логическое. Оно проистекает из невозможности изменить законы, управляющие миром. Даже Бог не создаст квадратного круга. Несовершенство — это только определенное логическое последствие творения. Согласно концепции Отта, в отличие от гегелевского учения, Бог не содержит небытия, отрицания, Он от него свободен.

Крашевский пришел к выводу, что гегельянство — это одно из многих философских учений, которые узурпируют право на окончатель-

ное обладание истиной. Но Гегель не владел ее полнотой. Его система целостна, но содержит в себе только часть правды. В интерпретации Крашевского философия Гегеля является отрицательным учением. Она вводит небытие в бытие, и даже существование Бога оказывается источником зла и несовершенства. Анализируя гегелевскую диалектику, писатель утверждает, что отрицание не выполняет позитивной функции. Оно состоит в разрушении существующих общественных укладов, нарушает законы истории. Рассуждения Крашевского в области метафизики показывают, что отрицание он всегда понимал как силу разрушительную и нежелательную. Отождествление им деятельности царского правительства и поведения революционеров основывается на неразличении между отрицанием позитивным и негативным. Крашевский понимал отрицание как явление, лишенное позитивных черт. Для него не имело значения, пользуются отрицанием царское правительство или революционные мыслители вроде Бакунина и Герцена. Между тем, лозунг, брошенный автором «Реакции в Германии» — «Радость разрушения одновременно является радостью созидания», был направлен не только против царизма, но также против всякого абсолютизма и тоталитаризма. На него ссылались там, где появлялся злоеущий догматизм. Отрицание, провозглашенное царским правительством, приобретало форму репрессий, направленных против всяких национально-освободительных движений и свободомыслия. Трудно уравнивать настолько различные тенденции. Стереотип русского нигилиста в творчестве Крашевского сформировался на основе объединения и отождествления обоих типов отрицания.

Мессианиззм, приверженцем которого был Крашевский, был основан на вере в неизменные законы истории, гарантированные Богом. В «Вольнских вечерах» он сформулировал исходный тезис своего мессианизма. Польскому народу писатель предназначил первую роль в искуплении проникнутой материалистическими предрассудками Европы. Языческой любви к самому себе он противопоставил заповедь Христа о любви к ближнему. Высокой миссии Польши должны были отвечать соответствующие средства. Крашевский решительно отвергал вооруженную борьбу, предписывая соблюдать постулированную в евангельском послании мораль. Многие исследователи, в том числе Божена Осмольская-Пискорская, находили в этой фразеологии сигналы отказа от освободительной борьбы и занятие «мирной» позиции<sup>8</sup>. Следует обратить внимание на другой аспект этой проблемы. Мессианская концепция Крашевского предполагала существование благоприятной для поляков логики истории. Его историософские схемы содержали мысль о том, что обретение независимости произойдет после принесения жертвы. В «Москале» носителем таких идей является Ку-



ба Бьльскийй. Он произносит тирады о польском бунте против тирании как о революции духа. Герой верит в то, что поляки «слезами» и «воздыханиями в тюрьмах» приблизят независимость. Он решительно отвергает вооруженную борьбу. Возникающая аналогия с первыми христианами поддерживается здесь критикой бюрократившегося костела. Католические иерархи вместо того, чтобы учить Евангелию, стовариваются с деспотами. Разговор с Хенриком, российским офицером польского происхождения, Куба заключает знаменательным суждением: «Свободу миру несут не герои, а святые»<sup>9</sup>.

Свое мессианское понимание законов истории Крашевскийй стремится подкрепить верой в любовь. Это хорошо иллюстрируют две пары возлюбленных: Ядвига Жильская и Кароль Глиньскийй («Красная пара»); а также Мария Агафоновна и Юлиуш (роман «Мы и они»).

Несмотря на хаос и смуту исторических событий, любовь этих людей остается безусловной ценностью. Она меняет характеры людей, под ее влиянием Мария Агафоновна хочет использовать свои русские связи для нужд восстания. В сформулированной Крашевским мессианской концепции природа соприкасается с историей. Ее течение подчиняется вечным моральным законам. Она поддерживается разделением полов. Любовь между мужчиной и женщиной завладевает, таким образом, историей, логика которой, по мнению писателя, не исчерпывается военными событиями. Сущность истории заключается в чувстве, связывающем представителей противоположного пола. Если вооруженная борьба является следствием растущего в Польше и России нигилизма, то история, берущая свое начало в любви, укладывается в стройное целое. Это возможно, так как разделение полов является постоянным и не подвергается каким-либо изменениям. Оно становится основой ценности, которую невозможно оспорить. Любовь является лучшим лекарством от нигилизма. Очевидно, Крашевскийй разделяет в данном случае позицию автора «Отцов и детей».

Провозглашаемый Крашевским мессианизм предполагает, что история имеет сакрально-эротическое измерение. Ее источник — в неизменной разнице между полами. Эта истина — именно в силу своей неизменности и неоспоримости — становится эффективным средством против всех анархистов и нигилистов.

Упрекая Герцена в нигилизме, Крашевскийй имеет в виду прежде всего его понимание истории. По мнению писателя, Герцен отбросил все историософские шаблоны, и история в таком случае становится случайной и хаотичной. В ней не удастся обнаружить ни закономерности, ни регулярности. Действительно, критикуя католицизм, Герцен отрицательно высказывался о польском мессианизме. В «Былом

и думах» он писал: «Католицизм, так мало свойственный славянскому гению, действует на него разрушительно: когда у богемцев не стало больше силы обороняться от католицизма, они сломились; у поляков католицизм развил ту мистическую экзальтацию, которая постоянно их поддерживает в мире призрачном. Если они не находятся под прямым влиянием иезуитов, то вместо освобождения или выдумывают себе кумира, или попадают под влияние какого-нибудь визионера. Мессианизм, это помешательство Вронского, эта белая горячка Товянского, вскружил голову сотням поляков и самому Мицкевичу»<sup>10</sup>. Критически отзываясь о мессианизме, Герцен выражал свое неверие в законы истории. Эта тема обстоятельно изложена в книге «С того берега». Анджей Валицкий, комментируя это произведение почти сорок лет назад, определил его цель как «развенчание всех мифов»<sup>11</sup>. Первая фраза книги звучит следующим образом: «В истории все является импровизацией». В ней нет закономерностей, их невозможно уловить или предвидеть. История может продолжаться миллионы лет, а может кончиться в следующее мгновение. Герцен считает, что она не имеет ни цели, ни смысла. Все является возможным. Поэтому человек не должен больше выискивать ее принципы и правила, которые разъяснили бы исторический процесс. История редко повторяется, она использует каждую неожиданную оказию, стучится одновременно в тысячу ворот — а какие из них отворятся — кто же знает? Кроме множества необходимых и случайных событий, будущее формирует еще и человеческая воля. Нам не дано предугадать, как сложатся судьбы государств и народов.

Валицкий, комментируя теорию Герцена, провел весьма важное разграничение. То, что история не является «разумной», не означает отсутствия детерминизма как такового, так как Герцен допускает необходимые связи между причиной и следствием. События в истории происходят, значит, они необходимы. То, что они не ведут ни к какой цели, не означает, что они не были необходимыми в смысле казуальном. Герцен, следовательно, не отвергает всех законов, которые могли бы руководить историческими событиями. Используя категории, которыми оперирует Федерико Верцеллоне<sup>12</sup> в своем описании феномена российского нигилизма, можно утверждать, что критика историзма в произведениях Герцена не равнозначна сомнению в метафизических основах истории. Герцен не соглашается с мнением об упорядоченности исторического развития, но он не отвергает теории, предполагающей существование его метафизической основы. Верцеллоне спорит с Камю, который в «Человеке взбунтовавшемся» высказался в том духе, что в русской философии середины XIX в. был разрушен метафизический фундамент истины.

Критикуя позиции Герцена, Крашевский не принимает во внимание различие между нигилизмом «метафизическим» и нигилизмом «неметафизическим». Если первый оспаривает существование истины, то второй сомневается в разумности истории, не отвергая при этом безусловности истины. Крашевский заявлял, что автор книги «С того берега» является радикальным нигилистом, поскольку он отрицает историческую закономерность. Это свидетельствует о том, что Крашевский не отличал «метафизического» нигилизма от анархизма, не имеющего онтологических последствий. С его точки зрения, отрицание историософских схем равнозначно недоверию к самой истине.

Оценки Крашевского связаны с его приверженностью мессианизму. В любви он видел средство против утверждений о господствующем в истории хаосе. В согласии с этим нигилизм трактуется им как явление, возникшее в историософской сфере. Небытие обнаруживается в истории, когда появляются сомнения в законах исторического развития. Нигилизм, другими словами, есть результат распада и уничтожения мессианско-мистических тенденций. Своего рода «продуктом» этого распада является стереотип русского нигилиста. Грань между нигилизмом «метафизическим» и «неметафизическим» в этом образе оказывается стертой.

Созданию этого стереотипа способствовало и то, что Крашевский недостаточно отделял представителей поколения «лишних» людей от формации собственно нигилистической<sup>13</sup>. В действительности они были прямой противоположностью друг друга. Критикой людей «сороковых годов» занялись Чернышевский («Русский человек на gendes-vous») и Добролюбов («Что такое обломовщина?»). В этих статьях осуждались идеализм, лень, неспособность к действию «лишних людей». Критики принципиально отмежевывались от погруженных в рефлексию гамлетов и лишенных воли обломовых из романа Гончарова. С такой суровой оценкой «лишних людей» полемизировал Герцен. Он утверждал, что идеология этого поколения являлась необходимым этапом на пути к действию. Николаевская эпоха была временем «внешнего порабощения и внутреннего освобождения»<sup>14</sup>. По мнению Руфуса Мэтьюсона, представителей обоих поколений объединяет желание изменить существующий политический строй; а также глубокая вера в разум и возможности человека как творца исторического процесса. И «лишние» люди, и радикалы воспринимались как чужие в своей среде. Однако различно их отношение к действию. Если поколение «сороковых годов» скорее характеризуют скептицизм и бездействие, то радикалы 60-х гг. решительны в своем намерении готовить революцию. Эпоха Гамлетов уступает место времени Дон-Кихотов. Их суровость является скорее определенным

типом впечатлительности, чем поведения. Они получают аморальное удовлетворение от отрицания и разрушения и не испытывают ни жалости, ни сочувствия к своим противникам<sup>15</sup>.

Два ведущих «нигилиста» у Крашевского — это барон Книфузен из романа «Москаль» и Громов из книги «Жид». Книфузен — российский офицер родом из Курляндии. По отношению к другим офицерам он держит дистанцию. О себе говорит, что с детства ощущал себя старым и прогнившим и считает себя жертвой подневольной жизни в России. Он не верит в свободу, он пассивен и безволен. Этот скептик включается в революционное движение единственно в поисках впечатлений. Вначале его охватывает энтузиазм, который затем перерождается в скуку. В конце концов он принимает участие в борьбе, но на стороне усмирителей восстания — опять в поисках «свежих ощущений».

Громов, в свою очередь, оказывается фанатичным приверженцем революции. «Я из принципа революционер, так как я москаль»<sup>16</sup>, — говорит он о себе. Его радикализм опирается на утверждение, что «погибнуть самому, перевернуть мир, пролить реки крови — это ничто»<sup>17</sup>. Громова характеризует готовность перейти все моральные границы и развенчать все мифы. Он стремится любой ценой вернуть свободу погрязшей в деспотизме России. Революционный союз, который он хочет заключить с поляками, Громов оговаривает важными условиями. Успех революционного подъема представляется ему скорее сомнительным. Поэтому он предлагает отложить восстание на неопределенное время. Он также в конце концов оказывается маловером.

«Нигилисты», описанные Крашевским, одинаково близки и «лишним» людям, и радикалам. С поколением Гамлетов их роднит глубокий пессимизм и скептицизм. Подобно Дон-Кихотам, их охватывает революционный азарт и энтузиазм. Крашевский помещает Герцена в ряд нигилистов 60-х гг. Он не отделяет формации Базаровых и Бельтовых от лагеря Рахметова. Крашевский приписывает Герцену взгляды, которые тот критиковал в том числе в статьях «Very dangerous!!!» и «Лишние люди и желчевики».

Стереотип русского нигилиста сформировался в творчестве Крашевского в результате значительной трансформации. Автор «Москаля», создавая тип нового человека, не учел нескольких обстоятельств. Во-первых, он не отделил позитивного отрицания от негативного. Отрицание ассоциировалось у него только с деструкцией и распадом. Во-вторых, он не отделил нигилизма «метафизического» от «неметафизического». Герценовскую критику исторических закономерностей Крашевский воспринял как отказ от всякой истины. И, наконец, он отождествил поколение «лишних» людей с позднейшей генерацией — нигилистами.



## ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 *Kraszewski J. I.* Z roku 1867 Rachunki. Rok drugi. Poznań, 1868. S. 69–70.
- 2 *Ibid.* S. 8.
- 3 *Kraszewski J. I.* Dziecię Starego Miasta / Opracował W. Danek. Wrocław; Kraków, 1959. S. 58.
- 4 Политологическое объяснение этого феномена см.: *Prokop J.* «Мы и они» J. I. Kraszewskiego // *Specimina Philologiae Slavicae*. 1987. 23 (Supplement-band).
- 5 См. словарную статью Ю. Бахужа в: *Słownik literatury polskiej XIX wieku / Redakcja J. Bachórz i A. Kowalczykowa*. Warszawa, 1991; *Ibidem*. Zdziwienia Kraszewskim // *Zdziwienia Kraszewskim / Redakcja M. Zielińska*. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1990.
- 6 *Kraszewski J. I.* Z roku 1867 Rachunki. S. 90.
- 7 *Kraszewski J. I.* System Trentowskiego treścią i rozbiorem analityki logicznej okazany. Lipsk, 1847. S. 81. См.: *Struve H., Kraszewski J. I.* W stosunku do filozoficznych dążeń swojego czasu // *Książka jubileuszowa dla uczczenia pięćdziesięcioletniej działalności literackiej J. I. Kraszewskiego*. Warszawa, 1880; *Czamański M.* La philosophie de l'histoire de J. I. Kraszewski // *Etudes Slaves et Est-Europeennes*. 1969. XIV.
- 8 *Osmolska-Piskorska B.* Powstanie styczniowe w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego. Toruń, 1963.
- 9 *Kraszewski J. I.* Moskal. Lipsk, 1865. S. 119.
- 10 *Герцен А. И.* Былое и думы. Л., 1947. С. 367.
- 11 *Walicki A.* Aleksander Hercen przed rokiem 1850 // *Hercen A.* Pisma filozoficzne. Warszawa, 1965. T. 1. S. XXXIX.
- 12 *Vercellone F.* Introduzione al nichilismo. Roma; Bari, 1992.
- 13 См.: *Venturi F.* Il populismo russo. Torino. 1952; *Walicki A.* Rosyjska filozofia i myśl społeczna od oświecenia do marksizmu. Warszawa, 1973; *Bannour W.* Les nihilistes russes. Paris 1978; *Giusti W.* Due secoli di pensiero politico russo. Firenze, 1943; *Coquart A.* Dmitri Pisarev (1840–1868) et l'idéologie du nihilisme russe. Paris, 1946; *Frank J.* Through the Russian Prism. Princeton; New Jersey, 1990.
- 14 *Hercen A.* Rosyjscy Niemcy i niemieccy Rosjanie // *Hercen A.* Pisma filozoficzne. Warszawa, 1965. T. 2. S. 415.
- 15 *Mathewson R. W. Jr.* The positive Hero in Russian Literature. New York, 1958.
- 16 Цит по.: *Kraszewski J. I.* Żyd. Kraków, 1960. S. 340.
- 17 *Ibid.*

Перевод О. Цыбенко

*Е. Е. Левкиевская*  
(Москва)

## Стереотип русско-польской любви в русской литературе XIX–XX вв.

---

Литературный стереотип русско-польской любви, сложившийся в русских литературных и публицистических текстах XIX–XX вв. и подразумевающий реализацию любовных чувств между русским и полькой (или поляком и русской) в строго заданных культурной традицией рамках, — явление в своем роде уникальное. Действительно, в русской литературе не так уж много ситуаций, в которых кодификация изображения любовных отношений между двумя конкретными людьми была бы своеобразным зеркалом отношений между их народами (во всяком случае, в рамках славянского мира невозможно говорить о каких-либо специфических стереотипах изображения, например, русско-украинской, русско-словацкой или русско-сербской любви). Действительно, выработанный литературной традицией стереотип изображения русско-польской любви является наиболее эксплицированным отражением тех мучительных рефлексий русского сознания по поводу так называемого «польского вопроса», который в той или иной форме терзал умы русских не одно столетие.

Прежде чем обратиться к литературному образу русско-польской любви, необходимо напомнить, что в реальной жизни браки между поляками и русскими (вернее, между православными и католиками, под которыми, в русском сознании, обычно подразумевались прежде всего поляки) ограничивались строгими юридическими рамками, касавшимися в первую очередь вопроса веры, в которой должны воспитываться рожденные в таких браках дети. Историческим и юридическим аспектам русско-польских браков посвящена одна из глав книги Л. Е. Горизонтова, где дан прекрасный материал и очень интересный его анализ, поэтому я сейчас подробно не буду говорить об этом, отсылая к книге Горизонтова<sup>1</sup>.

Опасность смешанных браков русские видели в польской культурной ассимиляции и, прежде всего, в католической экспансии, которую могут осуществлять коварные польки, пользуясь простоду-

шием русских мужей. Именно такую точку зрения высказывает Андий Востоков в «Наставлении русскому своему сыну перед отправлением его на службу в юго-западные русские области»: «...Всего более берегись угодливости, ласкательства, лести и мнимого доброжелательства поляков и полякующих. Не прилагай к сердцу твоему их уверений в преданности тебе, не обольщайся льстивыми их словами, поклонами, „цалусами“... Как ласкательство, лесть и мнимая их откровенность, так и порицание ими своих сородичей, не более как искусство выведать от русских задушевные тайны, похоже на обольщения, коими блудница Далила вывела от Самсона тайну непременной его силы телесной... Ты еще молод и, вероятно, вздумаешь когда-либо жениться. Держись же крепко за сердце и берегись обольщения какою-либо полькою. В ремесле увлекать едва ли в целом мире найдутся искуснее обольстительных полячек. Для этой цели они неподражаемо искусно умеют притворяться, играть всякие роли. Не верь, русский, этим фокус-покусам! Все это ловкая игра, все это обман и ложь. Вышедши замуж за русского, польки искусно успевают выведать все тайны, подметить его склонности, порывы, прихоти, слабости... Она будет шпионкою всех твоих действий, всех поручений, возлагаемых на тебя начальством, будет передавать об этом сведения ксендзам и своим соотичам — тайным врагам России. Если пойдут у тебя дети, то жена полячка то насмешками над одеждой православных священников и над обрядами, то конфетами и лакомствами, то прельщениями и хитростями будет стараться свратить детей твоих в иезуитский папизм, поселить в них ненависть против православной церкви и сделает их, если не явными, то тайными папистами»<sup>2</sup>.

Впрочем, справедливости ради нужно заметить, что польская сторона демонстрирует очень похожий взгляд на опасность русско-польских браков, но в коварстве и культурно-религиозной ассимиляции подозреваются в этом случае уже русские женщины. Поляк В. Станишевский, приговоренный в 1849 г. к службе рядовым в Оренбургском корпусе, писал в своих воспоминаниях: «Одной из тяжких провинностей, оскорбляющих достоинство нашего положения, почти за политическое преступление почитали мы соединение узами брака с москешками. Женатый на москешке, втянутый в соответствующие и общественные и семейные отношения, привязывал себя к месту изгнания, забывал о возвращении на родную землю, практически отрекался и от своей прежней семьи, и от родного языка. До свадьбы невеста-москешка обычно играла в польскую дудку; училась щебетать по-польски, ходила в наш костел, мечтала о Варшаве и т. п. После свадьбы все шло иначе. В доме такого отступника ты уже не

услышишь польской речи; муж должен был сопровождать жену в церковь, а в свой костел ходил украдкой. А дети? Сыновья польской крови обращались в москалей, ненавидевших племя отца своего»<sup>3</sup>.

Рассматривая основные элементы интересующего нас стереотипа, уместно говорить о его амбивалентности, двойственности, о том, что он, по сути, строится на антиномии — неразрешимом противоречии, отражая амбивалентность, антиномичность отношений русского сознания к самой Польше, суть которых можно выразить известными словами из стихотворения Катулла — «И ненавижу и люблю». По сути, уместно говорить о двух стереотипах, один из которых выражает первый компонент стихотворной строки Катулла — «ненавижу» и является прямой проекцией политического противостояния Польши и России на частные отношения двух людей. В рамках этого стереотипа собственно любовь невозможна, поскольку переживания двух людей рассматриваются не как личные отношения, а исключительно как продолжение отношений между государствами. Второй стереотип связан с последней частью речения Катулла — «люблю» и рассматривает любовную ситуацию с противоположной стороны — с точки зрения частной жизни, оказавшейся между молотом и наковальней русско-польских распрей. С позиций этого стереотипа настоящая русско-польская любовь возможна, но это любовь несчастная и обреченная на поражение, т. к. она развивается в противовес межгосударственной ненависти и вопреки историческим и политическим обстоятельствам, всегда разбиваясь об эти обстоятельства.

Обратимся к рассмотрению первого концепта. Необходимо отметить, что в период конца XVIII — начала XIX в. в русской литературе возникает целая серия текстов различных жанров (стихотворений, поэм, драматургических произведений и даже опер); являющихся рефлексией на исторические события первой половины XVII в., а именно осмысляющих период Смуты и польского нашествия (вспомним, что создание оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя», которая считается началом русской оперы нового типа, приходится именно на этот период). В контексте литературных произведений, эксплицирующих тему русского патриотизма и героизма, подвига Ивана Сусанина, объединения русского народа под руководством Минина, Пожарского и патриарха Гермогена на борьбу с захватчиками несомненно выделяется пьеса Г. Р. Державина «Пожарский», который весьма своеобразно осмысляет подвиг предводителя русского ополчения как борьбу и преодоление любви к польке. Уже в набросках поэмы «Пожарский», которые относятся к 1780-м гг., Пожарский выведен влюбленным в польку — некую Клеонису (естественно, это художественный прием, не подтвержденный никакими историческими фактами и



являющийся литературным стереотипом, позволяющим обострить конфликт между долгом и чувством). В окончательном варианте текста Державин усиливает напряжение конфликта, заставляя Пожарского преодолевать любовь не к абстрактной Клеонисе, а к самой Марине Мнишек.

Согласно Державину, это чувство греховно и преступно по своей сути, поскольку это любовь к «чужаку», к представителю вражеского стана. Державин здесь реализует стереотип, который будет прочно закреплен в русской литературной традиции — восприятие польки как Далилы, соблазняющей русского Самсона. В рамках этого стереотипа русско-польская любовь реализуется как тема бесовского соблазна с польской стороны, нравственного испытания для героя, которое призвано обострить конфликт между долгом и чувством, патриотизмом и предательством, поскольку с этой точки зрения любовь русского к польке аналогична предательству, прежде всего, своей веры. Подрывная деятельность Польши в России реализуется с точки зрения литературного стереотипа XVIII–XIX вв. в обольщении коварной полькой русского с тем, чтобы, во-первых, выведать у него некие государственные тайны, а во-вторых, чтобы совратить с пути истинной православной веры и увлечь в католичество — последнее в глазах общественного и официального русского сознания на протяжении всего XIX столетия являлось наиболее страшным злом.

Начиная с Державина, на долгие годы полька становится в русской литературе символом соблазна и опасности. Несомненно, что первым толчком для формирования такого стереотипа, в качестве первообраза, задавшего тон дальнейшему взгляду русского культурного и общественного сознания на польку, является Марина Мнишек. Много говорилось и писалось о том, что Марина Мнишек в народной традиции, особенно в русских исторических песнях изображается как волшебница и чародейка, а само чувство русского по отношению к польке осмысливается как греховное и ведущее к нравственной гибели героя.

Этот же мотив Далилы, соблазняющей Самсона, реализует и Н. В. Гоголь в повести «Тарас Бульба», развивая сюжетную линию отношений между Андрием и молодой панночкой, дочерью ковенского воеводы. Любовь к польке подобна гибели души, а значит в этом контексте сродни продаже души черту, поскольку она неминуемо рассматривается исключительно в контексте национального предательства и никаких других реализаций принципиально иметь не может. Герой всегда оказывается перед дилеммой — выбрать любовь к «народному врагу» и автоматически сделаться предателем Родины, покрыв себя несмываемым позором, или силой подавить в

себе греховное и преступное чувство и предпочесть любовь к Родине. Если героиня Державина делает свой выбор в пользу патриотизма и усилием воли вырывает из груди терзавшую его страсть к Марине, то гоголевский Андрий предпочитает, как мы помним, любовь к прекрасной панне и вступает на путь предательства: «И погиб козак! Пропал для всего козацкого рыцарства! Не видать ему больше ни Запорожья, ни отцовских хуторов своих, ни церкви Божьей! Украине не видать тоже храбрейшего из своих детей, взявшихся защищать ее. Вырвет старый Тарас седой клочок волос из своей чуприны и проклянет и день и час, в который породил на позор себе такого сына».

Необходимо заметить, что подобная позиция не была только литературным стереотипом, но в определенной степени отражала и общественное мнение рассматриваемого периода. Браки русских с поляками не только не одобрялись властью<sup>4</sup>, но и декларативно порицались русским общественным мнением. В 1824 г. генерал Раевский отказал графу Г. Ф. Олизару, просившему руки его дочери Марии, исключительно потому, что Олизар был поляком. Пушкин отозвался на это событие стихотворением «К графу Олизару», где обосновывал невозможность брачного союза между русской девушкой и «народным врагом», коим для русских является поляк:

И тот не наш, кто с девою вашей  
Кольцом заветным сопряжен;  
Не выпьем мы заветной чашей  
Здоровье ваших красных жем;  
И наша дева молодая,  
Привлекши сердце поляка,  
Отвергнет, гордостью пылая,  
Любовь народного врага<sup>5</sup>.

Итак, казалось бы, после всего сказанного русско-польская любовь вообще не должна иметь места. Однако наряду со стереотипом, развивающим тему ненависти, возникает параллельный стереотип, отражающий противоположный взгляд на ситуацию — живое человеческое чувство, возникающее вопреки исторической ненависти, не может реализоваться под давлением политических обстоятельств. Налицо столкновение между литературным стереотипом коварной обольстительности и реальными отношениями живых людей, между сформированным культурным штампом и человеческим чувством.

Второй стереотип русско-польской любви содержит совсем иной набор релевантных составляющих. Его можно было бы, вслед за Ах-

маковой, условно назвать «встречей-разлукой». Это стереотип встречи, которая неизбежно влечет за собой расставание.

Кстати, отдельные мотивы трагической взаимной любви, обреченной на поражение, намечены уже и у Гоголя в образе панны, в которую влюблен Андрий — она уже не коварная, бездушная и демоническая оболыстительница, как Марина Мнишек у Державина, а женщина, способная на сильное ответное чувство, отчетливо понимающая, насколько трагично ее положение: «Не достойна ли я вечных сожалений, не несчастна ли мать, родившая меня на свет, не горькая ли доля прилась на участь мне. Всех ты привела к ногам моим: лучших дворян из всего шляхетства, богатых панов и иноземных баронов... И ни к одному из них не причаровала ты моего сердца, а причаровала мое сердце мимо витязей земли нашей, к чужому, к врагу нашему...» Она называет такую свою участь страшной...

Для выяснения основных составляющих стереотипа «встречи-разлуки» рассмотрим два литературных текста, в основе которых лежат реальные жизненные истории, — одно из писем декабриста М. С. Лунина из Сибири и стихотворение А. А. Ахматовой «В ту ночь мы сошли друг от друга с ума...». Эти тексты разделяют сто с лишним лет, но ситуации, изображенные в них, поражают своей идентичностью.

Письмо М. С. Лунина от 1837 г. содержит воспоминание о свидании с княжной Наталией Потоцкой (в замужестве Сангушко), роман с которой был прерван его арестом по делу декабристов и сибирской ссылкой: «Я помню наше последнее свидание в галерее N-ского замка. Это было осенью, вечером, в холодную и дождливую погоду. На ней черное тафтяное платье, золотая цепь на шее, а на руке браслет, обставленный изумрудами с портретом предка, освободителя Вены. Ее девственный взор, блуждая вокруг, как будто следил за причудливыми сгибами серебряной тесьмы моего гусарского доломана. Мы шли вдоль галереи молча; нам не нужно было говорить, чтоб понимать друг друга. Она казалась задумчивой. Глубокая грусть проглядывала сквозь двойной блеск юности и красоты как единый признак ее смертного бытия. Подойдя к готическому окну, мы увидели Вислу; ее желтые волны были покрыты пенными пятнами. Серые облака пробегали по небу, дождь лил ливнем, деревья в парке колыхались во все стороны. Это беспокойное движение в природе, без видимой причины, резко отличалось от глубокой тишины вокруг нас. Вдруг звук колокола потряс окна, возвещая вечерню. Она прочла Ave Maria, протянула мне руку и исчезла. С этой минуты счастье в здешнем мире исчезло также»<sup>6</sup>.

Стихотворение А. А. Ахматовой из цикла «Ташкентские страницы» (1959) «В ту ночь мы сошли друг от друга с ума...» посвящено

Юзефу Чапскому, польскому художнику и эссеисту, офицеру польской армии, который в 1939–1941 гг. находился в советских лагерях. В 1942 г. он попал в Ташкент, где в это время была в эвакуации Ахматова. Между ними завязался непродолжительный роман.

В ту ночь мы сошли друг от друга с ума,  
Светила нам только зловещая тьма,  
Свое бормотали арыки,  
И Азней пахли гвоздики.

И мы проходили сквозь город чужой,  
Сквозь дымную песнь и полуночный зной, —  
Одни под созвездием Змея,  
Взглянуть друг на друга не смея.

То мог быть Стамбул или даже Багдад,  
Но увь, не Варшава, не Ленинград,  
И горькое это несходство  
Душило, как воздух сиротства.

И чудилось: рядом шагают века,  
И в бубен незримая была рука,  
И звуки, как тайные знаки,  
Пред нами кружились во мраке.

Мы были с тобою в таинственной мгле,  
Как будто бы шли по ничейной земле,  
Но месяц алмазной фелукой  
Вдруг выплыл над встречей-разлукой...

И если вернется та ночь и к тебе  
В твоей для меня непонятной судьбе,  
Ты знай, что приснилась кому-то  
Священная эта минута.

Как хорошо видно из обоих текстов, в описании такой любви можно проследить определенные каноны. Во-первых, это всегда любовь вопреки всему — обстоятельствам, историческому противостоянию, общественным стереотипам. Собственно говоря, героям этих текстов и не важна реакция общества, поскольку они выключены из общества, абсолютно одиноки в своем состоянии и погружены в природу, которая, как и положено в романтическом произведении, отражает душевные переживания героев. («*Это было осенью, вечером, в холодную и дождливую погоду...*», «*Серые облака пробежали по небу, дождь лил лив-*



нем, деревья в парке колыхались во все стороны...»; «Светила нам только зловещая тьма...», «И звуки, как тайные знаки / Пред нами кружили во мраке...», «Мы были с тобою в таинственной мгле...»)

Во-вторых, в подобных текстах всегда описывается разлука, а не встреча, потому что в данном случае встреча и разлука почти слиты воедино (вспомним хотя бы, скоротечную любовь Ядвиги и ротного командира Лешки Быкова в поэме Давида Самойлова «Ближние страны»: «Жди, Ядвига, вернемся по войне... Лешка Быков погиб под Марцаном, он уже не вернется «по войне». Он под памятником деревянным / Спит, в немецкую землю зарытый, / Спит в Германии, рядом с врагами, / Им убитыми, ими убитый»<sup>7</sup>. Ядвига же гибнет во время Варшавского восстания).

Таким образом выявляется еще один важный компонент такой любви — скоротечность встречи-разлуки — судьба дает героям лишь единственный и краткий миг свидания, после чего разводит их навсегда (ср. черновые варианты стихотворения Ахматовой: «Мы так проходили единственный раз...», «Последний и первый — единственный раз...», «Так шли мы с тобою единственный раз...»<sup>8</sup>).

В-третьих, важным компонентом «встречи-разлуки» является знание героями своей судьбы и безнадежности своей любви. Это знание обреченных, которые априори с самого начала вступают в неравную схватку с обстоятельствами.

Подводя предварительные итоги, можно подтвердить существование в русской литературе XIX–XX вв. двух различных стереотипов русско-польской любви — любви как греховного соблазна и любви как «встречи-разлуки». Первый стереотип любовных отношений предполагает полный отказ героя от такой любви как от преступления. Для него старинная ненависть и вражда является непреодолимой преградой, сама попытка преодолеть которую приравнивается к национальному предательству.

Второй стереотип предполагает преодоление старинной ненависти и вражды, но это оказывается возможным лишь на короткое время и на некоем мистическом, а не земном уровне, после чего любящие навсегда разлучаются под давлением обстоятельств.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- <sup>1</sup> Горизонтов Л. Е. Парадоксы имперской политики: поляки в России и русские в Польше. М., 1999.
- <sup>2</sup> Востоков А. Наставление русскому своему сыну пред отправлением его на службу в юго-западные русские области // Вестник Западной России. Вильна, 1865. Кн. 3. С. 241–250.

- 3 Цит. по: *Горизонтов Л. Е.* Указ. соч. С. 91.
- 4 Подробнее об этом см.: *Горизонтов Л. Е.* Указ. соч. С. 75–99.
- 5 *Пушкин А. С.* Собр. соч.: В 10 т. М., 1959. Т. 2. С. 495.
- 6 *Лунин М. С.* Письма из Сибири. М., 1988. С. 281.
- 7 *Самойлов Д.* Избранное. Стихотворения и поэмы. М., 1980. С. 280.
- 8 *Ахматова А. А.* Собр. соч.: В 6 т. М., 1999. Т. 2. Кн. 2. С. 328.

Т. П. Агапкина  
(Москва)

## Образ женщины-польки в русской литературе 1940-х — начала 1970-х гг.

---

Образ женщины-польки в русской литературе середины 1940-х — начала 1970-х гг. формировался в атмосфере беспрецедентного по своим масштабам интереса к Польше, пик которого приходится на 1960-е гг. Интерес охватывал разные слои и группы русского (и советского) общества. Он был очень разноплановым: интерес к взаимоотношениям двух народов и их культур совмещался с разраставшимся увлечением польской модой, косметикой, посудой. За всем этим несомненно стояло стремление открыть для себя до сего малоизвестный, а для большинства населения вообще закрытый мир — «заграницу». Польша для многих русских всегда оставалась близкой, не только географически, и по-разному «присутствовала» в их жизни.

Писатель В. А. Солоухин, вспоминая в конце жизни о том, что именно он знал о Польше в свои молодые годы, писал: до определенной поры, как ни странно в этом признаваться, но «Польша... была для меня, если не пустой, то холодный звук. Нет, я знал, конечно, что существует на свете Польша. Тут сразу возникали исторические категории. Разделы Польши... Потом польские паны (песня Алексея Суркова), потом Минин и Пожарский». И далее в этом перечне следуют отрывочные сведения о польской истории и литературе, польских персонажах русской литературы, о музыке: «Шопен, конечно, Шопен! Но это уже общечеловеческое искусство, а не только польская музыка!» Солоухин вновь и вновь называет имена писателей, среди них — Сенкевич, Жеромский, и продолжает: «Польские восстания. Поляки в Сибири. Танцы — полька, мазурка, полонез, краковяк. Польская колбаса. Бигус (Так у Солоухина. — Т. А.) — польское блюдо. „Польский коридор“. Польские магнаты — Потоцкие, Вишневецкие, Радзивиллы, Сапегы. Польская шляхта. Польская гордость. ...Ах, да, еще полонез Огинского, пронзающая бессмертная музыка.

Это все. Надо иметь в виду, что действие происходит в 50-е годы, когда не было еще у нас в Москве ни польской „Выборовой“, ни польских пряжек на наших женщинах, ни польских кинофильмов на наших экранах, ни личных моих знакомых в Польше...»<sup>1</sup>

В том, что россияне тех лет открывали для себя Польшу и как они ее открывали, значительная роль принадлежала традиции давних культурных связей, в том числе многочисленным дореволюционным изданиям польской литературы в русских переводах (сохранявшимся в государственных и личных библиотеках). Но были и «знаки» нового времени. В их числе — стихи русских поэтов, участвовавших в 1943–1945 гг. в освобождении польских земель от гитлеровских захватчиков; впервые в истории отечественного просвещения осенью 1944 г. на филологическом факультете Московского государственного университета — открытие отделения полонистики и др. Первый выпуск полонистов-филологов, в том числе литературоведов, состоялся в 1949 г.; на радио, на театральные и оперные сцены стали возвращаться произведения польского искусства.

Для «взрывного» интереса к Польше в русском обществе тех лет большое значение имело необычайно интенсивное распространение прежде всего среди городского населения страны польской периодической печати. Наряду с общественно-политическими («Трибуна люду», «Политыка» и др.), это были и такие издания, как «Шпильки», «Кобета и жиче», «Пшиччулка», «Пшекруй», «Урода», «Фильм», — с явным женским «компонентом». Нередко эти журналы можно было видеть в руках читательниц-пассажирок всех видов транспорта, немало читателей выписывали эти издания домой, а в киосках за ними выстраивались очереди.

Внешний облик польских женщин, известных и безымянных, резко контрастировал с подавляющим большинством тех образцов женственности, моды и элегантности, которые представляли своим читательницам советские журналы той поры — «Работница», «Крестьянка», «Советская женщина». Не упрощая проблематики, заметим, что отечественные женские журналы пропагандировали образ женщины — труженицы, соратницы мужчины в борьбе за светлое будущее — за «идеалы» коммунизма. Реалистичны и примечательны детали внешнего женского облика, запечатленные в стихах В. Луговского: «И девушки в кофточках старых, / в чиненых чужих башмаках» («Курсантская венгерка», 1939); И. Эренбурга: «Она была в лияной гимнастерке, / И ноги были до крови натерты / ...И я пришла. Меня зовут „Победа“» (1945) и др.

В данном случае не суть важно, что стихи написаны в разные годы советской истории и по разным поводам: то, что в них отражено,



надолго оставалось «приметой» женского облика в России. Даже в 1950-е годы, в столичной Москве нередко встречались представительницы прекрасного пола в одежде, оставшейся от довоенных лет, или перешитой из армейской формы. То, что представляло взору со страниц упомянутых польских журналов, для многих русских женщин (и не только для них) олицетворяло незнакомый, но реальный и притягательный мир. Нельзя не согласиться с К. В. Душенко, отметившим, что для части русского общества тех лет Польша в значительной степени ассоциировалась прежде всего с образом женщины-польки<sup>2</sup>.

Для развития в русской литературе польской темы вообще, как и образа польской женщины, помимо широкого общественного интереса к этой стране, огромное значение имел опыт многих русских авторов, участвовавших в освобождении Польши в 1943–1945 гг., а также бывавших там в период активизации советско-польских контактов со второй половины 1950-х гг. Этим в значительной степени объясняется преимущественное внимание авторов к своим польским современницам, как и то, что литературные образы во многих случаях имели вполне реальные жизненные прототипы.

В освоении русской литературой польской темы значительна роль Д. Самойлова. Его собственные «польские» произведения и его переводы (А. Мицкевич, Б. Ясенский, К. И. Галчинский, Ю. Тувим, В. Броневский, М. Яструн, Т. Ружевич и др.) получали неизменно высокое признание как соратников по «цеху», так и литературных критиков. В дневниках и письмах поэта также нашли отражение его глубокие раздумья о судьбах Польши, о ее связях с Россией.

«Польских смут невольный современник» Самойлов пережил в Польше огромное потрясение, наблюдая, как «на том берегу», — противоположном тому, на котором стояла советская армия в 1944 г., билась восставшая Варшава. Двадцатилетний солдат, он глубоко сопереживал с варшавянами их трагедию, но помочь им не мог. Это тем более придало его «польским» произведениям военной темы огромный драматический накал.

В основе созданных им образов лежат прежде всего его личные впечатления военной молодости в Польше и позднейших поездок в эту страну. Образы своих польских современниц поэт строит, соотнося впечатления о них с романтическими героинями, прежде всего А. Мицкевича, а также пушкинскими персонажами. Образ Марыли Адамовичувны из стихотворения «1944-й» (1964) несет в себе прямую отсылку к созданному Мицкевичем образу своей возлюбленной Марыли Верещак. Самойловская героиня, как и ее романтическая предшественница, увлекается поэзией и музыкой: она читает рус-

скому солдату — временному постояльцу в их доме, стихи (В. Сырокомли), играет на фортепиано. Однако в контексте все очевиднее становится иллюзорность аналогий: сама героиня, ее обстановка, ее окружение, внешне непоэтический облик имели мало возвышенно-романтического: «Ах, моя чахоточная панна! / Маленького зальца воздух спертый! / Как играла ты на фортепиано / О себе, беспомощной и гордой, // От костлявых клавиш мерзли руки...». За образом современной Марыли поэту видится польская история. Его Марыля — наследница «Польши сеймов, королей, мазурки. / Бледных пани, Мицкевича, восстаний...». Однако историческое время невозможно повернуть вспять, а романтическая поэтизация неуместна в современном мире, жестокость которого автор передает в кратких символических описаниях: «Ребра искалеченной Сирены» \* и «За Вислою снег от крови рыжий» и др.

Героиня поэмы Самойлова «Ближние страны» (1958) Ядвига — такая же юная и хрупкая девушка, как Зося из «Пана Тадеуша» А. Мицкевича. Но в отличие от Зоси она занимается не цветами и цыплятами. И по внешнему облику отлична от Зоси: «В убогом пальтишке, / Плечи острые, как у мальчишки, / Шея тонкая, как у галчонка, / Некрасивая, в общем, девчонка». Но для Самойлова Ядвига — воплощение главного идеала польского романтизма — свободы родины: она борется на баррикадах Варшавы и там погибает.

В Марыле Адамовичувне, как и в Ядвиге, нет надменности и демонизма пушкинской Марины Мнишек, нежности и прелести его Марии Потоцкой (из «Бахчисарайского фонтана»), но гордость и духовную стойкость, присущие пушкинской Марии, Самойлов утверждает на примере Ядвиги, как исконное свойство польской женщины. Не случайно образ борющейся Варшавы ассоциируется у него с образом женщины: видя, что польская столица погибает, но не сдаётся, он с отчаянием и восхищением восклицает: «Горемычная, злая гордячка!» И все же Ядвига Самойлова прелестна в своей любви — взаимной — к русскому «сержанту белозубому» Лешке Быкову. На просьбу взять ее дальше с собой на фронт он отвечает: «Да куда тебе с нами! / Воевать — не девчачья работа!» И прощается с нею словами: «Довольно! Жди, Ядвига, вернемся по войне!» Не вернулся — «погиб под Марцаном».

В описании гибели Ядвиги также нет ничего от романтической героини: жестокости происходящего соответствует и прозаизм описания: когда отряд защитников Варшавы пытался прорываться из осажденного участка города, бойцы решили: «А Ядвига пусть гибнет без муки. / Дать ей „Вальтер“. Патронов три штуки. / Так приста-

\* Сирена — памятник — символ Варшавы.

вишь ко лбу — и нажмежь... / Ясно? / Ясно. / Тогда по местам!.. И к рассвету замолкла Варшава».

Ядвига стоит особняком в ряду героинь Самойлова, она ему ближе всех других. Не случайно ведь именно с нею поэт «поделился» частицей своей личной биографии. Когда после ранения в 1943 г. и лечения в госпитале Самойлов по его настоятельной просьбе вместо тыловой части был зачислен «в третью Отдельную моторазведывательную роту разведотдела I Белорусского фронта... ему пришлось пройти жестокий обряд посвящения в разведчики». В барабан нагана разведчики «вложили один патрон и дали его новичку. Крутанув барабан так, что не известно было, попадет патрон в ствол или нет, надо было приставить ствол к виску и нажать на спусковой крючок. Тяжелое испытание, но разведчики хотели доподлинно знать, что на нового товарища можно положиться. А новичок не знал, что в барабан заложен был не боевой патрон, а стреляная гильза...»<sup>3</sup>.

В рассматриваемых произведениях Самойлова живут три героини с именем Марии. Одна — мицкевичевская Марыля Верещак, не названная, но присутствующая, другая — Марыля Адамовичувна, а третья — Марыска, в образе которой угадывается некоторая переключка с Телименной из «Пана Тадеуша» Мицкевича. Молодая крестьянка — жена старого кузнеца, зорко «рыскавшего глазами» за молодым русским солдатом — временным постояльцем в его доме, Марыска, занимаясь ли хозяйством или просто прогуливаясь по двору, напевала все одну и ту же песенку: «Ой, уйдут через Вислу жолпежи...» Эта песенка и в дальнейшем неоднократно вспоминалась лирическому герою «Ближних стран», не без лукавинки комментировавшего ее в душе: «Полячки — деревенские пани — лукавые...»

В творчестве поэта три его Марии появились в разные периоды: Марыска — в первой половине 1950-х гг., Марыля Адамовичувна, как и не названная им мицкевичевская Марыля Верещак — в стихотворении «1944-й». Его Марии — при сходстве имен — женщины с разными жизненными судьбами: так, по мысли Самойлова, распорядилась история. Обращение Самойлова к этим образам в какой-то мере обоснование и одновременно — иллюстрация его историко-философского кредо, которое Л. Аннинский определил так: «Герои Самойлова отчетливо чувствуют, как век берет человека за ворот» (у Самойлова: «век берет человека за горло». — Т. А.)... В том-то и состоит позиция Самойлова, что в мгновенном равновесии возможностей он ждет, какой из вариантов выберет сама История, какую чашу весов тронет, на какой путь встанет»<sup>4</sup>.

Мотив сопряженности судьбы польской женщины и польской истории, что характерно для творчества Самойлова, просматривается и

в творчестве других авторов. Одним из первых в послевоенные годы к этой проблеме обратился С. Островой. В его стихотворении «Польская гравюра» предстают две женщины — одна на старинном изображении, другая — «печальная кобѣта». (так в тексте. — Т. А.), обитательница «деревеньки Топольно», запечатлена в сентябрьские сумерки на фоне «догорающей позолоты» осенних садов, «когда на запад уходит пехота». Она ждет кого-то, как некогда ждала та, что на старинной гравюре: «Может быть за степным поворотом / Мчится всадник / К знакомым ворота. // Рвется ветер с далекой опушки. / Бьют копытами кони Костюшко. // И летят облака над костелом. // Будто аисты в небе тяжелом».

Синтез реалий «польскости» — костелы, польские топонимы, польская конница, славившаяся во все времена, имя Костюшко — символ эпохи борьбы за независимость Польши и образ двух одиноких женщин создают глубину изображения польской истории<sup>5</sup>. Зафиксированное время «в этот вечер» не ограничивает временного пространства стихотворения. И «в этот вечер», и в прошлые века — всегда польская женщина, как у Острового — хранительница родного очага, любви, ее предназначение — ждать тех, кто сражается за свободу Польши.

Флёр романтичности проступает в небольшом лирико-философском романсе К. Ваншенкина «Польские свечи» (1978). Прекрасная молодая женщина, как мимолетное видение лишь однажды мелькнет в нем в круговерти житейских и исторических событий, давних распрей с соседями... Кульминация стихотворения — пламя свечей, зажженных в Варшаве и в Москве, как символ наступившего вечного примирения двух народов и стран:

Польские свечи  
                                           в Лазенках на водах.  
 Женские плечи,  
                                           воспетые в одах...  
 К виолончели  
                                           припавший смычок...  
 Давние сечи  
                                           с туманом над ними...  
 И пламя в камине.  
                                           Снежок за окном.  
 Польские свечи  
                                           в Лазенках на водах.  
 Или вблизи Патриарших прудов.

В произведениях русских писателей соотношение: польская история — судьба польской женщины представлено в разных вариантах.



Во многих из них польская женщина — не только хранительница родного очага, но и национальной памяти и национальных культурных ценностей. Таковы Гелена из «Варшавской мелодии» Л. Зорина, Алиса из одноименной поэмы И. Сельвинского, героиня воспоминаний В. Солоухина и др.

«Она была полька... (Она) страстно рассказывала о своей Польше, страстно читала Мицкевича и Словацкого... Утверждаю... ничто не может вызвать столь же очевидной первоначальной симпатии к стране, к народу, как симпатия к представительнице этой страны» — писал В. Солоухин (с. 243, 245). И далее: «Без нее я никогда бы не понял или не понял бы так скоро красоту ее странного, насыщенного, как известно, шипящими звуками польского языка», воспринимаемого, «как своеобразная музыка» (с. 247).

Заметим, что восхищение звучанием польской речи, упоение ею захватило в те годы многих русских писателей. Например, С. Острового: «Таксúвка, цуречка, кукулка — / Мне нравятся эти слова... // Вдруг запеможется мне. / Я стану не громко, не гулко, / А мягче, чем в дождик трава, / Таксúвка, цуречка, кукулка, / Шептать дорогие слова...»<sup>6</sup>.

Чтение произведений А. Мицкевича в оригинале — одно из таинств притягательности Алисы из одноименной поэмы И. Сельвинского:

О, как плещет в устах твоих польская речь,  
Ключевая да серебристая!  
Как умеет она прямо в душу истечь,  
Утоляющая, словно истина.

Страдающий из-за своей неразделенной любви лирический герой признавался Алисе: я «безумно ревную лишь к одному: к вековому слову Мицкевича». Героиня «Варшавской мелодии» Л. Зорина Гелена рассказывает влюбленному в нее русскому парню Виктору о Краковском Вавеле, его королевских усыпальницах, хранящемся там прахе Мицкевича и Словацкого, а собственная миссия ей видится в том, чтобы «Быть самой красивой... Я должна поддерживать традицию моей родины и показывать, что „Польска еще не сгинела“». Для героини повести Г. Семенихина «Пани Ирена», решавшей, связать ли ей свою судьбу с русским летчиком Виктором, оказывается непреодолимой приверженность к отчому краю: «Я полька, и ничего больше не говори, и родина моя здесь. Земля моя под ногами моими, и по ней мне ходить»<sup>7</sup>.

Мотивы глубокой сопряженности героинь с судьбами своей родины, их страстная приверженность к национальным культурным святыням в произведениях русских авторов предстают как знаковый компонент национальной специфики образа польской женщины.

В более широком контексте русской истории, прежде всего периода Великой Отечественной войны и Второй мировой войны также нашли отражение образы польских женщин. Например, в произведениях В. О. Богомолова, в том числе повести «Зося» (1963, опубл. 1965), имевшей огромный читательский успех, экранизированной; по отдельным ее мотивам композитором М. Вейнбергом была создана опера «Мадонна и солдат» (1970). В основе сюжета повести — коллизия любви и войны, наметившаяся еще в «Ближних странах» Самойлова. Но там любовь не состоялась, потому что она, как и жизнь героев, была оборвана войной. В «Зосе» отношения героев развиваются в короткие промежутки в военных действиях. Между юной полькой и двадцатилетним русским парнем зародилась любовь, она была возможна, но не суждена им — война их разлучила. Светлый облик Зоси навсегда остался в душе героя с тех пор, как она впервые мелькнула в саду меж яблонь — «появилась и исчезла», «как сказочное видение».

Очевидна открытая переключка повести русского писателя с мотивом любви Зоси и Тадеуша в «Пане Тадеуше» А. Мицкевича. Это просматривается, например, в описании облика героини. В Богомолов: Зося шла, раскачивая в руке «плетеную корзиночку», «легко и грациозно ступая маленькими загорелыми ножками»; «ладная фигурка под полинялым платьицем». А. Мицкевич: «Потупивши глаза, шла девушка с корзинкой»; «В густой траве она тонула по колено, / ...не шла... плыла в волнах травы»; «движенье легко, как бьет струя фонтана» (пер. С. Мар-Аксеновой). У обоих писателей подчеркнуты веселость, лукавство, некоторое озорство героинь.

Богомоловского героя особенно привлекали глаза Зоси: «зеленоватые, блестящие, загадочные» — в них он открывал для себя ее внутреннюю содержательность, а также сильный и крепкий характер и «какую-то горделивую независимость». А когда он читал ей стихи С. Есенина, «открытые широко глаза, напряженно смотрели» на героя. В «пленительности», в «страстной женственности» Зоси угадываются черты пушкинских Марины и Марии.

Зося Мицкевича, прощаясь с Тадеушем, уезжавшим на войну, просит принять от нее ладанку, богомоловская Зося (по нелепой случайности упустившая последнюю встречу с героем), бегом постигает грузовик, увозящий ее избранника на фронт, и вручает ему свое «послание», корявым почерком написанное на обороте ее детской фотографии: «Ja cię Kocham, a ty śpisz». Чувство, вспыхнувшее между богомоловскими героями, обернулось драмой — в поединке с военным временем оно оказалось бессильным. Их любовь была возможна, но не свершилась. В отличие от мицкевической повесть Богомо-

лова трагична, так это видится и герою-повествователю: «...И по сей день меня не покидает ощущение, что я в самом деле тогда что-то проспал, что в моей жизни и впрямь — по какой-то случайности — не состоялось что-то очень важное, большое и неповторимое...»

Огромный, прежде всего зрительский успех имел у нас образ Гелены из лирической драмы Л. Зорина «Варшавская мелодия» (премьера состоялась в Московском Театре им. Е. Вахтангова 30 января 1967 г.; публикация — в журнале «Театр», 1967, № 6). Произведение трудно пробивало себе дорогу к зрителю и читателю: как позднее вспоминал Зорин, цензура требовала от него убрать или «смягчить» проблему, связанную с законом от 16 февраля 1947 г., запрещавшим советским людям вступать в браки с иностранцами, на что автор пьесы не согласился.

«Варшавская мелодия» — драма о несостоявшейся любви двух молодых людей — студентов — Виктора и польки Гелены. По признанию Зорина на создание пьесы и образа героини его вдохновили конкретные люди, с которыми он познакомился во время своей «польско-чешской эскапады» — поездки по разным городам двух стран. (В частности, он упоминал о Кристине Живульской — польской писательнице, некогда узнице Освенцима). Героиню пьесы Гелену также тяжело задела война, а Виктор — недавний фронтовик. В Гелене — студентке Московской консерватории — Виктора привлекли ее женственность, изящество, хрупкость, горделивость, он сразу угадал в ней «иноземку». Гелене в Викторе понравился его сильный мужской характер, сочетавшийся с нежностью, настойчивость, самоотверженность во имя любви: он разгружал по ночам вагоны, чтобы иметь возможность подарить ей к Новому году новые туфли. Гелена для себя «перевела» его имя: «Победитель».

Однако на пути их чувств встал упомянутый советский закон. Зорин писал о своей драме: «Любовная история была жестоким счетом режиму... И что ж было делать двум стебелькам, двум человеческим песчинкам против машины сверхдержавы?»<sup>8</sup> В этой истории побежденным оказался Виктор. Это его любовь не выдержала испытания обстоятельствами. Виктор — порождение системы, в которой любовь — категория незначимая. Вольно или невольно, но он оказывается «отрицательным» персонажем. Спустя десять лет в Варшаве — они оба уже обзавелись семьями и сделали карьеры, Гелена, обрадовавшись встрече с Виктором, приехавшим в Варшаву по делам, мечтает хоть на сутки умчаться с ним куда-нибудь вдвоем — как в прошлую юность с ее грезами и надеждами. Но Виктор, элементарно струсив, пытается оправдать свой отказ от свидания официально-чиновничьими сентенциями: человек, мол, не всегда свободен от обяза-

тельств, что он здесь не один... Инерция подчинения казенщине обрушивается на Гелену разочарованием и отчаянием, прощанием с мечтами и надеждами.

«Алиса (Из рукописей моего друга, пожелавшего остаться неизвестным)» (1951) — «ликующий и трагедийный стоп и моление о любви, скорбно-торжественное прощание с мечтой», — напишет впоследствии исследователь творчества И. Сельвинского<sup>9</sup>. Это произведение И. Сельвинского своеобразной структуры. Оно состоит из 15 разновеликих по объему частей, определенных автором как «этюды», и еще — «Письма Алисы (Перевод с польского)» — так в тексте. Алиса — главная и единственная героиня поэмы (как определила жанр произведения русская критика), восемнадцатилетняя девушка из Польши, студентка Литературного института им. Горького в Москве. Прочувшись здесь недолго, она внезапно и неожиданно для многих, как и Гелена из «Варшавской мелодии» Л. Зорина, уехала из Москвы. На родине ее личная жизнь оказалась не очень счастливой. Об этом можно отчасти судить по ее письму тоскующему по ней лирическому герою. В письме Алисы — одолевающие ее грусть, горечь, безнадежность, одиночество.

Дедов дом

На старом месте.

Все знакомо

До созвездий.

Я гуляю

По аллее,

Ни о чем я

Не жалею.

Так и нужно, милый, жить:

Не гадать,

Не ворошить;

Не томиться,

Не терзаться...

Безмятежно

Я живу —

Снов не вижу...

Не жалею

Ни о чем...

А жених мой

Оказался

Не таким уже

Красивым...



Сельвинский создал поэму о любви, это — гимн любви к юной девушке польке, которая не была взаимной. Лирическому герою дано было пережить огромную любовь и понимание ее безнадежности. Поэма с самого начала несет в себе некоторую трагическую надрывность, роковое предощущение. И хотя автор и лирический герой не отождествлены, в ней есть определенный автобиографизм. История любви лирического героя «завязана» на фактах биографии поэта. Участник легендарного похода ледокола «Челюскин», после попадания корабля в ледовый плен он с группой журналистов отправился с ледокола на материк. Тогда в Польше родилась Алиса — героиня поэмы: «В черный день ледового похода / для меня Алиса родилась». «Арктические» определения облика героини подчеркивают невозможность с ее стороны ответного чувства: «Арктика сквозь мили, сквозь туманы / Вырубилa деву изo льда»; «Девочка со льдыстыми глазами»; «Ледяные твои огни»; «Пейзаж твоих полярных глаз».

Лирический герой как бы не принимает «в расчет» ни разницу их возраста (33 года), ни наличия у ней жениха, ни ледяной холодности Алисы: она его мечта, реализовавшаяся в облике юной польки. Он восхищается ее польской речью — «ключевою да серебристою», она — «звезда», «что лишь в XX веке / На небе торжественно зажглась». Риторически вопрошая, красива ли она, лирический герой сам себе отвечает: «Красота с тобою не сравнится, / В тебе есть то, что выше красоты, / что лишь угадывается и снится», «я тебя предчувствовал, предвидел», еще и еще раз подчеркивая значение ее, как мечты своей жизни.

Наступившее вдруг расставание исторгло из души героя вопрос о том, как ему «быть», как «жить теперь мне без нее?»; «Наглотаться бы перед разлукой / слов твоих и смеха, милый друг». Но герой-поэт запечатлевает свою мечту в стихах, что и дает ему возможность продолжить жить:

Теперь ты навеки моя, недотрога!  
 .....Ты осталась в стихах.  
 Для жизни мало, для смерти много.  
 Так и буду жить. Один меж прочих.  
 А со мной отныне на года  
 Вечное круженье этих строчек  
 И глухонемое «Никогда».

Пути-дороги, встречи-расставания — неизменно присутствуют в произведениях русских писателей рассматриваемого периода о польских женщинах. Плод нескольких лет Н. Злотникова — лирический триптих под названием «Прощание с Иреной». Его «сюжетооб-

разующий» мотив — предчувствие грустного, трудного и неизбежно-го расставания. Вкрапление безнадежно-отчаянных вопросов: «Где же я, где, / Пожалей обо мне!»; Прости, прощай, Варшава!.. / Ирена, как нам быть?»; «Где ты, Ирена?»; «В ту осень, / сколько прошло, сосчитай, / Семь или восемь?..», усиливают сквозную антонацию безысходности. Ее не перекрывают вкрапления о счастливых мгновениях встреч влюбленных в Варшаве — на Иерусалимских аллеях, «поездке на фиакре» под «поющим» дождем и под цоканье копыт по мостовой. В первую встречу отрешенный от реальности, впавший в забытие герой «говорил на твоём языке, / понимал тебя с полуслова. / Не узнал лишь, как будет „потом“». Пролетевшее время не защищало от реальности, будоражило обоих вопросом: «Мы очнемся, что станет потом?» Очнувшийся в вагоне поезда, увозившего его из Варшавы, лирический герой пытается ответить себе на трудный и оставшийся без ответа вопрос: почему не состоялось чувство: «Что это было — правда обмана?» «Вправду колеса стучат, / Сыплют горохом. / Но и не лжет этот взгляд, / Тихое „Кохам“!»

В представлении многих русских писателей польские женщины нередко таят в себе что-то волшебное-загадочное и оттого еще более притягательное. В очерке Ю. Куранова «Свечение беседы» таинственное очарование Кракова писатель постигает благодаря знакомству с женщиной. Поначалу она выступает в реальной ипостаси его знакомой переводчицы — пани Трачевской. Она из тех «пожилых женщин», — пишет Куранов, которые надолго «умеют оставаться красивой... и вызывают увлекательное чувство уважения», «умеют ценить в себе не только красоту, но и ум». А поздним вечером, бродя по городу, «в глубине старого, ренессансного двора», он услышал льющуюся из окна музыку. Кто-то играл на рояле русских и польских композиторов, и все вокруг становилось таинственным и еще более прекрасным, вспоминались родные края и высоко в небе парящий жаворонок. «Уж не пани ли это Трачевская?» — подумалось ему. Эта мысль возвращалась снова и снова. «Одно окно было открыто. У окна стояла женщина в черном платье, не то блондинка, не то седая... Наверное женщина смотрела на молодую липу, которая шелестела своей осенней листвой». Она скрывалась в окне, и тогда звучала музыка, и он «тотчас соглашался» с мыслью, что это «пани Трачевская... Чего в жизни не бывает». А «женщина уже не играла, она опять стояла у окна. Это была седая женщина в черном платье, она смотрела во двор и что-то вспоминала. И мне тогда снова почувствовалось, что это пани Мария Трачевская». Эти переключки с «Незнакомкой» А. Блока, которая то «в туманном движется окне», то «сидит у окна», которой открываются «берег очарованный и очарован-







## ПРИМЕЧАНИЯ

- <sup>1</sup> *Солоухин В. А.* Варшавские голуби / Мед на хлебе. М., 1978. С. 245–246. Здесь и далее ссылки приводятся по этому изданию. Далее указываются только страницы в скобках.
- <sup>2</sup> *Duszenko K. W.* Polak i Polka w oczach Rosjan / Narody i stereotypy. Kraków, 1995. S. 160.
- <sup>3</sup> *Баевский В.* Давид Самойлов. Поэт и его поколение. М., 1986. С. 60–61.
- <sup>4</sup> *Аннинский Л.* Тридцатые–семидесятые. М., 1977. С. 175–176.
- <sup>5</sup> Стихотворение С. Г. Острового в изданиях поэта датировано 1952 (или 1951) годом. В действительности оно было написано вскоре после завершения войны и предложено осенью 1946 г. автором журналу «Новый мир». Стихотворение было принято к печати, набрано, а затем — отвергнуто. См.: РГАЛИ. Ф. 1702. Оп. 2. Ед. хр. 25. Протокол от 2.XI.46.: «О стихах не принятых: 8. Сергей Островой — Польская гравюра». В моей беседе с С. Г. Островым (2 февраля 2002 г.) он подтвердил, что в 1946 г. после принятия стихотворения оно было отвергнуто без объяснений. Спустя годы стихотворение публикуется в его первоначальном виде.
- <sup>6</sup> Цит. по: *Островой С.* Слова / Избранные произведения. М., 1978. Т. 1. С. 306–307.
- <sup>7</sup> *Семенухин Г.* Пани Ирена. М., 1964. С. 137.
- <sup>8</sup> *Зорин Л. Г.* Авансцена: Мемуарный роман. М., 1997. С. 224.
- <sup>9</sup> Цит. по: *Резник О. С.* Жизнь в поэзии. Творчество Ильи Сельвинского. М., 1972. С. 467. Огнев В. Ф., писатель, критик и исследователь творчества И. Сельвинского писал о героине невымышленной встречи двух людей: «В Варшаве я познакомился с умной и грустной женщиной. Звали ее Алиция Жуковска. Я никогда не мог отнести к ней строки И. Сельвинского из знаменитого цикла „Алиса“. Но она жила в них, они стали ее духовным двойником. Мягкая и женственная, Алиция в жизни сохранила благодарную память о поэте, воспевшем ее образ в сильных, характерных стихах». Цит. по: *Огнев В.* Заметки об Илье Сельвинском / О Сельвинском. Воспоминания. М., 1982. С. 295.

Я. Савицкая  
(Варшава)

## Изображение польских национально-освободительных восстаний в русской поэзии — изменение стереотипов

---

В русской поэзии существовал укреплявшийся с каждым последующим восстанием стереотип, который отразился в таких выражениях, как «гордая Польша», «мятежная Польша», «польский бунт». В какой-то момент (в соответствии с принципом переноса названия с целого на часть) эти определения стали использовать применительно к Варшаве. Стереотип гордой Варшавы, вероятно, возник во время ноябрьского восстания. Как известно, отношение к восстанию разделило русскую интеллигенцию на два лагеря. Однако защита интересов империи стала причиной преобладания негативной оценки польского бунта.

В связи с этим в первую очередь следует обратиться к так называемой «антипольской трилогии» Александра Пушкина. Приведенные выше стереотипы в этих произведениях используются очень часто и при этом обладают сильной эмоциональной окраской. Польское восстание стало для поэта неразрешимой проблемой. Если вспомнить ситуацию, в которой находился в то время Пушкин, то можно сказать, что ни один поэт в Европе не был в худшем положении. Прошло четыре года с момента казни его друзей-декабристов, чью участь Пушкин мог бы разделить. Кроме того, он был вовлечен в двусмысленные, унижительные дворцовые интриги. «Бедный камер-юнкер в золоченой клетке», — как назвал его Милош, — написал «свои» или «не свои» (вероятнее всего, по заказу Высочайшего государя) антипольские стихи. Трилогия появилась в 1831 г. Стихотворение «Клеветникам России» было направлено против вмешательства западноевропейских государств во внутренние дела славян, в «домашний, старый спор».

Славянские ль ручьи сольются в русском море?  
Оно ль иссякнет? Вот вопрос.

Это стихотворение (великолепно, впрочем, переведенное на польский язык Ю. Тувимом) не столь существенно для нашего исследования. Произведение, которое нас интересует, это «Бородинская годовщина», именно в этот день пала восставшая Варшава. В этом стихотворении, как и в «Клеветниках...», поэт прибегает к риторике, но если в предыдущем случае это была риторика высокого стиля, то здесь поэт использует стилистические средства, используемые в публицистике. Стихотворение кричит: 11 восклицательных знаков, 13 риторических знаков вопроса. Автор навязчиво и многословно выражает радость по поводу захвата города царскими войсками, перечисляя районы, занятые русскими и восхваляя Паскевича. Поэт использует функциональные формулы:

Вновь наши вторглись знамена  
В проломы падшей вновь Варшавы (...)  
И бунт, раздавленный, умолк.

Здесь мы имеем дело с коллективным лирическим героем, с противопоставлением «мы — вы», что довольно необычно для поэзии Пушкина. Поэт говорит как один из победителей:

Мы не сожжем Варшавы их.

Используемые Пушкиным эпитеты («буиная Варшава» и др.) выступают в семантических полях, окрашенных неприязнью и иронией. В этом стихотворении Суворов встает из могилы, чтобы увидеть, как его преемник — Паскевич подвергнет унижению гордый город. «И Польши участь решена», — пишет поэт.

С художественной точки зрения, надо заметить, стихотворение не столь удачно — и этот факт в какой-то степени служит утешением.

Польские исследователи Пушкина размышляли над этим феноменом в творчестве автора оды «Вольность» и «Послания в Сибирь». «В жизни Пушкина, — писал Мариан Топоровский, — роковую роль сыграл царь Николай Павлович [...] он сделал все, чтобы превратить Пушкина в идеолога догм своей эпохи — православия, самодержавия и великорусского национализма»<sup>1</sup>.

Следует заметить, что в период ноябрьского восстания в письмах поэта ощущается странное беспокойство и страх, которые были связаны с эпидемией холеры (сам Пушкин находился какое-то время в карантине в деревне Болдино, благодаря чему поэзия только обогатилась), с бунтами в армии, с опасениями по поводу вмешательства Франции в польский вопрос. Все это создавало напряженную атмосферу, тогда как поэтом владела мечта о создании собственного дома. В его переписке, разумеется, нет этого крикливого чувства побе-

ды, но есть беспокойство, которое трудно объяснить. Пушкин пишет князю Вяземскому: «О Польше ничего не слышно, в Париже тихо, в Москве тоже». Падение Варшавы успокаивает и радует его. Великий поэт не оказался на этот раз братом для «гордых и независимых». Может быть, как писал Ч. Милош, «он шел по узкой дорожке между бесчестьем и саморазрушением». Впрочем, это еще не финал. Пушкин прожил еще шесть лет, и все это время он писал.

К проблеме антипольской трилогии много раз обращался один из самых выдающихся польских пушкинистов Вацлав Ледницкий. Опираясь прежде всего на поэтические тексты, он усматривал в антипольской трилогии реальные националистические корни. Однако Ледницкий полагал, что поэта волновал польский вопрос, и особенно проблема восстания, а потому он вновь возвращался к ним, о чем свидетельствует более поздняя поэма «Медный всадник».

Ее главной проблемой является протест личности против тирании. «В перспективе историко-психологического изучения введение в поэму бунтующего начала становится выражением протеста самого Пушкина», — писал Ледницкий<sup>2</sup>. Вспомним, что «Всадник» был написан через три года после антипольской трилогии; и это произведение по воле высочайшего цензора не было опубликовано при жизни поэта. В нем с необыкновенной художественной силой получила поэтическое воплощение проблема конфликта личности и тирана. Для польского читателя, кроме того, очевидна перекличка поэмы с «Отрывком» из третьей части «Дядюв».

«Медный всадник» Пушкина должен был стать большой поэтической метафорой, объясняющей его отношение к Мицкевичу, польскому вопросу и романтическому бунту.

Сам Мицкевич после смерти автора «Евгения Онегина» писал: «Я довольно близко и довольно долго знал русского поэта; находил я в нем характер слишком впечатлительный, а иногда легкомысленный, но всегда искренний, благородный и способный к сердечным излиниям. Погрешности его казались плодом обстоятельств, среди которых он жил: все, что было в нем хорошего, вытекало из глубины сердца»<sup>3</sup>.

Только сопоставление этих текстов помогает понять и уяснить подлинное соотношение между стереотипизацией в антипольской трилогии и трагедией неверия в возможность бунта личности.

Некоторые исследователи полагают, что за фигурой творца, ослепленного «золотом иль чином», в стихотворении Мицкевича «Русским Друзьям» мог стоять Федор Тютчев. Поэт, полный внутренних противоречий, с которым Мицкевич мог познакомиться в Германии, Тютчев действительно занимал высокий пост в российском Министерстве иностранных дел, но его позиция в отношении к польскому



вопросу и восстаниям была обусловлена системой его историософских взглядов. Несмотря на европейское воспитание, он был славянофилом и полагал, что Россия является наследницей Византии. Он ненавидел католическую церковь и особенно папство, которые считал враждебными институтами. Эти взгляды нашли отражение в поэтических текстах Тютчева, посвященных польскому вопросу.

После поражения восстания, практически одновременно со стихами Пушкина, появилось стихотворение Тютчева «Как дочь родную...», но в нем не было злорадства, как в трилогии Пушкина. Тютчев видит в этом событии историческую необходимость: как Агамемнон принес в жертву Ифигению, так на благо истории и общности славянских народов нужно было пожертвовать Варшавой.

Так мы над горестной Варшавой  
Удар свершили роковой.

Такой ценой была сохранена целостность России. Сожженный белый орел, подобно фениксу, воскреснет во всеобщей свободе.

Стихотворение Тютчева, задуманное как философское, интеллектуальное, обращающееся к античным образцам, демонстрирует драматизм исторической необходимости.

Антикатолицизм и связанная с ним антипольскость поэта явилась причиной изменения его позиции. По мнению Тютчева, Польша, как страна католическая, не является в полной мере славянской, а значит, и заслуживающей доверия. Анджей Валицкий так пишет о взглядах Тютчева: «Католическая церковь — виновата в том, что чехи утрачивают национальную самобытность, а поляки моральные устои». Католицизм поляков, по его мнению, был «главным препятствием на пути к единению славян»<sup>4</sup>.

Эта позиция поэта проявилась в его отношении к январскому восстанию — здесь уже он пишет не о трагедии двух правд, но только о бунте и предательстве. Картина войны с поляками, действительно устрашающая, представлена у поэта как «ужасный сон»:

В крови до пят мы бьемся с мертвецами,  
Воскресшими для новых похорон.

Тютчев пишет о предательстве и обмане, его шокирует участие в восстании католических священников:

В одной руке распятие и нож.

У стереотипа Польши в его поэзии были глубокие корни. В конце отношение поляков к славянской общности сравнивается с поцелуем Иуды.

К. В. Заводзинский назвал Александра Блока величайшим лириком нашего времени<sup>5</sup>. Этого поэта в Польше высоко ценили — его почитали Вежиньский и Чехович; его переводили лучшие поэты, например гениальный перевод «Шагов командора» был сделан Либбертом. Поэт не занимался специально Польшей. Только во время болезни отца, профессора Варшавского университета, Блок приехал в Польшу, и тогда у него появилось желание понять покоренный народ. Поначалу он воспринимал Польшу как «задворки России». Но знакомство со страной изменило его представление.

Поэта встретил город, замерший под снегом, страна «под бременем обид». Польше частично посвящена третья часть неоконченной поэмы Блока «Возмездие». Встретивший его город был таинственным и непонятным, и поэт хотел «по-блоковски» разгадать тайну этих «тоски, усталости и мороза». Блок, вероятно, был первым, кто попытался взглянуть в этот город.

Не также ль и тебя, Варшава,  
Столица гордых поляков,  
Дремать принудила орава  
Военных русских пошляков.

Здесь мы имеем дело с переосмыслением значения стереотипа: он остается прежним — «гордые поляки», но получает новую оценку. Негативно окрашена «орава военных русских пошляков», а не Варшава, которая напоминает поэту (в соответствии с его философскими идеями) ангела с опущенными крыльями или подвергшуюся насилию женщину. Ни разу поэт не становится на позицию выразителя государственных интересов, напротив, он как будто занимает совершенно независимую позицию в отношении страны, города и трудных вопросов.

Понимание приходит постепенно. Мысли об умирающем отце и печальном крае складываются в поэтический образ пространства, в котором жизнь скрыта, в образ Варшавы, погруженной в зимний сон. Позитивная оценка формулы «столица гордых поляков» чрезвычайно важна. Блок не только отходит от оценки Пушкина и Тютчева, но и возлагает вину на российскую военщину. С виной он связывает слово «возмездие», кружащее над заснеженной Польшей.

Как пишет сам поэт во вступлении к «Возмездию»: «Вся поэма должна сопровождаться определенным лейтмотивом „возмездия“; этот лейтмотив есть *мазурка* [...] в третьей главе мазурка разгулялась: она звенит в снежной вьюге, проносщейся над ночной Варшавой, над занесенными снегом польскими клеверными полями. В ней явственно слышится уже голос Возмездия»<sup>6</sup>. Символическая мазур-

ка; которая, как мы помним, является национальным гимном, вырастает в грозную музыкальную тему.

Михаил Бахтин в своих лекциях о русской литературе писал, что Польша в «Возмездии» — это символический образ всех грехов старой России. Польша — это возмездие [...] завершающим аккордом поэмы является образ метели, а лирическая концовка — это мазурка и образ польской девушки, матери будущего мстителя»<sup>7</sup>.

Иной была встреча с Варшавой для Давида Самойлова, поэта военного поколения, которое оставило значительный след в истории русской поэзии. Для мальчишек, которые уходили на фронт со школьной или университетской скамьи, война стала испытанием нравственности и восприимчивости.

Самойлов часто возвращался в поэзии к теме войны, он был солдатом, стоял с армией в Праге и видел гибель города. Свои переживания, связанные с этим событием, он описал в книге «Ближние страны», которая была издана в период «оттепели», а до того момента существовала полулегально. Ту ее часть, которая посвящена Варшаве, перевел на польский язык Виктор Ворошильский.

16 августа 1944 г. Сталин сообщил Черчиллю: «Ознакомившись ближе с варшавским делом, я убедился, что варшавская акция представляет безрассудную ужасную авантюру, стоящую населению больших жертв [...] При создавшемся положении советское командование пришло к выводу, что оно должно отмежеваться от варшавской авантюры»<sup>8</sup>. В действительности это означало, что фронт остановится на линии Вислы. И это все, что следовало знать о восстании.

Однако на отношение Самойлова к восстанию повлияло его непосредственное соприкосновение с городом, драматические переживания поэта. Его лирический герой — это один из представителей солдатской массы. «Мы стояли на том берегу», «Воды Вислы как лава текли // Мы стояли поцуро над ней». Основной образ здесь неподвижность, пассивное ожидание за этой непреодолимой границей. А в двух шагах отчаянно сражается Варшава. Слышны взрывы и выстрелы.

Я их вижу. Прекрасно их вижу!  
Но молчу. Но помочь не могу...  
Это было на том берегу.

Выстрелы становились все реже, а на рассвете Варшава умолкла. Поздней ночью русские войска вошли в вымерший город. Временная последовательность в поэме сжата, время сконцентрировано, что отвечает законам поэтического жанра. Пустые выбитые окна в развалинах

зданий открывают солдату правду, отличающуюся от официальной версии.

И тогда я до ужаса ясно  
Все увидел. Забыть не могу...  
Мы стояли на том берегу.

Пока армия стояла за Вислой, город сражался за свою свободу и независимость.

Горемычная, злая горячка,  
Непокорнейшая из столиц.

Самойлов преодолевает в прямом и переносном смысле границу Вислы, рубеж между «здесь и там» — и оказывается на стороне понимания. Варшавское восстание стало для него не просто историческим явлением, но моральной проблемой, связанной с понятиями свободы и достоинства в широком понимании.

Век берет человека за ворот,  
Век велит защищать ему город,  
Он дает ему гордое право  
Воевать, как воюет Варшава.

Поэт оказался способен принять иную, чужую правду. Самойлов использует те же эпитеты, что и Пушкин, но они имеют абсолютно противоположное значение. Новые смысловые ряды создают образ города, который не покорился, хотя его сопротивление безнадежно. Наше время, как пишет поэт, велит человеку вступить в борьбу либо стать рабом. Изменение в оценке стереотипов происходило, по-видимому, постепенно, одновременно с изменениями в сознании и обретением чувства независимости некоторыми поэтами.

Стихотворений русских поэтов, посвященных варшавскому восстанию, было много — одни были лучше, другие хуже. Следует также обратить внимание на область в поэзии, которая, на мой взгляд, предоставляла наибольшую свободу высказывания, а именно — на творчество бардов.

Тексты песен труднее поддаются контролю цензуры, могут существовать разные варианты текста. Творчество Галича и Высоцкого вообще не печаталось, поэтому их слово, записанное на магнитофонную ленту, свободно распространялось. Барды по природе своего творчества не были придворными поэтами, их более или менее открыто выражаемая оппозиционность давала, как мне кажется, чувство внутренней свободы.



Владимир Высоцкий обратился к теме варшавского восстания в стихотворении «Дороги... дороги...» (части II и III). Когда ему первый раз удалось выехать за границу, он проезжал через Польшу. Поначалу в чувствах его героя преобладает радость оттого, что он смог уехать. Он чувствует себя свободным путешественником; разглядывает польскую деревню, и тогда приходит мысль о восстании:

Варшавское восстание кровило,  
Захлебываясь в собственной крови...  
...Дрались худо, бедно ли...  
А наши корпуса —  
В пригороде медлили  
Целых два часа [нам известно, что гораздо дольше. — Я. С].  
Но не забыто это опозданье,  
Коль скоро мы заспорили о нем.

Обвинение достаточно явное: почему мы не помогли сражающемуся городу. Дальнейшая дорога русского через Польшу становится попыткой искупления. Герой отождествляет себя с солдатами, стоящими в Праге, которые хотят идти на помощь Варшаве, жертве политических игр. Восставшая Варшава и Варшава 1970-х гг., через которую проезжает поэт, существуют в «Дорогах...» в разных планах. Первая — в легендарном, как место оскверненное, отмеченное муками, превращающееся в миф. Варшаву нынешнюю, живую, Высоцкий приветствует с симпатией и радостью. В конце оба тона сливаются:

Хитрованская Речь Посполитая,  
Польша панская, Польша битая,  
Не единожды кровью умытая,  
На Восток и на Запад сердитая.

(Текст «Дорог...» скоро попал в Польшу, был переведен Михалом Ягелло и несколько раз издавался.) Высоцкий обыгрывает стереотипы «Польша панская» и «Хитрованская Речь Посполитая». Хотя эти определения противоположны друг другу, но вызывают у него одинаково шутливое отношение. Это и цитата, и одновременно спор с давними стереотипами. Благодаря такой сознательной игре поэту удается дистанцироваться от них.

Для Булата Окуджавы старые стереотипы не существуют. Он любит Варшаву. В стихотворении «Прощание с Польшей» он просит прощения за долгое молчание об общей судьбе и надеждах.

Когда трубач над Краковом возносится с трубою,  
Хватаюсь я за саблю с надеждою в глазах.

То, что Высоцкий скрывал за шуткой, у Окуджавы становится чистым пафосом.

Для русских бардов того времени ключевыми словами были свобода, бунт и правда. Быть может, поэтому они обращались к теме Польши и Варшавского восстания, и это объясняет то, что в их творчестве стереотипы получали иное значение или полностью исчезали.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- <sup>1</sup> *Toporowski M.* Wstęp do Aleksander Puszkina // *Dzieła.* Warszawa, 1967. S. 133.
- <sup>2</sup> *Lednicki W.* O Jeźdźcu Miedzianym. Studium. Warszawa, 1931. S. 112; Pouchkine et la Pologne. A propos de la trilogie antipolonaise de Pouchkine. Paryż, 1928.
- <sup>3</sup> А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 1. С. 130.
- <sup>4</sup> *Walicki A.* Wyzwanie katolickie w myśli rosyjskiej, fragment // *Gazeta Wyborcza.* Na zachód od Moskwy. 2001. № 12–13.
- <sup>5</sup> *Zawodziński K. W.* O orientację w poezji polskiej // *Wśród poetów.* Kraków, 1964. S. 173.
- <sup>6</sup> *Блок А.* Собр. соч. М., 1960. Т. 3. С. 299–300.
- <sup>7</sup> *Бахтин М. М.* Лекции по истории русской литературы // *Бахтин М. М.* Собр. соч. М., 2000. Т. 2. С. 353.
- <sup>8</sup> Переписка председателя Совета министров СССР с президентом США и премьер-министром Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. М., 1957. Т. 1. С. 257.

*Перевод Е. Костюк*

О. В. Цыбенко  
(Москва)

## Мицкевич и поэты русской эмиграции первой волны

---

Мицкевич еще при жизни осознавался в России как вдохновенный поэт-пророк, гений общеславянского и мирового масштаба, его сопоставляли с Гёте и Байроном. Только ради Мицкевича стоит выучить польский язык, считал его почитатель, философ и поэт Владимир Соловьев. Из любви к Мицкевичу овладел польским Иван Бунин, непревзойденный переводчик «Крымских сонетов».

Популярность творчества и личности Мицкевича вопреки всем запретам цензуры возрастала на протяжении всего XIX в. и достигла своего пика на рубеже веков. В начале XX в. в связи с ростом числа публикаций переводов, углублением научного, литературно-критического изучения автора «Пана Тадеуша», а также Ю. Словацкого и З. Красиньского, с возрастанием интереса к Польше и польской проблеме — в русском обществе, особенно в символистских кругах, существовал своего рода культ Мицкевича и других польских романтиков.

Многие выдающиеся поэты и писатели, деятели культуры, почитатели польской поэзии и Мицкевича — К. Бальмонт, И. Бунин, Д. Мережковский, Э. Гиппиус, Д. Философов, В. Иванов, М. Цветаева, В. Ходасевич, И. Северянин — после революции оказались за границей и туда, в русское зарубежье, перенесли свою любовь и интерес к автору «Дзядов».

Покидая Россию в 1920 г., чета Мережковских, Д. Философов, В. Злобин (молодой поэт; секретарь Мережковских) останавливались в Минске, Вильно, встречались там с поляками (в Минске — с генералом Желиговским, в Вильнюсе — со своим старым знакомым Марианом Здзеховским, профессором Виленского университета), готовились выполнить взятую на себя миссию — рассказать о зверствах большевиков, передать потрясение от увиденного и пережитого в Петрограде, надеясь в Польше обрести ту силу, которая свергнет дик-

татуру коммунистов<sup>1</sup>. В обоих городах они сначала выступали с лекцией о большевиках — при огромном стечении народа, затем Мережковский выступал один со своей чисто «польской» лекцией — о Мицкевиче. Такие же выступления состоялись затем в Варшаве. Так начиналось выполнение русской эмиграцией своей посланнической миссии, исторически близким аналогом которой представлялась деятельность великой польской эмиграции.

Ни о каком повторении или тождестве, конечно, не может идти речь, но важно подчеркнуть, что польские романтики являли собой вдохновляющий пример. В деятельности же Мережковского, до революции написавшего статью «Распятый народ. „Славяне“ Мицкевича» (1915), и З. Гиппиус, автора поэтических строк о польской «Голгофе» (стихотворение «Три креста», 1915 г.) многое созвучно разносторонней активности Мицкевича за границей — и в соединении религиозно-нравственных вопросов с общественно-политическими в деле освобождения далекой родины, и сохраненном до конца убеждении в необходимости интервенции в Россию (Мережковский в 1939 г. даже выступил по радио с приветственной речью Гитлеру, пересмотрев свои взгляды только в 1941 г., перед смертью), и в предпринимавшихся личных усилиях вторжению способствовать (встреча Мережковского в 1920 г. с Пилсудским, сотрудничество его и Философова с Б. Савинковым в организации русских отрядов при польских войсках). Мережковский, чуть ли не самый известный и читаемый на Западе из русских эмигрантов писатель, явно примеривался на роль Мицкевича (можно предположить, что и его книга «Наполеон» (1929), где император представлен одним из гениев, связывающих начала и концы всемирной истории, «иною творения тварью, человеком иною космического цикла»<sup>2</sup>, возникла не без влияния польского поэта).

Публицист Д. Философов, близкий друг семьи Мережковских, не уехал вместе с ними в Париж, остался и умер во время оккупации в Варшаве. Он редактировал газеты «Свобода», «За свободу», еженедельник «Меч», органы русской эмигрантской печати, его публикации можно встретить и в польской печати того периода. Философов дружил с польской интеллигенцией, в том числе М. Домбровской, Ю. Чапским, С. Стемповским, Я. Ивашкевичем и др.; как пишет Я. Кульчицкая-Салони, это был единственный русский эмигрант в Варшаве, который органично вошел в польскую культуру<sup>3</sup>. Исследовательский интерес Философова привлекла фигура Мицкевича, он посвятил цикл своих работ неизученному тогда «русскому» периоду его жизни и творчества. Статья «Мицкевич в Одессе и Крыму. На полях труда проф. Ю. Кляйнера о Мицкевиче» (1934) вызвала острые дис-



куссии в польской прессе, в которой приняли участие М. Кридль, Ю. Кржыжановский, М. Домбровская<sup>4</sup>. В другой своей статье Философов отметил ряд моментов, сближающих русского поэта и мыслителя Владимира Соловьева с автором «Дзядов», обоих он назвал вождями, «пророками»<sup>5</sup>.

В немногих уцелевших записях Философова последних лет жизни исследователи обнаружили среди кратких заметок о современных ему политических событиях цитаты из Библии, мистиков и Мицкевича<sup>6</sup>. Нарастающий трагизм мироощущения публициста, его апокалиптические предчувствия объясняют появление польского поэта-пророка в таком контексте: угрожающий миру «восточный деспотизм» и бездуховность западной цивилизации, обличаемые Мицкевичем, ассоциировались в ситуации конца 30-х гг. с большевизмом и нацизмом. Свое мнение о «польском» увлечении Философова высказала Домбровская в своих дневниках: «Он изучает трагедию поляков и историю польского безумия. Ему это необходимо для эмигрантской деятельности. Для веры в то, что такое же точно безумие спасет Россию от большевиков. Мне же кажется, что это вещи несравнимые»<sup>7</sup>.

Аналогия между двумя великими эмиграциями возникла в умах не только литераторов. Общественный деятель, председатель Центрального Пушкинского комитета в Париже В. Маклаков писал в 1929 г.: «Мы здесь почувствовали всю жестокую правду тех слов, которые мы, когда у нас была еще государственность, с каким-то пророческим предвидением оценили у поэта, которого и любил, и переводил Пушкин. Из всего „Пана Тадеуша“ мы знали только его первые строки, которые Мицкевич написал, когда тоже был в эмиграции:

Отчизна милая, подобна ты здоровью,  
Тот истинной к тебе исполнится любовью,  
Кто потерял тебя...

...Мы видели примеры, как государственность исчезала, как народ на полтора века терял свое государство и все-таки воскресал потому, что сумел не потерять своей национальной культуры»<sup>8</sup>.

Много доброжелательных и интересных замечаний о Мицкевиче неслучайно можно найти в заметках, статьях, исследованиях о Пушкине, появляющихся в эмигрантских изданиях — работах юриста С. В. Завадского, архиепископа Анастасия (А. А. Грибановского), В. В. Топор-Рабчинского, историка культуры Е. В. Спекторского, историка литературы Е. В. Аничкова, историка и общественного деятеля П. Н. Милюкова<sup>9</sup>. Внимание авторов прежде всего обращено к той высокой оценке, которую Мицкевич дал русскому поэту в «Некрологе» 1837 г., характеристике, которая во многом опережала мнение о Пушкине, сло-

жившееся не его родине. Подчеркивается «высокая благожелательность», с которой умели относиться друг к другу Мицкевич и Пушкин, несмотря на их резкое расхождение после восстания 1830 г. Уважение к личности, к творческому гению было в конечном счете важнее для обоих, чем племенная вражда.

Взаимоотношения Пушкина и Мицкевича более подробно исследуются в статьях славистов В. А. Францева («Пушкин и польское восстание 1830 и 1831 г.», Пушкинский сборник, Прага, 1929 г.) и К. Ф. Тарановского («Пушкин и Мицкевич», Белградский Пушкинский сборник, Белград, 1937). В этих статьях суммируются и анализируются все накопленные к тому времени русской и польской наукой факты и наблюдения по данной теме. Аргументирован вывод, венчающий, например, статью проф. Тарановского: «В наши дни, спустя столетие, если спросим, кто из них прав, Пушкин или Мицкевич, мы должны будем ответить, что правы были оба, ибо каждый из них любил свое отечество»<sup>10</sup>.

В обширном и новаторском исследовании «Пушкин и музыка. Опыт выявления литературно-музыкальной проблемы» С. Серапина (псевдоним поэта, прозаика, переводчика Сергея Александровича Пинуса), до сей поры мало кому известном, опубликованном в 1926 г. в Софии, есть интереснейшие сопоставительные наблюдения: «...Пушкин не был вдохновенным поэтом в том смысле, в каком был таковым, например, его друг Мицкевич. (В переводе начала «Конрада Валленрода» Пушкин заменил вязкий, тягучий и певучий стих Мицкевича обиходным ямбом; широкую живописную манеру польского поэта с его колористическим богатством — четкой двухтонной гравюрой: но все содержание отрывка, материальное и идейное, сохранено и передано у Пушкина изумительно). Импровизация, свойственная Мицкевичу или Байрону и катившая их стих сплошной рекой, полной огня и красок, мрака и блеска, не была методом творчества Пушкина. Дух Пушкина был с коротким дыханием»<sup>11</sup>.

Глубоко отозвалось творчество Мицкевича в разносторонней деятельности Владислава Ходасевича, поэта, переводчика, критика. До 1917 г. Ходасевич перевел шесть стихотворений Мицкевича и фрагмент I части «Дядюв». Перевод «Чатырдага», считает Святослав Балза, самая большая удача поэта, он, может быть, даже лучше классического бунинского перевода<sup>12</sup>. В 1919–1921 гг. Ходасевич готовил сборник избранных произведений Мицкевича в переводах русских поэтов. Книга не увидела свет в связи с прекращением деятельности издательства. Рукопись предваряет небольшое вступление Ходасевича. Мицкевич здесь назван Пушкиным польской литературы, поэтом народным, национальным. Не только своей поэзией дорог

Мицкевич Польше, считает Ходасевич: «Во всем его творчестве и во всей его жизни находится полное отражение лучших заветов своего страдающего народа». Ходасевич в личности автора «Дзядов» выделяет именно качества борца за свободу родины. А «как писатель он вскрыл высший, религиозный смысл этой борьбы. Его личность — одна из прекраснейших легенд Польши»<sup>13</sup>.

Многократно Ходасевич касается произведений Мицкевича в своих литературно-критических статьях, посвященных русским писателям. В записных книжках, где Ходасевич составляет список русских писателей, пострадавших от власти, коротко и энергично звучат два слова: «Проклятие Мицкевича». Имеется в виду стихотворение «Русским друзьям» из III части «Дзядов», где строки, обращенные к декабристам, напоминают о гибели Рылеева, названного пророком:

Проклятье палачам твоим, пророк народный!

Можно сказать, что имя Мицкевича входит неотъемлемой частью в размышления Ходасевича о судьбе и творчестве русских писателей, начиная с Державина (Ходасевич вспоминает оценку Мицкевичем стихотворения Державина «Христос» как высочайшего создания христианского искусства, хотя и не спешит с ней согласиться) до произведений своих современников (он сопоставляет сложное фабульное построение романа К. Федина «Города и годы» с еще более сложным построением «Конрада Валленрода»).

Особое место творчество и личность Мицкевича занимает в раздумьях Ходасевича о русской литературе в изгнании. Он отмечает, что классическая польская литература, созданная польскими эмигрантами — Мицкевичем, Словацким, Красиньским, послужила завязью для дальнейшего роста национальной литературы. Поднимет ли такое задание русская эмиграция — задает вопрос Ходасевич. Ему кажется, что русской эмигрантской литературе грозит конец потому, что в своей внутренней сущности она оказалась недостаточно эмигрантской: «Для того, чтобы стать политическим эмигрантом, мало покинуть родину... Без возвышенного сознания известной своей миссии, своего посланничества — нет эмиграции, есть толпа беженцев, ищущих родины там, где лучше»<sup>14</sup>.

Эта же мысль присутствует в статье Ходасевича «К столетию „Пана Тадеуша“» (1934). Начало статьи — воспоминания детства. После чтения по утрам молитв пред образом Божьей Матери Остробрамской мать читала совсем маленькому сыну начало «Пана Тадеуша». Дойдя до 72 стиха, мать начинала плакать и отпускала мальчика. Мальчик знал стихи наизусть, многого не понимая в них. Миц-

кевич тесно связался в сознании Ходасевича с молитвой и Польшей, с костелом, с мамиными слезами. Ходасевич замечает в этой же статье, что он «не видел ни Мицкевича, ни Польши, их нельзя увидеть, как Бога, но они там же, где Бог».

Исходя из этих автобиографических признаний, мы видим, насколько глубоко интимно воспринимал Ходасевич Мицкевича, как польский поэт формировал его душу в самом раннем детстве. (Отец Ходасевича был сыном польского эмигранта, а мать — дочерью еврея, принявшего католичество, и воспитана была в семье со строгими польскими католическими традициями.)

Затем Ходасевич дает оценку содержания поэмы «Пан Тадеуш», находя в ней «значительность — музыкального и эмоционального, а не философского характера». Он в ней видит чистую поэзию, требовавшую от Мицкевича лишь чисто поэтического труда, но не душевного и умственного напряжения. Ходасевич предпочитает более тенденциозные произведения Мицкевича. Он действительно слишком «смело», по собственному выражению, предполагает, что Мицкевич в «Пане Тадеуше» «уронил свою лиру». Впрочем, Мицкевич имел право на отдых после написания «Конрада Валленрода», «Дзядов», «Книг народа польского» — произведений, как кажется Ходасевичу, «неизмеримо более насыщенных идейно». Наконец, для Ходасевича важно, что «последующие 22 года жизни Мицкевича были целиком отданы подвигу, неизмеримо более тяжкому, чем только литература». Без осуществления Мицкевичем жизненного подвига «до написания этой поэмы и после нее, сама поэма не вышла бы так прекрасна со стороны чисто литературной».

Ходасевич ценит в Мицкевиче преимущественно активность, пафос борьбы, подчеркивая, что «борьба за политическую свободу славянства стала для него религиозной необходимостью». В конце статьи он призывает повторять за Мицкевичем слова его молитвы: «О неподвластности, целости и свободе родины нашей / Молимся тебе, Господи...» (из «Книг народа польского и польского пилигримства» в переводе Ходасевича).

Поразительно, что автор статьи не увидел патриотического содержания поэмы «Пан Тадеуш», не заметил воплощения в ней многих политических и демократических идеалов Мицкевича. Статья Ходасевича, как уже было сказано, во многом была вызвана его желанием воодушевить русских эмигрантов высоким примером Мицкевича. В литературе русского зарубежья он отмечал устранение писателей от общественной миссии, погружение в ностальгию, истеричность тем и образов, вывезенных из России, «плохую» реакционность, которая боится кризиса и новаторства и которую, по его мне-



нию, надо отличать от «хорошего» консерватизма, понимаемого как сохранение культурной традиции.

В статьях Ходасевича «Литература в изгнании» (1933) и «К столетию «Пана Тадеуша» содержится много интересных положений, необходимых для теоретического, историко-литературного изучения типологически сходных явлений; сам он называет их в ряду «Божественную комедию» Данте, литературу французской эмиграции, еврейскую поэзию, великих польских романтиков, наконец, литературу русского зарубежья.

В ряде публикаций Ходасевич рассматривал проблему взаимоотношений Пушкина и Мицкевича, поэму «Медный всадник» в польском восприятии. Довольно резко высказался он о позиции Мицкевича по отношению к России, впрочем, не публично, а в личном письме к М. О. Гершензону. Сообщая, что читает с женой Словацкого и Мицкевича, он писал: «Сейчас читаем „Dziady“, и я с огорчением вижу, до какой степени у такого большого поэта душа была „заложена“ национализмом, — я иначе не могу выразиться: заложена — как заложен бывает нос: дыхание трудное и короткое. Вся III часть этим обескрылена безнадежно. Чем выспренней ее внешняя поэтичность, тем прозаичнее она внутренне. Если Пушкин читал ее целиком, то, быть может, этот прозаизм должен был рассердить его всего больше, — больше, чем ненависть к России»<sup>15</sup>.

В целом же, «Дзяды», как мы видели, оцениваются русским поэтом очень высоко. Строки из них Ходасевич поставил эпиграфом к своей записной книжке 1918–1919 гг.:

Тому, кто не коснулся земли,  
Никогда не быть в небе!

Более того, в его собственных стихах появляется прямая творческая переключка с этим фрагментом:

Пока вся кровь не выступит из пор,  
Пока не выплачешь земные очи —  
Не станешь духом.

«Ласточка» (1921)

Не случайным, видимо, было обращение к Мицкевичу в годы изгнания и Игоря Северянина, достаточно хорошо знакомого с польской литературой и культурой<sup>16</sup>. Он испытывал потребность заново осознать свою укорененность в русской и мировой культуре. Польского поэта читает возлюбленная лирического героя, к которой он обращается в стихотворении «Солнечный луч» (1926 г., не вошло в прижизненные сборники поэта):

Вместилась в грудь строфа ль Мицкевича,  
 Строфа ль Мюссе вместилась в грудь?

Прямое обращение Северянина к романтической традиции, к поэзии польских изгнанников отразилось в его переводе «Моего завещания» Словацкого («Testament mój») и трех стихотворений Мицкевича — «Над водным простором» («Nad wodą wielką i czystą»), «К одиночеству» («Do samotności»), «Паныч и девушка» («Panicz i dziewczyna») <sup>17</sup>. «Солнечному» по своей природе Северянину, влюбленному в природу, близки оказались следующие, к примеру, строки польского поэта:

Tę wodę widzę dookoła  
 I wszystko wiernie odbijam,  
 I dumne opoki czola  
 I błyskawice powijam.

(«Nad wodą wielką i czystą»)

Вокруг эту воду вижу,  
 В творчестве отображаю.  
 Зрю скалы, что к солнцу ближе,  
 И молнии отгоняю.

(«Над водным простором»)

I za cóż znowu muszę, na kształt  
 ptaka-ryby,  
 Wygrywać się w powietrze słońca  
 szukać okien.

(«Do samotności»)

И, в солнца поисках, зачем я  
 вновь полет  
 Обязан совершать, летающая рыба?

(«К одиночеству»)

И том, и в другом стихотворения значителен «водный» мотив, «прозрачной глубины» озерной, «качаниях в волнах», «игры с волнами». Северянин с детства был влюблен в водную стихию, море, с 1918 г. почти до самой смерти он прожил на берегу прекрасного озера Тойла в Эстонии, которое он воспел во многих стихах (добавим, что озеро и кормило его в прямом смысле этого слова — рыбалка спасала от голода).

Можно утверждать, что поэтические шедевры Мицкевича-изгнанника были близки измученной душе Северянина, оторванного от родины и друзей:

I bez oddechu w górze, bez ciepła  
 na dole  
 Równie jestem wygnaniec w oboim  
 żywiole.

(«Do samotności»)

Без воздуха вверху и без тепла внизу  
 равно изгнанник я — в безбурность  
 и в грозу!

(«К одиночеству»)

Талант Льва Николаевича Гомолицкого (1903–1988), в отличие от Ходасевича и Северянина, раскрылся уже в эмиграции, в Варшаве.

В Польше он был известен после войны исключительно как польский писатель, автор философско-психологических романов, а также ученый-русист, исследователь творчества Пушкина и Мицкевича. Его книги «Mickiewicz wśród Rosjan», «Dziennik pobytu Adama Mickiewicza w Rosji. 1824–1829» явились серьезным вкладом в «мицкевичологию», последняя книга не потеряла своего научного значения до сих пор. Впервые соединила «двух Гомолицких» — русского и польского — проф. Я. Кульчицкая-Салони в статье 1995 г. «Предвоенное и послевоенное творчество Леона Гомолицкого»<sup>18</sup>. Гомолицкий родился в польско-русской семье, детство и отрочество провел в Петербурге, затем окончил русскую классическую гимназию на Волыни, в г. Острог. В 1921 г. этот город оказался в границах независимой Польши. В 1931 г. в поисках работы он приехал в Варшаву, где занимался тяжелым физическим трудом. Гомолицкий часто выступал с критическими статьями и рецензиями в еженедельнике «Меч», был секретарем Союза Русских писателей и журналистов в Польше, секретарем Пушкинского комитета в Варшаве, помещал статьи и в польских журналах.

В рецензии, опубликованной в «Мече», на блестящие переводы Тувимом лирики Пушкина, составившие книгу «Лютня Пушкина» (1937), сопоставляются переводческие принципы Мицкевича и Тувима, которые были, конечно, различны. Лев Гомолицкий начал печатать стихи на русском языке в 1918 г., издавался до 1938 г. Всего известны восемь его поэтических сборников, не считая отдельных стихов и фрагментов в русской эмигрантской периодике. Все они издавались мизерными тиражами, экземпляры которых можно обнаружить в университетской библиотеке в Варшаве.

Наиболее интересным поэтическим опытом Гомолицкого можно считать поэму «Варшава» (1934), одна из шести главков которой помещена в антологии Я. Орловского «Miecze i gałązki oliwne» (1995), где составитель дает ей высокую оценку — как одному «из самых интересных произведений в русской поэзии о Польше, хотя и совершенно забытому». В России поэма вошла в небольшой сборник «Венок Пушкину» (1994 г., составитель М. Д. Филин) и осталась, увы, совсем незамеченной.

«Варшава» выдвинула Гомолицкого в первый ряд русских эмигрантских поэтов, ее высоко оценил такой известный в русском зарубежье исследователь литературы, критик и организатор поэтической молодежи, как А. Л. Бем, он назвал поэму «событием не только в поэтическом росте Гомолицкого, но, до известной меры, и во всей эмигрантской поэзии»<sup>19</sup>.

Позднее сам автор так характеризовал свое произведение: «это коллаж мотивов, ключевых для исторического момента: «Медный

всадник» Пушкина (переведенный тогда Тувимом и так новаторски сопоставленный с Достоевским Альфредом Бемом), «Возмездие» Блока (который перенес на территорию Варшавы пушкинские мотивы), «Первое свидание» Белого (включающее автобиографический мотив) и «Ноябрьская ночь»<sup>20</sup> (эти памятники Варшавы, Лазенки), привислянский песок, возимый тачками на строительство<sup>21</sup>, а как контраст — классический рай парка в Лазенках, следы шагов Блока, оставленные на варшавских улицах, бронзовый Понятовский как персонафицированная история, преследующий маленького человека, который в исторической буре жаждет вдоха, дома с маленькой буквы»<sup>22</sup>.

Кроме названных авторов, отчетливо у Гомолицкого обращение и к традициям Мицкевича, прежде всего к «Отрывку» из III части поэмы «Дяды». Ассоциации возникают как опосредованно — через «Медного всадника» Пушкина, который вступил в «блистательную полемику» (Ходасевич) с автором «Дядов», так и непосредственно — в жестких, мрачных, гротескных описаниях «чугунного» памятника Юзефу Понятовскому (польскому аналогу русского «кумира» на бронзовом коне).

В идейном плане наиболее интересно то, что нового вносит Гомолицкий в начатый Мицкевичем и Пушкиным, продолженный Блоком русско-польский диалог, длящийся больше ста лет — вопреки разделяющим временным и пространственным границам.

«Идея связать Мицкевича и Пушкина при помощи посредствующего звена — Блока, уже вступившего своим «Возмездием» на польскую почву, — писал Альфред Бем в своем отклике на поэму «Варшава» в 1936 г., — представляет собой в истории русской литературы такую страницу, к которой, вероятно, еще придется вернуться»<sup>23</sup>.

Представляется, что и сейчас, спустя почти 70 лет со времени написания поэмы, немного найдется таких произведений, где так органично, творчески плодотворно, соединились бы традиции Мицкевича и Пушкина в осмыслении катастрофической реальности XX в., затрагивались бы при этом самые острые моменты напряженных польско-русских отношений.

Переключка с предшественниками намечена уже в эпитафиях: к двум из шести главок они взяты из «Медного всадника», к одной — из Блока, еще к одной — из Мицкевича. Последний дается по-польски:

Wszystkie te miasta jakieś bóstwo wzniosło,  
Jakiś obrońca, lub jakieś rzemiosło.

Гомолицкий таким образом напоминает мысль польского романтика об «органическом» возникновении городов, тогда как Петербург, по мысли автора «Дядов», лишен собственного мифа, построен



«насильственно», по деспотическому повелению русского императора. Содержание самой (второй по счету) главки — описание Варшавы, попытка вникнуть в ее душу; за рекламным шумом, пением разносчиков газет, визгом машин расслышать ее «историческую тишь». Символы столицы и самой Польши — «дума» Коперника, «скорбь» Шопена, воплощенные в их знаменитых скульптурных изображениях:

Но узнаю тебя, Варшава,  
По скорби каменной твоей,  
По думе пламенной и гневной  
В крутых Коперника бровях,  
По скорби, веющей напевно  
В Шопена вздыбленных кудрях.

О том, что лучшей легендой Польши стал Мицкевич, о его призыве к мести, пророчестве о «рухнувшем каскаде тирании», застывшей гранитной глыбе (окончание стихотворения «Памятник Петру Первому»), напоминают следующие за описанием памятников строки:

От листьев золотого шума,  
От побрякушки сфер пустых  
Их отвлекает гневно дума,  
Пророчеств вещей мстящий стих.

Польша обрела независимость, но полуторавековое притеснение наложило свой отпечаток на национальное самосознание:

Пусть ныне узы разрешились  
Над торжествующей страной —  
Навеки лица исказились  
Той изнуряющей мечтой.

К описаниям двух памятников — Копернику и Шопену, воплотивших безусловно мировую славу Польши, присоединяется описание третьего — национальному герою поляков, борцу за освобождение страны, участнику наполеоновских походов — князю Юзефу Понятовскому. Его конное изображение играет в поэме Гомолицкого роль Медного всадника, преследующего «маленького человека», русского изгнанника, выброшенного волной войны и революции на варшавские мостовые. Лирический герой ощущает себя «бедным Евгением», смытым «великим наводнением» на берега чужие, он оказался в Варшаве в положении «ни господина, ни раба в цепях», а бездомного и голодного странника, который таскает тачками привислянский песок для стройки. «Наводнением» разрушен его «дом», в переносном

смысле — Россия, и в буквальном тоже. Если учесть, что одним из «параллельных заданий» (выражение Ходасевича) Пушкина в «Медном всаднике» было показать в «мятежном» Евгении бунтующую Польшу, то в идейно-фабульной схеме поэмы «Варшава» мы увидим зеркально отраженную формулу Пушкина: место русского императора занимает польский князь и генерал, а место угнетенной Польши — «униженный изгнанник».

Кульминационный момент пушкинской поэмы — прямое столкновение «маленького человека» с памятником — пересмотрен Гомолицким принципиально. Его герой не бросает угрозу «Ужо тебе», он не хочет быть втянутым в бесконечную цепь обид и мщений. В диалог с мчащимся Понятовским вступает не герой, а две тени — два его деда. Их появление безусловно напоминает об обряде поминовения предков, общении с их духами, который лег в основу «Дзядов». Один дед, польский повстанец, чей прах покоится в Сибири, выражает «вождю» горький упрек. А второй дед, который при мундире и в орденах спит на варшавском кладбище на Воле, «чугунным видом восхищен».

Герою поэмы дороги его предки, но он не разделяет позиции ни того, ни другого. Он заявляет, что с него «возмездье снято». Тем самым Гомолицкий зеркально переворачивает незавершенный замысел блоковского «Возмездия»: у героя «Варшавы» — польские предки, тем самым он уподоблен «сыну» из поэмы Блока, чья судьба только намечена в предисловии, который рождается от русского (фигура автобиографическая, воплотившая метания самого автора «Незнакомки») и матери-польки, он растет и повторяет за ней слова протеста, мечтает о героической гибели в борьбе за свободу.

Герой Гомолицкого не хочет отдавать свою бездомность и творческую свободу, свою жажду дома с маленькой буквы ни за какое торжество. В жутком, фантастическом сновидении ему предстает вся планета Земля, залитая чугуном, на пьедестале не царь, не вождь, а Евгений — «черты застывшие страшны». Безусловно прав польский исследователь Я. Орловский, отметивший мотив угрозы, исходящей, в представлении Гомолицкого, от культа Пилсудского<sup>24</sup> (описывается, как он принимает парад — здесь возможна переключка со стихотворением «Смотр войск» из «Отрывка» III части поэмы «Дзяды»). Но символика заключительных строф «Варшавы», возникающая аналогия массы «торжествующих Евгениев» с большевистской Россией (кто был никем, тот стал всем) и с надвигающейся фашистской угрозой представляется более значительной в идейном плане поэмы, более впечатляющей. Космическую, апокалиптическую образность окончания произведения можно прочесть как предчувствие автором

будущей потери поляками их общего дома — Польши, морального потрясения, пережитого народами Европы во время второй мировой войны, краха гуманизма.

«Повторив судьбу» Евгения, герой «Варшавы», «преодолевший месть», «исцеленный ум» хочет

В веках остаться человеком —  
Простым евгениевым я.

Окончание поэмы не в духе Мицкевича и не в духе Блока, писавшего «Возмездие» в пору духовного кризиса, а в духе Пушкина и в духе Блока — автора речи о Пушкине. Автор призывает героя к обретению «смиренной радости», «святой легкости», Евгений из «серой тени», «призрака» преобразуется в «веселую тень», в чем, безусловно, угадываются слова Блока — «веселое имя: Пушкин».

Смелый синтез в поэме идейно-художественных традиций Мицкевича, Пушкина, Блока, попытка примирить веками враждовавшие народы в гармонии «вымысла» и воображения заслуживают быть отмеченными.

Можно утверждать, что культ Мицкевича, мифологизация его личности и творчества, проявившиеся преимущественно в культуре и общественном сознании России в конце XIX — начале XX в., продолжали играть важную роль в литературной и духовной жизни русских эмигрантов первой волны. Создаются новые переводы его произведений, продолжается научно-критическое изучение его наследия, связей автора «Пана Тадеуша» с русскими писателями. Если же говорить о поэтическом творчестве *sensu stricto*, то следует отметить, что русские поэты вдохновлялись мотивами, образами польского поэта.

Все это не могло не влиять на создание в русском сознании привлекательного образа славянского соседа, духовно богатого и героического, так как народ надо судить по его идеалам, по тому, в чем он сам видит правду и красоту, а польские представления с наибольшей силой воплотились в Мицкевиче. Новое, что привнесло русское зарубежье в восприятие поляка и Польши, — это не только горячее сочувствие ее трагической судьбе, которое не было исключением и раньше, но и основанная на тяжком опыте собственного изгнания возможность видеть в великих польских романтиках вдохновляющий пример, духовную поддержку в выполнении своей миссии.

То «новое», что открывается с обратной перспективы, с точки зрения послевоенного советского периода освоения творчества Мицкевича, когда польский классик был безусловно канонизирован, причем в массовом сознании, — это высоко ценимое русскими эмигрантами религиозное основание деятельности и творчества Мицке-

вича (они, хоть и в разной степени, но все-таки были верующими людьми, по крайней мере, воспитанными в вере), что наиболее отчетливо проявилось в суждениях Ходасевича.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 «Польша одна боролась против большевиков. Мы должны были быть с Польшей», — писала Э. Гиппиус. См.: *Гиппиус Э.* Дмитрий Мережковский. Глава «Польша 20-года» // *Гиппиус Э.* Живые лица. Воспоминания. Тбилиси, 1991. С. 318.
- 2 Цит. по: Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. М., 1999. Т. 4. С. 25.
- 3 *Kulczycka-Saloni J.* Z dziejów literackiej emigracji rosyjskiej w Warszawie dwudziestolecia // *Przegląd Humanistyczny.* 1993. № 1. S. 7–8.
- 4 Ibid.
- 5 *Философов Д.* Владимир Соловьев // За свободу. Варшава. 1925. 12 января.
- 6 См.: *Stanislawski W.* Warszawski Rosjanin // *Twórczość.* 1996. № 4. S. 164.
- 7 *Dąbrowska M.* Dzienniki. Warszawa, 1988. Т. 1. S. 227.
- 8 *Маклаков В.* Русская культура и Пушкин // Современные записки. Париж, 1929. № 29. Цит. по: «В краю чужом...». М., 1998. С. 73,75.
- 9 См. там же, а также: Заветы Пушкина. Из наследия первой эмиграции. М., 1998; *Милоков П.* Живой Пушкин. М., 1997; Образ совершенства. Из наследия первой эмиграции. М., 1999.
- 10 Образ совершенства. С. 149.
- 11 Заветы Пушкина. С. 68–69.
- 12 *Бэлза С.* К истории русских переводов Мицкевича // Советское славяноведение. 1970. № 6. С. 68.
- 13 Там же.
- 14 *Ходасевич В.* Собр. соч.: В 4 т. М., 1996. Т. 2. С. 259.
- 15 *Ходасевич В.* Указ. соч. М., 1997. Т. 4. С. 482–483.
- 16 См. об этом: *Цыбенко О. В.* Русские поэты Серебряного века о польской культуре (Игорь Северянин) // Поляки и русские в глазах друг друга. М., 2000. С. 204–216.
- 17 *Северянин Игорь.* Соч.: В 5 т. СПб., 1996. Т. 4. С. 285–290.
- 18 *Przegląd Humanistyczny.* 1995. № 4.
- 19 *Бем А. Л.* «Вскипевшая жизнь эмигранта». О стихах Льва Гомолицкого // Меч. 1936. № 24. 14 июня.



- <sup>20</sup> Драма С. Выспяньского.
- <sup>21</sup> Занятие главного героя поэмы — alter ego автора.
- <sup>22</sup> *Gomolicki L.* Horoskop. Warszawa, 1981. S. 69.
- <sup>23</sup> *Бем А. Л.* Указ. соч.
- <sup>24</sup> *Orłowski I.* Polska w zwierciadle poezji rosyjskiej // *Miecze i gałązki oliwne.* Warszawa, 1995. S. 35–36.

С. Ф. Мусиенко  
(Гродно)

## М. Домбровская и А. П. Чехов

---

В оценках М. Домбровской русской литературы всегда присутствовали два противоречивых фактора. Первый — ассоциировался с политической русификацией, запретом польского языка, участием Российской империи в разделах Польши, подавлением восстаний 1831 и 1863 гг. Второй — проявлялся в сфере эстетической, творческой и связывался с естественным интересом к русской культуре, оказавшей влияние на развитие других, тем более близких, славянских. Эти противоречия воздействовали на социально-политическую, национальную, литературно-культурную сферы жизни общества и личные судьбы людей.

Становление творчества Домбровской происходило на рубеже XIX–XX в., в период активизации борьбы за независимость Польши, особенно в годы революции 1905 г., и борьбы за свободу слова и право учиться на родном языке. Это привлекало к революционному движению интеллигенцию и даже школьную молодежь, среди которой оказалась и будущая писательница Мария Домбровская, принявшая участие в одной из самых значительных школьных забастовок 1905 г., проходившей под лозунгами протеста против русификации школы.

Как свидетельствуют творчество Домбровской, дневники и документальные источники, писательница прекрасно знала русский язык и литературу, причем эти знания она получила не только в пансионе Паулины Гельвеке, но и вынесла их из более раннего домашнего обучения. Еще в подростковом возрасте Домбровская читала и любила русскую литературу, но эта любовь в ее сознании переплеталась с ненавистью к русификации и национальному угнетению Польши. Подобную сложную драму в 1932 г. она воспроизвела в романе «Ночи и дни», показав душевное состояние его героини Агнешки Нехциц, во многом *alter ego* самой писательницы.

Агнешку «влекло к русским книгам, — писала Домбровская, — от этих произведений исходило непреодолимое очарование». Их персо-

нажи «были, как живые, они проникали в душу, обступали ее, словно близкие знакомые, и, казалось, спрашивали: „За что ты нас ненавидишь?“». Состояние души героини в моменты чтения русских книг Домбровская определила как «страшную темную... трагедию разлада между людьми»<sup>1</sup>. Существовал, однако, и другого рода разлад в отношении к русской литературе. В большинстве прижизненных публикаций Домбровской русские писатели упоминались или положительно, или «нейтрально», т. е. без эмоциональной окраски. Принципиальную разницу представлял «Дневник» писательницы, публикация которого началась почти через двадцать лет после смерти автора.

Достаточно вспомнить появившееся в 1954 г. эссе Домбровской «Варшава нашей юности»<sup>2</sup>, в котором писательница воспроизводит атмосферу в варшавском пансионате, где она сама училась. Обращает внимание тот факт, что среди учащихся (и это подчеркивалось автором) существовало разделение учениц не по национальному признаку, а по уровню их развития и знаниям, или, как писала Домбровская, девочек делили на «интеллектуальных и способных» и «тупиц и придурков». С симпатией вспоминался и учитель русского языка и литературы Бородько, которого они звали «порядочным москалем» и «красным революционером». Иначе выглядел учитель-русист в «Ночах и днях»: «огромный толстый блондин», «с мутными глазами и апоплексической шеей», который «издевается над ученицами из бедных семей»<sup>3</sup> и т. д. И все же, несмотря на отрицательное отношение к русским, Домбровская с самого начала писательской деятельности довольно активно использовала художественный опыт русской литературы в своем творчестве. В дневнике писательницы называются десятки имен ее представителей, среди которых наиболее часто упоминаются А. П. Чехов (50 раз) и Л. Н. Толстой (32 раза).

Следует учесть, что о творчестве самого Чехова Домбровская писала с восхищением и лишь дважды упрекнула его в своем «Дневнике» в мрачном и пессимистичном показе жизни. Оба упрека относятся к 1951 г. Первый — высказан в контексте общей оценки русской литературы, которая, как считала писательница, изображает поляков с ненавистью. «Известную ненависть всей русской литературы (не исключая прогрессивной) к полякам и симпатию польской литературы к русским нельзя отрицать... даже такой сочувствующий всем обиженным Чехов не смог удержаться от язвительного (курсив мой. — С. М.) изображения Варшавы и поляков в рассказе «Палата № 6»<sup>4</sup>.

Зная отношение Домбровской к русской литературе, можно было бы эту запись оставить без комментария, если бы не упоминание писательницы о книге Вацлава Ледницкого «Quelques aspects du nacio-

nalisme et du christianisme chez Tolstoi. Les variations tolstoïennes à l'égard de la Pologne», изданной еще в 1935 г. и имевшей явную антирусскую направленность. Домбровская же использовала ее материалы для доклада о Толстом, который она сделала на юбилейной сессии в ПЕН-клубе 16 мая 1951 г. Об этом читаем в «Дневнике» писательницы: «Мне очень помогла книга Вацлава Ледницкого на эту тему и на него я главным образом опиралась. У него много соответствующих цитат, что позволило мне не тратить времени на поиски их в произведениях Толстого... я заметила, что в зале (впервые в ПЕН-клубе) установлено радио. Чего только не делается для русской литературы!»<sup>5</sup>.

Язвительность Домбровской не исчерпывалась этим ироническим восклицанием в «Дневнике», поскольку успех своего доклада о Толстом она объясняет прежде всего тем, что в качестве доказательства «недоброжелательного» отношения русских писателей к полякам привела в пример «Палату № 6» Чехова. Варшавский эпизод в этом произведении очень короток и ничем не определяет отрицательного отношения русских, а тем более Чехова к полякам.

«У Андрея Ефимыча не хватило характера, — читаем в „Палате № 6“, — настоять на своем, и он, скрепя сердце, поехал в Варшаву. Тут он не выходил из номера, лежал на диване и злился на себя, на друга и на лакеев, которые упорно отказывались понимать *по-русски*» (курсив мой. — С. М.).

Можно ли считать упоминание о том, что лакеи отказывались понимать русскую речь, проявлением ненависти к полякам? Видимо, нет. Продолжением варшавского эпизода было посещение другом героя — почтмейстером Михаилом Аверьянычем игорного притона, закончившегося для него проигрышем 500 рублей. Здесь нет даже намек на польский национальный фактор. Михаил Аверьяныч, наоборот, отзывался о Варшаве с восхищением, но проклинал шулеров-игроков, называя их «мошенниками» и «австрийскими шпионами»<sup>6</sup>.

Эти беспочвенно недружелюбные и замечания в адрес Чехова Домбровская высказала в период своей работы над переводами произведений русского писателя. Она великолепно перевела тринадцать новелл Чехова, которые она считала наиболее трудными: «Агафья», «Бабы», «Ванька», «Ведьма», «Душечка», «Нытье», «Попрыгунья», «Спать хочется», «Тоска», «Убийство», «Хористка», «Палата № 6», «Моя жизнь». За период этой работы Домбровская не только по-настоящему узнала, но и высоко оценила творчество Чехова. От-

\* «Некоторые аспекты национализма и христианства у Толстого. Вариации толстовства во взгляде на Польшу».



метим, что в «Дневнике» есть разночтение в определении автором времени работы над переводами Чехова. Согласно записям Домбровской, начало ее относится к 31 декабря 1950 г., конец — к 1954 г. Однако писательница отметила, что она занималась переводами Чехова в течение 12 лет<sup>7</sup>. Видимо, в этом случае вспоминаются годы, когда она помогала своему другу Станиславу Стемповскому, буквально влюбленному в творчество Чехова и довольно долго занимавшемуся переводами его произведений.

Двухтомник произведений русского писателя на польском языке был издан в 1954 г. Начинаясь же история с переводами несколько необычно. В предновогодний вечер (31/XII.1950) она пишет: «Госпожа Модзелевская... прислала мне письмо-экспресс с просьбой, чтобы я перевела двухтомник избранных произведений Чехова... я согласилась перевести несколько рассказов по ее усмотрению. Она выбрала 13 самых трудных для перевода, твердя, что только я смогу это сделать. Я дала согласие по прочтении этих рассказов. Кроме „Душечки“, я ни одного из них не знала, но все они мне очень понравились»<sup>8</sup>.

В период работы над переводами Домбровская ссылается на Чехова очень часто, причем не только в связи с проблемами литературы. Творческие принципы Чехова, созданные им литературные модели, были, по мнению писательницы, чрезвычайно актуальны в польской и советской действительности 50-х гг. Однако по окончании переводов она записывает в «Дневнике» от 23 июня 1951 г.: «В 9.15 вечера полностью закончила с переписыванием Чехова. [...] Вдохнула с облегчением и сказала себе: never more\*. Никогда больше ни переводить, ни читать эту мрачную литературу я не буду»<sup>9</sup>.

Запись подобна приговору не только Чехову, но и всей русской литературе. Но этот приговор не был окончательным, о чем свидетельствуют дальнейшие записи «Дневника»<sup>10</sup>.

Домбровская читала русских писателей в оригинале и с творчеством Чехова была, видимо, знакома еще с юности — оно входило в программу по русской литературе, обязательно изучавшейся в польских гимназиях и лицеях начала XX в. Однако первая запись о нем в «Дневнике» Домбровской относится только к 1929 г. в связи с гастролями в Варшаве МХАТа: «Играли Чехова „Вишневый сад“. Мне очень понравилось. Я больше поняла характер России, смотря пьесу, чем из чтения всех русских книг. Чехов достигает мимо воли, естественно то настроение, к которому сознательно и безуспешно стремился Метерлинк. Потому, что в его творчестве есть необходимое реалистическое основание»<sup>11</sup>.

\* никогда больше.

О «Вишневом саде» и драмах Чехова Домбровская писала неоднократно, но уже в период после Второй мировой войны, когда гастроли русских театров в Варшаву становились более частыми. В то же время пьесы современных драматургов оценивались ею довольно критически. В мае 1949 г. после встречи с труппой театра (названного в «Дневнике» «плохим»), игравшего пьесу В. Гусева «Весна в Москве», она записала свои впечатления об известном актере Ханове, который, как отметила Домбровская, продемонстрировал замечательное знание творчества Чехова и Тургенева<sup>12</sup>.

... Порой короткие ремарки о Чехове разрастаются у Домбровской в обширные размышления, превращая дневниковые записи в эстетические, социально-политические и нравственно-этические эссе. В 1953 г. «Польский театр» поставил пьесу Чехова «Дядя Ваня» (в переводе А. Сандауэра). От записи впечатлений о спектакле, который публика восприняла как всего лишь «неудачный фарс», Домбровская переходит к пространным рассуждениям о значении творчества Чехова и о том, что современный (т. е. 50-х гг.) зритель «не в состоянии оценить» ни «художественного изящества», «ни деликатности мыслей» русского писателя. Много внимания уделялось и игре актеров, из которых, как считает писательница, только двое поняли замысел пьесы. «Ружицкий, экс-любовник, старый актер, играющий роль профессора, шутовского полубога, и Малевичувна, которая играла роль почти немой старухи Войницкой... В каждом жесте, и даже в неподвижной позе она была великой актрисой»<sup>13</sup>.

В блестящий сатирический этюд с явно политическими аллюзиями и искрометными юмористическими портретными характеристиками превратилась дневниковая запись Домбровской о собрании литераторов в ПЕН-клубе по случаю доклада Натальи Модзелевской, жены министра иностранных дел ПНР, «О новой интерпретации драматургии Чехова». «Доклад как доклад, — пишет Домбровская. — Много весьма пожилых дам и не менее почтенных господ. Среди них Колонецкий, Шифман, Майенсбергер — о Боже, когда же эти молодые люди успели превратиться в таких старцев! Пани Наталья в старательно продуманном убранстве выглядела величаво, но, бедняга, и она надевала очки». Несмотря на иронические замечания в адрес докладчицы, Домбровская отметила в докладе «новизну некоторых фактов, неизвестных польской публике». Например, факт полемики между Чеховым и МХАТом, хотя и считалось общепринятым, что именно МХАТ «правильно интерпретирует Чехова» и что «польским театрам далеко до него». Анализ же концепции чеховского героя в действительности выглядел шаржем: «...положительные герои Чехова, — читаем запись от 8.III.1951. — не такие уж положи-

тельные и не следует их противопоставлять отрицательным... Начали разносить кофе, вместо дискуссии поднялся страшный визг, преимущественно женский»<sup>14</sup>.

Особое внимание Домбровская обратила на одноактную пьесу Чехова «Медведь», поставленную в Национальном Театре (Teatr Narodowy). Писательница сумела создать яркую новеллу, в которой воспроизвела атмосферу в театре, проанализировала игру актеров и раскритиковала рецензентку З. Карчевскую-Маркевич, не понявшую, по мнению Домбровской, произведения. Писательница противопоставила ей не только собственное видение пьесы, но высказала восхищение психологическим мастерством Чехова. Прочитывая «банальные высказывания» рецензентки, Домбровская возражает: «Нет, здесь речь идет не о „ветреном существе“, а о возникновении любви из чувств, противоречивших ей — из сильного гнева и злости. И в этом изображении чувств... Чехов показался мне очень современным и очень актуальным»<sup>15</sup>.

О драмах Чехова в последний раз Домбровская вспоминала 14 августа 1964 г. «...Каким же заслуженным является нынешнее возрождение Чехова, — писала она в „Дневнике“, — и насколько глубоким предвестником современного искусства он является — не говоря о том, что и Манн многим ему обязан... И как для современников разрастается его театр! До недавнего времени были известны только: „Три сестры“ (и то недооцененные), „Дядя Ваня“ и „Вишневый сад“»<sup>16</sup>.

В популяризации Чехова в Польше несомненную роль сыграли переводы его произведений, сделанные Домбровской. При этом она понимала влияние творчества Чехова на литературный процесс XX в., сопоставляя с его произведениями и свое творчество, и творчество других польских писателей. Знаменательно, что писала она об этом уже в зрелые годы, проявляя строгость и критическое отношение и к себе, и к своим коллегам. Замечания Домбровской в таких случаях хоть и были порой язвительны, но отличались точностью, убедительностью и обоснованностью.

Одной из первых в этом ряду оказалась Ванда Мельцер, претендовавшая на «авангардность» в своей новелле «Съезд». В ней отразилось реальное событие — первый послевоенный съезд польских писателей, проходивший в Кракове с 30 августа по 2 сентября 1945 г. В. Мельцер считала, что она использовала новый художественный прием «повествования без героя», повествования, в котором «действующим персонажем является общность». Домбровская дает такой иронический комментарий: «Прием литературно интересен, и с его помощью можно достигнуть хороших художественных результатов. Однако он не является таким уж новым. В русской литературе (Щед-

рин; Чехов) есть много произведений, героем которых есть само событие, участвующая в нем часть общности, либо кусок безличной реальности»<sup>17</sup>. Важен здесь не столько деликатный упрек В. Мельцер в художественном плагиате, сколько емкое определение существенной черты творчества Чехова.

С традициями Чехова в области малых прозаических форм Домбровская связывает и новеллистику Я. Ивашкевича, в частности его рассказ «Барсук», который в «Дневнике» назван шедевром и по своим художественным достоинствам, и потому, что автор в нем отступает от канонов социалистического реализма<sup>18</sup>.

Связанная с Чеховым запись от 8 февраля 1960 г. представляет особую значимость. В ней проявились огромные знания Домбровской мировой и отечественной литературы, оригинальность суждений о ней; свежесть мыслей и художественное мастерство писательницы. Отличающаяся проблемно-логической завершенностью запись имеет форму философско-литературоведческого эссе и вмещает огромный фактический материал от времен французского Средневековья (творчество Франсуа Вийона) до новейших явлений мировой литературы начала 50-х гг. XX в. (неороман, театр абсурда). В русле использования традиций Чехова и мировоззренческих концепций личности и общества Достоевского Домбровская анализирует психологическую прозу трех молодых польских писателей — Станислава Стануха, Александра Минковского, Владзимежа Одоевского.

Фоном для рассуждений о художественной значимости прозы представителей молодого поколения послужили размышления писательницы о литературном процессе в его историческом развитии. Следует учесть, что Домбровская в этом случае и сама использовала новейший прием концентрации огромного материала в микрообъеме (3 страницы печатного текста обычного книжного формата). В этой дневниковой записи упоминаются фамилии 26 писателей различных эпох и национальных литератур, более десятка художественных произведений и основные литературные направления нескольких столетий.

Свое увлечение творчеством Чехова Домбровская относит к периоду своей собственной зрелости, хотя произведения русского писателя в оригинале и в переводах имели довольно широкое хождение в Польше еще с начала XX в. и его влияние весьма заметно проявилось и в раннем творчестве Домбровской. Правда, сама писательница называет это «творческим родством».

«Что касается меня, — пишет она 14 августа 1964 г., — то, переводя в течение 12 лет рассказы Чехова, я заметила большое родство его со мной, и если бы я знала о нем раньше, чем началось мое творчест-



во, то, возможно, не осмелилась бы писать сама»<sup>19</sup>. Исходя из сказанного можно отметить, что более высокой оценки в «Дневнике» Домбровской не удостоился ни один из деятелей мировой и польской литературы.

В литературной критике творчество Домбровской чаще всего сравнивалось с творчеством А. Мицкевича и Л. Толстого. Правда, в этих случаях речь шла о романе «Ночи и дни». Однако в наследии Домбровской все же преобладает новеллистика, в которой писательница достигла высокого художественного мастерства. Это дало основание критикам отметить сходство творческой манеры Домбровской с Тургеневым и Чеховым<sup>20</sup>. Об этом писала и сама писательница: «Творчество мое — не ново. Оно опирается на традиции XIX века, проза которого прекрасно связывала личную жизнь персонажей с жизнью общества»<sup>21</sup>.

О сходстве стиля Домбровской и Чехова писал известный польский лингвист Зенон Клеменевич, который проанализировал структуру и разновидности предложений в произведениях писательницы. На основании исследованных ученым 1736 фразеологических оборотов, взятых из произведений Домбровской, он сделал заключение о своеобразии построения предложения в ее прозе и стилистическом мастерстве писательницы. Исходя из того, что у Домбровской 39,7% простых предложений и только 12,2% — сложносочиненных<sup>22</sup>, он пришел к выводу о «прозрачности», «ясности» и «экономности» стиля Домбровской, а, значит, и близости писательницы к традициям Чехова, проявившимся не только в ее новеллистике, но и в романе «Приключения мыслящего человека», который имеет «кадровую» или калейдоскопическую конструкцию.

Что же касается традиций, существует множество способов их использования: осознанно-творческий, осознанно-эпигонский и неосознанный, идущий от вдохновения и от подсознания творца. По сути, об этом пишет и Домбровская, показывая «участие» писателей прошлого, и Чехова в том числе, в ее творческом процессе. В одном из писем Домбровская замечает: «Ночью с залива доносился шелест, похожий на шуршание метлы, подметающей водосточную канаву». Позднее, читая роман Грема Грина «Министерство страха», она находит в нем похожее сравнение: «Звук метлы, подметавшей стекло на улице города, напоминал Грину шелест успокоившегося моря». Писательница приходит к выводу о неосознанном использовании опыта литературы прошлых эпох: «Сколько раз я что-либо пишу с убеждением, что это „создается“, видится, слышится, ощущается впервые в мире. А оказывается, что кто-то другой уже написал это. А, возможно, и сто других. Я думаю, что и самые гениальные писатели не

защищены от подобных неожиданностей. Что касается меня, то я уже имела это с Прустом, с Манном, с Чеховым»<sup>23</sup>.

В «Дневниках» Домбровской проявился еще один, весьма своеобразный аспект ее глубинной связи с творчеством Чехова. В ее записях, особенно после 1945 г., для анализа (чаще критического) польской, а порой и советской действительности 50–60-х гг. широко используются образы и сюжетные ситуации из произведений Чехова. Это свидетельствует не только о глубине ее знаний творчества русского писателя, но и об ощущении ею художественной реальности произведений Чехова. В данном случае можно говорить о том, что творчество Чехова стало фактом польской культуры, в какой-то мере определяющим социально-этический менталитет польской интеллигенции.

Переводя рассказ А. Чехова «Палата № 6», Домбровская записывает: «Если кто-либо провозглашает политику мира, одновременно с оскаленными зубами пропагандируя классовую борьбу и социальную революцию, возможно, гражданскую войну, то в этом есть что-то кошмарно лживое. Эти явления одного ряда и сорта. Надменность, ложь и террор (существенные и опознавательные черты всякого узурпаторства) должны потерять теперешних кандидатов. Нынешнее положение вещей является реализацией старозаветной башни Вавель. Эта извечная иудейская книга навсегда останется выдающейся литературой мира.

Англосаксы грешат теми самыми преступлениями, что и Россия. Но, может быть, только среди преступлений история совершает свои прыжки вперед»<sup>24</sup>.

Приведенный фрагмент дневниковой записи служит примером не только политической аллюзии, связанной с СССР в период «холодной войны»; есть в нем и политическое предвидение: возможность наказания (как предсказывает Библия) за стремление к мировому господству.

Личная трагедия врача Андрея Ефимыча («Палата № 6») ассоциируется в «Дневнике» Домбровской и со сталинскими концлагерями, в сравнении с которыми польский лагерь для политзаключенных Береза Картузская выглядит всего лишь эпизодом политического насилия. Писательница воспроизводит один из моментов жизни бывшего воеводы и депутата сейма Леонарда Борковича, который отсидел длительный срок в Березе и «рассказывал о ней так, как сделали бы это Чехов и Достоевский». «Что же это была за Береза, — пишет она. — [...] Находилось в ней иногда самое большое 400 человек не более полугода или года; в России до сих пор сидят в лагерях свыше 20 миллионов и большинство по несколько и более лет!»<sup>25</sup>.

Оправдание Березы Картузской свидетельствовало об определенной советизации сознания польской интеллигенции, даже настроенной антисоветски. Время, когда Домбровская переводила Чехова, было для нее очень непростым. Ей приходилось сотрудничать с польскими коммунистами-деятелями культуры, с русскими людьми, обосновавшимися в Польше. Трудно говорить об отрицательном отношении писательницы к ним, хотя нередко ею овладевали противоречивые чувства. Домбровская сочувствовала коммунистам, прошедшим через тюрьмы, несмотря на то, что теперь они занимали высокие правительственные и партийные должности. Сложным было отношение Домбровской и к русской литературе, которую она воспринимала через призму советской политики 50-х гг. Даже любимый Чехов порой служил своеобразным оправданием ее отрицательного отношения, как подчеркивала писательница, к русским и Советскому Союзу.

«Теперь уже против воли, — пишет Домбровская, — я продолжаю эти переводы, за которые вдобавок жалкие гроши платят. Их единственная хорошая сторона в том, что через Чехова я лучше, чем через Толстого и даже Достоевского, узнала Россию и прониклась таким отвращением к этой стране вшей, тараканов, замученных животных, поработанных людей с мрачными душами, хронически больных помешательством и властителей, и подданных»<sup>26</sup>.

Рассуждая об отрицательном влиянии на Польшу Советского Союза, Домбровская не забывала о своем писательском долге — говорить правду и быть объективной, но и в жизни, и в литературе, во всяком случае, в «Дневнике», она не скрывала своей пристрастности, своего ироничного отношения к наблюдаемой действительности.

«Король-Дух, — пишет Домбровская, — не является бескорыстным привидением. А я — эпик: объективность, чувство справедливой оценки и меры вещей — вот моя черта, настолько важная, что утратить ее — значило бы перестать существовать»<sup>27</sup>.

Подведем некоторые итоги сказанному:

Дневник Домбровской — ставшее фактом польской культуры документально-художественное произведение, в котором автор выступает главным героем, повествующим о себе и своей эпохе.

Неоднозначно и сложно отношение писательницы к России и ее культуре, в том числе к Чехову. При некоторой противоречивости оценок творчества Чехова Домбровская восхищалась мастерством русского писателя. Творчество Чехова не только открыло ей Россию XIX в., но и способствовало созданию в ее сознании негативного образа советской России. Через призму этого творчества Домбровская оценивала многие явления в жизни Польши и СССР в 50–60-е гг.

Работа над переводами произведений Чехова помогла осознанию Домбровской своего места в литературном процессе XX в.

В своем творчестве, прежде всего в новеллистике, Домбровская активно опиралась на художественные традиции Чехова.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 *Домбровская М.* Ночи и дни. Роман в 2 т. М., 1964. Т. 1. С. 689–690.
- 2 *Warszawa naszej młodości.* Warszawa, 1954.
- 3 *Домбровская М.* Ночи и дни. Т. 2. С. 7.
- 4 *Dąbrowska M.* Dzienniki powojenne 1945–1965. Warszawa, 1964. Т. 2. S. 219–220.
- 5 *Ibid.* S. 219–220.
- 6 *Чехов А.П.* Собр. соч.: В 12 т. М., 1964. Т. 7. С. 166–167.
- 7 *Dąbrowska M.* Dzienniki powojenne... Т. 4. S. 308.
- 8 *Ibid.* Т. 2. S. 162–163.
- 9 *Ibid.* S. 233.
- 10 *Мусиенко С.* Творчество Зофьи Налковской. Мпнск, 1989. С. 192.
- 11 *Dąbrowska M.* Dzienniki 1914–1932. Warszawa, 1988. Т. 1. S. 290.
- 12 *Dąbrowska M.* Dzienniki powojenne... Т. 1. S. 425–426.
- 13 *Ibid.* Т. 2. S. 366.
- 14 *Ibid.* Т. 3. S. 222.
- 15 *Ibid.* S. 444.
- 16 *Ibid.* Т. 4. S. 308.
- 17 *Ibid.* Т. 1. S. 86–87.
- 18 *Ibid.* Т. 2. S. 262–263.
- 19 *Ibid.* Т. 4. S. 308.
- 20 *Стапокович Я.* Реализм Марии Домбровской. М., 1974. С. 16.
- 21 *Maria Dąbrowska mówi o «Nocach i dniach»* // *Odrodzenie.* 1948. № 10.
- 22 *Klemensiewicz Z.* Składnia pisarska języka Marii Dąbrowskiej // *Pięćdziesiąt lat twórczości Marii Dąbrowskiej.* Warszawa, 1963. S. 222–246.
- 23 *Dąbrowska M.* Dzienniki powojenne... Т. 3. S. 414.
- 24 *Ibid.* Т. 2. S. 198–199.
- 25 *Ibid.* S. 200.
- 26 *Ibid.* S. 205.
- 27 *Ibid.* S. 199.



З. Зёнтек  
(Варшава)

## «Русское» и «советское» в польском репортаже о России

---

Было бы интересно проследить эволюцию традиционных польских представлений о России и русских после создания Советского Союза и на протяжении семидесяти лет его существования. Среди материалов, позволяющих это сделать, особую ценность, с нашей точки зрения, имеют польские репортажи о путешествиях по СССР или — в настоящее время — по странам, которые возникли в процессе его распада. В отличие от литературы о польско-большевистской войне 1920 г. или лагерной (воплотивших болезненный опыт соседства с СССР), репортажи возникали в силу искреннего интереса к столь близкой империи. В соответствии со сверхзадачей этого жанра авторы, как правило, старались возможно более объективно — в меру понимания, доступности и знания фактов — познакомиться с новой действительностью. Осознавая польские стереотипы о России или СССР, писатели нередко вступали с ними в полемику. Таким образом, наиболее достоверный материал об устойчивости и эволюции традиционных представлений дает именно репортаж, поскольку его авторы в большей степени ощущали потребность в изменении стереотипов под давлением действительности.

В особенности это касается двух периодов интереса польского репортажа к СССР и бывшим советским республикам: 30-х гг. и с рубежа 80–90-х гг. до наших дней. Лишь тогда польские путешественники могли рассчитывать — одновременно! — на хотя бы минимальную доступность советского пространства и отсутствие цензуры. Эти короткие этапы, как мы видим сегодня, наиболее важны с точки зрения заявленной проблематики: В начале 30-х гг. польские писатели и журналисты — с опозданием на десятилетие вследствие замораживания дипломатических отношений — еще застали пионерскую стадию существования «Страны Советов», поглощавшей Россию. Годы же распада СССР позволяют рассмотреть проблему «проступания» России из-под его руин. Таким образом, в обоих случаях

«русское» и «советское» находятся в ситуации явной конфронтации, выражая свое отношение друг к другу и пытаясь создать в сознании внешнего наблюдателя тот или иной образ.

В начале 30-х гг. эта конфронтация была окрашена безусловно одобрительным, полным доброжелательного интереса отношением репортеров к описываемой ими действительности. В процессе путешествия оно могло корректироваться, однако ни разу не было полностью отвергнуто. Эта — удивительная для сегодняшнего читателя — позиция в определенной степени объясняется дипломатией. Так, по словам Зигмунта Новаковского, «...не хотелось оказаться невежливым по отношению к огромному государству, с которым сегодня (наконец-то!) нас объединяет дружба и общность интересов»<sup>1</sup>. Свою роль сыграло также распространенное среди польских путешественников — в особенности сторонников социалистических идей — ощущение, что им нечего противопоставить смелости советских перемен. «Нам остается только ждать, — писал в заключении книги „Вглубь России“ (1933) Александр Янта-Полчиньский. — Потому что словами не опровергнуть фактов. Тот, кто неудовлетворен формулами, по которым живем мы, кто осознает необходимость перемен и реформ [...] обязан суметь противопоставить тому миру лучшую действительность [...] А пока ее нет [...] мы вынуждены молчать»<sup>2</sup>. Однако прежде всего эта готовность признать СССР объяснялась естественной неприязнью к традициям царской России и убеждением, что послереволюционная действительность дает реальный шанс порвать с наследием прошлого. Характерна точка зрения капитана Мечислава Б. Лепецкого, одного из самых популярных польских путешественников того времени и адъютанта маршала Пилсудского. В двух своих наивно-оптимистических книгах — «Сибирь без проклятий. Путешествие по местам ссылки маршала Пилсудского» (1934) и «Советский Кавказ. Путешествие в Грузию, Армению и Азербайджан» (1935) — Лепецкий почти готов признать, что это долгожданное положение вещей уже наступило. Он видит Сибирь, переставшую быть пресловутой «величайшей тюрьмой мира», и Закавказье, которым «Советская Россия управляет иначе, чем царская Россия. Никакой русификации, никакого централизма, никакого национального притеснения»<sup>3</sup>. Эти надежды сопровождались порой стремлением оправдать большевистский террор и равнодушием к некоторым его жертвам. По словам того же Лепецкого, не случись революции, сегодняшние страдальцы заняли бы, возможно, посты губернаторов, начальников, администраторов в по-прежнему разделенной Польше.

Далеко не радужные воспоминания о царской России и надежда на полное преодоление ее традиций в процессе требующего колос-

сальных усилий строительства новой истории оказали двойное воздействие на восприятие польскими путешественниками проявлений «русского» в советской жизни. Прежде всего, их мало трогали еще дымящиеся развалины исторической культуры России. Конечно же, поляки не были вовсе равнодушны к ее гибели. В своих прогулках по Москве, они, разумеется, не обходили стороной руины храма Христа Спасителя или церкви, превращенные в склады, кинотеатры или музеи. Они замечали приходящие в упадок «особняки» — усадьбы и дворцы — и то, как уникальные интерьеры растаскиваются по гостиницам и коммуналкам. Умилялись при виде последних старых официантов или извозчиков. Оплакивали судьбу превратившихся в конторы центров оживленной торговли и светской жизни, разрушение старого города, подвергнувшегося кардинальной перестройке, стирание границ между «хорошими» и «плохими» районами. Отправлявшиеся «вглубь СССР» наблюдали угасание прежних торговых центров — Нижнего Новгорода, Рязани — или опустевшие станицы донских и кубанских казаков, живо свидетельствовавшие об уничтожении самостоятельной русской деревни. Однако все эти наблюдения делались как бы «на полях» — пишущие отчасти смирились с разрушением многих форм традиционной русской жизни (считая его неизбежной ценой гигантской перестройки), поскольку формы эти были неразрывно связаны со структурами царской империи. Многим польским путешественникам забота о памяти об имперском прошлом представлялась просто-таки недоразумением. Их удивляли царские орлы на кремлевских башнях — отчего было сразу не заменить их красными звездами? — и нетронутые сокровища кремлевской Оружейной палаты. Ванда Краген («Дым над Азией», 1934) и Антоний Слонимский («Мое путешествие в Россию», 1932) считали, что последние следует использовать для важных общественных или государственных нужд.

Особое внимание к тем проявлениям «русского» в советской жизни, которые ассоциировались с имперским прошлым России, и является второй характерной чертой польских текстов об СССР — что особенно бросается в глаза при сравнении их с путевыми заметками других иностранцев.

Так, Хуберт Р. Кникербокер, имеющий репутацию одного из величайших западных знатоков советской действительности, сумел (в книге «Красная торговля. Пятилетка индустриализации Советской России») описать СССР как совершенно новый феномен государственного капитализма, не упомянув о его дореволюционном прошлом. Питающийся классовой ненавистью, представляющий угрозу для всего мира экспансионизм этого государства, модернизирующегося

и крепнущего на глазах, у Кникербокера напоминает поведение хищного и хитрого индустриально-торгового картеля, а не прежнюю российскую политику. И во вступлении польского переводчика можно найти необходимые пояснения — о традиции Петра Первого и новом облики русского империализма.

Своего рода технократия и отрыв от прошлого характерны также для западных певцов социалистической утопии, которую авторы радостно обнаруживали в гигантских образовательных, индустриальных, урбанистических предприятиях. Предприятия эти, казалось, открывали новую главу в мировой истории, стирая прошлое, а этапы их реализации представлялись поистине историческими эпохами. Прямо-таки карикатурным получилось изображение подобной позиции в книге Юлиуса Фучика с выразительным названием «В стране, где завтра — уже вчерашний день» (1931).

Интересно вспомнить здесь Эгона Эрвина Киша. Считавшийся крупнейшим репортером межвоенного двадцатилетия, автор книг «О царях, попах и большевиках» (1926) и «Образ Советской Азии» (1931), писатель продемонстрировал большую чуткость к историческому подтексту современности, к конкретике культуры и культурному измерению описываемых явлений (в сопоставлениях, например, Пасхи с праздником 1 Мая) — но подобным образом писатель изображал и Париж, Мексику или Соединенные Штаты. Польская реакция на «русское» была несомненно более эмоциональной и неоднозначной, она сочеталась с удивлением, опасением, стремлением предостеречь польского читателя, а порой — и призвать сам СССР защитить свое рабочее государство от возрождающегося призрака прошлого.

Этот призрак имперской России польские путешественники обнаруживали не столько в инертном наследии непреодоленной традиции, сколько в преддверии возвращения к нему в результате провала новых идей, институтов и социальных экспериментов. Это противоречит довольно распространенному мнению, будто бы поляки сразу поняли и признали идентичность «советского» и «русского». Их наблюдения подтверждают скорее другой тезис: связь между царской и советской империей заключалась не в простом наследовании русской ментальности или духовности. Такая прямая преемственность отсутствовала даже в таком, казалось, бы очевидном явлении, как пресловутый восточный коллективизм.

Никто из польских репортеров не воспринимал принуждение (как это назвал Станислав Мацкевич в книге «Мысль в клещах», 1931 г.) к коллективизму — мгновенно ощущавшееся на улице, в унифицированной московской толпе, в квартирах, в любом образова-



тельном учреждении, в формах труда, науки и отдыха — как продолжение «исконно русского» подчинения личности коллективу. Это казалось им явлением совершенно новым, глубоко революционным и — многим из них — позитивным. В коллективизме польские репортеры видели прежде всего радикальную попытку воплотить в жизнь идеалы социального равенства, доступности всего для всех: от квартиры и обуви до театров и университетов. А также — здоровый идеал самосовершенствования в коллективе и данное каждому человеку чувство социальной принадлежности и значимости. И, наконец, — формулу социально-культурной эмансипации, позволяющую участвовать в совместном созидании новой истории тем слоям, которые веками были ее лишены.

Конечно, наиболее проникательные энтузиасты коллективистских идеалов не ограничивались их иллюстрациями, но через их призму пристрастно всматривались в фактическую реальность. Проанализируем это более подробно на примере «Моего путешествия в Россию» (1931) Антония Слонимского. Слонимский, очарованный сиянием социалистической утопии, сразу же заметил все, что противоречило ей в реальной жизни. Никуда не исчезли «прежние малоаппетитные инстинкты [...] Женщины, имеющие чулки, гордо взирают на обладательниц одних лишь носков. Женщины без носков иронически поглядывают на „оносоченных“»<sup>4</sup>. В образцовом Доме матери и ребенка писатель обнаруживает, что прием производится в соответствии с «иерархией», господствующей во всех местах распределения благ и ничем не уступающей царской «табели о рангах». В суде или больнице человек без денег или блага подвергается унижениям и целиком зависит от всевластия бюрократии — худшей, чем у царских чиновников. Власть и ее внушающие страх вооруженные органы — армия и ГПУ — не испытывают никаких лишений, в отличие от общества, питающегося, главным образом, верой в будущее, и вообще ничем не отличаются от предшественников: Сталин шагает той же походкой, какой «разгуливали по улицам Варшавы царские губернаторы», а что касается армии, то «социализм прошелся по стальным шлемам русских солдат, нацепил на них красную звезду, но никак не изменил облик армии [...] — огромного жирного паразита на теле бедного народа»<sup>5</sup>.

Коллективизм бывших революционеров и наиболее ангажированной молодежи рассчитан на фанатичных последователей, поэтому за тщательностью его соблюдения надзирает весь коллектив. Или же его принуждают это делать. Контролирующие чистоту доктрины партийные суды (не говоря уже об агентах ГПУ) напоминают инквизицию, а отступление от этой доктрины — зачастую вследствие не-

знания конъюнктуры — карается как ересь. Последнее особо болезненно бьет по идейной молодежи, которая — будучи воспитанной в духе коллективизма — более всего опасается осуждения коллектива и исключения из него. Как правило, этого можно избежать с помощью самокритики или «покаяния»: «Это церковное слово очень популярно в России»<sup>6</sup> — продолжает автор, предостерегая — и польского читателя, и, пожалуй, самих жителей СССР — от победы прошлого над проектируемым будущим.

По мнению многих наблюдателей, революционная идея полной эмансипации в новом обществе оказалась искажена применительно к народам Азии, где, впрочем, была нужнее и результативнее всего, и где более всего отличалась от практики царского режима, предоставлявшего этим поработанным народам в лучшем случае основные товары. Как живописно выразилась Ханна Ленчевска-Борманова, «Они» приходят к «черному», дикому человеку, безграмотному рабочему, крестьянину, жителю девственных уральских гор, киргизских степей или эскимосу-самоеду. Отказываются от идеи дать ему лишь рубашку, ткань, табак и водку [...] Они убеждены, что «черный» — такой же человек, как и «белый» интеллигент, что в нем таятся те же возможности [...] Они посвящают дикого человека в новую жизнь»<sup>7</sup>.

Но не слишком ли легко они уверовали в это? — словно бы спрашивают многие авторы восторженных рассказов об азиатской части СССР. «Они» завоевали массу сторонников, и те — в благодарность за ощущение, что получили нечто великое — готовы на огромное самопожертвование. Но «им» приходилось адаптировать свой новаторский социальный проект к более низкому уровню, опробовать его на азиатских племенах. Потому что, как пишет другая путешественница, осветившие Азию лучи света «разогнали мрак, покрывавший ее со времен Чингисхана, вгрызлись в илистые наслоения безграмотности и скудомыслия покорных, пассивных племен»<sup>8</sup>. Эта пробужденная, но по-прежнему склонная к повиновению и рабской пассивности Азия, казалось, вновь завоевывает Русь. Польские путешественники ощущают ее присутствие уже в Москве — в облике заполонивших улицы людей-муравьев, единообразно и бедно одетых, вечно навьюченных какими-то баулами, — картина и в самом деле напоминает наезд кочевников. Господствовавшая тогда мода на мужские «тюбетейки» — маленькие азиатские шапочки, сшитые из священнических облачений — безусловно усиливала это впечатление.

Как нам представляется, процесс эмансипации Азии настолько изменил характер революционного обновления страны, что, по мнению некоторых наблюдателей, нельзя согласиться с распространен-

ным мнением, будто это было наследование традиций Петра Первого. Тадеуш Блешиньский («Больше правды о Советах», 1933) напоминает, что, насильно модернизируя Россию, создатель Петербурга европеизировал ее, а нынешние власти — перенося столицу в Москву, теряя запад ради независимых прибалтийских государств, Польши и Финляндии, революционизируя Азию, — в сущности, возвращались к допетровским временам. Это важно, поскольку заставляет вспомнить традиции монгольского ига, достаточно просто объясняющие сегодняшние блуждания духа коллективизма. Мельхиор Ванькович, наиболее упорный апологет «человеческого дела» в советской перестройке, призывал не забывать о том, что «Россию отделают от нашествия варваров всего четыре столетия, тогда как Запад миновал этот кризис четырнадцать веков тому назад», и что «русская революция максимально усиливает эти русско-монгольские государственные традиции. Человек не значит ничего»<sup>9</sup>.

Итак, преддверие нового монгольского ига виделось не в каких-то преодолемых обстоятельствах, но в самой идее эмансипации, являвшейся, в сущности, проектом воссоздания в современной форме общества несвободного и полностью контролируемого. Наиболее лапидарно и с наибольшей горечью сказал об этом Александр Янга-Польчиньский, рассматривая записи в музейной «Книге отзывов»: «Тебя научили писать, теперь садись, вот тебе карандаш — скажи, что ты думаешь [...] А если чересчур разбежишься — на то мы и поставлены, чтобы вернуть тебя на место, не дать пойти по плохой дорожке, уберечь от заблуждений. А пока ты послушен, хочешь не хочешь, черпай из народной сокровищницы культуры — но только обязательно признайся, как ты смотришь, как чувствуешь, что знаешь...»<sup>10</sup>.

Автор не проводит никаких аналогий — возможно, потому, что они уже не требуются. Они заключены в самом языке, в языке власти над человеком и презрения к нему, в языке безусловно ассоциирующимся с «русским».

Для полноты картины этого нового образа России в польском репортаже 30-х гг. необходимо также упомянуть два постоянных сюжета: власть и политика по отношению к нерусским народам СССР.

Единовластие не явилось для поляков шоком. Хенрик Кораб-Кухарский, который, будучи представителем французской прессы, смог посетить Советскую Россию уже в 1922 г., предсказывал («Р.С.Ф.С.Р. Впечатления от путешествия вокруг советской России», 1922) появление «нового, царского большевизма» — ведь революционер Троцкий может быть изгнан лишь «каким-то новым Иваном Грозным». Шоком и одновременно наиболее выразительным доказательством

измены революционным идеалам ради царских традиций оказалось возрождение культа власти. Разрушение церкви и традиционной религиозности — мотивированное, в частности, их тесной связью с институтами царизма — привело затем к переносу религиозных чувств на институты новой власти. Снова священные тексты, пророки, иконы, догматы и прежде всего — поклонение и слепое послушание властителю. По мнению Слонимского, здесь нет ничего случайного: Кремль, словно Ватикан, объединяет резиденцию власти с национальным музеем-святилищем; в прессе цитаты из классиков, подобно библейским высказываниям, снабжаются подробным библиографическим аппаратом. Другой польский репортер заметил также, что речи Сталина имеют заглавия, сходные с папскими энцикликами.

Поначалу политика по отношению к нерусским народам СССР представлялась многим польским репортерам доказательством реального разрыва с царскими традициями. Среди авторов, попавших в Закавказье, на территории волжских немцев, в Сибирь, не было никого, кто не заметил бы этого радикального поворота. Особое впечатление производили новые алфавиты — латинские! — которыми новая власть одарила народы, прежде владевшие лишь устной речью. Видимо, лишь истинный знаток России сумел бы увидеть в этой децентрализации преддверие абсолютного централизма. Уже упоминавшемуся Мацкевичу и многолетнему корреспонденту «Польской Газеты» Яну Отмару Берсону (автору книг «Минус Москва», 1935; «Новая Россия» и «Белый Кремль», 1936; «Советские нравственные вооружения», 1937) подозрительным показалось то, что формула «национальная форма и социалистическое содержание» применяется ко всем без исключения народам — большим и малым, с тысячелетней историей и лишь осваивающим грамоту. Это мотивировалось полным их равноправием, но в то время как для одних это означало начальный этап образования — который вовсе не обязательно должен был ограничиться идеологизацией, для других неизбежно оказывалось сопряжено с разрушением прежней исторической культуры. Мацкевич даже подозревал, что в этом состоит дьявольский план уничтожения русского патриотизма, который таким образом лишится какого бы то ни было исторического содержания. Это подготовило бы почву для некоей новой имперской идеологии, потому что по исчерпанию революционной мифологии только она одна сможет занять ее место — особенно в случае потрясений, вновь пробуждающих патриотические чувства.

Берсону, комментировавшему события 30-х гг. по горячим следам (прежде чем журналист был, наконец, выдворен из Москвы), довелось проверить точность этих предвидений. Если верить его впечат-



лениям, поначалу было неясно, пойдет ли нараставший в те годы патриотизм — одновременно с отказом от революционных традиций (что символизировала ликвидация в 1934 г. последней организации борцов с царизмом) — по государственному или национальному пути. Почти в то же время Берсон отмечает первое, по его мнению, официальное употребление понятия «советский народ» (в связи с эпопеей «Челюскина») и первый акт чистки по поводу «оскорбления русского народа». Оба направления вели к имперской идеологии, но существовала большая разница между тем, гордится ли человек своей принадлежностью к мощному государству или же к великому народу. Победа национального патриотизма означала бы победу имперской формулы XIX в., что привело бы к возрождению русификации внутри страны и опасности агрессии на соседей. По мнению Берсона, победила именно эта формула, пусть по-прежнему завуалированная постреволюционной фразеологией. Право русского народа на доминирующую роль внутри СССР аргументировалось его особыми заслугами в деле создания и защиты пролетарской революции. В адрес государств на бывших западных территориях — в частности, Польши и Финляндии — вновь посыпались упреки в исторической измене, поскольку эти страны не осуществили революцию по русскому образцу.

Война, по мнению поляков, с одной стороны, завершила слияние СССР с традициями Империи, с другой, — позволила увидеть их по-новому. По мнению Ксаверия Прушиньского, который, обладая дипломатической неприкосновенностью, наблюдал происходящее в Советском Союзе в 1942 г., образы легендарных «отцов революции» использовались в этот период уже только для идеологической обработки немецких пленных на случай, если Красная Армия дойдет до Берлина, и Германия должна будет стать союзником СССР. Героями этого времени оказываются в равной степени Александр Невский, Кутузов и Чапаев, а наиболее часто склоняемым словом — «Отчизна». Рекорды популярности бьет «Петр Первый» Алексея Толстого — роман, представляющий собой апологию государственного переворота, насилия и жестокости, дисциплины и фанатизма как непременных атрибутов великих исторических деяний. Это «мощный сноп яркого света, направленный на black-out \*, в котором вот уже двадцать пять лет движется великая страна. В этом сиянии, словно в кровавом свете факела, мы видим, что за идеалы сверкают в раскосых глазах народа, который, словно тяжкие соболяшки шкуры, словно тюремные кандалы, влачит за собой свое славянское и монгольское прошлое»<sup>11</sup>.

\* затемненная сцена (англ.).

Если образ эпохи Петра Первого был призван стать источником самопознания для молодой России, представить образ ее ближайшего прошлого и будущего, то это, вероятно, и есть доказательство неразрывной связи советской России с традициями творца Империи. Но в то же время репортажи Прушиньского — написанные, напомним, в 1942 г., до открытия Катыни, разрыва пакта Сикорского-Майского и событий конца войны — стараются вызвать в читателе понимание, симпатию и уважение к СССР. И эта задача, вне всяких сомнений, диктуется не только дипломатическими интересами, желанием преодолеть обиды сентября 1939 г. или искренним восхищением проявленной в этой войне силой. Дело скорее в ощущении писателя, что поляки — вследствие двухсотлетней борьбы с Империей — на самом деле плохо знают истинную Россию. На протяжении всей книги — начиная с прибытия и перелета через Сибирь, описывая затем пребывание в Москве (в том числе, на приеме у Сталина) и степях — «сердце России», до самого отъезда — Прушиньский подчеркивает элемент тайны, с трудом поддающейся пониманию и чарующей особенности этой страны. И именно такую Россию — вместе с ее революцией — писатель стремится открыть в новой русской империи. Прочитывая наслоения истории в памятниках архитектуры, он мимоходом замечает: «Я, к сожалению, не знал старого Петербурга [...] но знаю, что он демонстрирует лишь европейский и немецкий лак, который Петр Великий и все поколение Гольштейн-Готторпов пытались представить стилем Романовых и навязывали России. Ничего удивительного, что столица вернулась в город Иванов сразу же после социалистической революции. Мне кажется, что национальная революция сделала бы то же самое»<sup>12</sup>.

Революция словно бы возвращает к национальным и культурным корням, включает в историческую миссию огромные массы новых людей. А корни эти близки и Польше, и Европе. Прушиньский напоминает, что Россия родилась из Киевской Руси, присылавшей княжон на троны польских князей. Но более значимой представляется то европейское — лишенное немецкого элемента — что увидел Прушиньский в русской традиции — храме Василия Блаженного, повсеместно считающемся неповторимо восточным, и в столь же неповторимых формах Кремля — монастыря, представляющегося писателю символом России. Храм ассоциируется у него с богатой фантазией и безудержной пышностью некоторых португальских строений, также отмеченных печатью Востока. Кремль напоминает Прушиньскому Испанию. «Я знаю лишь два столь индивидуальных королевских замка — испанский Эскуриал и Кремль. Оба были созданы по образцу монастыря, на религиозной почве»<sup>13</sup>. Эта пиренейская аналогия

перебрасывает мост между странами, которые с двух концов Европы соприкасались с Востоком, сосуществовали с ним и защищали от него центр континента.

Интересно рассмотреть русские репортажи Прушиньского — опубликованные в большинстве своем сначала лишь по-английски<sup>14</sup>, и прочитанные польским читателем только в 1989 г. — в контексте текстов, сопутствующих уже не формированию, а распаду СССР. Оказывается, в них по-прежнему ощущается стремление обнаружить «русское» в «имперском», хотя уже отсутствует СССР, т. е. «советское». Абстрагируясь от фактических причин такого положения вещей, от того, возможно ли (и насколько) возрождение русской традиции и, соответственно, наблюдение этого иностранными путешественниками, мы, на основании проведенного анализа, можем, очевидно, утверждать, что польские авторы также приняли участие в этом процессе.

В 30-е гг. польские путешественники наблюдали, описывали и комментировали создание и укрепление тоталитарного государства. Репортеры видели в этом процесс вырождения «советского» в «имперское», вплоть до определенного отождествления этих понятий. Конечно, никто не может со всей уверенностью утверждать, насколько такая позиция имеет право на существование, насколько СССР действительно оказался продолжением царской России или какую роль в его судьбе сыграло влияние прошлого. Однако мы можем заметить, что также имело место наложение современности на прошлое, своего рода «тоталитаризация» представления о прошлом. Без особого преувеличения можно сказать, что все оно — вместе с чертами духовной культуры или национального характера — виделось подготовкой к СССР. Способствуя, таким образом, слиянию его с русской цивилизацией.

«Главная» польская книга, повествующая о распаде Советского Союза — это «Империя» (1993) Рышарда Капуциньского. Наиболее важные обобщения этой книги, заключенные в живописных, очерпнутых из действительности картинах-метафорах (цивилизация колючей проволоки, путешествие сквозь российское пространство, история строительства и разрушения храма Христа Спасителя), относятся ко всей русской истории, начиная с ее неведомых истоков. Кристина Курчаб-Редлих, автор совершенно по-иному — в форме повседневных записок — написанной «Пандрешки» (2000), в своих рассуждениях также отсылает к вечным законам, диктуемым русским пространством и историей. Поэтому очень возможно, что «советское» от «русского» уже не отделить, и единственный путь к тому, чтобы увидеть «русское» — и увидеть по-новому — провести водораздел внутри него самого: на ту Россию, которая послужила осно-

вой СССР, и ту, которая оказалась при этом разрушена, побеждена, уничтожена. Наибольшую известность из исследований такого рода получил «Волчий блокнот» (1998) Мариуша Вилька, автор которого, впрочем, вступает в непосредственный и очень резкий спор с «Империей» Капуциньского. Вильк отсылает к Розанову, по мнению которого «испокон веку существовали две России: Россия видимости [...] или Империя, форма которой оттиснута во внешнем [...] а также Святая Русь, или Матушка, с законами невразумительными, формами неясными, тенденциями неопределенными [...] Такое положение вещей, с моей точки зрения, сохранилось и до сегодняшнего дня»<sup>15</sup>. Будучи убежден, что взаимодействие двух исторических течений следует искать в провинции и испытать на собственной шкуре, Вильк поселился на Соловках и там предпринял попытку самостоятельно прочитать российский палимпсест.

Между «Империей» Капуциньского и «Волчьим блокнотом» Вилька располагаются все сегодняшние попытки понять и описать Россию. Но это уже тема для следующей статьи, требующая выхода за рамки жанра репортажа.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

- <sup>1</sup> *Nowakowski Z.* W pogoni za formą. Lwów, 1934. S. 4–5.
- <sup>2</sup> *Janta-Polczyński A.* W głąb ZSRR. Warszawa, 1933. S. 252–253.
- <sup>3</sup> *Lepecki M. B.* Sowiecki Kaukaz. Podróż do Gruzji, Armenii i Azerbajdżanu. Warszawa, 1935. S. 64.
- <sup>4</sup> *Stonimski A.* Moja podróż do Rosji., Warszawa, 1933. S. 18.
- <sup>5</sup> *Ibid.* S. 130.
- <sup>6</sup> *Ibid.* S. 54.
- <sup>7</sup> *Lenczewska-Bormanowa H.* ZSRR w oczach kobiety. Warszawa, 1936. S. 128.
- <sup>8</sup> *Kragen W.* Dymy nad Azją. Warszawa, 1934. S. 215.
- <sup>9</sup> *Wańkowicz M.* Opierzona rewolucja. Warszawa, 1934. S. 109.
- <sup>10</sup> *Janta-Polczyński A.* Op. cit. S. 200
- <sup>11</sup> *Pruszyński K.* Noc na Kremlu. Warszawa, 1989. S. 126.
- <sup>12</sup> *Ibid.* S. 24.
- <sup>13</sup> *Ibid.*
- <sup>14</sup> *Russian Year.* New York, 1944.
- <sup>15</sup> *Wilk M.* Wilczy notes. Gdańsk, 1988. S. 13.

Перевод И. Адельгейм



И. Е. Адельгейм  
(Москва)

## Личное пространство чужой территории: «Волчий блокнот» М. Вилька и стереотип России

---

Литературные скандалы, подобные тому, который разразился вокруг вышедшей в 1998 г. в Варшаве и посвященной России книги Мариуша Вилька «Волчий блокнот», случаются нечасто. Так что же это за книга, которая смогла вызвать сегодня — когда подавляющее большинство пишущих действительно сосредоточено только на собственной литературной продукции — такие страсти? И что может за ними стоять?

Родившийся в 1955 г., Вильк относится к поколению польских литераторов, активно входившему в жизнь во время военного положения, а если быть точнее, к той его части, которая, тесно соприкоснувшись тогда с «Солидарностью», довольно быстро в ней разочаровалась. Уехав после этого на Запад, молодой журналист вместе с двумя соавторами написал книгу о «Солидарности» — «Нелегалы» (1984 г., по-русски она вышла в Лондоне в 1987 г.). Описывающая жизнь подпольных лидеров, она на какое-то время стала самиздатовским бестселлером, а на страницах нелегальной печати разгорелась дискуссия о смысле подпольной работы. Для того времени осмелиться пойти против романтического стереотипа было либо актом безумия, либо эпатажем, либо — внутренней позицией свободного человека.

Затем Вильк отправился на восток: долго жил в России, которую объехал вдоль и поперек, а в 1995 г. стал московским корреспондентом «Культуры». В этом качестве он и добрался до Канина Носа и Соловков. Там «решил остаться, хотелось посмотреть, что из этого получится».

Получилась книга. О России, мифологизированной для обыденного сознания поляка «империи зла», о Соловках, не менее мифологизированных уже и для нашего сознания, а больше всего, наверное,

о прозрении себя самого, о превращении чужой территории в личное пространство.

В то время, когда Вильк осваивал русский Север, а, главным образом, конечно же, искал ответы на собственные мировоззренческие и экзистенциальные вопросы, романтическая эпоха так называемого польского мифа закончилась для обеих стран. Российские проблемы перестали быть польскими проблемами, а польские — российскими... Когда же «Волчий блокнот» вышел в Польше, неинтерес общественного мнения друг к другу был еще ощутимее. Так что книга о России на инерции, с одной стороны, стереотипов отношения к ней, а с другой, — практической их неактуальности вполне могла показаться проявлением то ли снобизма, то ли потребности опять, как и в случае с «Нелегалами», идти наперекор.

\* \* \*

Вильк начинает «Волчий блокнот» с описания приготовления чернил по соловецкому рецепту XVI века. А заканчивает словариком, какие бывают обычно в книгах об «экзотических» странах.

Внутренний импульс, заставивший Вилька написать именно *такую* книгу, заключен в последней ее фразе, которую при желании можно считать объясняющей позицию писателя метафорой: «Монастырский писарь не имел права взять в руки перо, пока сам не приготовит чернила». Прежде чем отважиться на книгу, к написанию которой автор относится серьезно, нужно прожить жизнь, дающую внутреннее право на нее. Вот и Вильк сначала «готовил чернила»...

Словарик же нужен здесь в той же степени, в какой наверняка понадобился бы русскому читателю книги о Польше, написанной его соотечественником. Та часть языка, которая всегда остается непереводимой, должна быть не только описана, но и «остранена» — хотя бы таким вот образом. А приготовив «чернила», не менее важным оказывается найти форму, в которой сделанные для себя открытия обретают право на внимание других. Так, очевидно, и родился жанр «Волчьего блокнота».

Человек, пишущий путевые записки, обычно делает пометки для памяти. Блокнот таким образом — даже если это ноут-бук — первоначально структурирующая поток впечатлений, мыслей, переживаний данность. Это не дневник, не записная книжка, не мемуары, не эссе и даже не письма с дороги. Здесь действуют свои законы отбора и композиции. По определению, структуру блокнота держат записи (слово, которое Вильк, кстати, особенно часто употребляет), сделанные во время путешествия, во время чтения, после значимого для ав-

тора разговора или события. Замечания «по горячим следам» переплетаются с историческими и культурологическими экскурсами, рефлексиями и комментариями.

Отсюда стилистическое многоголосие, по сути, с самого начала постулируемое автором. Кроме заметок, мы находим в «Волчьем блокноте» элементы репортажа, интервью, фельетона. Есть здесь и пограничные жанры — письмо и эссе, попытки эпического повествования. Так, например, описывается повседневная жизнь Соловков — море («наше поле», как говорят поморы), рыба, земля, посадка картошки как главного продукта питания на Соловках (она напоминает обряд: «...все разом выходят на грядки, целыми семьями: задом к небу, словно кладут поклоны, сначала два-три дня копают, потом зарывают клубни, заботливо хранившиеся всю зиму, потом пьют неделю или дольше с сознанием хорошего исполненного долга»), соловецкие огороды («Каждый раз, читая „Год охотника“ Милоша, невольно сравниваю наши огороды. Там, на Медвежьей Вершине Милош сажает бугенвиллеи [...] олени объедают у него цветы гелиотропа. Мы здесь, на Сельдевом Мысу, сажаем картошку [...] соседские козы щиплют у нас лук»), соловецкая баня, где встречаются на равных все жители островов — словно вышедшие из разных миров или разных повестей человеческие биографии.

Заметки о конференции «Россия и Соловки», организованной немецким фондом и российским «Мемориалом»; записи о прочитанных книгах; эссе о соловецких ссыльных, скопцах; фрагмент, посвященный научной деятельности зеков; описания митинга, выборов, похорон, поминок, именин, масленицы, постов; описания природы и человека в ней; отступления о повествователе и читателе; рассказ о земле самоедов — нынешней секретной зоне, территории спецполигона, полуразрушенных бараках у самого океана... — эти разрозненные страницы «Блокнота», свободно и в то же время внутренне связано образуют единое течение переживающего чувства и познающей мысли.

Вильк, по его собственным словам, пытается понять Россию через деталь. Это — привилегия, право, свойство и рабочий прием прозы. Вильк ограничивает здесь свои «притязания» словом «документальная»: «Документальная проза сильна своей деталью, при условии, что та тщательно подобрана, и, подобно линзе, фокусирует проблему или явление [...] Выбор детали показывает, властен ли автор над действительностью, которую взялся описывать, или же это действительность навязывает ему свой хаос, в котором царит случайность... и тогда остается лишь оправдываться распадом темы». А где-то — по другому поводу — он вспоминает Гоголя, который в одном уезде умел увидеть и описать всю Россию. Так что на самом деле документальная книга

Вилька — это книга прозы, написанная по ее законам и выполняющая ее задачи.

Вильк — по-польски «волк». Фамилия автора, стало быть, тоже данность. Но обыгранная как прием — включенностью в заглавие — она обрастает дополнительными значениями. Ведь волк — одно из самых мифологизированных животных. Определяющим в его символике всегда оказывается признак *чужести*. Волк может осмысляться и как *инородец*. К тому же, волк еще и *одинок*. Все эти смыслы входят в название. А оно, как всякое название, необходимо для структурирования читательских ассоциаций, которые незаметно «прирастают» к содержанию.

«Волчий блокнот» — это путевой «Блокнот» польского журналиста, приехавшего в чужую страну с определенной для поляка исторической репутацией, чтобы понять ее. Но это еще и «Блокнот» человека, осмысляющего чужестр как экзистенциальную проблему, человека, который скорее всего останется непонятым или недопонятым, а значит, одиноким — как среди чужих, так и среди своих. Об этом после выхода книги сам Вильк написал «другу из Гданьска» Збигневу Жакевичу: «Ты говоришь, что для россиян я всегда буду иностранцем. Но я и в Польше на стороне — иначе какой же я Волк».

Книге предпослан эпиграф — строки Тютчева, широко известные хотя бы «понаслышке», даже тому, кто не слишком хорошо знает, кто их автор. Они давно уже превращены в стереотип, оправдывающий неумение и нежелание думать и склонность к банальному мироощущению.

Однако Вильк начинает с неожиданного парафраза этих строк, обнаруживая в замене выход из смыслового тупика стереотипа:

Умом Россию не понять,  
Аршином общим не измерить.  
У ней особенная стать —  
Россию надо пережить.

Потом он даст развернутое объяснение этой замены: «...больше всего раздражал меня Тютчев, которым отделялись от моих вопросов российские знакомые [...] Я ощущал в этом четверостишии гордыню, свойственную большинству верующих, которые снисходительно, с высот общности взирают на поиски и сомнения отдельного человека. Это четверостишие [...] запало ко мне в душу и не давало покоя. Пока я не догадался! Последнему слову Тютчева — *верить* — я противопоставил собственное — *пережить*. Россию надо было испытать на себе». Но читатель получает импульс к рефлексии сразу.



Тому же «другу из Гданьска» Вильк в январе 1999 г., когда книга уже вышла и скандал вокруг нее прошел свой пик, написал, что на Островах живет «уже седьмую зиму... достаточно долго, чтобы и людей узнать, и жизни хлебнуть, и по краю света побродить». Да иначе и нельзя, «если хочешь избежать штампа... кусок своей жизни придется здесь оставить... навсегда».

Если, по словам Л. Гинзбург, «искусство есть интерпретация опыта — не действительности, потому что действительность мы знаем только в опыте»\*, то Вильк просто — через отрицание, отторжение — нашел сегодняшний эквивалент тютчевскому слову, прирастив его к своему опыту. Или свой опыт — через найденное слово — соединил с тютчевским.

\* \* \*

«Читатель спросит, почему я Соловки выбрал? — предвосхищает Вильк не только естественный вопрос, но и саму возможность критической атаки на книгу. — Что заставило меня засесть на Островах, как на наблюдательной вышке, и глядеть отсюда на Россию, на мир?»

Сомнения оппонентов в том, что выбранная Вильком точка обзора лучше всего подходит для описания России или, точнее, ее понимания, внешне основывались на журналистском стереотипе: Соловки слишком мифологизированы и олитературены, чтобы по ним можно было судить о всей стране.

«Что ж, попробую ответить, — объясняет свою позицию Вильк, постепенно выходя за пределы формальных претензий к своему выбору и переходя к главной, хотя и не названной болевой точке будущих разногласий со своими оппонентами, — хотя в нескольких абзацах трудно изложить все — самое большее, можно очертить, как когда-то писали, абрис. Ибо Соловки напоминают драгоценный камень: сколько на него ни смотри, он все переливается... преломляет свет... „играет“ гранями. Чуть фабулу повернешь, акценты изменишь, сюжеты местами поменяешь, и целое сразу новый смысл обретает — иначе засверкает. Нельзя поэтому выколушничать значения, вытягивать из основы нитки — каждую по отдельности, анализировать, пережевывать, их надо рассматривать вместе, одну сквозь другую. Словом, отступить от линейных языковых законов и с некоторого расстояния взглянуть на предмет».

---

\* Гинзбург Л.Я. Записи 1970–1980-х годов // Человек за письменным столом. Л., 1989. С. 350.

Именно это Вильк и делает — передвигаясь «шаг за шагом», меняя угол зрения, неспешно обживая словом чужое пространство.

Уже когда книга будет написана, когда главные претензии к ней будут высказаны, он, оглядывая прожитое и написанное с некоторой временной дистанции, скажет в упоминавшемся выше письме: «Россию лучше всего переживать с Севера — вдали от Москвы и от Петербурга, вдали от *суеты и молвы*. Во-первых, потому, что Русь здесь сохранилась лучше, ибо ни татарское иго сюда не дошло, ни крепостное право, а некоторые шутят, что и коммунизм так сюда и не добрался. Во-вторых, здесь у тебя есть время и уединение, необходимые для того, чтобы нырнуть вглубь — под мерцающую поверхность сюими-нутных событий. И в-третьих, здесь действительно сам для себя измеряешь каждый куб дров, каждый невод рыбы, и каждую зиму по пальцам считаешь *наедине с самим собой*» (выделено мною. — И. А.).

На страницах книги переплетаются цвета, запахи, звуки отталкивающей и притягательной, но все равно еще чужой и не очень понятной жизни, более или менее четко различимые человеческие фигуры, так мало похожие на «своих». И постепенно сквозь все это проступают судьбы людей, островов, страны, с которой для поляков связано столько боли, столько неприязни, столько непримиримости и одновременно, наверное, притяжения, если человек в поисках истины и смысла собственной жизни добровольно отваживается *переживать* ее.

Быть может, потому столь выразительны и столь значимы оказываются в этой книге длинные перечисления (иногда на целую страницу) — они, словно нити авторского опыта, переплетающиеся с судьбой постепенно узнаваемой страны. Из этих нитей — словно ткань — состоит текст. Заключенными в них сюжетами, которые угадываются, проступают, словно образ жизни — и заткано переживаемое пространство.

«Я жил в чумах у кочевников на Ямале, в рыбацких избах на Белом Море, у пастухов в горах Алтая, у охотников на Енисее, у профессора-историка в Грозном, у абхазского министра в Сухуми, у крестного отца мафии в Ростове-на-Дону... Купил колхозный дом недалеко от каргопольской зоны, где в свое время сидел Херлинг-Грудзинский, принял участие в шоу, посвященном открытию беспощинной зоны в Калининграде. Курил марихуану с рок-музыкантами из Ленинграда и пил водку с героями колымских рассказов Варлама Шаламова. Видел нетрезвых экспертов Речи Посполитой на эксгумации останков польских офицеров в Харькове и слушал русские частушки в исполнении пьяных советских офицеров в консульстве Речи Посполитой в Санкт-Петербурге, на банкете по случаю годовщины 3 мая. Встречался с президентом Грузии Звиадом Гамсахурдиа и ге-

нералом Джохаром Дудаевым, предводителем воинственной Ичкерии; сегодня обоих уже нет на свете. Разговаривал с чеченским атаманом, Шамилем Басаевым, и его боевиками, среди которых было много *vogov v zakope*. Пировал с мэром Питера, Анатолием Собчаком, с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, Его Святейшеством Иоанном, и с питерскими *bozhkami*. Не раз беседовал „за жизнь“ с попутчиками, с *bichami* в лесу, с жуликами в *kabakah*, с *tuzhikami* на рыбацких тонях, а также с внуками Пастернака, Флоренского, Шпета...»

Или: «Здесь (на Соловках. — И. А.) цари гостили, князья и московские бояре, декабристы, скопцы и купцы, сюда писатели приезжали, художники и узурпаторы, путешественники, ученые и франты, сюда, наконец, несло всевозможную чернь, людскую накипь и выжимки из самых дальних уголков „шестой части света“. О Соловках писали Ломоносов, Максимов, Немирович-Данченко, Пришвин, Горький, Казаков и Кублановский, рисовали их Верецагин, Борисов, Нестеров, Баженов, Крестовская, Петров-Спиридонов и Черный. Великие мира сего приносили дары Соловецкому монастырю: Петр Великий церковь на Заячьем острове основал, Солженицын дал доллары на корабль для паломников, а Гребенщиков, лидер рок-группы „Аквариум“, подарил православную икону, сам, впрочем, приняв буддизм. В прошлом году на Соловках мелькнули: Его Императорское Высочество Великий Князь Георгий Михайлович — наследник главы Российского Императорского Дома, со своей матерью, Ее императорским Высочеством Великой Княгиней Марией Владимировной и бабушкой, Ее Императорским Высочеством, вдовствующей Великой Княгиней Леонидой Георгиевной, министр иностранных дел России, четыре посла, два консула, командование Северного флота, несколько бонз военного бизнеса, один митрополит, один архиепископ и дюжина православных священников, несколько телевизионных групп, в том числе французская, несколько съемочных групп, в том числе польская, несколько глав русской мафии, блюз-ансамбль из Одессы, секта кришнаитов из-под Вологды, несколько потомков советских эзков из „Мемориала“, коммуна хиппи из Омска, участники международного джаз-фестиваля в Архангельске, сатанисты из Куйбышева, Община Богородицы из Киева, банкир из Тель-Авива, фотограф из „Политики“, ксендз — профессор Люблинского католического университета и тысячи паломников, полоумных, неофитов и туристов».

Это не обычное журналистское дефиле по истории и жизни. В подобных перечислениях смыслообразующим становится ритм физического времени, пронизывающего пространство. Его неостановимое

движение, словно накатывающиеся на берег волны, превращает абстрактное время в человеческую историю, а уже она сообщает географии особый человеческий смысл.

Так в книге задается особое психофизическое ощущение времени и пространства, их единства, сродни, наверное, тому, что рождает созерцание моря, или — просто жизнь «на границе моря». Это и — на границе времени, и на границе пространства, и на границе бытия и небытия... Особым образом оно задает в этой книге психологическую установку восприятия и этическую установку узнавания — это Север, открытый Вильком для себя, *его* Соловки, *его* Россия.

\* \* \*

Слово, которым обживается чужая жизнь, питается и чужой поначалу речью. Языком литературы. Вильк читает Карамзина, Соловьева, Ключевского, Розанова, Шестова, Бердяева, тома изданной Д. С. Лихачевым «Библиотеки литературы Древней Руси». Ритм древнерусской прозы — как и найденное прежде слово для парафразы — помогает ему, во-первых, понять самый процесс освоения нового пространства *через рожденное им и бытующее на нем слово*. Во-вторых, задает личной потребности в истине исторической и метафизической масштаб — глубину и меру ответственности за слово. Наверное, поэтому рефлексии над неразрывностью языка, пространства и ментальности в «Волчьем блокноте» посвящено немало мест: «Целых два года пришлось прожить в России, прежде чем до меня дошло, что иностранец не может понять эту страну, думая о ней и рассуждая на своем языке»; «Варлам Тихонович [Шаламов] писал, что в русском языке существуют две традиции: фраза Толстого, замедленная и тяжелая, словно лопатой переворачивают пласт земли, и фраза Пушкина, короткая и звучная, словно пощечина. Стоит забыть об одной из них, и Россию удастся понять только наполовину — в соответствии с формулой Милоша, утверждающего, что в русском языке есть уже все, что можно узнать о России».

И в этом контексте «словарик», о котором речь шла выше, приобретает, пожалуй, особое значение — хотя бы потому, что органически прорастает в текст. Читатель обнаружит здесь не только «бомжа», «деньги», «глубинку» или «помойку», но, например, и «безмолвие» с цитатой из Флоренского.

Из русских философов Вильк особо выделяет Розанова, может быть, потому, что он и Шестов сегодня едва ли не самые читаемые на Западе авторы, через которых человек пытается найти разгадку «особенной стати» России.



Через понятийный язык Розанова Вильк сначала и пытается упорядочить личные впечатления. «По Розанову испокон веку существовали две России: Россия видимости [...] или Империя, форма которой оттиснута во внешнем, а история записана в событиях, имеющих конкретное начало и отчетливый финал; а также Святая Русь, или Матушка, с законами невразумительными, формами неясными, тенденциями неопределенными — Русь живой крови и веры чистейшей. О первой можно прочесть у Карамзина, — пишет автор „Опавших листьев“, — о другой в старообрядческих скитах услышать. Об Империи громко говорят в Москве или Петербурге, о Матушке только в глубинке перешептываются. Иностранцев редко вглубь России пускали бродить без присмотра. Отсюда в свидетельствах путешественников, донесениях корреспондентов и агентов доминировал образ Империи, или Россия видимости, говоря словами Розанова. О России Матушке мало, кто имел понятие. Такое положение вещей, с моей точки зрения, сохранилось и до сегодняшнего дня.

Потому что и сегодня обе России существуют: и Империя на трясущихся ногах, и Матушка, валяющаяся в канаве».

«Первой я вкусил на пресс-конференциях и на кавказских войнах, в дипломатических салонах и на московских путчах, у „новых русских“ на приемах и у старых сталинистов на дачах, на фестивалях, презентациях и секретных сборищах; второй — на сельских гулянках и сибирском бездорожье, в архангельских болотах и в уральских зонах, у бывших зека за столом и у православных монахов в трапезной, на свадьбах, поминках и тайных обрядах покаяния».

\* \* \*

За пределами России Соловки ассоциируются со СЛОНом (более чем миллионом уничтоженных зеков, в среднем — если уместно здесь это выражение — три с половиной тысячи погибших на каждый квадратный километр), историей монастыря, обращенного советской властью в массовую тюрьму, каковой он и был до начала семидесятых, а затем указом свыше мгновенно превращенного в заповедник, и удивительной красотой северной природы и церковной архитектуры. Авраамий Палицын, протопоп Аввакум, Ганнибал, Горький, Лихачев, Солженицын... — вот первые ассоциации, которые возникают у рядового человека при упоминании Соловков.

Вильк приехал на север, вооруженный сначала именно такими обрывками представлений и знаний. И увидел то, что о Соловках знает с чужих слов и средний россиянин — из книг, прессы, кино, телевидения. Как будто бы и немало, но неопределенно, зыбко, неточно,

когда любое «встряхивание» этих клочков информации меняет, как в калейдоскопе, конфигурацию, а общей картине все равно чего-то не хватает.

За этим книжным знанием для Вилька неизбежно должно было начаться собственное узнавание, какое и дает реальная жизнь и свое в ней повседневное бытовое участие. Глазами. Ногами. Ушами. И поиском *своих* слов, которые станут частичными ответами на вопросы к чужим.

Одно дело увидеть в фильме, даже очень хорошем, совсем другое — пройти это пространство самому. Одно дело прочесть в книге. Другое — вытащить «на свет» личные ощущения, получаемые от повседневности, в которую медленно, но все же на равных, потому что живешь ею, вырастаешь. И эти говорящие собственному уму и сердцу связи быта, которые, может быть, в какой-то момент в постижении смысла перетянут и Ключевского, и Розанова именно потому, что добыты самостоятельно... Это уже собственное обживание и переживание пространства-символа, а значит — собственное открытие его языковой формулы. Хорошо известна фраза А. Сергеева, обращенная к Бродскому — жить можно только там, где у тебя есть воспоминания. Вот Вильку и нужно было обжить это пространство — до личных воспоминаний и адекватных им слов. Туризм, равно как и журналистские «десанты», для метафизики недостаточны.

\* \* \*

«Соловки невелики, в пределах одного дня пешком, словно специально рассчитаны на человека, который не желает пользоваться другими средствами передвижения, кроме собственных ног. И людей здесь в самый раз, чтобы со всеми познакомиться за несколько зим. Это идеальное место для созерцания: природы, истории, людей, событий. Здесь можно взглядом объять процессы, которые там, в России, происходят на огромных территориях и поэтому плохо уловимы. На Соловках видно Россию в миниатюре, как на ладони: есть и власть, и церковь, и культура в музее, маленький бизнес и местная мафия, есть и больница, и музыкальная школа, и бычья ферма, и частные коровы, и лесоперерабатывающее предприятие, и небольшая фабрика по переработке агар-агара, есть милиция и СИЗО, правда, суд бывает редко, прилетает изредка».

Впечатления от путешествий — в первую очередь, всегда, зрительные впечатления. Они ложатся в основу воспоминаний, о которых говорил Бродскому Сергеев. И знаменитый соловецкий монастырь увиден Вильком прежде всего через цвет, даже смену цветов,

только потом появляются звуки, и только после этого — человеческие фигуры (беглые портреты, несколькими штрихами намеченные сюжеты биографий). Но эта заданная эскизность — не от торопливости браконьерствующей поверхностной памяти (а память может быть и такой), а от выбранной точки обзора — «на краю моря и письменного стола», на острие «прочувствованной мысли». Если вспомнить того же Бродского, то, перефразируя его простое и провидческое «от человека остается только «часть речи», — от любой жизни остается ее эскиз, но важно, сколько мастерства в него вложено.

В процесс восприятия естественно включаются и знания, полученные ранее, из чужих книг, с чужих слов. Но они все время проверяются собственными впечатлениями. Или — корректируют их. И только так приращиваются к собственному опыту и языку.

Зарисовки Вилька выстраиваются вокруг временных отметин, отпечатавшихся в быте и бытии соловецких обитателей, как отпечатывается на выброшенных волной камнях контуры водорослей: слова «бывший», «до недавнего времени», «когда-то» и — «теперь», «в настоящее время», «позже», «уже» здесь физически ощутимые несущие конструкции жизни: «Напротив моей завалинки — по другую сторону Залива Благополучия — стоит монастырь: стены-циклопы, глыбы слезятся, в тени льдом покрыты... сверкают. Едва звонят к утренней службе, солнце встает за монастырем, высекает в небе черные силуэты башен, куполов, крестов, словно вырезает на синем его профиль, потом, в обеденную пору, с боку немного освещает, подчеркивает фактуру камня, разлагает свет и тени, а вечером, когда братья поклонны на сон грядущий кладут, заходит за Бабью Луду, обливая фасад розовым, пурпурным или золотистым, в зависимости от погоды и ветра.

Вот, колокола бьют, из монастыря вышла пасхальная процессия, знамена несут, иконы, поют. Ветер ладаном пахнет, дергает монахов за полы пальто, треплет им бороды, брызгает святой водой. Среди маленьких фигурок на фоне каменной стены я различаю персонажей, каждый из которых имеет свой собственный сюжет, каждый заслуживает собственной повести...».

На том же механизме восприятия (цвет — звук — люди) построено описание белых ночей, которые «тихо тлеют в лилово-розовом свете: от выцветшего фиолетового на первом плане, у самого берега, до малинового, густеющего вдаль, на горизонте, там, где солнце тонет в море, на мгновение. Вода, небо, облака и камни — разные оттенки розового, даже туман и морская пена похожи на клюквенный мусс. Во время белых ночей Белое Море спокойно: ни складки, ни морщинки. словно большое, затемненное зеркало, в котором можно

увидать и острова, и людей. И себя. Люди сидят в лодках, они черные, когда смотришь против света, будто бы их нет — мрачные дыры в лиловом заднике. Голодные и неподвижные. Ждут сельдь, это единственный здесь для многих источник белка. А сельдь, тоже оголодавшая за зиму, идет на пустой крючок...».

Построенные таким образом, зарисовки Вилька с их почти физическим ощущением движения—неподвижности, замкнутости—разомкнутости, света, цвета, светотени, звука — и рождающегося из всего этого адекватного им слова—смысла — самое, пожалуй, ценное в книге Вилька именно потому, что только такой путь узнавания и есть самый действенный способ преодоления того, что сегодня называют «провалом коммуникации», или, попросту, разъединением людей, культур, стран, угрожающим пониманию, а значит, и самой жизни.

Глубоко и лично пережитыми ощущениями обрастают уже сложившиеся и имеющие богатую традицию стереотипы восприятия России. Ее *бесконечность*: «Окна нашего дома выходят на залив Благополучия, стол, за которым я пишу, переходит в море. Зимой лист бумаги сливается с белизной льда за окном, а следы чернил так внезапно переходят в лыжную тропу, что я зачастую не понимаю, сижу ли еще за столом или уже несусь по морю. Зимой ветры лепят снег, каждый день по-новому, занося тропу. А летом вода плещется на краю зеленого полотна, и можно часами наблюдать то отлив, то прилив, переменчивый рисунок волн на песке, соли на камнях. Летом можно и погрузиться (взглядом) в морскую бездну, не вставая со стула. И, быть может, именно здесь, на границе моря и письменного стола — стихи и вещи, — легче понять мой замысел: попытку уловить действительность, придать ей форму, запечатлеть в слове. Ибо российская действительность, особенно на Севере, аморфна: пространства тут безграничны, болота бездонны, селения бесформенны; это нечто вроде „горохового киселя“ (по выражению Достоевского), из него торчат разные предметы: тут православный крест, рядом колючая проволока, там саамский курган и осколок человеческого черепа с пулевым отверстием, а в другом месте — кусок ракеты или подводной лодки. Словом, северный ландшафт напоминает доску, на которой все новые поколения „богомазов“ трудолюбиво увековечивали своего бога, не жалея краски, чтобы перекрыть образ предшественников, а потом какой-то кислотный дождь, ядовитый и едкий, смыл все, хотя и не до конца, оставляя клочки рисунка, остатки краски. Возможно ли отреставрировать это?»

*Или — бесформенность*: «Кажется, Бердлев заметил, что пейзаж, в котором живет нация, — это символ ее души, а плоская беспредельность северных равнин — причина проблем человека с самоопреде-



лением. Топкая грязь (пятая стихия Руси!), которую русский мужик ежедневно месит ногами, и преодолеваемые расстояния поглощают всю его энергию, и на культуру (форму) уже не хватает сил. С другой стороны, вязкость севера извечно пробуждала страх в пришельцах и вызывала у них потребность освоения, обживания пространства. Тем более, что о языческих племенах, самоедах, карелах, лопарях, сидевших на северных рубежах империи, у русских бытовало мнение, будто те управляют нечистой силой, способной деформировать пространство [...] Постепенно из топографического хаоса Севера возник сакральный космос Святой Руси, и русский человек почувствовал себя дома. Потом пришла революция, следы православия тщательно стирались, как некогда следы язычества — меняли названия, карты, предназначения. В храмы сажали под замок людей, в скитах держали коней, Святое озеро назвали Рабочим. Еще позже было объявлено, что революция была исторической ошибкой, и одни вновь принялись уничтожать следы, другие двинулись вспять, оживлять былые времена, а третьи задумали все заново и Америку в России пытаются построить. Мир вернулся к хаосу, на этот раз семиотическому».

Характерно, что переживание соловецкого пейзажа у Вилька почти нигде не несет отпечатка отстраненности, несозвучности себе и собственному опыту.

Но одна из психологических сверхзадач — хотя бы частичное преодоление барьера чужести извне или изнутри — Вильком оказалась реализована. И реализована, с одной стороны, именно через природу и данную человеку способность к вдумчивому, несуетному ее созерцанию. А с другой — через включенность в обыденность жизни именно в этой природе. Может быть, именно способность увидеть сквозь «гороховый кисель в головах» красоту и связанность всех со всеми незаметно и сбивает страх отгороженности от чужой жизни. В конце концов, чужаком, одиноким волком можно чувствовать себя и не будучи иностранцем. Но пережитая вместе повседневность прокладывает путь к пониманию другого, живущего в этом же времени и пространстве человека.

\* \* \*

Для описания Соловков Вильк находит простой, но адекватный описываемому пространству прием — движение вверх-вниз по временной шкале, потому что и сам соловецкий пейзаж предстает как множество наслоений, культурных слоев.

Подробно представленная топография Соловков выдает абсурд многократных попыток уничтожения культурного пейзажа. Все как бы колеблется между «когда-то» и «сейчас»: «Достаточно взглянуть

на дореволюционные фотографии, чтобы понять, как далеко зашла Россия в истреблении своего культурного пейзажа. Даже деревья под корень вырубали, а там, где некогда росли цветы, сегодня — глиняная пустыня. Во времена лагеря здесь была зона, в храмах зеков держали, а колокольню увенчали звездой вместо креста. В соборе, на месте алтаря, устроили уборную, в трапезной — театр, в одной из церквей — выставку на тему атеизма. После лагеря Кремль достался армии. На колоколах сохранились следы пуль. Потом объект передали Администрации и превратили в государственный музей: в монастырских постройках разместили экспозицию, фонды и гостиницу для туристических групп и рабочих, молодежный клуб и водочный магазин. Начались реставрационные работы: с колокольни полетела вниз звезда, в соборе отскребли экскременты, а заодно и фрески девятнадцатого века, чтобы вернуть храму более старинный вид. Когда выносили щебень, раскопали монастырские могилы, с трупов снимали кресты, перстни и четки. По ночам на крылечках туристы гуляли и местная shrapna, другими словами, несовершеннолетние проститутки и жулики-малолетки. Пять лет тому назад на Соловки приехали монахи [...] К северу от Кремля, на небольшой площади возле Константиновской часовни, лежит камень в память о погибших юнгах — место ежегодных митингов во время празднования очередного Дня Победы. После митингов коровы сжирают венки. От камня, дальше на север, в сторону пристани туристических пароходов, течет улица Северная. Там в сезон завывает музыка, дискотеки на палубах, стада пьяных туристов — шанс для местных девчат, повод для драки. По дороге бараки, оставшиеся от лагеря, — в них живут люди»; «За Сивкой, в глубине леса, на месте старого кирпичного завода, в 1939 году построили специальную тюрьму, которую не успели заселить, потому что зеков с Острова вывезли. Сегодня там стоит гостиница для «новых русских» и иностранцев»; «На юг от Кремля, на пригорке, где было монашье кладбище, а потом братские могилы, теперь стоит больница, построенная еще в лагерную эпоху: штукатурка со стен валится целыми кусками, крыша протекает, перекрытия сгнили»; Заозерная — «соловецкая улица Крокодилов», там три магазина, восемь малин, бар „Макс“ и опустевший барак времен СЛОНа, где можно дешево (не дороже бутылка по три доллара) вкусить сермяжного секса с барышнями — в возрасте от одной до пяти дюжины лет».

Везде следы прошлого прорастают сквозь неясное и неустойчивое, колеблющееся, словно отражение, настоящее. География нигде не обходится без среза истории.

\* Аллюзия с рассказом Бруно Шульца «Улица Крокодилов» (сб. «Коричные лавки»).

Возможно, больше всего привлекает в книге Вилька ее язык; не только лексически богатый, свежий, точный, но еще и обладающий какой-то удивительно искренней и лишенной даже намека на цинизм интонацией. В ней нет ни капли того пафоса, который, по словам Леца, нужно снимать иронией, чтобы спасти смысл, это скрытый психологический жест внутренне свободного и честного человека.

Автор (порой несколько, может быть, увлекаясь) пользуется достаточно известным приемом передачи «местного колорита» российской действительности — он вводит в текст русскую и даже церковнославянскую лексику.

При переводе Вилька на русский делаются особенно заметными — и значимыми для языка книги — случаи, когда обыгрываются два польских слова, которым соответствует одно русское. (Например, в оригинале: «widimost'» — видимое и показное одновременно.) Эти русизмы — словно дыхание, ритмизирующее прозу Вилька.

\* \* \*

Заранее можно было предположить, что Вильк не обойдет молчанием существующие свидетельства иностранцев о России. Хотя бы записки де Местра и де Кюстина, ставшие чем-то вроде развернутого стереотипа восприятия страны, которую не понять умом.

Вильк действительно обращается к ним — причем, делает это не тогда, когда этого ждешь. Не в начале книги. И обращается к ним не столько даже как к дополнительному источнику информации или как к оправданию априори семантической закрытости России, для западного человека все-таки остающейся до конца не преодоленной. Он использует их скорее как прием. Ведь «Волчий блокнот» — это, с одной стороны, конечно, еще одни записки иностранца о России, а с другой, — еще и рефлексия над созданием такого рода свидетельств и даже над импульсом к подобным поворотам жизни. В какой-то момент своего переживания России Вильк внутренне приходит к необходимости обратиться к истории записок иностранцев о ней.

Их обзор, к которому он прибегает, интересен еще и постольку, поскольку позволяет показать формирование этого жанра во времени, вписывая таким образом «Блокнот» в более широкий контекст. Рассуждая о жанре путевых записок вообще, о том, что видит в чужой стране иностранец, о свойственной здесь человеку психологической установке (свое — лучше уже потому, что ближе, понятнее, доступнее), о формировании именно этой установкой стереотипа и национально-культурных предрассудков; их причинах, как никогда актуальной именно сегодня проблеме перевода одного культурного ко-

да на другой («Ни один другой народ не был так похож на европейский, не будучи им»), Вильк приходит к пессимистическому выводу, что и современные записки европейцев о России сводятся к тем же банальностям: Россия — тюрьма, и ее корневые и неизбывные качества — пьянство, лень, подозрительность, коварство, грязь.

«Ни тогда, ни позже жители Запада не давали себе труда разобратся в российской действительности изнутри, то есть взглянуть на Россию глазами русского человека и лишь потом, сохраняя пропорции, перевести это на свой язык. К сожалению, жители Запада смотрят на Россию извне — с точки зрения Европы — и перекраивают увиденное на свой лад». (Но и люди России смотрят на Запад либо изнутри — с точки зрения России и своего часто ущербного или, наоборот, излишне высокомерного самоощущения, либо стараются быть европейцами больше, чем сами европейцы.) «Ясное дело, не все писали о том, что видели сами, некоторые предпочитали повторять то, что им показали, другие не могли увидеть того, что действительно хотели, а третьи увидали то, чего там вообще не было, зато не заметили того, что видели все [...] В начале 90-х я работал в Москве на одну польскую газету и имел возможность вблизи приглядеться к работе коллег-корреспондентов. Особенно один мне запомнился, не буду уж называть фамилию, — этот писал для трех газет разом, а из всех событий текущего дня самым важным для него были „Известия“, из которых он лепил пару анекдотов и вечером передавал как свои собственные. Другие, не такие сибариты, бегали на всевозможные пресс-конференции, собрания и банкеты, где прилежно глотали подаваемую там *cheruhi*. Надо признать, что это блюдо в России подают мастерски, в чем мог убедиться не один иностранец, хоть бы и маркиз де Кюстин. Кое-кто еще смотрел российское телевидение и черпал вдохновение оттуда. Прибавим к этому спецлавочку на Беговой, где каждый корреспондент мог приобрести продукты, в Москве тогда отсутствовавшие, и многие другие привилегии, словно непрозрачным стеклом отделявшие нас от действительности, и тогда станет ясно, что образ России в заграничных масс-медиа и Россия как таковая — две разные вещи. Кроме человеческого фактора — лени, невежества (вышеупомнутый коллега Гоголя не читал, а „Повесть временных лет“ приписывал Пушкину!), — существенны и общие недостатки прессы: спешка (надо успеть к выходу номера), не позволяющая сосредоточиться и увидеть более глубинные явления, которые часто важнее для правильного диагноза, чем эффектная, но поверхностная „новость“; стадный инстинкт журналистики, заставляющий корреспондентов валом валить на место события, будь то война, путч или пресс-конференция, и писать, комментировать одно



и то же; погоня за сенсацией, скандалом и кровью, при пренебрежении к будням, непривлекательным с точки зрения массового читателя; концентрация внимания на большой политике при игнорировании окраин и провинции; все это приводит к тому, что огромная часть журналистских сообщений о сегодняшней России не выходит за рамки общих мест, стереотипов или легенд».

Тема России для Польши, два столетия лишенной государственности и героически сохранившей культурную независимость, на уровне культурного бессознательного, все еще достаточно болезненна. Сложившиеся стереотипы изживаются медленно, исторические унижения забываются с трудом, и срок для этого забвения еще не вышел. Многие поляки считают себя в этих вопросах специалистами, и Вильк, который пошел вспять традиции стереотипа, не мог не вызвать сильного раздражения. Любои поляк имеет к России личный и исторический счет. Сложившиеся стереотипы изживаются медленно, исторические унижения забываются с трудом, и срок для этого забвения еще не вышел.

По словам автора «Волчьего блокнота», «„Империя“ Рышарда Капуциньского — последний рассказ иностранца о евразийской державе, а точнее — рассказ о ее распаде. Таким образом мы имеем дело не только с дезинтеграцией Империи, но и с кризисом жанра». Но жанр — это в некотором роде способ мышления. Вильк упрекает Капуциньского в случайности выбора тем и мест: «Довериться случаю при выборе пути — это словно писать книгу, бросая кость, когда темы подсказывает судьба и воля чиновников (дающих разрешение на пребывание на Новой Земле), а не логика вещей. Намерение охватить весь СССР, от края до края, таит в себе риск не увидеть на самом деле ничего [...] Метод Капуциньского прост, словно туристический вояж: несколько дней здесь, несколько там, из каждой дыры — глава-картинка, словно слайд на память. Естественно, у прекрасного писателя и картинки получаются великолепно, но... зачем? Чтобы сделать комикс об Империи? Попытка объехать весь Советский Союз и увидеть, что происходит и в Томске, и в Омске — эффектно, но поверхностно, в силу обстоятельств все сводится к упрощенным диагнозам — аллюзиям и символам — в которые автор втискивает впечатления, зачастую не проясненные до конца».

«На Россию смотрят то издалека, то свысока, получается коллаж чужих мнений или головоломка, вроде шахматного эндшпиля: кто кому поставит мат и за сколько ходов», — пишет Вильк. И это справедливо по отношению к любому национальному стереотипу, любому мифу.

\* \* \*

Никто, конечно, не обязан повторять путь Вилька, добровольно поселившегося на Сельдевом мысу, копающего огород, запасающего на зиму овощи и рыбу и живущего обыкновенной жизнью соловчанина, но при этом конечно же остающегося поляком и европейцем.

Но и пройти теперь мимо его взгляда не только на Россию, но и на мир, в котором антиномия свой-чужой составляет ключевой и вечный источник конфликтов, мимо его опыта переживания чужого пространства и времени, которое стало частью его внутренней жизни и ее языка — будет тоже трудно. Может быть, именно этот язык помешает прочитавшим книгу смотреть и дальше друг на друга через неприязнь и высокомерие стереотипов. И безразлично, стереотип это полонофобии или русофобии.

\* \* \*

Охватив годовой цикл жизни на Соловках, Вильк как бы снова возвращается к северной весне. В будничной, повседневной жизни все идет по ее видимому кругу — кольцами наслаивается прожитое человеком время, отпущенные ему осени, зимы, весны. Весна психологически всякий раз начинает для человека новое кольцо, а в нем очерченный потребностями жизни круг обязанностей, забот и вопросов о ней.

В «Волчьем блокноте» после «Соловецких записок» следует написанный хронологически раньше «Канин Нос». Канин Нос — край Белого моря, край пространства, которое обжито человеком. Дальше — только Ледовитый океан. Именно здесь, очевидно, почти физически переживается экзистенциальное состояние пограничности — «на краю» земли, на краю жизни, на краю понимания — непонимания... Может, поэтому Вильк и прибегает к обратному порядку повествования — структурирования пережитого в слово. В финале таким образом и автор, и читатель вновь возвращаются к вопросу, в котором заключен выход из тупика непонимания.

«Порой кажется, что я сам себе противоречу. То советую занять позицию иностранца в мире, о котором пишешь, то отвергаю эту точку зрения, утверждая, что надо быть не наблюдателем, не ротозем, но творцом и участником жизни, не в „роли писателя“, который всегда несколько „вне“, неважно, „над“ или „сбоку“ но как субъект „прозы, пережитой как документ“ (по определению Шаламова). Антиномия здесь, однако, кажущаяся, потому что, в сущности, эти ракурсы дополняют друг друга и пишущий всегда останется иностранцем, даже в собственной отчизне, но одновременно везде он и дома — на собственной тропе».

Пишущий — а это человек, живущий для того, чтобы внутренняя жизнь обрела язык — всегда оберегает ее личное пространство, область сокровенную и тайную, и в то же время именно через язык он открыт миру и другому человеку. Может, поэтому он «везде дома», но — всегда при этом «на собственной тропе». Наверное, это и есть тот опыт, ради которого Вильк сделал свой выбор в пользу России и Соловков, оставаясь при этом поляком и европейцем.

*В. Я. Тихомирова*  
(Москва)

## Проявление национального самосознания в польской лагерной прозе (к проблеме этнических стереотипов)

---

В современной польской и русской литературоведческой полонистике все в большей степени утверждаются научные стратегии, основанные на изучении устоявшейся и новой литературной проблематики в ее глубоком взаимодействии со всей областью культуры. Происходит заметная переориентация традиционных историко-литературных исследований. На это указывают видные ученые обеих стран<sup>1</sup>. Сегодня филолог, пишет В. А. Хорев, «стремится рассматривать литературные факты [...] как составные части культурного процесса, рассматривать их в контексте явлений данной национальной культуры как единого целого»<sup>2</sup>. Меняющийся подход к литературному произведению, в котором исследователь видит общекультурное явление, ведет не только к расширению строго филологических принципов и приемов его анализа. По мнению польского литературоведа Р. Ныча, возникает новая методологическая ситуация: изменяется взгляд на соотношение «внешнего» и «внутреннего» в бытовании литературы. Разнообразные виды проблематики, обусловленные взаимосвязями литературы одной страны с другими литературами, перестают осмысливаться в категориях противопоставления «внешнего» (совокупности факторов, определяющих статус, функции и формы проявления литературы, раскрывающих историческую перспективу литературного процесса) и «внутреннего» (автономного пространства свободного развития литературы), становясь частью «широко понимаемой, но исконно присущей самой литературе проблематики и одновременно необходимой составляющей ее современного литературоведческого описания», при котором «внешние контексты и обусловленности литературы выступают в виде аспектов ее «внутренней» поэтики и проблематики»<sup>3</sup>.



Подобный подход к малоизученной нашей наукой польской лагерной прозе<sup>4</sup> позволяет увидеть в ней более широкое и сложное содержание, выходящее за пределы сугубо лагерной тематики, соотносимое с такими понятиями, как ментальность народа, его духовные ценности, традиции, мифы и стереотипы. В настоящей статье предпринята попытка показать сохранившиеся в текстах следы проявления менталитета поляков в ситуации контакта двух культур — польской, которая выступает как внутренне целостное образование, и русской — в сложном переплетении в ней «русского» и «советского». Это помогает приблизиться к ответу на вопрос, как польская ментальность влияла на формирование стереотипа русского в широком общественном сознании и как этот стереотип функционирует в текстах культуры.

В произведениях лагерной темы зафиксированы состояния и обстоятельства, которые оказали долговременное воздействие на национальную психику и держатся в ней, по сути, донныне, определяя образ мышления и поведения поляков в отношении русских. Именно поэтому особый интерес вызывает изучение лагерной прозы как отражение национально-культурной составляющей польского сознания, компонентами которой являются разнопорядковые явления: язык, невербальные аспекты коммуникации, образы-стереотипы и другие проявления национального «я» в коллективном самосознании. Ниже будут представлены некоторые наблюдения и выводы, касающиеся собственнолингвистических аспектов данной составляющей. Анализировалась часть языковых явлений, присутствующих в культурносносном слое текстов, в которых заложены представления поляков о России и русских. Было важно понять, есть ли в языковых составляющих этих представлений нечто общее, то, что обладает своими лингвистическими признаками, которые вместе с другими элементами использовались в процессе формирования в польском общественном сознании устойчивого образа соседней страны и ее народа. Иными словами, прослеживался путь от языка к стереотипу. Для этого рассматривалась работа на стереотип имеющей словесное выражение внеязыковой действительности — реалий и понятий советской эпохи.

Из нескольких десятков текстов для анализа было отобрано пятнадцать, преимущественно изданных в эмигрантской печати. Документальную литературу, ориентирующуюся только на факт, представляют: книга Я. Т. Гросса и И. Грудзиньской-Гросс «В сороковом сослани нас в Сибирь» (Лондон, 1983)<sup>5</sup>, книга-документ «Исфахан — город польских детей» (Лондон, изд. второе, 1988)<sup>6</sup>, воспоминания ксендза Т. Федоровича «Дороги судьбы» (Люблин, 1991)<sup>7</sup>, и М. Кульчиньской «Львов — Донбасс 1945» (Варшава, 1988)<sup>8</sup>.

Из художественной документалистики рассматривались: книга Г. Херлинга-Грудзиньского «Иной мир. Советские записки» (в английском переводе, без подзаголовка — Лондон, 1951, на польском языке, с другим подзаголовком — там же, 1953)<sup>9</sup>, художественный репортаж М. Ваньковича «История семьи Коженевских» (Тель-Авив, 1942)<sup>10</sup>; фрагменты его романа-репортажа «Путь к Ужентову» (Нью-Йорк, 1955)<sup>11</sup>. К анализу привлечены документально-художественные очерки и публицистика Ю. Чапского «На бесчеловечной земле» (Париж, 1949)<sup>12</sup>, Б. Обертыньской «В доме неволи» (Рим, 1946)<sup>13</sup>, Я. К. Умястовского «Через страну неволи» (Лондон, 1947)<sup>14</sup>, В. Грубиньского «Между молотом и серпом» (Лондон, 1948)<sup>15</sup>, А. Краковецкого «Книга о Колыме» (Лондон, 1950)<sup>16</sup>, Б. Скарги «После освобождения... (1944–1956)» (Париж, 1985)<sup>17</sup>. Из художественной прозы использованы: цикл рассказов Т. Виттлина «Дьявол в раю» (Лондон, 1951)<sup>18</sup> и роман Е. Кшиштопя «Верблюды в степи» (Варшава, 1978)<sup>19</sup>.

Эти произведения рассматривались в качестве текстового единства, содержащего определенную информацию и выражающего эмоциональное отношение к представленному в них объекту описания — русскому миру советского периода истории. Они отвечают критерию репрезентативности с точки зрения наличия в них нужного лексического материала, разнообразия повествовательных жанров, типу книгоиздательской практики (эмигрантская, диссидентская, официальная печать). Кроме того, отобранные тексты представляют разный уровень языкового сознания их создателей (дети, подростки, взрослые — люди разного рода занятий, в том числе профессиональные литераторы).

Поляки осваивали чужой для них мир одновременно с усвоением русского языка. Находясь в СССР длительное время (от нескольких лет до десятилетий), они вынужденно пользовались русским языком в самых разных жизненных ситуациях. Поэтому присутствие русских заимствований в произведениях о советских лагерях характеризуется высокой частотностью и распределением по различным лексико-семантическим полям языка и его стилистически-функциональным сферам.

Принадлежащие русским заимствованиям живые значения уходят своими корнями в конкретные реалии советской эпохи (а некоторые из них — еще дальше). Наиболее обширные семантические поля заимствований из русского, присутствующие в лагерной прозе, связаны с жаргонной и арготической лексикой, а также новоязом. Они перетекали сюда из русского языка, в котором данные семантические структуры порождались определенными социальными группами и отражали возросшее воздействие на язык различных соци-

ально-политических факторов. Русские слова и термины, возникшие в определенной социальной среде (армейской, чекистской, партийно-номенклатурной, уголовной и др.), становились частью общелагерного языка, откуда разносились по различным сферам русской и польской лексики, включая художественную. (Замечу, что кроме социальных причин, обусловивших характер этих заимствований, следует считаться и с собственно лингвистическим выбором польских авторов.)

Конкретные факты русского языка — слова, словосочетания, фразы, минимальные диалогические единства, во множестве рассыпанные в разных текстах, на первый взгляд, случайные и разрозненные, в совокупности выстраиваются в целостную структуру, которая оказывается смысловой. В русскоязычных вкраплениях зафиксированы такие характеристики человека, а также объектов и явлений окружающего мира, которые чаще всего выходили за рамки существующей в польском представлении нормы.

Определенное лексическое выражение получил польский взгляд на русских. Представленная в русских заимствованиях общая характеристика личности имеет как бы две шкалы общественных оценок. Одна использует универсальные критерии: то, что бывает устойчиво единым независимо от национальной территории. Другая шкала требовалась, чтобы оценивать ту часть мира, которая жила по своим собственным законам и правилам. Эта вторая, страданная поляками, шкала оценок, оказалась намного крупнее первой. В итоге образ русского, измеренный этими мерками, выглядит малопривлекательно. Вот как зафиксированы в русских заимствованиях представления поляков о качествах и свойствах русского человека. Нейтральной является только классификация личности по признаку пола, возрастным особенностям, родственным связям, религиозным убеждениям. Слова, характеризующие внешний вид в связи с одеждой, указывают на низкий социальный статус русского: (*czapka*) *uszanka*, *papacha*, *fufajka*, *buszlat*, *walonki*, *sapogi*. У женщин еще *bieretka* и *placozek*. Если за поляками закрепляются высокие качества личности (в оценке самих русских) — *gordyj*, *kulturnyj*; *galantnyj*, *inteligentnyj*, *obrazowannyj*, то во внутреннем облике русского польский взгляд улавливает много отрицательных признаков: *boltun*, *łodyr*, *nachal*, *podlec*, *mierzawiec*. О манере поведения красноречиво говорят *rugatielstwa*. Состояние здоровья характеризуют названия заболеваний, связанные с плохим питанием: *cynga*, *ponos*, *pylagra*. Среди профессий преобладает тяжелый, неквалифицированный труд: *czarnoboczy*, *szachtior*, *lesogon*, *wagońszczyk*, *uborszczyca*, *bańszczyk*, *sanitar*. Перечень социальных ролей сведен к двум полюсам:

*naczelnik* и *zek*. Плохое материальное положение русского отображает лексика, свидетельствующая о его скудном питании (чаще всего упоминаются: *lepioszka, treska, kipiatok, balanda*) и называющая отдельные бытовые реалии: *ziemlanka, palatka, okurek*. Неотступные спутники русского — *tarakany* (а также вши и клопы — две последние лексемы встречаются в текстах только по-польски). Беден пейзаж культуры — *czastuszki, piesenka, harmoszka, balalajka, ikona, odikalon*. Единичными словами отмечена религиозная сфера: *Bog/Boh, satana, pop, batuszka, diak, monaszka, starowier, raskolnik, wieroispowiedanije, panichida*.

На этом фоне особенно заметно, насколько разнообразна и всесторонне отражена в русских заимствованиях советская эпоха, в которой выделены ее главные, «знаковые» реалии. Многочисленный лексико-семантический класс этих заимствований указывает на различные стороны взаимодействия личности и общества при коммунистическом режиме, определяя степень зависимости человека от государственной системы и ее репрессивных органов.

С особой тщательностью и последовательностью фиксируя в текстах запомнившиеся русские слова и выражения, их авторы выстраивали такой лексический ряд, в котором определенным образом отражалась жизнь народа в советскую эпоху.

Прогибаясь под напором общей массы русских заимствований, польское сознание активно расширяло уже существовавшие в нем ассоциативные ряды, которые прочно соединяли в широком общественном мнении мысль о России с двумя центральными понятиями: деспотии власти и бесправия унижаемого ею народа. Ко всему, что сказала о России лагерная проза, отыскиваются литературные параллели. И не только в XIX в., где их особенно много, но и в XX. Однако в этой прозе видение России как империи зла еще острее, еще драматичнее, чем прежде. Новые заимствования из русского не разрушают традиционной польской интерпретации России, они лишь динамизируют и конкретизируют ее нынешний облик. Так, вместо прежних *kibitek* с арестантами, текстовое пространство пересекают *tiepluszki*. Исходное русское заимствование *ochrana* получает множество уточнений (*nadziratel, wochr, strielok*). В тюремно-лагерном мире различимы мельчайшие детали быта, весь населявший его пестрый люд (*zeki, dochodiagi*, уголовники всех мастей). Известное полякам *gosudarstwiemnoje naczalo*<sup>20</sup> старой России является в образе карающих органов советского времени («*trojki*» НКВД). Совмещая подобным образом две исторические ипостаси России, польская лагерная проза показывает их «стройную однообразность» (А. Солженицын), в которой прошлое и настоящее различаются только в скорости и степени мучительства, с какой истребляются жертвы.



Взятые в совокупности, русские заимствования задают тон всей лагерной прозе. Они участвуют в образовании мощного смыслового поля вокруг двух несхожих реальностей. Каждая из них получает устойчивый состав значений и смысловых сопряжений. Эти реальности — предельно разведенные миры. Первый связан с традиционными ценностями духовной и материальной культуры европейского Запада. Это польский мир. Его человеческое измерение противопоставлено другому — русскому — культурному пространству. Конфликт культур, взаимоотталкивание менталитетов вызывали у поляков обостренное чувство своей национальной обособленности, которое всякий раз проявлялось в контактах с русскими. Безусловно, речь идет не о «высокой» русской культуре, которая всегда приближала поляков к России (в ГУЛАГе она существовала в своих единичных проявлениях), но о культуре бытовой, с одной стороны, и культуре советского общества, возникшей в результате идеологических постулатов власти, с другой. Именно эти типы культуры воспринимались польским сознанием как иная, чужая (в первом случае) и антагонистичная — во втором. Лингвистически такое культурное противоречие выражалось в самих способах передачи русских заимствований: кавычках, курсиве, особых лексемах, предупреждавших вторжение «чужой» лексики, а также знаках препинания.

Основная масса заимствований осталась не востребовавшей польским языковым сознанием и сохранилась в литературе как память о пережитом. Но отдельные заимствования из русского продолжили свое существование в современном польском языке. Некоторые из них приобрели со временем такие устойчивые черты, которые позволили этим словам войти в качестве языковых составляющих в ядро польских культурных стереотипов. Среди них встречаются слова и выражения, которые не являются нововведением лагерной прозы, но актуализировались в польском языке в послевоенные годы, не в последнюю очередь благодаря литературе (*gieroj*, *bolszewik*, *naczelstwo*, *Sowiety*, *kolchoz*, *kolchoźnik*, *barachło*, *paszół won* и др.).

Так, слово *gieroj*, используемое для передачи иронии, встречается в литературе межвоенного двадцатилетия, в частности, у С. И. Виткевича<sup>21</sup>, но вошло в этом значении в общепольский обиход в послевоенные годы. Существовавшие в польском языке советизмы *kolchoz*, *kolchoźnik*, зафиксированные в анализируемых текстах в их прямом значении, после войны стали употребляться также и в переносном смысле: *kolchoz* — коммунальная квартира, *kolchoźnik* — громкоговорящий с одной программой вещания. Слово *Sowiety* в языке межвоенного двадцатилетия употреблялось для обозначения названия страны и не имело отрицательного значения. После вступления

Красной Армии в восточные районы Польши оно приобрело отрицательную коннотацию, ассоциируясь в массовом сознании поляков со страной-захватчиком. Многократно зафиксированное в лагерной прозе выражение *paszół won* сегодня получило такое распространение, что встретилось даже в виде словесной остроты<sup>22</sup>. Еще больше усилилась прежняя отрицательная коннотация слова *bolszewik* и его производных, существовавших в польской речи с 20-х гг. В лагерной прозе оно неизменно употребляется с едкой иронией и сарказмом, а в отдельных случаях становится синонимом слова «враг». Чаще стала употребляться лексема *naczelstwo* (наряду с другими русскоязычными вкраплениями это слово встречается, например, в произведениях Т. Мичиньского<sup>23</sup>). То же касается прямого и переносного значения слова *barachło* — как просторечия и арготического слова. Более широкое распространение получили отдельные русские инвективы (например, *swolocz*), чье присутствие многократно зафиксировано в произведениях о ГУЛАГе. К ним примыкает лексика с пейоративным значением, выполняющая в лагерной прозе функцию инвектив. Так, слово *sobaka*, ставшее общеупотребительным в польском языке еще в XVII в. под влиянием древнерусского языка и используемое в анализируемых текстах в прямом и переносном значении, функционирует в современном польском арготе в двух значениях, одно из которых выражает отношение к России: «учительница русского языка»<sup>24</sup>.

Однако, кроме указанных были и другие лексемы, за которыми стояли исключительно реалии и понятия ГУЛАГа (наиболее известные — *zek, lagier, gulag, enkawude*). Примерный перечень самых распространенных в лагерной прозе русизмов (слов и словосочетаний), утвердившихся после войны в разных семантических областях польского языка, выглядит так: *zek, lagier, gulag, enkawude, bolszewik, Sowiety, politruk, gieroj, naczelstwo, kolchoz, kolchożnik, walonki, fufajka, uszanka, machorka, cynga, sobaka, barachło, swolocz, bladź/blać, paszół won*. Безусловно, составленный список еще далеко не полон. Большинство указанных лексем имеет в современном польском языке отрицательное значение. Впрочем, негативные сигналы поступают даже от нейтрального бытового лексикона, если рассматривать такие лексемы в контексте языка лагерной прозы: при многократном повторе в ряду других русизмов, прочно связанных с реалиями ГУЛАГа, они вызывают неприятные ассоциации: ср. *fufajka, walonki, (czapka) uszanka, lepioszka, kipiatak, cynga, ponos, tarakan*.

О силе воздействия этих заимствований на языковое сознание поляков свидетельствует факт их усвоения польской языковой системой: склонение по правилам польской грамматики, образование производных (например: *sowiecki, enkawudowski*), возникновение язы-

ковых оппозиций (*tagier – lagier, sowiecki – radziecki*), устойчивых словосочетаний (*paszół won*). Помимо этих лексем в наш список следует включить отдельные географические названия, знакомые полякам по прежнему и новому историческому опыту: *Sibir/Sybir, Kolyma, Katyń, Kozielsk, Starobielsk, Ostaszów, Pawliszczew Bor, Łubianka*. Приняв в себя сигналы национальной драмы, эти слова превратились в ключевые понятия, стали своеобразным кодом, по которому расшифровываются любые подтексты.

Можно с достаточной долей уверенности предположить, что из русского языка по разным, имеющим не только языковую природу, причинам (социальным, ментальным, художественным), заимствовались такие лексемы, которые коррелировали со сложившимся в польской культуре негативным стереотипом русского. В свою очередь, новые русские заимствования с отрицательным значением, оседаая в массовом сознании поляков, превращались в дополнительные составляющие бытующих в польском обществе представлений о России и русских. Так отрицательное «чужое» становилось «своим», но тоже отрицательным.

Контакт между обоими языками в лексической сфере не привел к притяжению национальных менталитетов. Скорее наоборот, наш материал показывает их отталкивание. С помощью языка соседней страны стереотип России и русского, сложившийся в историческом и культурном сознании поляков, наполнился новым негативным содержанием. Безусловно, была и другая сторона процесса стереотипизации: лагерная проза сделала множество записей, раздвинувших представления о России и свойствах русской души, существовавшие прежде в польском культурном коде. Тем не менее идея терпимости к русским, ноты сочувствия к «обычному москалю» не оборвали цепочку ассоциаций, которые накапливались в течение веков и цепко держались в коллективной памяти.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

- <sup>1</sup> См., например: *Choriew W. Stereotypy etniczne a badanie polsko-rosyjskich związków literackich // Przegląd Humanistyczny. 1998. № 4. S. 47–54; Хорев В. Имагология и изучение русско-польских литературных связей // Поляки и русские в глазах друг друга / Отв. ред. В. А. Хорев. М., 2000. С. 22–32; *Nycz R. Polonistyka na rozdrożu // Teksty Drugie. 2001. № 2. S. 5–10.**
- <sup>2</sup> *Хорев В. Имагология и изучение.... С.22.*
- <sup>3</sup> *Nycz R. Op. cit. S. 5; 8.*
- <sup>4</sup> На эту тему опубликовано: *Хорев В. А. Польская литература // История литератур Восточной Европы после Второй мировой войны: В 2 т. Т. 1.*

- 1945–1960 гг. / Отв. ред. В. А. Хорев. М., 1995. С. 117–118; Тихомирова В. Я. Россия и русские в польской лагерной прозе // Поляки и русские в глазах друг друга. С. 184–196; Мальцев Л. А. Роман Г. Херлинга-Грудзиньского «Иной мир» в контексте русской прозы // Славяноведение. М., 2000. № 5; *Он же*. Жанровая система творчества Густава Херлинга-Грудзиньского: эпические жанры и дневник-хроника. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2001.
- 5 «W czterdziestym nas Matko na Sibir zeslali». Polska a Rosja 1939–42 / Wybór i oprac. J. T. Gross, I. Grudzińska-Gross. Wstęp J. T. Gross. Londyn, 1983; *To же*. Warszawa, 1990. Использовано данное издание.
- 6 Isfahan miasto polskich dzieci. Wyd. 2. Londyn, 1988 // *My deportowani. Wspomnienia Polaków z więzień, łagrów i zsyłek w ZSSR* / Wybór i oprac. B. Klukowski. Warszawa, 1989.
- 7 *Fedorowicz T. Drogi Opatrzności*. Lublin, 1991.
- 8 *Kulczyńska M. Lwów — Donbas 1945*. Warszawa, 1988; *To же, там же*: Wyd. 3, 1989. Использовано данное издание.
- 9 *Herling-Grudziński G. A world apart* / Translated by Joseph Marek (A. Ciołkosz). Londyn, 1951; *To же, там же*. Inny świat. Wspomnienia z pobytu w więzieniach i obozach w ZSSR. 1953; 3-е изд. с другим подзаголовком: *Zapiski sowieckie*. Paryż, 1965; *To же*. Wyd. 4. Warszawa, 1992. Использовано данное издание.
- 10 *Wańkowicz M. Dzieje rodziny Korzeniewskich*. Tel Awiw, 1942; *To же*. Rzym, 1945. Использовано данное издание.
- 11 *Wańkowicz M. Droga do Urzędowa*. New York, 1955; *To же*. Warszawa, 1989. Использовано данное издание.
- 12 *Czapski J. Na nieludzkiej ziemi*. Wspomnienia. Paryż, 1949; *To же*. Warszawa, 1990. Использовано данное издание.
- 13 *Obertyńska B. (pod pseud. Rudzka M.) W domu niewoli*. Rzym, 1946; *To же*. Warszawa, 1991. Использовано данное издание.
- 14 *Umiastowski J. K. Przez kraj niewoli*. Wspomnienia z Litwy i Rosji z lat 1939–1942. Londyn, 1947; фрагменты в: *My deportowani*. S. 201–244. Использовано данное издание.
- 15 *Grubiński W. Między młotem a sierpem*. Wspomnienia. Londyn, 1948; *To же*. Warszawa, 1990. Использовано данное издание.
- 16 *Krakowiecki A. Książka o Kołymie*. Wspomnienia. Londyn, 1950; фрагменты: *My deportowani*. S. 123–158. Использовано данное издание.
- 17 *Skarga B. (pod pseud. Kraśniewska W.) Po wyzwoleniu...* (1944–1956). Paryż, 1985; *To же*. Wyd. 2, popr. Poznań, 1990. Использовано данное издание.



- 18 Wittlin T. Diabeł w raju. Londyn, 1951; *To же*. Warszawa, 1990. Использовано данное издание.
- 19 Krzysztof J. Wielbłąd na stepie. Warszawa, 1978.
- 20 См., например: *Медведева О. Р.* Человек в пространстве: русские и Россия в прозе Тадеуша Мичиньского // «Путь романтичный совершил...» Сб. статей памяти Б. Ф. Стахеева. М., 1996. С. 287.
- 21 См., например: *Мочалова В. В.* Семантика русскоязычных заимствований у Ст. И. Виткевича и 'образ' России // *Studia Polonica*. М., 1992. С. 127.
- 22 «włosom ciemno-błąd mówimy paszół wąt». См.: *Przekrój* (Kraków). 2000. № 3. S. 48.
- 23 См., например: *Медведева О. Р.* Указ. соч. С. 287.
- 24 См.: *Słownik tajemnych gwav pszestępczych* / Oprac. K. Stępniaк. Współ. Z. Podgórzec. London, 1993. S. 518.

А. Насиловская  
(Варшава)

## Лагерная мораль — три польские книги о лагерях: Б. Обертыньская, Б. Скарга, Г. Херлинг-Грудзиньский

---

Стереотип — понятие из арсенала социолога или историка<sup>1</sup>. Историк литературы использует его реже и скорее при описании произведений *minorum gentium*, нежели высокохудожественных. В контексте историко-литературных размышлений более удачным представляется термин «образ», не имеющий уничижительной маркировки (стереотип — «бездумно тиражируемая схема»). Разумеется, функционирующие в обществе стереотипы проявляются и в литературе. Это касается в особенности тех из них, которые в значительной степени остаются неосознанными и реализуются «машинально» — или же повторяются как нечто само собой разумеющееся. Таковы, например, в культуре традиционные образы пола, в западном феминистском литературоведении получившие определение «gender». Поскольку это понятие не имеет точного польского эквивалента (попытки воспользоваться словом «род» были изначально обречены на неудачу), польские литературоведы вот уже около десяти лет используют английский термин.

Литературное произведение прежде всего представляет собой пространство интеллекта, свободы, на самом глубоком семантическом уровне — мифа, — но не стереотипа, господствующего в современной массовой культуре. Сверхидеей произведения зачастую оказывается как раз сознательное стремление преодолеть стереотип, переступить через него, противопоставить обыденному оценивающему сознанию неоднозначную и сложную картину, подвергающую даже идентичные факты самой разнообразной интерпретации.

Представляется интересным сравнить три польских текста, посвященных лагерному опыту, с точки зрения отношения к сексуальной нравственности замкнутого тюремного общества. Это один из тех драматических моментов, которые мировоззрение, сформиро-

важное западными понятиями и нормами поведения стабильного общества; всегда воспринимает как потрясение и шок. Один из базовых принципов западного мировосприятия — императив физической неприкосновенности человека (конечно, включающий многочисленные исключения, определяемые нормами, касающимися сексуальной жизни). Это область необычайно сложная, связанная с различными табу, культурными мифами и образами пола (гендерными стереотипами). Восприятие природы и тела весьма неопределенно и влечет за собой разного рода комплексы — другими словами, эта сфера западного сознания отнюдь не отличается целостностью и четкой системой ценностей.

Следует решительно подчеркнуть, что в польской литературе в этом отношении нельзя выделить какой-либо один типичный образ — исследователь имеет дело со всем многообразием противоречивых позиций, выражающих различные слои культурного сознания и бессознательного, начиная с нечетко выраженной мифологической символики и кончая позициями политического характера.

Беата Обертыньская (1898–1980), автор хронологически наиболее раннего из рассматриваемых нами текстов, получила известность прежде всего как поэтесса (причем не первого ряда). До войны она успела издать немного, но привлекла внимание критики как молодая продолжательница традиций «Скамандра». Арестованная во Львове — как «землевладелица» и представительница интеллигенции, не внушающего доверия социального слоя, — Обертыньская попала в лагерь. Была освобождена, чтобы вступить в армию Андерса. Оказалась в женских отрядах на Ближнем Востоке. В 1945 г., проводя отпуск в Йоханнесбурге, она написала воспоминания «В доме рабства», изданные год спустя в Риме под псевдонимом Марта Рудзкая. До самой смерти Обертыньская жила в Лондоне. Она опубликовала несколько поэтических томов, рассказы и книгу, посвященную матери, также поэтессе — Марыле Вольской. К ее высшим достижениям относятся стихи об Урале.

Для Обертыньской ссылка и пребывание в лагере оказались великим испытанием в религиозном значении этого слова. Чем тяжелее условия и сильнее давление обстоятельств, тем более утверждается автор в том, что следует верить свою судьбу Провидению, которое выведет из «дома рабства». Библейская ассоциация сохраняет здесь смысл «перехода через Красное море». Действительность воспринимается с неизменной перспективы веры и собственной жесткой системы ценностей. Кульминацией осуждения советского общества становится запись разговоров русских женщин в лагерной больнице. Здесь система открывает свое истинное лицо, срывает

маску, наглядно демонстрируя последствия. Женщины обсуждают свои похождения, они готовы заняться любовью с каждым, если только это принесет им реальную пользу — подарки или работу полегче. Рождающихся в результате детей они без особых переживаний отдают государству.

В советизированных женщинах не остается ничего человеческого: «В этих рассказах — коровья лень и пассивность. Ничего такого, что могло бы оправдать подобные связи. Никакой страсти, никаких эмоций. Тупое подчинение инстинкту, но даже он не является решающим стимулом к случайному спариванию. „Сватом“ зачастую оказывается голод и расчет»<sup>2</sup>.

Конечно, Обертыньская отмечает и отдельные исключения — немногочисленных представительниц интеллигенции, которым чувство собственного достоинства не позволяет приспособиться к ситуации. Формула «коммунизм аморален» здесь конкретизируется: он аморален потому, что ведет к санкционированному разврату.

Иначе выстроено политически выверенное повествование Густава Херлинга-Грудзиньского. «Иной мир» был закончен в 1950 г. в Лондоне, и автор его был знаком и с книгой Обертыньской, и с достаточно обширной литературой, посвященной гитлеровским лагерям — в том числе, с освещенными рассказами Тадеуша Боровского, навсегда ставшими для писателя точкой отсчета и предметом скрытой полемики. В интерпретации Херлинга-Грудзиньского система враждебна и противопоставлена людям, одни из которых в состоянии сохранить собственное достоинство, а другие скатываются вниз. Это выразительное описание группового изнасилования, жертва которого отчаянно борется за остатки достоинства. Однако здесь есть место и для любви, приносящей мгновение духовного возрождения. Есть, наконец, у Грудзиньского и описание «падшей женщины», которую «имеет кто хочет». Фактография подобна той, что использована Обертыньской: женщины занимаются любовью за хлеб или другие меньшие или большие блага, связи случайны, котируются лишь сила и власть мужского инстинкта, а также женское стремление к иллюзии минутного физического удовлетворения. Спасти человека может любовь или какой-либо иной жест духовной независимости. Возможность достичь нравственных высот относится не к области фактов, но к сфере индивидуального сознания, никак не облегчающего материальное положение заключенного, более того, зачастую его усугубляющего.

«После освобождения» Викторией Красыневской написано в Польше в 80-е гг. и издано почти одновременно в эмиграции и во «втором круге обращения»<sup>3</sup>. Виктория Красыневская — псевдоним профессора философии Барбары Скарги, известной своими великолепными



работами о философии конца XIX — начала XX в. Она была связной в Армии Крайовой, в лагерь попала уже после войны. В своих воспоминаниях Красьневская описывает период несколько более поздний, чем Обертыньская и Грудзинский. Poleмика с последним открывает главу, посвященную любви. Спор касается не фактов, но их интерпретации. Факты вновь все те же: изнасилования, совершаемые «блатными», непродолжительные лагерные браки, невозможность укрыться от чужих глаз, дети, забираемые в детские дома.

Автор исходит из того, что интимные отношения между заключенными сурово карались и должны были скрываться от власти. Всегда существовал риск, что пара будет немедленно разлучена и наказана. Для Красьневской любое проявление любви свидетельствует о стремлении к человеческой близости, т. е. представляет собой своего рода сознательный антитоталитарный жест. Независимо от того, идет ли речь о чисто эмоциональных мотивах или желании получить материальную выгоду — которая зачастую является условием выживания — секс не есть выражение и следствие несвободы. Напротив, это попытка преодолеть такую несвободу. По Красьневской, цена такой попытки очень велика: разлука может наступить в любую минуту, без прощания, и за мгновение иллюзорной радости придется тогда платить еще большим страданием.

Опасность таит в себе и отсутствие противозачаточных средств. Правда, беременным и матерям предоставляются куда лучшие условия, но спустя через шесть месяцев детей забирают в детские дома. Красьневская не дает здесь никаких категорических оценок и не устанавливает норм — способ выживания зависит от психики, среды, воспитания женщины и ее эмоциональных отношений с мужчиной. Для одной это трагедия, другая воспримет расставание с партнером или ребенком как неизбежность, бунтовать против которой бессмысленно. Писательница также никак не оценивает само решение женщины сделать тайный аборт, лишь отмечает, что в примитивных условиях такая операция сопряжена с огромным риском для здоровья. Протест Красьневской вызывает лишь гомосексуализм, который она считает следствием изоляции полов, и характерные для лесбийской любви экзальтированные формы выражения чувств. Подобная позиция вне всяких сомнений связана с тем, что Красьневская в гораздо большей степени, чем Обертыньская и Грудзинский, приемлет биологическое измерение жизни. В лагере писательница выполняла функции медработника, даже ассистировала в больнице при операциях.

В западноевропейском мировоззрении любовь является частным делом человека, и интимные отношения должны быть скрыты от посторонних. Поскольку лагерь исключает такую возможность, Обер-

тыньская утверждает, что секс есть «озверение» человека. По мнению же Грудзинского, следует учитывать внутреннее содержание любовного акта. Но в обоих случаях секс как таковой интерпретируется как нечто низменное. И лишь для Скарги сексуальность является попросту одним из измерений идентичности. Три автора поразному подходят к проблеме биологического пола: по Грудзинскому и Обертыньской, биология ведет к деградации и противопоставлена понятию человеческого достоинства; в то время как Красьневской абсурдной и искусственной представляется мысль о разделении биологического и психического уровней жизни.

Конечно, в анализируемых текстах можно найти определенные различия и в области фактографии. Так, например, лишь Красьневская, которая дольше всех пробыла в лагере, упоминает нелегальные аборт — прочие авторы или не знали об этом, или сочли проблему несущественной. Обертыньская не пишет об изнасилованиях, Херлинг-Грудзинский, напротив, детально описывает такой случай и подчеркивает связь изнасилования с лагерной моралью, признающей исключительно право сильнейшего и подчиняющегося преступной группе. Красьневская же, хотя и упоминает подобные ситуации, но вне основного течения повествования — для писательницы это специфическая область, связанная с «блатными». По ее мнению, объединившись, женщины могли бы защитить себя. Красьневская также подчеркивает наличие достаточно четких поведенческих норм в лагерных союзах, например, общественное одобрение факта верности. Однако в целом различия в фактографии можно скорее считать следствием различий в интерпретации.

Последние имеют и существенное политическое значение. Обертыньская отвергает весь описываемый мир. Она без малейших колебаний ставит знак равенства между «советским» и «русским». «Заражен» и несвободен, по ее мнению, даже язык: «Мне кажется, что проживи я хоть сто лет в России, не смогла бы выучить их язык. Речь является выражением ментальности данной страны, а в русской ментальности есть нечто, что было и останется для меня чуждым. Определенное сходство с польским не только не привлекает меня, но, напротив, раздражает»<sup>4</sup>.

Эта распространенная точка зрения связана с определенным типом польского католицизма. В послевоенной эмигрантской политике ей соответствует радикальное течение, определявшее Россию как «вечного врага» и с недоверием относившееся к Западу. Эти взгляды отличались крайней последовательностью и переносились из политической сферы также и в область языка, культуры и даже тела.

Красьневская занимает совершенно иную позицию. Ее политический выбор можно охарактеризовать как отрицание Системы, но

признание любого проявления человечности, личности и антитоталитаризма. Эта точка зрения тесно связана с отношением к телу и предполагает целостность человека как существа одновременно телесного и духовного. Очевидно, что интерпретация Красьневской неприемлема для традиционалистов, вне зависимости от того, идет ли речь о политике, приятии безнравственности, разрешения или либерального отношения к абортам. Связь между отношением к телу (в том числе своему собственному), заложенным в устойчивые и глубокие слои психики, и исповедуемыми политическими взглядами заставляет задуматься, однако свидетельствует о том, что политические взгляды являются не столько «выбором» как таковым, сколько компромиссом между различными измерениями самоидентификации.

Проблема «русского» у Красьневской, по сути, стирается вовсе, уступая место общечеловеческим, универсальным вопросам. Существует граница между человеческим и «бесчеловечным» — т. е. Системой. Это касается и отношения автора к послевоенной ситуации в Польше: отвергая «Систему» как организованный порядок, Красьневская считает возможным нормальное функционирование и свободную деятельность отдельной личности, обретение ею пространства личной независимости. В то же время отношение к Польше уже упоминавшегося радикального течения — в послевоенное время это были, в основном, эмигранты (впрочем, достаточно малочисленные и постепенно утрачивавшие влияние) — было сложным, поскольку они *modus vivendi* считали недопустимым согласие на несвободу.

Наиболее неоднозначной представляется позиция Грудзиньского. Ее можно выразить формулой, выработанной другими эмигрантскими кругами: «Антисоветскости — да, антиросийскости — нет». Это решение «симметрично» тому языковому выбору, какой в 40-е гг. был сделан в Польше в связи с польско-немецкими отношениями времен Второй мировой войны. Так, созданная в 1945 г. по указу Народного Совета Главная Комиссия по делам изучения немецких преступлений в Польше была вскоре переименована, и речь теперь шла о гитлеровских преступлениях<sup>5</sup>. В то время, как здесь действовали государственные институты, польско-русские отношения были настолько ограничены, а правда о прошлом (существование лагерей или Катынь) так долго не признавалась официально, что выработка формулы для этого исторического опыта происходила почти исключительно вне цензуры, не будучи никак направлена «сверху», политически.

Сегодняшняя судьба анализируемых произведений очень различна. Переизданная в Польше в 1990 г. книга Обертыньской принадлежит к числу малоизвестных текстов, хотя без сомнения имеет приверженцев среди «правых», которые лишь после политических пе-

ремен получили возможность четко сформулировать свои взгляды. Книга Красьневской, официально переизданная лишь в 2000 г., пользуется широкой известностью среди интеллигенции в силу самой личности автора (имя которого практически сразу оказалось секретом Полишинеля). «После освобождения» воспринимается как ценное историческое свидетельство, повествующее о прошлом и о проблемах, стоящих вне каких бы то ни было актуальных дискуссий (хотя книга и была весьма доброжелательно упомянута как «поистине женская» в контексте феминистских рассуждений<sup>6</sup>). Позиция Красьневской связана также с политическими дискуссиями 70–80-х гг. В те годы проблема аборта еще не была сильно идеологизирована — сегодня взгляды писательницы могли бы вызвать сильный протест.

«Классикой» — благодаря включению в школьную программу и неизменной этикетке «шедевр» — стал после 1989 г. «Иной мир» Херлинга-Грудзиньского. Эта книга неоднократно переиздавалась, ей посвящено множество работ и статей, она интерпретируется как одновременно подлинный исторический документ и литературное произведение, постоянно сопоставляется с рассказами Т. Боровского. Причин для того немало, большую роль здесь сыграло и дальнейшее творчество писателя, подтвердившее его литературную репутацию, и многолетние связи автора с эмигрантской средой парижской «Культуры». Важно и то, что книга, написанная сорок лет назад, оказалась актуальной в свете общей тенденции политического языка 90-х гг., когда еще живая проблема борьбы с коммунистической опасностью идентифицировалась с уважением к нормам западной цивилизации и сложным нравственным выбором. Представитель Запада безусловно поставил бы под сомнение, во-первых, само существование подобных четких норм, во-вторых, возможность считать их универсальными в современной поликультурной цивилизации и в ситуации культурного релятивизма. В польском общественном дискурсе эта проблема не дискутировалась. Доминирует убеждение, что без нормативного кодекса общество погрузится в хаос и потеряет свободу, а релятивизм почти ассоциируется с марксизмом.

Для Грудзиньского первостепенное значение имеет разграничение: честность/подлость, нравственность/безнравственность, превозношение/посрамление, взлет/падение, инстинкт/одухотворенность, преступление/наказание. Такая интерпретация связана с возникшей после 1989 г. потребностью отгородиться от негативных аспектов исторического опыта. С точки зрения политики, разграничение на «советское» (отвергаемое) и «русское» (с готовностью принимаемое) имеет для писателя ключевое значение. «Советское» есть зло, насилие и сила. «Русское» в этой паре слабее, это прежде всего куль-



тура, несущая самосознание страдания, духовную независимость, а в мифологическом аспекте — женственность.

Описание действительности имеет черты сознательно выстроенной конструкции, в которой истину и «русское» олицетворяет вне-сексуальная женская фигура, названная Наталией Львовной. Она дает автору почитать «Письма из мертвого дома» Достоевского. Решение связать этот акт самосознания с текстом Достоевского и конкретным женским персонажем имеет, как мне кажется, характер прежде всего символический, а не фактический. Об этом говорит допущенная автором непоследовательность: в главе «Ночная охота», где этот вопрос возникает лишь мимоходом, обладательницей книги названа сестра Тамара, а во второй части — когда тема выходит на первый план — в той же роли выступает уже Наталия Львовна. Видимо, автор счел, что смыслы, связанные с Тамарой, уже образуют значимое и завершённое целое: пережив, благодаря любви, короткий взлет, героиня умирает. Вообще вся проблема чтения книги Достоевского в лагере представляется мне сознательным замыслом автора. Грудзинский стремился очертить в русской культуре такую область, которая, будучи понятной Западу, могла бы трактоваться как выражение самосознания. Вопрос же падения женщины связан с фигурой молодой польки — с тем, чтобы ценностная сетка не накладывалась на национальные барьеры. Херлинг-Грудзинский был особенно чуток к этим проблемам в силу обстоятельств создания и сверхзадачи его книги. «Иной мир» впервые был издан в 1951 г., по-английски, с предисловием Бертрана Рассела. Писатель был вынужден принять меры, чтобы западный читатель не воспринял книгу как проявление польской русофобии. И следует отдать должное огромной политической мудрости Херлинга-Грудзинского, оградившего свое произведение от распространения национальных стереотипов.

В разграничении, о котором шла речь выше и которое в самом глубоком символическом плане можно свести к разграничению добра и зла, явно присутствует стремление к устойчивому религиозному порядку и одновременно открытость, поскольку исключается какая-либо конкретная религия. Что касается следующей из повествования Грудзинского антропологической концепции, оказывается, что эта страстная оценка, всеобъемлющий дуализм и постоянное оценивание доводят порой до признания виновности жертвы и ее осуждения. Херлинг-Грудзинский сверхзападен, и ему сложно принять относительность норм, связанных с различными культурными моделями и обстоятельствами. В результате жертва многочисленных изнасилований может быть изображена как «падшая женщина», потерявшая достоинство. Оправдать секс может лишь аура романтической влюб-

ленности. Эта, казалось бы, особая область ценностных представлений, тесно связана с областью политики.

Проблема сексуальной этики, подвергающаяся диаметрально противоположным интерпретациям, представляет собой специфическую тему, не имеющую аналогов в документальной и художественной литературе о гитлеровских лагерях. Это предмет неусыпного внимания прозаика и драматурга Мариана Панковского, бывшего узника (в том числе Освенцима), который постоянно встречается с реакцией непонимания. Подобный факт, с моей точки зрения, связан с тем, что эта литература не пропагандировалась сверху и потому так и не «застыла» в некий мартирологический стереотип, ранее сформированные клише. Мартирологическая интерпретация, впрочем, тексту Грудзиньского не угрожает, поскольку писатель затрагивает темы, всегда открытые для интеллектуальной дискуссии — как, например, вопрос «откуда берется зло».

Можно удивляться, что из различных документов статус «классики» получила книга несомненно самая трудная, далекая от чистой документальности, в большой степени литературная, сознательно, с помощью различных художественных приемов — от бихевиористского описания до эссеизма — выстроенная. Думаю, это хорошо. Когда мы имеем дело с чистым документом, труднее дискутировать с авторской интерпретацией: возникает ощущение, что она следует из описываемой действительности, представляет собой ее неотъемлемый элемент, т. е. дискутируя с ней, мы ставим под вопрос правдоподобие отношений свидетеля/участника событий. Поскольку книга Грудзиньского подчеркнута литературна, даже самые категорические авторские оценки ничего, в сущности, не определяют, но заставляют думать и ставить вопросы. Однако не все спорные пункты обозначались польскими исследователями «Иного мира» — одну из таких проблем я и хотела затронуть в этой статье.

Позиция Красьневской во многом мне ближе, но принадлежность книги Грудзиньского к классике представляется не подлежащей сомнению: «Иной мир» — это литература, а литература — враг стереотипа и источник мысли.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- <sup>1</sup> За последнее время, например, появилось немало исследований, посвященных польско-немецким стереотипам. Ср.: *Król C. Stereotypy w stosunkach polsko-niemieckich i niemiecko-polskich // Trąbka E. Tematy polsko-niemieckie. Olsztyn, 1997. S. 43–93.* Там же — обширная библиография.

- <sup>2</sup> *Obertyńska B.* W domu niewoli. Warszawa, 1991. S. 166. Сцена бесед в больнице: S. 163–166.
- <sup>3</sup> *Kraśniewska W.* Po wyzwoleniu (1944–1956). Instytut Literacki. Paryż, 1985; *Oficyna Pokolenie.* Warszawa, 1986. В тексте статьи использовано второе из упомянутых изданий.
- <sup>4</sup> *Obertyńska B.* Op. cit. S. 204.
- <sup>5</sup> После 1989 г. возникла необходимость создать комиссию по изучению преступлений против польского народа, затем — Института национальной памяти, организации, занимающейся не только теми случаями, когда жертвами оказывались польские граждане.
- <sup>6</sup> Ср.: *Nowe Książki*, 1997, № 9 — биография Б. Скарги на четвертой странице обложки, подписанная *M. S.*

Перевод И. Адельгейм

Л. А. Мальцев  
(Калининград)

## Тема России и русских в прозе Г. Херлинга-Грудзиньского 80–90 гг.

---

Известность Г. Херлинга-Грудзиньского как современного польского классика, наиболее близкого России, начинает утверждаться с первой публикацией романа «Иной мир» в 1951 г. Неслучайно «Записки из Мертвого дома» Достоевского послужили для бывшего советского заключенного важнейшим философско-историческим «пособием» для постижения ГУЛАГовской системы. Грудзиньский, по словам А. Дравича, «постепенно стал и русистом, и советологом, сначала посредством навязанного опыта, а затем самообразования»<sup>1</sup>.

В середине 70-х гг. Херлинг-Грудзиньский, наряду с Е. Гедройцем и Ю. Чапским, вошел в состав международного редсовета журнала «Континент». Грудзиньский-критик пишет — как в «Культуре», так и в «Континенте», — о русской словесности XIX–XX вв., в том числе о биографии и произведениях Горького и Бабеля, Булгакова и Платонова, Ахматовой и Цветаевой, Пастернака и Мандельштама, Солженицына и Шаламова. Херлинг-Грудзиньский был в польской критике одним из тех, кто первым заговорил о нашей литературе, названной теперь словом «возвращенная». В то же время его рассказы затрагивают русскую тему лишь косвенно<sup>2</sup>.

«Дневник, писавшийся ночью», начатый в 70-х и продолженный в 80–90-е гг., объемлет не только публицистику (в 90-х гг. Грудзиньский пишет о России все чаще) и литературную критику (к обширному списку имен добавляются, например, Зиновьев и Венедикт Ерофеев), но и рассказы, в которых русская тема выходит на первый план («Клеймо. Последний колымский рассказ», 1981; «Русский Медведь. Повествовательный дивертисмент», 1993; безымянный рассказ о Москве 2000 г., 1996; «Вылет и возвращение Голубева. Имперская повесть», 1999) или является одним из важных компонентов художественного целого («Скорбный мадригал», 1996).

«Вариации на тему Великого Бегства» о Толстом (1998), не включенные в многолетний «Дневник», и «Белая ночь любви. Театраль-



ная повесть» (1999) подводят итог работе писателя-«русиста», который от публицистических тезисов и литературно-критической рефлексии постепенно переходит к сфере художественной образности.

Сам Грудзиньский обнаруживает неоднозначное восприятие России Никона и России Аввакума, рассматривая, вслед за французским историком Пьером Паскалем<sup>3</sup>, эти исторические фигуры как архетипы российского имперского и русского бунтарского сознания. Двойной взгляд на Россию, основанный на романтических представлениях XIX в., становится своеобразной константой прозы писателя. От написания «Иного мира» и на протяжении десятилетий он решительно отрицает тоталитарную советскую систему и глубоко симпатизирует стойким людям, имеющим волю сопротивляться «порабощению разума». В сборнике эссе «Призраки революции» (требующем отдельного исследования) этот образ России усложняется своеобразной панорамой интеллектуальной жизни страны в XX в. В настоящей статье речь пойдет об эпике последних двух десятилетий, в которой многогранный опыт писателя кристаллизуется в немногочисленных, но емких образах.

«Русские» рассказы и повесть Херлинга-Грудзиньского имеют три проблемно-тематических центра: память о жертвах ГУЛАГа, общественно-политическая реальность современной России, этический и эстетический потенциал русской литературы. Развитием лагерной темы является рассказ «Клеймо», а также «Падение иного мира» (1994), «второй эпилог» к «советским запискам». В обоих лагерных текстах прорисовываются контуры «коллективной» книги памяти, образец которой дал Солженицын, назвав соавторами своего «Архипелага» тысячи заключенных. «Клеймо» — это эпитафия Шаламову и одновременно польское послесловие к прозе Великого Писателя. В «Дневнике» от 5 октября 1994 г. автор предоставляет слово Мариушу Вильку, автору письма-репортажа о том, как он посетил Ерцево в день пятидесятилетия освобождения Грудзиньского из лагеря. Фокусом письма-репортажа является «микророман» об обрусевшем поляке Франеке.

Рассказ «Клеймо» является «памятником» русскому прозаику и современной трансформацией жанра жития. Грудзиньский описывает кончину Шаламова в московской психиатрической больнице, угадывая в предсмертных днях кульминацию его мученичества. Великий Писатель сидит неподвижно на койке, судорожно обхватив обеими руками миску. Это метафорический образ окаменения, распространенный в прозе Грудзиньского (ср. Свентокшиский Путник в «Башне») и соотносящийся с метафорами камня в прозе и поэзии Шаламова.

Первое предложение «Великий Писатель умирал», как и троекратное обращение к будущему биографу, создают аллюзии исходного шаламовского текста «Шерри-Бренди». Предсмертное состояние Писателя противопоставлено ритмическому умиранию Поэта: «Жизнь входила в него и выходила, он умирал»<sup>4</sup> — «Жизнь медленно покидала его, только покидала, не возвращаясь ни на мгновение, даже на те краткие мгновения, которые позволяют умирающему осознать умирание»<sup>5</sup>. Если для Поэта радость творчества и мука умирания сопряжены в минуте, то Писатель переживает смерть и Воскресение в трехдневный срок: он погружается в беспмятство, но видит женщину в белом халате, вспоминает колымскую Анну Павловну («Первая смерть») и умирает «с тенью победного торжества»<sup>6</sup>.

Шаламов, как считает Херлинг, не мог не примириться с Создателем в час смерти. Дневниковая запись от 7 января 1986 года гласит: «В рассказе о смерти Шаламова „Клеймо“ присутствует как бы проблеск конца его ссоры с Богом». Здесь же комментарий к «Воскресению лиственницы»: «Это рассказ-притча о чуде Воскресения, о знаке бессмертия, отправленном из колымского „царства льда“»<sup>7</sup>. Автор «Клейма» обращается к сакральным мотивам Воскресения Писателя. Символичен факт трехдневного пребывания в «гробу» больницы. Героя покидают в момент страдания друзья с тем, чтобы собраться после его смерти вновь. Сверх того, символика «безграничной ночи» в Нагаевской бухте (ее мрачное видение посетило Писателя незадолго до кончины) контрастирует ослепительной белизне в окнах православной часовни, когда идет отпевание.

«Клеймо» — часть «Дневника», в котором «состязаются» воображение и действительность. Грудзинский далек от убеждения, что «последний колымский рассказ» представляет собой закрытие темы. На смену вымыслу приходят факты — «красноречивые, причудливые, тривиальные». Запись от 20 января 1988 г. содержит выдержки из медицинского отчета о смерти Шаламова и названа «кратчайшим колымским рассказом» авторства «чистой действительности»<sup>8</sup>. Этот композиционный ход «Дневника» освобождает художественное творчество от литературных ограничений и открывает его документальной точности.

Девяностые годы прошли для писателя под знаком отказа от «лагерной этикетки» (С. Выслоух). Рассказы о постсоветской России — это результат пристального внимания Грудзинского-хроникера к людям и событиям. Герои оказываются на «границе» восточного и западного миров: это советский эмигрант («Вылет и возвращение Голубева»), российский турист («Русский Медведь») или спецкор итальянской газеты «Ла Stampa» в Москве (Москва, 15–30 мая 2000 г.). После

отъезда из СССР в 1942 г. писатель ни разу не увидел России, но отсутствие личных впечатлений компенсировал обильным чтением и беседами. Близкий писательской манере Стендаля, он указал в одном из «русских» рассказов: «Есть вещи [...] описание которых в значительной мере зависит от перелистывания массы газет»<sup>9</sup>. Тем не менее в создании образа России у Грудзиньского нет зависимости от чужих точек зрения, хотя автор охотно приводит цитаты или прибегает к парафразам чужих высказываний. Он не раз возвращается в «Дневнике» к вологодскому эпизоду из «Иного мира» (красноармеец и очередь), который отделил в сознании писателя Россию настоящую от России официальной.

Рассказ «Русский Медведь», образующий, согласно автору, «символический код современной российской истории»<sup>10</sup>, основывается на контрасте с давно утвердившейся аллегорией России-«медведя». Это разрушение отдельных западных стереотипов. Редактор «Культуры» Е. Гедройц предположил негативную реакцию русских читателей на произведение, однако Грудзиньский настаивал, что рассказ ничуть не задевает национальных чувств, так как «не ядовит, а скорее шутив»<sup>11</sup>. Рассказ-анекдот опирается на неожиданную развязку, смысл которой — в крушении абсурдных представлений бизнесмена-американца о России. Крах стереотипов и ирония над ними — в том, что Пэт Макферсон, потерявший меру в забавах, умер не от страха (именно это чувство внушал символический советский «медведь» западному миру), а от изумления перед медведем-велосипедистом. Убийственное впечатление произвел, как ни парадоксально, именно зверь дрессированный, а не дикий. Анекдот-притча отрицает, по русскому рассказчику, распространенное представление о России как о «медведе», которого «можно тормозить, когда он слаб, но не стоит дразнить, если он в расцвете медвежьих сил»<sup>12</sup>. История перерождения Игоря Гоголева создает фон «повествовательного дивертисмента». Это персонаж, типичный для России 90-х гг., современный Чичиков, который поднимается на ступеньку по карьерной лестнице, угождая американскому начальнику и — неожиданно для самого Гоголева! — способствуя его смерти. «Слово о триумфе Игоревом», подзаголовок рассказа, первоначально опубликованного в «Политике», вызывает ассоциацию с классическим текстом: Гоголева объединяет с историческим «прототипом» непродуманность действий, при том, что предприниматель Игорь оказывается удачливее князя Игоря.

Если в «Русском Медведе» образная иносказательность преобладает над прямоотой публицистических тезисов, то два последующих злободневных «русских» рассказа написаны в беллетризованной

публицистической манере. Очевиден радикализм автора и его резко отрицательное отношение к идее реставрации советской империи. Прямота мышления публициста нередко приводит к упрощенности: общество, за исключением горсточки диссидентов, рассматривается как монолитное целое. «Московский» рассказ, как и «Прага Кафки» середины 70-х гг., написан в форме путевых записок. Если в «чехословацком» рассказе вымысел завуалирован, то в панораме некоммунистической Москвы 2000 года, увиденной из 1996 г., вымысел очевиден с указания даты. Москва показывается сквозь призму произведений Булгакова и Венедикта Ерофеева. Гротескный антиутопизм «московского» рассказа — в предсказании возможных последствий российской «смуты». В «Вылете и возвращении Голубева» говорится о ученом-синологе, «поклоннике советской империи», который эмигрирует в Китай и оттуда, лишенный свободы высказываний и занятый исключительно археологическими находками, с внутренним протестом наблюдает за советской «перестройкой». Смысл истории — в обреченности попыток возрождения империи на одной шестой части суши.

Русская классика исполнила роль не только социологического, но и духовного «компаса» в полувековом творчестве писателя. Интерес Грудзиньского к философскому (экзистенциальному) аспекту русской литературы проявился в «Вариациях на тему Великого Бегства» и в «Белой ночи любви». Грудзиньский мотивировал свой интерес уникальными открытиями наших классиков в познании человеческой природы. «Русская литература того времени, — признается он В. Болецкому, — Толстой, Достоевский, Тургенев и Чехов — это для меня что-то необычное, чрезвычайное. Это была литература, которая имела невероятную смелость постановки вопросов о человеке. Была в ней страсть, которой мы не найдем больше нигде»<sup>13</sup>. Грудзиньский конкретизирует тезис об уникальности русской литературы, вкладывая в уста больного Лукаша, героя «Белой ночи любви», слова об опыте «терапевтического» воздействия этой литературы: «Такой подсознательной веры в целительные свойства любви нет ни в какой другой литературе на свете»<sup>14</sup>. В мирозерцании Лукаша как человека светского русская словесность приобретает сакральную ценность (как и у его матери Софьи Криспиной, «обожествлявшей Чехова»).

Внимание Грудзиньского к русским классикам привлечено задачей исследования психологического феномена «подполья», мыслью о непостижимом сопряжении порока с праведностью. Достоевский для Грудзиньского — любимый писатель и один из главных «героев» «Дневника, писавшегося ночью». Тем не менее Грудзиньского как писателя привлек Толстой последнего года жизни: драма его семей-



ных отношений оказалась под пристальным художественно-документальным рассмотрением. Элемент вымысла Грудзиньский допускает только в изображении предсмертного часа, обращаясь к психологически многогранной «Смерти Ивана Ильича». Смерть Толстого трактуется как нравственное просветление и примирение с ближними. Толстой (как и Шаламов), в понимании Грудзиньского, примирился с Создателем именно в час кончины.

В «Белой ночи любви», как и в «Вариациях», раскрываются экзистенциальные противоречия человека. «Символом веры» Лукаша становится театр. В орбиту театра герой вовлекает сестру Урсулу. Они оба пребывают в светлом мире эстетических переживаний и, столкнувшись с войной и концлагерями, не озлобляются. Это исключение в прозе Грудзиньского, в которой много примеров ломки судеб войной («Горячее дыхание пустыни», «Пик лета», «Отходная по звонарю»). С другой стороны, Лукаш обнаруживает задатки «подпольного» человека, а Урсула походит на жертву своеволия брата. Добродетель верности сочетается с грехом кровосмешительства. Сумма любви брата и сестры и любви мужа и жены вводит в их отношения не только устойчивую эмоциональность, но и неизгладимый дискомфорт. Их сближают воспоминания о гродненской идилии, разъединяют — сознательное у Лукаша, подсознательное у Урсулы — чувство преступности, вина в смерти Богдана. Взаимоотношения Лукаша и Урсулы не определены до конца, хотя привычная взаимность для них важнее стремления к новизне.

Русская тематика «Белой ночи любви» двуедина: во-первых, интертекстуальные связи повести с произведениями Достоевского, Чехова и Тургенева, а во-вторых, символика географических наименований.

«Театральная повесть» становится своеобразной малой энциклопедией русского классического искусства. К. Маслонь имел все основания заявить: «Густав Херлинг-Грудзиньский в своей повести отдал ей (русской литературе. — Л. М.) дань, черпая при этом полной горстью с ее страниц»<sup>15</sup>. Выбор заглавия «Белая ночь любви» отмечается очевидной аллюзией «Белых ночей» Достоевского, которая подкреплена эпиграфом. Трехстишие из тургеневского «Цветка» выбрано, как известно, самим Достоевским. Любопытно, однако, что Грудзиньский приводит не оригинал, а неточную цитату Достоевского. Возможно, «неточность» допущена сознательно: автор как бы «повторяет» первоисточник, и читатель вторично входит в сентиментальную атмосферу «Белых ночей». Произведение Достоевского становится сюжетообразующим фактором. «Братское» отношение мечтателя и Настеньки создают модель отношений Лукаша и Урсулы.

Символично, что герои оказываются впоследствии на гастролях в Ленинграде. Мысль видоизменения «Белых ночей» завладевает умами героев «Белой ночи любви». Урсула, прочитав сценарий, подсадила Лукашу идею купюры. Развязка повести показалась ей психологически невозможной, поскольку кристаллизовавшаяся любовь не может оказаться слабее чувств героини к третьему лицу, которое появляется после годового отсутствия. Действие переводится из сферы нестандартных решений в ретроспективное жизнеописание привычно верных друг другу людей.

«Белая ночь любви» опирается на чеховский текст. «Брат и сестра» (Rodzeństwo), подобно чеховским «Трем сестрам», акцентируют родственный аспект взаимоотношений персонажей. Лукаш и Урсула стремятся в Венецию — она для них имеет ценность не меньшую, чем для чеховских сестер Москва. Однако для пожилых героев это не порыв в будущее, а поиск утраченного рая. Эпиграф из «Чайки» (слова Треплева) подчеркивает конфликт романтической мечтательности и житейских будней. В репертуаре Лукаша пьесы Чехова становятся профессиональной «Библией», завещанной матерью героя Софьей Криспиной, актрисой костромского театра<sup>16</sup>. Лукаш решает на эксперимент, сначала шокировавший, но затем приведший критиков и зрителей в восторг. Сторонник экзистенциалистской интерпретации искусства, он устраняет эффект стреляющего ружья в концовках пьес, помогая зрителю, по мнению сценариста, постичь глубину обыденных отношений действующих лиц. Профессиональное предпочтение драматургии повседневности перед остросюжетным действием проецируется на отношения Лукаша и Урсулы: ровные, принятые раз и навсегда, без частых «вдруг».

Гродно и Лондон, Ленинград и Венеция создают географические координаты жизни героев по линиям Восток–Запад, Север–Юг. Восточноевропейские воспоминания о гродненской молодости соотнесены с западноевропейским мифом Венеции. Его Гродно есть неотделимая часть Европы с ее исторической трагедией XX в. Гродненские впечатления Грудзиньского 1939–1940 гг. получили концентрированное выражение в «Белой ночи любви». Если Гродно для героев — рай первозданный, а Лондон — рай утерянный, то Венеция становится («хоть на мгновенье») раем возвращенным.

Между Востоком и Западом в сознании героев (как и в сознании самого писателя) существует незримая связь. Именно ее Грудзиньский стремится установить, проводя игру цитат и аллюзий Достоевского и Чехова, Камю и Томаса Манна.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 *Drażewicz A.* Ten sam, chociaż inny świat. Gustaw Herling-Grudziński a Rosja i Związek Sowiecki // Herling-Grudziński i krytycy. Lublin, 1997. S. 55. Перевод польских текстов здесь и далее автора статьи.
- 2 Например, Ксавье де Местр (рассказ «Башня») — это знаковое имя; поскольку значительный период жизни этого писателя связан с Россией.
- 3 Грудзиньский соотносит труд Паскаля о русском расколе с современностью: «Кто знает, не следует ли в современных русских „диссидентах“, инакомыслящих, видеть наследников раскольников XVII в. Когда мы читаем „Житие протопопа Аввакума“ и восхищаемся сопротивлением, с каким он защищал Старую Веру до мученической смерти, часто возникают лица, известные из сегодняшней хроники сопротивления советской религии Государства». Цит. по: *Herling-Grudziński G.* Pisma zebrane. Dziennik pisany nocą 1984–1988. Warszawa, 1996. S. 270.
- 4 *Шаламов В. Т.* Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. С. 114.
- 5 *Герлинг-Грудзиньский Г.* Клеймо // Иностранная литература / Перевод С. Макареца. 1996. № 2. С. 92.
- 6 Там же. С. 94.
- 7 *Herling-Grudziński G.* Pisma zebrane. S. 201.
- 8 Ibid. S. 397.
- 9 *Herling-Grudziński G.* Odlot i powrót Golubowa // Pisma zebrane. Dziennik pisany nocą 1997–1999. Warszawa, 2000. S. 340.
- 10 *Херлинг-Грудзиньский Г.* Русский Медведь // *Он же.* Горячее дыхание пустыни. Белая ночь любви. М., 2000. С. 172.
- 11 *Sawicka E.* Widok z wieży. Rozmowy z G. Herlingiem-Grudzińskim. Warszawa, 1997. S. 28.
- 12 *Херлинг-Грудзиньский Г.* Указ. соч. С. 171.
- 13 *Herling-Grudziński G., Bolecki W.* Rozmowy w Neapolu. Warszawa, 2000. S. 264.
- 14 *Херлинг-Грудзиньский Г.* Белая ночь любви // *Он же.* Указ. соч. С. 213.
- 15 *Masłoń K.* Miłość najsilniejsza, miłość zastępcza // Magazyn Literacki. 2000. № 1. S. 4.
- 16 Героиня «Белой ночи любви» сопоставима с поэтессой Цветаевой, о которой Грудзиньский часто писал: они решили вернуться из эмиграции в Россию. Ср. также дневниковое упоминание о Елене Федоровне от 10 февраля 2000 г.: Rzeczpospolita. Plus-Minus. 2000. № 16. S. 2.

О. В. Белова,  
Л. Н. Виноградова  
(Москва)

## Фольклорные этиологические легенды о поляках и их восточнославянских соседях

---

Среди множества аспектов проблемы взаимоотношений поляков и русских, учитывающих политические, идеологические, исторические, литературно-художественные, конфессиональные и прочие моменты, — важное значение приобретают контакты соседствующих с поляками восточнославянских народов в зоне их общего этнокультурного пограничья. Такие устойчивые (мало зависимые от ситуационной историко-идеологической реальности) элементы традиционной культуры, как местный диалект, обычаи и обряды, мифологические воззрения, фольклор и т. п., часто оказываются наиболее существенными, показательными, глубинными по своим психологическим истокам факторами, которые формируют этнические стереотипы, т. е. представления этноса о самом себе и о других народах. Именно в зонах пограничных контактов, как считают этнографы, обычно актуализируются и активно бытуют самые «конфликтные» мотивы фольклорной этнологии, тогда как в центрах размещения национальных сообществ они ослабевают, становятся менее значимыми.

Показательно, что даже в обыденном сознании (вне фольклорной традиции) наиболее положительные эмоции вызывают у поляков, согласно проведенному в Польше опросу в 1996 г., «далекие» нации (американцы, французы, итальянцы), а наиболее отрицательные — ближайшие соседи (немцы, чехи, украинцы, белорусы, русские). Подобная ситуация оказывается типичной и для народной культуры. С другой стороны, если в общенациональной культуре восточные соседи поляков оценивались по-разному в зависимости от разной исторической действительности, то в фольклорных текстах «этиологические»

---

Авторская работа О. В. Беловой выполнена в рамках проекта «Народная Библия. Восточнославянские этиологические легенды» (РГНФ, проект № 00–04–00034).



воззрения характеризуются гораздо большей традиционностью, а в содержательном плане — большей «мифологичностью» в трактовке вопроса о происхождении конкретного этноса и о формировании национальных черт характера. Данные этиологических легенд, касающиеся этногенеза поляков и их восточнославянских соседей, свидетельствуют о том, что в фольклорных текстах этого жанра нашли отражение наиболее универсальные (безотносительно к конкретным нациям) мотивы, присущие фольклорному образу «чужого» этноса, в отличие от «своего» (имеются в виду представления о «первичности» формирования своего этноса, его изначальной «правильности», о «нечеловеческой» природе чужих, об их «звериной» сущности или об их связи с потусторонним миром). Через процесс дистанцирования себя от «других» каждая этническая группа пытается осмыслить (в привычных для нее категориях и терминах) свою непохожесть и свое отличие от соседних народов. Таким образом, фольклорные этиологические легенды и рассказы о происхождении соседей-славян и об особенностях черт их национального характера являются той базой, на основе которой изначальное формировалась разноэтническая славянская имагология (мы пользуемся термином, введенным В. А. Хоревым в связи с перспективой изучения проблемы «образ нации» во взаимных славянских связях).

Учитывая специфику фольклорно-этнографических данных, нужно понимать, что оппозиция «свой-чужой» — если иметь в виду аспект этнической идентификации — далеко не всегда напрямую соотносима с реальным различием народностей и представителей разных национальных групп. Вопрос о том, кто является этнически «своим» и кто «чужим», решается для каждой локальной традиции по-своему. Например, термин «русин», «русский мужик» в зоне польско-украинского (волинского) пограничья может обозначать жителя западного украинского Полесья, тогда как поляки в этом регионе часто именуется «мазурами». Ср. сюжет о том, как мазур ходил в гости «до русского мужика» (Левченко 1928. С. 269). Слово «русин» для польского обыденного сознания долгое время было приложимым по отношению ко всем этническим группам восточнославянского сообщества. Так, широко известная польская поговорка «Nie będzie jako świat światem Rusin Polakowi bratem» в равной мере относилась как к русским, так и к украинцам и белорусам (Krzysztof 1975. S. 199–201).

С другой стороны, в польской народной культуре отразился фольклорный антагонизм между поляками и «мазурами» или между «ляхами» (жителями низинных областей Малопольши) и «гуралами» (населением высокогорных районов польских Татр). В трехтом-

ном собрании польских пословиц и поговорок Ю. Кшижановского приводится целый ряд паремий, негативно оценивающих «кресовых» поляков (населяющих «Кресы» — восточные окраины Польши), и прежде всего — «мазуров». Ср. следующие поговорки: «Dobry człowiek, ale Mazur», «Mądry jak Mazur» [ироническое выражение о глупом человеке], «Mazury śleraki niezradne, jak raki» и др. (Krzyżanowski 1975. S. 138–142). Белорусы Гродненщины называли и русских, и жителей восточно-белорусских областей *кацапами*, *руськими*, *бурлаками*; им приписывали такие характеристики, как «великие пияки», «гультаи», «драчуны». Белорусов-полешуков это же население оценивало как «паскудный, злодейский, хитрый народ»: «Полешуки — дрянный народ, хитрый, помиж ими найбільше ведзьмаров» (Federowski 1897. S. 234); «Полешук нашаму чалавеку навет дарогу ни покаже, як пытаешь. „Перад очыма дарога, — кажэ, — а ты чаго ехьў з дому, кали не ведаеш дароги?“» (там же).

Белорусы польского Подлясья, определяя свою этническую ориентацию, говорили: «Jestem Białorusinem, ale mieszkam w Polsce. Białoruskiego nie znam i nie lubię, a mówię tak, jakby po-ukraiński» (т. е. *po-chochlacku*) (Bukraba-Rylska 1994. S. 126). В других интервью, полученных в этом же регионе, люди признавали себя и белорусами, и одновременно поляками, однако в их отношениях к полякам как «чужой» нации проявляется четкая этническая самоидентификация опрашиваемых, осознающих себя белорусами: «Jestem Białorusinem, bo pochodzę stąd, ale i Polakiem, bo mieszkam w Polsce. Polacy to straszni nacjonałiści, a najbardziej nie lubią Białorusinów i nazywają nas *kasapani*» (Bukraba-Rylska 1994. S. 127). В выражении «называют нас» проявляется осознание говорящим того, что «мы — не поляки».

В свою очередь поляки Подлясья осознают себя близкими к обществу местных белорусов; они критично оценивают некоторые национальные черты поляков (проживающих в центральных областях Польши): по их мнению, «nikt (из поляков вообще) obcemu nawet szklanki wody nie poda»; утверждается также, что они (поляки) якобы больше любят немцев, чем белорусов (ср. широко бытующую на Подлясье поговорку о поляках: «Prędzej Niemca [поцелуют] w dupę, niż kasapa w twarz» (Bukraba-Rylska 1994. S. 126). Таким образом, в зоне близких контактов западных и восточных славян, проживающих в условиях соседства народностей, близких по антропологическому типу, по языку, по типу хозяйствования и бытового уклада, по этнографической культуре и т.п. — существенно усложняется картина межэтнических взаимоотношений и основа для формирования этнокультурных стереотипов. Принципиально иначе выглядит ситуация там, где поляки-переселенцы вынуждены были сосущество-

вовать рядом с местным населением Сибири, ср. данные этнографического обследования сел Иркутской области, заселенных (еще со времен реформ П. А. Столыпина) поляками, переехавшими в 1910–1915 гг. из восточной Польши в Сибирь ради освоения новых земель (Wiśniewska 2000). В данном случае этническое самосознание поляков консервировалось и укреплялось в условиях соседства с народом (бурятами) принципиально иного антропологического типа, иной языковой группы, сильно отличающегося хозяйственно-бытового уклада, иных обычаев; иной конфессиональной ориентации, материальной культуры и т. п. В этих условиях поляки-переселенцы стали осознавать себя как «более цивилизованная нация», «более культурная», «более правильная» по сравнению с «дикой», «странной» народностью, говорящей «по-звериному», живущей в «нечеловеческих домах», употребляющей «нечеловеческую» пищу и т. п. В польской среде актуализировалась мифологизированная версия о первоистории заселения поляками местных земель, когда герои-демиурги якобы «окультуривают» дикое пространство и открывают для местного населения пользу культурных растений и орудий труда.

Возвращаясь к анализу мотивов фольклорной «этнологии», хотелось бы отметить, что в этиологических легендах о происхождении поляков и их соседей-славян явственно сохраняется позиция этноцентризма, при которой положительная оценка «своих» и негативная оценка «чужих» часто дается в категориях мифологического мышления («чужим» приписывается «нечеловеческая», «демоническая», «звериная» сущность); что же касается бытовых характеристик (черты внешности чужого этноса, его язык, религия, привычки поведения), то тексты такого рода (пословицы, поговорки, анекдоты, юмористические сказки, дразнилки, сравнительные обороты и т. п.) в большей степени отражают реальные или мнимые особенности национального характера, формулируют определенные этнические стереотипы, обозначают психические свойства и черты, присущие разным этническим группам.

**В контексте библейской истории.** Целый ряд легенд разрабатывает в «этническом ключе» библейские мотивы. Появление различных этносов и сословий оказывается напрямую связано со священной историей в ее фольклорной интерпретации. В данном контексте прародителем «своего» этноса всегда оказывается «положительный» персонаж, чьи поступки или судьба могут служить моральной нормой. Так, в легенде, записанной от поляков в 1990 г. на территории бывшей Виленской губернии, история Каина и Авеля завершается появлением «литвинов» и поляков. Первые — потомки злодея Каи-

на, убившего своего брата; вторые — потомки «благородного Авеля» («To Kain został Litwinem, a Abel, jego serce szlachetne, został Polakiem [...] Kainska krew to chamska krew, litewska, a polska łagodna krew») (Zowczak 2000. S. 140). Данный сюжет, с одной стороны, соотносится с народными рассказами о происхождении социального расслоения общества (например, потомки Авеля — это «господа», «короли», а потомки Каина их вечные слуги, крестьяне — пол., бел.; Federowski 1897. S. 149; Kolberg 7. S. 8). С другой стороны, в общеславянском контексте сюжет о Каине и Авеле оказывается «синонимичным» сюжету о сыновьях Ноя, которые тоже становятся «прародителями» разных народов (ср. болгарские легенды, согласно которым болгары — потомки благочестивого сына Ноя, который прикрыл наготу своего отца, а цыгане — потомки Хама, насмеявшегося над пьяным родителем; Белова 1998. С. 166–167).

Еще один блок этно-этиологических легенд связан с библейским сюжетом о Вавилонской башне и «смешении языков». Каждая локальная фольклорная традиция стремится вписать себя в перечень народов, появившихся во времена возведения Вавилонского столпа. Так, в легенде, записанной в Польше от старообрядцев в 1992 г., подчеркивается, что Бог смешал языки и веры, и появились «и литвины, и поляки, и французы...» (Zowczak 2000. S. 191). Аналогичная картина присутствует и в книжной культуре — упомянем в связи с этим попытки средневековых летописцев и хронографов найти для славянства место в древней истории и внести имена славянских племен в библейскую «таблицу народов».

*«Когда Христос по земле ходил...»* Подобно тому, как Бог создал первых людей в начале времен, впоследствии он продолжил свою творческую деятельность, в результате чего на свет появились «хохлы» и «москалы». На Харьковщине (Купянский уезд) рассказывали, что однажды Христос и св. Петр встретили свадебный поезд; пьяные поезжане стали насмеяться над бедно одетыми путниками. Того, кто советовал «бродягам» (Христу и Петру) заняться хлебопашеством, Христос определил быть «хохлом»-хлеборобом; тому, кто смеялся над босыми путниками, — быть «москалем», плести лапти и всю жизнь в них ходить; а тому, кто дразнил путников, крича «Ве-е-е!», выпала участь быть медведем (Булашев 1992. С. 154).

В Подолии рассказывали, что Бог сотворил сразу же все народы — турок, татар, немцев, русских — не было только среди них «москаля», сотворить которого попросил св. Петр: «Коли вже є всі народи, сотвори ще і москаля». Бог велел Петру поднять камешек, из-под которого тотчас же выскочил «москаль», схватил Петра за



бороду и стал требовать у него «пашпорт», угрожая при этом полицией. Петру пришлось дать «москалю» на горилку, чтобы тот отцепился. «От з тої пори і москалі чіпляються до таких людей, що вони пашпортів не мають. А до того часу ніхто і не знав, що то пашпорт! де хто хтів, там і шов, і нікого не питався, чи можна де іти» (Левченко 1928. С. 243–244).

**«Народная этнология» в свете народной демонологии.** В народных легендах ответственным за разнообразие этнической картины мира оказывается также черт. Согласно украинской легенде, черт решил сотворить кого-нибудь, подобного себе. Накидал в котел смолы и всякого «зілля» и стал варить. Первым он выварил «мужика» («хохла»-украинца). Решив, что «недоварил», черт через некоторое время выловил из котла «ляха». Опять недоварил! Следующим оказался «немец», потом «татарин». Черт решил, что еще чуть-чуть, и выйдет у него некто, во всем ему подобный. Но не досмотрел и переварил — вышел «жид» (еврей), «хитрейший и розумнейший», который может обмануть самого черта (Булашев 1992. С. 146). Русские называли украинцев «чертовыми головами», и прозвище это объясняется следующей легендой. Ходили однажды Господь и св. Петр по земле и услышали в камышах страшный шум — там дрались черт с «хохлом». Св. Петр «помирил» дерущихся, оторвав им головы. Когда Господь пристыдил его за столь жестокие меры, Петр приставил головы обратно, но при этом перепутал их: таким образом у «хохла» оказалась чертова голова (Булашев 1992. С. 152). Черт может быть и «прародителем» целого народа. Об этом — карпатская легенда о происхождении гуцулов (аналогичный сюжет существует в Галиции относительно цыган, которые считаются потомками черта и хромої девушки из числа «фараоновых» людей, преследовавших евреев во время их исхода из Египта; см.: Гнатюк 1902. С. 33–34). Итак, гуцулы — это потомки девушки и черта, заманившего ее в свою «скалу» и за семь лет наплодившего с ней многочисленное потомство — «шчо година — ўсе дитина». Те из них, кого успели покрестить ксєндзы, стали гуцулами, которые всегда весело глядят на высокие горы (откуда они и произошли), весело играют на свирелях и даже зимой ходят с голой грудью — не боятся мороза (Гнатюк 1902а. С. 57–58). Вариантом этого сюжета можно считать карпатскую легенду «Чому волохи носять куці сорочки», согласно которой «волохи» (овчары) носят короткую одежду и дуют «у тугу» (в трубы), потому что так повелел их родитель — «біда» (черт), укравший царскую дочь и прижившей с ней потомство (Гнатюк 1902а. С. 58–59).

«И тут прышоў сабака...» Мотив происхождения различных этносов от животных или превращения «чужих» в зверей и птиц — один из самых распространенных в этиологических легендах. Отразился он и в этнокультурном диалоге между восточными славянами и поляками, где центральным персонажем, благодаря которому появляются на свет «москали», «хохлы», «литвины» и «ляхи», выступает собака (ср. сюжет СУС-777\*\*).

В украинской легенде рассказывается о том, что, когда не было еще на свете ни «хохлов», ни «москалей», святые Петр и Павел отправились на место, где сейчас находится Москва, и стали делать людей. Петр делал «хохлов» из пшеничного теста, а Павел «москалей» из красной глины (потому «москали» все рыжие). Святые оставили каждый свой народ сушиться на солнце, пришла собака и съела пшеничных «хохлов», а глиняных «москалей» испоганила (с них начала стекать глина, потому «москали» пузатые). Св. Петр погнался за собакой и стал бить ее палкой, из собаки посыпались «хуторки» и «слободы» (с тех пор украинцы и живут в таких селениях) (Харьковщина, Купянский уезд; Булашев 1992. С. 153–154).

О происхождении этнических соседей «литвинов» (так называли на Украине белорусов, живших на территории Великого княжества Литовского) украинцы Черниговщины рассказывали, что однажды св. Петр спросил у Бога, почему есть всякие народы, «а от литвинів немає зовсім?». Бог велел ему сотворить литвина, которого Петр и сделал из пшеничной муки, но его творение съела собака. Тогда св. Петр стал бить собаку и выбил из нее столько литвинов, что Бог удивился: «Куда ты их всех денешь?» — «Найдется им место и по-над Десною, и по-за Десною», — ответил св. Петр (Булашев 1992. С. 156).

Обыгрываются в украинских этиологических легендах и польские фамилии: Бог сделал поляка из теста, но его съела собака (представителей других народностей — «москалей», французов, татар, ногайцев — Бог слепил из глины). Рассердившись, Бог ударил собаку о мост — вышел «пан Мостовецкий», ударил об землю — вышел «пан Земнацкий» (Булашев 1992. С. 156). По легенде из Подолии, Бог провинившегося «пса вхопив за ноги, давай ним махати! І де тільки вилитіло з пса, чи на пень, чи на землю, чи на яку звірину, то з того повстав лях [Пеньковскі, Земяньскі, Коньскі]» (Левченко 1928. С. 243). Согласно другому варианту, ангел ударяет провинившуюся собаку о разные деревья — соответственно, появляются шляхтичи по фамилии Вербицкий, Березовский, Буковский, Яворский (Пять легенд 1898. С. 113). По преданию из Речицкого Полесья, Бог вытрясал панов из собаки, «ухапіўши сабаку за хвост [...] а з сабаки сыплюцца паны і бегуць куды від; а дзе каторы астановіцца,

так Бог его і называе. Астанавіўся пад берозаю — пан Березоўскі, пад дубам — пан Дубіскі, пад ольхаю — пан Альховіч, пад гарою — пан Падгурскі, а як каторы ачнуўся за балотам або за рекою, то пан Заблоцкі і пан Зажецкі» (Толстая 1998. С. 27). Растительный код фигурирует и в варианте этого сюжета из Галиции: в давние времена у «шляхты» не было собственных имен, и чтобы как-то различать друг друга, они по совету «мудрой жинки» накормили своих собак и стали наблюдать, куда какая собака отправится отдыхать. Собаки леглись в тени разных деревьев, а их хозяева получили соответствующие имена: Дембицкий, Грабовецкий, Яворский, Липиньский, Лишиньский, Малиновский, Вишнёвский, Яблоньский (Гнатюк 1899. С. 172). В обценном рассказе из Подолии «паны» Корчаковский, Листовский и др. появляются там, где справила нужду собака черта (Левченко 1928. С. 243). В белорусской легенде из Минской губернии отмечается, что первого шляхтича Бог сделал из творога и его, естественно, съела собака («кундэль»). Рассерженный Бог прогнал собаку, сказав, чтобы она бежала по свету и за что ни зацепится, из того выскочит шляхтич. Так и появились на свете Березовские, Каменские, Хомутовские, Твороговские. Их и дразнят соответственно: «Шляхціць-махціць, кундэлю сын!» (ЛП. С. 92).

Представления о «родстве» иноэтнических соседей с собакой находят выражение в поверьях о «черном небе», которым якобы обладают русины. Поляки называют их *czarny* (ср. *czarny* и как эвфемизм черта), говоря, что можно определить — является собака поляком или русином по тому, какого цвета у нее глотка. Русины не остаются в долгу и отвечают: «У Mazura czarna gura (глотка)» (Bystroń 1922. S. 180–181).

Жители Волковысского повета считали, что мазуры, подобно животным, рождаются слепыми и прозревают только на третий день (Federowski 1897. S. 233). В Сокальском повете аналогичное поверье бытовало среди поляков (Siewiński 1903. S. 70). Данная особенность послужила объяснением мазурской храбрости — в сражениях «слепые мазуры» бесстрашно (*na ślepo*) шли на смерть, т. к. «не видели» числа врагов (Siewiński 1903. S. 70). Этим же поверьем объясняется западноукраинское прозвище поляков «лях-девятидневник»: считается, что слепого новорожденного мать девять дней держит «под макитрой», пока у него не откроются глаза. «Ляхи» рождаются слепыми, как котята, и потому само их название имеет отрицательный оттенок, отражая их якобы нечеловеческую природу: «погане 'му імя: Лях» (Франко 1908. С. 369–370).

В свою очередь мазуры думали, что слепыми рождаются русины. Это, с точки зрения русинов, безусловно было заблуждением: «Ма-

зур сліпий ся родит, а дурний умирає». По этому поводу существует такая русинская байка: «Питав сі Мазур Русина: А ци то правда, зе се Русінек сълепи родзі. — То правда, — каже Русин, — бо завше Мазура наймают, аби му девійть день у сраку дув, поки не провидит» (Франко 1908. С. 371; Прикарпатье, аналогичный вариант см.: Франко 1898. С. 201). Интересно, что в этом рассказе, записанном от русина, делается попытка передать особенности польского произношения, мимо которых не могли пройти внимательные соседи.

**«Народная этнология» и язык.** Согласно легенде из западной Белоруссии (Волковысский повет), в начале света был человек, который никому не уступал дорогу. Однажды он встретился с чертом и стал с ним драться. Черт ударил его и выбил ему зубы. Человек стал шепелявить, и от него пошел целый такой род, т. к. дети переняли его речь (Federowski 1897. S. 232–233).

Другая «лингвистическая» легенда объясняет наличие в польском языке «носовых» гласных. Когда-то русский кот нес в зубах птицу, и когда его спросили, что он несет, кот широко раскрыл пасть и сказал «мя-я-со!» (птица улетела). Польский же кот отвечал сквозь зубы и у него получилось «mieśo!» (таким образом он сохранил свою добычу и оказал влияние на польскую фонетику) (Siewiński 1903. S. 69–70).

Но каковы бы ни были особенности языка «чужих», «свой» говор всегда оказывается лучше, совершеннее и помогает своему носителю в трудных ситуациях. Об этом — карпатский народный «лингвистический» анекдот. Русин и мазур нашли на дороге мешок («мех») с ячменем и решили: кто сможет одним словом назвать находку, тот ее и получит. Мазур попытался: «Woresek-jescmionesek, jescmionek-woresek» — неудачно. Тогда русин гордо сказал: «Ячміх!» (ср. з.-укр. диал. *ячміх* 'ячмень') (Франко 1898. С. 201).

**О чертах характера.** Что касается бытовых наблюдений друг за другом, то в центре внимания оказываются черты характера соседей, особенности их быта и жизненного уклада. Так, украинцы следующим образом объясняют склонность поляков к воинской службе. Когда евреи схватили Иисуса Христа, то повели его сначала к ляхам. Ляхи хотели отбить Христа, и за их доброе сердце Христос дал им награду — воинственность: что лях, то и вояка». В рамках этого же сюжета объясняется, почему «что немец, то купец» (немцы хотели выкупить Христа, и он благословил их заниматься торговлей) и «что мужик, то и вор» («мужи́ки»-украинцы хотели выкрасть Христа) (Булашев 1992. С. 155–156). Сходный сюжет, объясняющий, почему поляки



любят драться, русины — красть, а армяне богаты, бывовал в Сокальском повете. Поляки, русины и армяне хотели вызволить Христа от мучителей-евреев. Поляки предложили Христа отбить, русины — украсть, а армяне выкупить. И Христос на кресте дал каждому из этих народов соответствующую долю (Siewiński 1903. S. 69).

Не осталась без внимания соседей и политическая жизнь поляков. Колоритная легенда из Мазовше рассказывает следующее: «Говорят, что когда Люцифера свергли с неба, он распался на части. Голова упала в Испании, поэтому испанцы грешат чванливостью („ruscha grzesz“); сердце упало в Италии, поэтому итальянцы — лукавые предатели („zdradliwi“); живот попал к немцам, поэтому они обжоры; руки — к туркам и татарам, поэтому они разбойники („rabują i zabiją“); ноги — к французам, которые все время скачут и танцуют. А Польше достались „атрибуты“ Люцифера — таблица, мел и губка, поэтому поляки на своих сеймах все время пишут законы и тут же их стирают („co wszystko prawa piszą i mażą na sejmach“»)» (Kolberg 42. S. 363).

Таким образом, типичными в фольклорной традиции оказываются, с одной стороны, механизмы использования «бродячих» (универсальных) этиологических сюжетов для создания стереотипов этнического «чужого»; с другой стороны, для интерпретации особенностей этнокультурных контактов особое значение приобретают фольклорные сюжеты, отражающие историко-культурные и этнопсихологические стереотипы конкретных этносов («москаль» со своим «паспортным режимом», «хохол», проживающий в «хуторках» и «слободах», распри в польском сейме и т. п.). Так через постоянное дистанцирование «себя» от «чужих» каждая локальная фольклорная традиция приходит к осознанию себя и своей «самости», которая в свою очередь немыслима без постоянной оглядки на «чужих».

## ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- Белова 1998 — Белова О. Легенды о Потопе в славянской и еврейской народной традиции // От Бытия к Исходу. Отражение библейских сюжетов в славянской и еврейской народной культуре. М., 1998. С. 163–180.
- Булашев 1992 — Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. Київ, 1992.
- Гнатюк 1899 — Гнатюк В. Галицько-руські анекдоти. Ч. 2 // Етнографічний збірник (далее — ЕЗ). Львів, 1899. Т. 6. С. 163–269.
- Гнатюк 1902 — Гнатюк В. Галицько-руські народні легенди. Т. 1 // ЕЗ. Львів, 1902. Т. 12.

- Гнатюк 1902a — *Гнатюк В.* Галицько-руські народні легенди. Т. 2 // ЕЗ. Львів, 1902. Т. 13.
- Левченко 1928 — Казки та оповідання з Поділля. В записках 1850–1860-х рр. / Упоряд. Микола Левченко. Київ, 1928. Вип. 1–2.
- ЛП — Легенды і паданні / Склад. М. Я. Грышлат, А. І. Гурскі. Мінск, 1983.
- Пять легенд 1898 — Пять легенд // ЕЗ. Львів, 1898. Т. 5. С. 111–116.
- СУС — Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка / Сост. Л. Г. Бараг и др. Л., 1979.
- Толстая 1998 — *Толстая С. М.* О нескольких ветхозаветных мотивах в славянской народной традиции // От Бытия к Исходу. Отражение библейских сюжетов в славянской и еврейской народной культуре. М., 1998. С. 21–37.
- Франко 1898 — *Франко І.* Людові вірування на Підгір'ю // ЕЗ. Львів, 1898. Т. 5. С. 160–218.
- Франко 1908 — *Франко І.* Галицько-руські народні приповідки // ЕЗ. Львів, 1908. Т. 24. С. 369–371.
- Bukraba-Rylska 1994 — *Bukraba-Rylska I.* Tożsamość kulturowa na pograniczu polsko-białoruskim (na przykładzie południowo-wschodniej Białostoczczyzny) // Pogranicze jako problem kultury. Opole, 1994.
- Bystroń 1922 — *Bystroń J. St.* Czarność obcych // Lud. Lwów, 1922. Т. 21. S. 179–182.
- Federowski 1897 — *Federowski M.* Lud Białoruski na Rusi Litewskiej. Kraków, 1897.
- Kolberg 7 — *Kolberg O.* Dzieła wszystkie. Т. 7. Krakowskie. Cz. 3. Wrocław; Poznań, 1963.
- Kolberg 42 — *Kolberg O.* Dzieła wszystkie. Т. 42. Mazowsze. Cz. 7. Wrocław; Poznań, 1970.
- Krzyżanowski 1975 — *Krzyżanowski J.* Mądrzej głowie dość dwie słowie: Pięć centurj przysłów polskich. Warszawa, 1975. Т. 2.
- Siewiński 1903 — *Siewiński A.* Bajki, legendy i opowiadania ludowe (zebrane w powiecie sokalskim) // Lud. Lwów, 1903. Т. 9. S. 68–85.
- Wiśniewska 2000 — *Wiśniewska A.* Proces kształtowania się i rozwoju tożsamości etnicznej mieszkańców Wierszyny (Syberia Środkowa) // Etnografia Polska. 2000. № 1–2. S. 99–114.
- Zowczak 2000 — *Zowczak M.* Biblia ludowa. Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej. Wrocław, 2000.

*Памяти замечательного польского слависта,  
профессора Галины Турской,  
100-летний юбилей которой připадает на момент открытия  
Дней польской науки в России (15.10.1901 – 15.10.2001)*

*Ю. А. Лабынцев  
(Москва)*

## Письменное наследие Великого княжества Литовского в глазах первенцев польской и русской гуманитарной науки: Виленская школа и профессор И. Н. Данилович

---

Европейское культурное пространство в начале XIX в. значительно изменило свои очертания. Собственно западная культура оказалась перемещенной далеко на восток и северо-восток континента, за границы империи Третьего Рима, новая столица которой, Петербург, стала успешно соперничать с «главным городом мира» — покоренным в 1814 г. войсками России наполеоновским Парижем.

Политические реалии эпохи, разделы Речи Посполитой между Австрией, Пруссией и Россией, наполеоновские войны, включение западных земель бывшего Великого княжества Литовского, Русского, Жемойтского в состав Герцогства Варшавского, а затем Царства Польского, необычайно либеральная по всем европейским меркам Конституция Царства 1815 г., утвержденная Александром I, — все это создавало фон иных социальных событий, происходивших тогда, да и значительно позднее, в этой части Европы. К исходу XVIII столетия ситуация здесь сложилась таким образом, что по всем стандартам международного права А. Пушкин и А. Мицкевич оказываются соотечественниками, уроженцами одного государства.

Это обстоятельство наложило больший или меньший отпечаток на судьбы обоих поэтов, а также многих тысяч и сотен тысяч иных подданных Российской империи, русская элита которой всегда проявляла немалый интерес ко всему, что было связано с бывшим Великим княжеством Литовским.

В пушкинскую пору интерес этот в большинстве своем носил, так сказать, служебно-государственный характер, в том числе и в сфере социально-культурной. Однако уже тогда, даже среди высшей русской аристократии, появились люди, которые живо и с огромным энтузиазмом изучали культурное наследие народов бывшего Великого княжества Литовского. Среди них оказался государственный канцлер граф Н. Румянцев и его сподвижники, сыгравшие выдающуюся роль не только в собирании и исследовании памятников духовной культуры народов Великого княжества Литовского, прежде всего белорусского, но и возникновения белорусоведения как науки<sup>1</sup>.

Ему же, Н. Румянцеву, а также другим представителям русской элиты пушкинской поры, из которых мы упомянем лишь двух — знаменитого графа М. Сперанского и сенатора М. Балугьянского, близких друзей и знакомых А. Пушкина, предстояло оказать огромное влияние на жизнь замечательного исследователя письменных памятников народов Великого княжества Литовского профессора И. Даниловича, зачисляемого одновременно в ряды польских, русских, белорусских, украинских и даже литовских первенцев гуманитарной науки.

В наши дни имя И. Даниловича, о котором в пушкинскую пору могли сказать и, в лучшем случае, говорили: «gente Rutheni, natione Poloni», становится все более и более известным в Беларуси, Украине, Литве и Польше. А совсем недавно, летом 1998 г., Белорусское Научное Общество в Польше провело специальную научную конференцию, посвященную ученому, и водрузило памятный крест на могиле его отца.

Будущий профессор Игнат (Игнатий) Николаевич Данилович родился 30 июля 1787 г. (по другим данным 1788 г.) в Грыневичах Великих на Подляшье (ныне Подляшское воеводство Польши) в семье настоятеля униатской Ильинской церкви. В десятилетнем возрасте в его судьбе большую роль сыграл его дядя пиар Михаил Данилович<sup>2</sup>, с помощью которого он поступил в пиарскую школу в Ломжи, а затем в прусскую гимназию в Белостоке, где учился вплоть до 1807 г. В 1810 г. И. Данилович поступает на этико-политический факультет открытого в 1803 г. Виленского Императорского университета, а уже 20 июня 1811 г. фактически заканчивает обучение в звании кандидата прав, а еще через год удостоивается ученой степени магистра права. Тогда же, в 1812 г., он исполняет должность секретаря при французском генерал-губернаторе Белостока, а затем, с 1814 г., начинает преподавать местное гражданское право в Виленском университете. Близкое знакомство с профессором И. Олдаковским, памяти которого И. Данилович посвятил одну из первых своих печатных работ<sup>3</sup>, И. Лелевелем и другими способствовало его занятиям местной письменной стариной.



В этот период в ученой среде Европы отмечается необычайно сильный всплеск интереса к проблемам живых народных языков и, пожалуй, впервые столь отчетливо и громко ставится вопрос о белорусском языке. Его обсуждают все чаще и чаще уже в первые годы XIX в., причем сейчас довольно трудно сказать, кто же конкретно оказался инициатором этого, во всяком случае едва ли им был А. Чарноцкий, как о том пишут некоторые исследователи. Несомненно, что среди этих пионеров были такие личности, как С. Линде, которому, кстати, принадлежит одна из первых обстоятельных работ о Статуте 1588 г., постоянно использовавшемся им в работе над фундаментальным «Словарем польского языка»<sup>4</sup>, К. Калайдович, обратившийся к изучению белорусского языка еще в 1812–1813 гг., а затем напечатавший свои специальные заметки «О белорусском наречии» и «Краткий словарь Белорусского наречия»<sup>5</sup>; а также целый ряд других исследователей.

Необходимо помнить, что в ту пору, в начале XIX в., одним из самых действенных способов распространения научных идей была ученая переписка, сохранившая свое значение по крайней мере вплоть до второй половины века, а в некоторых областях и позднее<sup>6</sup>. Его пользовались для контактов с коллегами, живущими в других городах и странах. Переписка эта сохранила для нас быть может наиболее ранние и интересные сведения, касающиеся постановки вопроса в ученой среде Виленского университета о белорусском языке, к чему в той или иной мере уже на раннем этапе оказался причастен и И. Данилович, с детства знавший местную так называемую «простую мову», на которой говорили в его родном подляшском селе.

Недавно высказано мнение, будто И. Даниловичу и другим его коллегам по Виленскому университету не было известно понятие «белорусский»<sup>7</sup>. На самом деле это совсем не так. Вот, например, что И. Данилович писал летом 1822 г. князю А. Чарторыскому о наличии изданий Литовского Статута 1588 г.: «Среди печатных экземпляров есть давние русские (ныне называемые Белорусскими) в Университетской и Базилианской библиотеках...» Более того, их университетский сподвижник, профессор И. Лобойко, называет всю кирилловскую письменность Великого княжества Литовского «белорусской», строит обширные планы изучения «белорусского наречия» и «белорусской словесности»<sup>8</sup>. Без преувеличения И. Лобойко можно называть едва ли не первым ученым-белорусистом, широко и однозначно употреблявшим термин «белорусский»<sup>9</sup>.

Впрочем, среди близких к И. Даниловичу людей были и более или менее определенные противники подобных взглядов. Например, И. Лелевель, который в юношеские годы даже побывал в родных

краях И. Даниловича, на Подляшье, где проводил свои первые в жизни научные исследования — изучал народную жизнь, местный фольклор<sup>10</sup>. Вместе с тем именно И. Лелевель на долгие годы становится по сути соавтором И. Даниловича в работе над памятниками права Великого княжества Литовского<sup>11</sup>.

Относительно начала изучения кириллографических Литовских Статутов в научной литературе до сих пор не существует единого мнения. Несомненно выдающееся значение оказали на этот процесс работы С. Линде, прежде всего его одноименное исследование<sup>12</sup>. Собственно, как следует из многих фактов, интерес к Литовским Статутам обнаружился у И. Даниловича уже во время учебы в Виленском университете, а, возможно, и еще ранее, в период занятий в Белостокской гимназии и посещения Супрасля, где пребывал тогда его дядя<sup>13</sup>. В 1823 г. выходит в свет значительное исследование И. Даниловича в области археографии Литовских Статутов<sup>14</sup>, о чем тотчас же публикуются сведения в столичной печати России и даже особый перевод этой работы с польского на русский язык<sup>15</sup>.

Весьма важным моментом в жизни И. Даниловича было командирование его в 1817 г. Виленским университетом в Варшаву и Петербург сроком на один год для совершенствования в области правовых знаний. Кроме этих городов в рамках научной командировки ему удалось в 1818 г. впервые посетить Москву, где он с успехом работал в архивах и библиотеках, собирая разнообразные материалы по истории Великого княжества Литовского.

Важнейшим моментом в научной карьере И. Даниловича стало приглашение в 1821 г. молодого адъюнкта кафедры русского гражданского и уголовного права и польско-литовских законов в создававшийся Комитет по уточнению перевода Литовского Статута и изучению местного права. Работа И. Даниловича в Комитете совпала с рядом заметных событий в его жизни. Он начинает активно печататься в виленских изданиях, в 1822 г. становится экстраординарным профессором Виленского университета, а в 1823 г. — ординарным. Тогда же И. Данилович еще более сближается с И. Лелевелем, который всегда имел на него большое влияние. Вместе они готовят публикации ряда исторических документов, среди которых главное место занимают кириллографические Литовские Статуты. В университетской практике им удается привлечь на свою сторону часть студенческой молодежи, нередко привозившей из своих родных мест, населенных преимущественно белорусами, в том числе и с Подляшья, древние кириллографические грамоты, рукописные и старопечатные книги<sup>16</sup>.

Близость к студентам, среди которых было немало выходцев с Подляшья из таких же семей белорусского униатского духовенства,

оказалась для И. Даниловича роковой. В 1824 г. в связи с известным делом филоматов-филаретов, дабы «пресечь дурное влияние», были уволены из университета профессора М. Бобровский, И. Данилович, Ю. Голуховский, И. Лелевель. Для И. Даниловича настали тяжелые времена. Однако заступничество государственного канцлера Н. Румянцева помогло быстро уладить все проблемы и избежать дальнейших преследований. В начале 1825 г. И. Данилович назначается в Харьковский университет, куда он приезжает через Петербург и Москву.

В Петербурге И. Даниловичу удается необычайно сблизиться с Н. Румянцевым, который принимает его в своем дворце на Английской набережной, ведет с ним научные беседы, обращает внимание на изучение проблем истории Великого княжества Литовского. О своих впечатлениях от колоссальных книжных и рукописных богатств, собранных со всей Европы в петербургском дворце Н. Румянцева, где И. Даниловичу предстояло сделать множество открытий, он писал как о самых сильных в его жизни<sup>17</sup>.

В Харьковском университете И. Данилович занимает кафедру российского и местного (провинциального) права, читает лекции по дипломатике, избирается деканом этико-политического отделения, собирает источники по истории Украины. Здесь же происходит и последняя его встреча с любимым учеником по Виленскому университету и другом А. Мицкевичем.

С 1826 г. Кодификационная комиссия превращается во Второе отделение Собственной его Императорского Величества канцелярии, работу которого в 1828 г. возглавил М. Сперанский, сын сельского православного священника Владимирской губернии. В Отделении продолжается изучение памятников литовско-польского права и на повестку дня все чаще ставится вопрос о привлечении к этим занятиям такого специалиста, как профессор И. Данилович, опубликовавшего и публикующего параллельно с деятельностью Отделения все новые и новые труды по истории местного права, а также сами источники<sup>18</sup>. Весной 1830 г. по представлению М. Балугьянского, выходца из русинского села в отрогах Словацких Карпат<sup>19</sup>, И. Даниловича Высочайшим повелением переводят в Петербург в распоряжение Второго отделения, где ему поручают составление свода законов «для Западных губерний, присоединенных от Польши». В Петербурге И. Данилович много работает в архивах и библиотеках<sup>20</sup>, вместе со своим учеником по Виленскому университету филоматом Ф. Малевским, близким другом А. Мицкевича<sup>21</sup>, составляет «Свод местных законов Западных губерний»<sup>22</sup>, предназначенных для Виленской, Гродненской, Минской, Волынской, Киевской, Подольской губерний, а также Белостокской области. По окончании этого объемного, в

трех частях, труда И. Данилович был награжден орденом св. Анны второй степени и в 1835 г. стал ординарным профессором Киевского университета по кафедре уголовного права и первым деканом юридического факультета. Позднее для него в Киеве создадут специальную «кафедру местных законов западных, отделенных от Польши губерний»<sup>23</sup>. Находясь в Киеве, И. Данилович не утрачивает связи с М. Сперанским, занимается подготовкой к печати Литовского статута 1529 г. «Свод местных законов» в 1838 г. был рассмотрен Государственным советом, однако ввести его в действие не пришлось. 25 июня 1840 г. последовал высочайший указ, отменяющий действие Литовского Статута и дополнительных статей к нему в Западных губерниях<sup>24</sup>. В 1839 г. в связи с делом С. Конарского<sup>25</sup>, расстрелянным в Вильне в феврале того же года, начались массовые увольнения с государственной службы лиц, подозреваемых «в польских симпатиях». Не избежал подобной участи и И. Данилович, отстраненный от преподавания в Киеве и назначенный ординарным профессором в Московский университет по кафедре законов благоустройства и благочиния и кафедре местных законов Западных губерний<sup>26</sup>.

В 1841/1842 учебном году И. Данилович был переведен на кафедру гражданских законов Царства Польского и тогда же ввиду болезни вынужден подать в отставку. В 1842 г. он покидает Москву и поселяется в Киеве, а затем едет на лечение в Силезию, где 30 июля 1843 г. умирает<sup>27</sup>.

Профессор ведущих университетов Российской империи, член многих ученых обществ: Варшавского общества друзей науки, Московского общества истории и древностей российских, Копенгагенского общества северных антиквариетов и других, И. Данилович всю свою жизнь посвятил изучению древних письменных памятников Великого княжества Литовского, что постепенно и неуклонно влияло на его внутреннее самоощущение, национальную ориентацию, которая с детства, казалось бы, определена происхождением, весьма конкретно названным крупнейшим современным историком Польши Ю. Бардахом так: «...плебей белорусского происхождения»<sup>28</sup>.

«Даниловичу была свойственна некоторая влюбчивость в те памятники старины, изучением которых он занимался, и хотя это не мешало научному скептицизму автора, тем не менее накладывало настолько явную печать на шаткие политические убеждения Даниловича с несомненно польскими симпатиями, что есть основания считать его патриотом-литвином, гражданином государства, давно исчезнувшего, и человеком, из любви к памятникам истории, служившим призраку XV–XVI вв.»<sup>29</sup>. Так писали в России в начале XX века.



Вот почему совершенно невозможно согласиться с мнением академика В. Пичеты, который, не исследовав детально этот вопрос, ставил И. Даниловича в «ряд польских ученых»<sup>30</sup>, — тех, которые «не могли обратить внимание на особенности исторической судьбы литовского и белорусского народов»<sup>31</sup>. Впрочем, то, что И. Данилович не только обратил свое «внимание на исторические судьбы» именно «литовского и белорусского народов», но и посвятил этому по сути всю свою жизнь, было ясно в России многим уже в пушкинскую пору. В какой-то степени, как лицо, близкое к А. Мицкевичу, он через посредство великого поэта сообщил эти свои знания и А. Пушкину, живо интересовавшемуся историей Украины, Белоруссии и Литвы. Знал А. Пушкин и о существовании Литовского Статута, и о том, что, как сообщалось в рукописном списке «Истории русов», ему принадлежавшем, «доднесь в Княжестве Литовском видны по древним архивам и у частных особ старые привилегии и другие документы, писанные письмом Руским, а коренное право Руское, известное под именем судных статей и собранное в одну книгу, Статут называемую, переведено после с Рускаго на язык Польский»<sup>32</sup>. Более того, именно И. Данилович способствовал тому, что даже И. Лелевель в конце концов стал писать не иначе как о народе «литовско-русском» и «землях литовско-русских», когда речь шла о Великом княжестве Литовском<sup>33</sup>. Тем не менее общий польский взгляд на Великое княжество Литовское и его исторические земли был тогда всецело имперским. Земли эти даже именовались не иначе как колониями Польши, о чем только сейчас начинают писать, в том числе и белорусские ученые<sup>34</sup>. Впрочем, как считает молодой белорусский философ и культуролог И. Бабков, главный редактор минского журнала «Фрагменты», «настоящий культурный / постколониальный диалог на просторах бывшей Речи Посполитой В-Прошлом-Двух-Политических-Народов А-Сегодня-Четырех-Независимых-Государств еще не начинался»<sup>35</sup>. С ним трудно не согласиться.

С пушкинской поры русская элита, в том числе научная и литературная, проделала непростой путь понимания, отчасти вместе с самим И. Даниловичем, исторических судеб родного ему края, его народа<sup>36</sup>, что с особой ясностью видно на примере его земляка, ученика и друга А. Мицкевича. А. Пушкин называл последнего «поляком» — «Не то беда, что ты поляк: Костюшко лях, Мицкевич лях!» (1830 г.)<sup>37</sup>. П. Вяземский, друживший с обоими, через полвека, уже в конце своей жизни, скажет, что А. Мицкевич «литвин»<sup>38</sup>. А виднейшие русские пушкинисты XX в. писали в 1930-е гг. так: «Мицкевич [...] — величайший польский поэт — сын мелкопоместного шляхтича, по происхождению литвин»<sup>39</sup>.

Вновь приходится согласиться с молодыми белорусскими исследователями. На этот раз в том, что «необходимо... переписать нашу общую историю»<sup>40</sup>, т. е. историю народов той части Европы, где некогда располагалось одно из могущественнейших государств континента — Великое княжество Литовское, Русское и Жемойтское, к духовному наследию которого интеллектуальный Петербург и Москва сразу же проявили интерес, открыв миру и одного из величайших его прямых наследников — поэта Адама Мицкевича.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 См. подробнее: *Лабыцэв Ю.* На благое просвещение. Минск, 1999; *Щавинская Л. Л.* Румянцевское десятилетие пушкинской эпохи и зарождение белорусской гуманитарной науки // *Пушкин—Беларуская культура—Сучаснасць.* Мінск, 1999. С. 210–217; *Она же.* Н. П. Румянцев и начало белорусоведческих исследований // Н. П. Румянцев и славянская культура. М., 2000. С. 52–61; *Лабыцэв Ю.* Русская элита пушкинской поры и культурное наследие Великого княжества Литовского: Научные изыскания профессора И. Даниловича // *Пушкин—Беларуская культура—Сучаснасць.* С. 11–19; *Она же.* Н. П. Румянцев и изучение белорусско-литовского летописания и права (Деятельность профессора И. Даниловича) // Н. П. Румянцев и славянская культура. С. 40–51.
- 2 См.: *I. K.* O postępkach dobroczynnych x. proboszcza w Surazżu // *Dzieje Dobroczynności.* Wilno, 1820. S. 97–100.
- 3 См.: *Danilowicz I.* Wiadomość o życiu i pracach uczonych Ignacego Oldakowskiego. Wilno, 1822.
- 4 См.: *Słownik języka polskiego.* Warszawa, 1807–1814. Т. 1–6.
- 5 См.: *Калайдович К.* О белорусском наречии // *Труды Общества любителей российской словесности.* М., 1822. Ч. 1. С. 67–80.
- 6 В свое время нам пришлось специально заниматься этими вопросами в связи со становлением филологической науки в Польше, России, Беларуси, Украине и Литве, чему, в частности, была посвящена магистерская диссертация. См.: *Labynczew J.* Literatura rosyjska XVII — początku XVIII wieku w opiniach polskich slawistów (1800–1918). Wrocław, 1976.
- 7 См.: *Хаустовіч М.* Забытыя карані: Яшчэ пра беларускую нацыянальную ідэю // *Літаратура і мастацтва.* 25 студзеня 1995. С. 5, 12.
- 8 См.: *Переписка протоиерея Иоанна Григоровича с графом Н. П. Румянцевым.* М., 1864. С. 41, 45, 46, 88. И. Лобойко, в частности, сообщил о Иоанну: «Когда я в 1822 г. приехал в Вильно, я весьма удивлен был письменным памятником белорусского наречия, но мое удивление еще

- более возросло, когда я увидел, что здешние архивы по большей части ими наполнены» (С. 45).
- 9 В переписке с о. Иоанном Григоровичем И. Лобойко подчеркивал, что с помощью Н. Румянцева ему удастся наконец показать обширную «область» знания, которую он стремился выделить и описать «под именем белорусской словесности» и благодаря всей этой работе «белорусская словесность еще при жизни» его «из мрака забвения с таким достоинством выступает на свет» (Переписка протоиерея Иоанна Григоровича с графом Н. П. Румянцевым. С. 46). И. Лобойко, кстати, консультировал по многим белорусоведческим вопросам упомянутого выше А. Чарпоцкого.
- 10 См.: *Korotyński L. S. Piętnastoletni J. Lelewel jako piętwszy zbieracz piosnek ludu w roku 1801 // Księga pamiątkowa na uczczenie setnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza. Warszawa, 1898. T. 1. S. 83–92.*
- 11 В этом творческом тандеме роль И. Лелевеля польскими учеными, пожалуй, преувеличена. См., например, 10-й том трудов И. Лелевеля, в котором помещена специальная статья Г. Ловмянського «И. Лелевель как историк Литвы и Руси»: *Lelewel J. Dzieła. Warszawa, 1969. T. 10.*
- 12 См.: *Linde S. B. O Statucie Litewskim, ruskim językiem i drukiem wydany, wiadomość. Warszawa, 1816.*
- 13 Свидетельства самого И. Даниловича о занятиях Литовскими Статутами в 1815–1830 гг. приведены в его переписке с И. Лелевелем, помещенной в 4-м томе «Ateneuma Wileńskiego» за 1929 г. Библиотека Супрасльского Благочестивого монастыря, обладавшая огромными массивами самой разнообразной европейской книжности, включая и Литовские Статуты (подробнее см.: *Щавинская Л. Л. Литературная культура белорусов Подляшья XV–XIX вв.: Книжные собрания Супрасльского Благочестивого монастыря. Минск, 1998*), оказалась для И. Даниловича неисчерпаемой сокровищницей в его исторических и археографических штудиях.
- 14 См.: *Daniłowicz I. Opisanie bibliograficzne dotąd wiadomych rękopisów i drukowanych egzemplarzy Statuta Litewskiego // Dziennik Wileński. Wilno, 1823. T. 1. S. 377–398; T. 2. S. 1–18, 162–177, 261–293.*
- 15 См.: Соревнователь Просвещения. 1823. № 22. С. 304–360.
- 16 См.: *Skarbiec diplomatów... zebrał... Ignacy Daniłowicz. Wilno, 1860. T. 1. S. IV.*
- 17 *Daniłowicz I. Statut Kazimierza Jagiellończyka, pomnik najdawniejszych uchwał litewskich z XV wieku, wynaleziony i drukiem ogłoszony staraniem Ignacego Daniłowicza profesora w Cesarskim Uniwersytecie Charkowskim. W rosyjskim języku, rosyjskimi i łacińskimi literami i po polsku. Wilno, 1826. S. IV–V.*
- 18 См., напр.: *Statut Kazimierza Jagiellończyka...*

- 19 Вероятно, благодаря М. Балугьянскому, сочинения И. Даниловича о Литовских Статутах позднее были напечатаны «карпатскими русинами». См.: Венок Русинам на обжинки. Вена, 1846.
- 20 См.: Русский биографический словарь. СПб., 1905. Т. 6. С. 73–74.
- 21 А. Мицкевич и Ф. Малевский познакомились скорее всего в 1815 г. сразу же по поступлении поэта в Виленский университет. Они даже жили в одном доме (см.: *Dernałowicz M., Kostenicz K., Makowiecka Z.* Kronika życia i twórczości Mickiewicza: Lata 1798–1824. [Warszawa], 1957. S. 84).
- 22 См.: *Данилович И., Малевский Ф.* Свод местных законов Западных губерний. СПб., 1837; *Данилович И., Малевский Ф., Сперанский М.* Обзорение исторических сведений о составлении свода местных законов Западных губерний. СПб., 1837.
- 23 Подробнее см.: *Иконников В. С.* Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Университета св. Владимира (1834–1884). Киев, 1884. С. 147–173.
- 24 См.: Полное собрание законов Российской империи. Т. 15. № 13591.
- 25 См.: *Kwiatkowski W.* Szymon Konarski na tle swej epoki. Wilno, 1939.
- 26 См.: Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Московского Университета. М., 1855. Т. 1. С. 287–290; *Runo.* Polacy w Uniwersytecie Moskiewskim // *Znicz.* Moskwa, 1905. S. 42.
- 27 Похоронен И. Данилович в Греценберге (ныне Есеник в Чехии).
- 28 См.: *Bardach J.* O dawnej i niedawnej Litwie. Poznań, 1988. S. 71.
- 29 Русский биографический словарь. С. 75.
- 30 Любопытно, что в этом ряду всего три фамилии: «Ярошевич, Балинский, Данилович». Все они по происхождению так или иначе связаны с белорусским этносом или же родились на землях современной Беларуси. По своим взглядам они были достаточно близки, причем самым старшим из них являлся И. Данилович, младшим — его ученик по Виленскому университету М. Балинский.
- 31 *Пичета В. И.* Белоруссия и Литва XV–XVI вв. М., 1961. С. 429. Известный современный польский ученый Б. Белокозович вообще пишет о том, что И. Данилович «многое сделал для позднейшего роста белорусского национального самосознания» (см.: *Białokozowicz B.* U źródeł kształtowania się nowożytnej białoruskiej świadomości narodowej // *Białoruskie Zeszyty Historyczne.* Białystok, 1995. № 4. S. 46; Ten же. *Między Wschodem a Zachodem: Z dziejów formowania się białoruskiej świadomości narodowej.* Białystok, 1998. S. 52) и, таким образом, польская сторона в лице ее самых авторитетных ученых уже не только не склоняется к безоговорочному зачислению И. Даниловича в число не обративших «внимания на особен-



- ности исторической судьбы литовского и белорусского народов», но и подчеркивает его «белорускость».
- 32 История русов. М., 1846. С. 6. А. Пушкин хотел издать в начале 1830-х гг. имевшийся у него список «Истории русов», считая ее автором св. Георгия Конисского. Поэт посвятил «Истории» особую статью в «Современнике», где опубликовал небольшие ее фрагменты, что дает право считать А. Пушкина и одним из первых археографов, изучавших памятники, и это действительно отмечается историками: См., напр.: *Дорошенко Д. І. Огляд української історіографії*. Прага, 1923. С. 48.
- 33 См.: *Lelewel J. Dzieje Litwy i Rusi aż do unji z Polską // Dzieła*. Warszawa, 1969. Т. 10.
- 34 См., напр.: *Швед В. Польскае пытанне і Беларусь у 1772–1863 гадах // Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe*. Białystok, 2001. S. 273–283.
- 35 *Бабкоў І. Ежы Гедройц і посткаланіяльнае мысленне // Кантакты і дыялогі*. 2001. № 4–5. С. 11.
- 36 «Польским ученым» считали некоторые видные русские исследователи тогда и земляка И. Даниловича профессора М. Бобровского, каковым последнего В. Францев продолжал числить и почти столетие спустя (См. подробнее: *Щавинская Л. Л. Литературная культура белорусов Подляшья XV–XIX вв.* Минск, 1998. С. 62–63). В 1932 г. известный литовский историк права академик А. Янулайтис опубликовал книгу о И. Даниловиче, где особо подчеркнул его «литовскость» (См.: *Janulaitis A. Ignas Danilavičius Lietuvos bei jos teisės istorikas*. Kaunas, 1932).
- 37 *Пушкин А. С. Полное собрание сочинений*. М., 1995. Т. 3. С. 215.
- 38 Не исключено, что отец А. Мицкевича был из «простых» и получил шляхетство незаконно (см., напр.: *Czapska M. Szkice mickiewiczowskie*. Лондун, 1963. S. 33–34). Если это в самом деле так, то родословную А. Мицкевича по отцовской линии нужно вести от белорусских крестьян-униатов.
- 39 Путеводитель по Пушкину. СПб., 1997. С. 254.
- 40 *Бабкоў І. Указ. соч.* С. 12.

Л. Л. Щавинская  
(Москва)

## У истоков славяноведения: Польско-русский диалог и о. Михаил Бобровский

---

Мы являемся страной, которая имеет  
общих героев с соседями...

*Ежи Гедройц*

Просматривая работы по истории начального периода польского и русского славяноведения, невольно обращаешь внимание на то, что обе стороны, прежде всего преимущественно польская, считают одни и те же имена, факты, события своими собственными — и только. Особенно это показательно в отношении такого важного интеллектуального центра первой трети XIX столетия, как Виленский императорский университет<sup>1</sup>. Вот, к примеру, авторитетное польское мнение об этом университете в целом. «Виленский университет, — констатируют авторы академической «Истории польской науки», — с точки зрения научного уровня был наиболее значимым польским учебным заведением в первой половине XIX в.»<sup>2</sup>.

Возникшая в период Контрреформации вскоре после принятия Люблинской унии иезуитская академия в Вильне<sup>3</sup>, родоначальница Виленского императорского университета, основанного в 1803 г.<sup>4</sup>, должна была служить целям католического образования местного юношества, т. е. жителей Великого княжества Литовского, Русского и Жемойтского, абсолютное большинство которых составляли восточные славяне, преимущественно белорусы. В течение всей своей истории латиноязычная Виленская академия сохраняла свой интернациональный характер со стороны и преподавательской, и студенческой<sup>5</sup>. Реорганизация ее в 1781 г. Эдукационной комиссией Речи Посполитой в Schola Princesps Magni Ducatus Lithuaniae — Главную школу Великого княжества Литовского, а затем, после третьего раз-

дела Речи Посполитой, — в Виленскую главную школу в значительной степени обнажила сложный конгломеративный этнонациональный и конфессионально-культурный состав этого учебного заведения, официальным языком которого в 1797 г. стал польский. Впрочем, как пишут современные историографы, «почти все лекции по-прежнему читались на латинском языке, некоторые на французском, тем более, что многие преподаватели-иностранцы не знали польского»<sup>6</sup>. Если же взглянуть на состав студентов того времени, то оказывается, что большинство их — это выходцы из белорусских земель<sup>7</sup>. Представителей собственно польских земель было всего несколько процентов — даже меньше чем выходцев с Украины. При основании перед Виленским императорским университетом были поставлены вполне конкретные задачи, представляющие его создание как неотъемлемую составную часть действий российской политики в отношении присоединенных земель бывшего Великого княжества Литовского со столичным городом Вильной. Весь арсенал исторических документов свидетельствует об этом. Более того, какие-либо попытки изменить установленные правила достаточно жестко пресекались уже с первых лет организации Виленского императорского университета. Достаточно указать на резкую отповедь, данную в 1805 г. попечителем Виленского учебного округа князем А. Е. Чарторыским виленскому епископу Яну Коссаковскому, пытавшемуся оспорить установленный порядок вещей в пользу католической церкви. Князь напомнил епископу, что положение дел полностью изменилось, новые государственные правовые акты диктуют их неукоснительное исполнение, способствовать «уничтожению духа единства» недопустимо<sup>8</sup>. Польскоязычность же привилегированной части жителей бывшего Великого княжества Литовского, в том числе и большинства студентов Виленского императорского университета рассматривалась как историческая данность, а отнюдь не как бесспорное свидетельство их этнической принадлежности, хотя нередко имело место и обратное.

Собственно уже тогда начинается тот своеобразный польско-русский диалог, касающийся и истоков научной славистики, понять который помогают образ и судьба профессора о. Михаила Бобровского, одного из самых замечательных корреспондентов «румянцевской Академии», открывшего знаменитую Супрасльскую рукопись XI в.

М. Бобровский был сыном униатского священника из Вольки Выгоновской о. Кирилла Бобровского (скончался в 1824 г.). «Михаил Кириллович, — писал его племянник П. О. Бобровский, — принадлежит к древнему роду чернорусских славян, занимающих юго-западную часть Гродненской [губернии]; на востоке черноруссы вре-

зываются полосой через Беловежскую пушу мимо Полесья, между белорусами и малороссами, достигая до Новогородка (нынешнего Новогрудка). Предки Бобровских в XVII и начале XVIII столетия владели несколькими именьями в Дрогичинской или Дрогицкой земле, т. е. в стране между Дрогичином, Мельником и Бельском»<sup>9</sup>.

В 1803 г. М. Бобровский поступает в Белостоцкую гимназию, которую заканчивает в 1806 г. «с наградой за отличные успехи серебряной медалью»<sup>10</sup>. В 1808 г. он поступает в главную духовную семинарию при Виленском университете, по окончании которой в 1812 г. получает степень магистра философии и богословия, а в 1815 г. после защиты диссертации его утверждают в должности профессора Св. Писания. В этом же году М. Бобровский принимает священнический сан. В 1817 г. Виленский университет решает послать его за границу для ознакомления с уровнем богословского образования за рубежом, чтобы поднять его на должную высоту и в Главной виленской семинарии. Выбор для этой цели именно М. Бобровского не был случайным, поскольку он отличался выдающимися способностями, особенно к языкам. «Кроме основательного знакомства с древними языками — греческим, латинским и еврейским и знания новейших иностранных языков — французского, немецкого и итальянского, Бобровский отлично знал церковно-славянский язык и развил свои филологические познания изучением древних славянских и русских рукописей и старопечатных книг»<sup>11</sup>.

Отправленный Виленским университетом в пятилетнее научное путешествие по Европе М. Бобровский посетил Вену, Прагу, Рим, Флоренцию, Болонью, Венецию, Триест, Милан, Турин, Феррару, Равенну, Неаполь, побывал в Саксонии, Баварии, Моравии, Далмации, Франции. Профессору-священнику М. Бобровскому удалось не только пересмотреть и скопировать интереснейшие исторические материалы, но даже составить каталог славянских рукописей Ватиканской библиотеки, изданный впоследствии префектом библиотеки, кардиналом Анжело Майи.

В годы своего путешествия по Европе М. Бобровский постоянно знакомился со славянскими рукописями и печатными книгами, по возможности приобретая их. «Приобретение их за границу стоило больших жертв ученому профессору, который отказывал себе в последнем и нередко терпел нужду ради приобретения какой-либо ценной книги»<sup>12</sup>. Он собрал одну из самых значительных коллекций изданий, напечатанных глаголическим шрифтом, и оказался первым в мире крупнейшим их исследователем.

Во время своего пятилетнего пребывания за границей М. Бобровский знакомится с графом Н. Румянцевым (по некоторым данным



это произошло в Германии<sup>13</sup>). Знакомство имело дальнейшее продолжение. Славистические пристрастия профессора-священника М. Бобровского были сродни увлечениям канцлера графа Н. Румянцева, которого он не только консультировал и информировал о наличии книг, но и которому непосредственно помогал их собирать, часто посылал снятые с древнейших документов и рукописей факсимиле<sup>14</sup>. О наиболее примечательных своих находках М. Бобровский почти немедленно сообщал Н. Румянцеву, который до своей кончины «вел с ним переписку в самом дружеском тоне». Только смерть мецената-канцлера помешала профессору издать самую драгоценную из них — Супрасльскую рукопись XI в. «За несколько месяцев до своей смерти Румянцев, думая издать Супрасльскую рукопись, поручил Востокову навести справку о ней у Бобровского... Протоиерей Бобровский собирался сам издать Супрасльскую рукопись, и не одну только ее, но и другие рукописи...»<sup>15</sup>.

Отличительной особенностью собрания М. Бобровского было огромное число уникальных первопечатных книг, весьма древних рукописей и изданий XVI–XVIII вв. Ученый увлекался историей славянского книгопечатания и даже написал обстоятельное сочинение на эту тему, к сожалению, не дошедшее до нас, — «Историю славянских книгопечатен в Литве». Открытые Бобровским памятники культуры, в их числе и одна из первых славянских книг вообще — Супрасльская рукопись XI в., найденная им в Супрасльском монастыре, характеризуют его как удачливого археографа. Крупный славист и ориенталист, один из пионеров этих направлений в европейской науке, Бобровский всю жизнь посвятил «умножению плодов славянской литературы». Вот что писал хорошо знавший ученого П. Янковский: «Славянской библиографией и историей книгопечатания профессор Бобровский занимался с особой любовью и постоянством. Он был чрезвычайно опытен в чтении и определении древности старинных наших рукописей; на счет же времени и места издания книг почти не ошибался по первому взгляду. Богатыми своими библиографическими записками он делился охотно со многими учеными; в том числе и с московскими, с которыми, по званию члена тамошнего Общества истории и древностей, находился в деятельной переписке. Памятна, конечно, будет заслуга профессора Бобровского, оказанная истории русского книгопечатания: им-то пополнен в ней пробел о первых ее деятелях, московских типографщиках: диаконе Иване Федорове и Петре Тимофееве Мстиславце, бежавших в 1564 г. из столицы, пред изуверством черни. Бобровский проследил всю дальнейшую судьбу этих замечательных людей и описал порядком все их издания, как совместные, во время данного им Ходкеви-

чем приюта в местечке Заблудове, так и отдельные потом в Вильне, Львове и Остроге»<sup>16</sup>.

По возвращении после пятилетнего пребывания за границей в 1822 г. М. К. Бобровский был назначен экстраординарным профессором Св. Писания и библейской археологии Виленского университета. В 1823 г. он получает степень доктора богословия и назначается ординарным профессором. М. Бобровский предлагает совету университета «совершенно новую программу для преподавания богословских наук в тесной связи с обучением восточным языкам, не исключая, разумеется, славянского»<sup>17</sup>.

Начиная с 1820-х гг. Бобровский активно занимается в архиве и книгохранилище Супрасльского монастыря, о чем свидетельствуют найденные нами его многочисленные расписки<sup>18</sup>. «Здесь, в некогда православной русской святыне, он и нашел обильный материал для археологических и библиографических исследований и открытий, прославивших впоследствии его имя между славистами»<sup>19</sup>. В первой четверти XIX в. Супрасльская библиотека с невероятной быстротой превращается в своего рода славистическую исследовательскую лабораторию мирового значения. Монастырская библиотека становится объектом особого внимания со стороны главных представителей нарождающегося отечественного и зарубежного славяноведения.

Начав с общего знакомства с документами архива и отдельными книгами библиотеки Супрасльского монастыря, о. М. Бобровский постепенно переходит к детальному их изучению, составляет различные описи и инвентари, делает многочисленные выписки, снимает факсимильные копии фрагментов. Наконец, он собирает материалы по истории самой библиотеки. По крупицам им были собраны важнейшие архивные свидетельства за период с 1498 по 1809 гг., проливающие свет на историю этого одного из крупнейших культурных центров мира *Slavia Orthodoxa*. По книгам хранящимся в Супрасльской библиотеке и видимо некоторым документам М. Бобровский изучает судьбу Заблудовской типографии, изданное в ней Иваном Федоровым Москвитинном и Петром Тимофеевым Мстиславцем знаменитое Евангелие учительное. М. Бобровский не только сам работал в Супрасльской библиотеке, но и помогал в этом другим. Среди них следует прежде всего назвать его коллегу и сотоварища-земляка И. Даниловича (1787–1843), профессора Виленского университета, «первого исследователя белорусско-литовского летописания»<sup>20</sup>. М. Бобровский указал И. Даниловичу на многие интересные материалы, хранившиеся в Супрасле, прежде всего летописные памятники, а позднее помогал ему их разбирать, ибо Данилович не был столь опытным палеографом как Бобровский. Собственно И. Дани-

лович впервые опубликовал в научной печати сведения о церковно-славянских рукописях Супрасльской библиотеки по состоянию на начало 1820-х гг.<sup>21</sup> Правда, сведения эти были очень приблизительны и необычайно кратки. Там же сообщалось, что рукописями Супрасльской библиотеки заинтересовал И. Даниловича М. Бобровский<sup>22</sup>. На этот же период приходится организация М. Бобровским и И. Даниловичем не только их собственных археографических экспедиций, но и привлечение к подобной научной работе их учеников<sup>23</sup>. Это в основном были дети униатских клириков из числа местных уроженцев, которые занимались разысканиями в период каникул, когда возвращались в свой родной приход. Экспедиции эти, по нашему мнению, с полным правом могут быть названы поиском своих национальных корней, школой осмысления своей принадлежности к восточной ветви славянства, к миру *Slavia Orthodoxa*. В этом отношении весьма показательна личность М. Бобровского. Эта проблема еще очень мало разработана, скорее ее пока лишь пытались поставить, так как решение целиком зависит от знания фактов, их накопления, чего до сих пор в достаточной степени не удавалось сделать<sup>24</sup>. На принципиальную важность понимания процессов, происходивших в среде униатской интеллектуальной элиты в начале XIX в. указал активный деятель белорусского национального возрождения во II Речи Посполитой, посол ее Сейма, католический священник Адам Станкевич, писавший, что в ту пору «белорусская стихия» была внутренне подготовленной для возвращения в православие, ибо «символом этой стихии являлся восточный обряд»<sup>25</sup>.

Открытие знаменитой Супрасльской рукописи XI в., сделанное М. Бобровским в монастырской библиотеке, он сам относит к началу 1820-х гг. В марте 1825 г. М. Бобровский посылает П. Кеппену факсимильную копию фрагмента Супрасльской рукописи с ее полным описанием, а также особое письмо, в котором были такие слова: «Древнее сей рукописи... не видал я ни в одной из иностранных библиотек, исключая разве находящуюся в Барберинской библиотеке (в Риме) рукопись (палимпсест — *codex rescriptus*) отдаленной древности, в коей содержится Октоих и т. д. Но об этом после. В нашей рукописи пергамент тонкий, гладкий и пожелтевший от древности. Чернила вылиняли»<sup>26</sup>.

По поводу Супрасльской рукописи XI в. М. Бобровский ведет активную переписку со славистами всей Европы, особенно активно — с представителями «ученой дружины» графа Н. Румянцева, который несомненно способствовал укреплению идеи первооткрывателя самостоятельно подготовить ее к изданию<sup>27</sup>. Он «знал, что открытая им рукопись имеет громадное значение и не для одной филологии

славянской. Рукопись нужна была всякому ученому в то знаменательное время, столь богатое открытиями, положившими основание новейшей славянской грамматике»<sup>28</sup>.

Интерес к рукописи в ученом мире усилила и краткая публикация о ней в «Библиографических листах»<sup>29</sup>, подготовленная А. Востоковым по материалам, присланным П. И. Кеппену М. Бобровским<sup>30</sup>. Столичные ученые всеми силами стремились заполучить рукопись, склоняли М. Бобровского помочь в этом.

Во второй половине 1825 г. Супрасльская рукопись находилась на руках у М. Бобровского, и осенью того же года после ее тщательно изучения он сообщает П. Кеппену итоги своих наблюдений, а также шлет новые факсимильные копии отдельных фрагментов<sup>31</sup>. В 1826 г. на основании итогов разысканий М. Бобровского А. Востоков печатает в «Библиографических листах» «Дополнения и поправки к Известию о Супрасльской рукописи XI в.»<sup>32</sup>.

За свою жизнь М. Бобровский открыл многие другие ценнейшие памятники славянской культуры<sup>33</sup>, был «первым в мировом славяноведении», кто «обратился к изучению глаголической старопечатной литературы»<sup>34</sup>, болгарской кириллической письменности, связанной с Римом<sup>35</sup>. М. Бобровский «в Виленском университете открыл также школу древнеславянского языка»<sup>36</sup>, вероятно, первую по времени в истории славистики вообще<sup>37</sup>. Он «был первым преподавателем славянской литературы в России, и граф Сперанский в 1833 г. намерен был ему поручить составление сравнительного славянского словаря»<sup>38</sup>.

Углубляясь в изучение церковнославянской письменности и истории культуры родного края, М. Бобровский стоял у истоков этнокультурного возрождения белорусского народа. Профессор-протоиерей М. Бобровский, будучи одним из первых в истории славистов-археографов, обогатил науку находками многих культурных памятников мирового значения. Он же стал деятельным сподвижником исследовательского движения, славяноведческого по своей сути, которое по праву можно назвать «Румянцевским».

Современники из числа видных русских исследователей считали М. Бобровского «польским ученым»<sup>39</sup>, В. Копитар называл его «rollasso-gusse Bobrowski de Vilna»<sup>40</sup>. Незнание учеными из европейских столиц реалий жизни на пограничье Востока и Запада континента, прежде всего в сфере религиозной и этноконфессиональной, заставили П. Бобровского дать такое весьма важное разъяснение, касающееся его дяди, в 1815 г. принявшего священнический сан, а в 1817 г. ставшего брестским каноником: «А. Востоков, а за ним и г. Бем, называют его ксендзом, но обыкновенно его титуловали каноником. Каноник (латинское) все равно, что русское протоиерей (греческое).



И эта замена греческого или русского названия латинским произошла в унии в XVIII в. и удерживалась до 1829 г., когда Брестский каноник Бобровский высочайше назначен соборным протоиереем Жировицкой униатской кафедры. Ту же ошибку повторяет и Срезневский с тою разницею, что называет Бобровского то ксендзом, то патером. М. Бобровский возведен в сан Брестского кафедрального каноника в 1817 г. Русское общество в то время не в состоянии было делать различия между римско-католическим ксендзом или патером и униатским священником или иереем. Так приучили смотреть на белое духовенство, остававшееся единственным носителем русской старины в губерниях, от Польши присоединенных, обманчивая внешность и подчинение униатов римскому папе. В мнении русского общества униат мало чем отличается от католика, а житель западной губернии — от поляка. Даже западные губернии, от Польши возвращенные, назывались польскими. Между тем поляки последователей греко-униатской церкви называли русскими и их исповедание — русским. Так перепутались понятия даже в среде наиболее образованного класса в России; даже теперь иные образованные русские Литву называют Польшею»<sup>41</sup>. Впрочем пояснения П. Бобровского (1832–1905), уроженца Гродненской губернии, известного историка и военного деятеля<sup>42</sup>, неутомимого исследователя Подляшья, едва ли были замечены. В. Францев в своей докторской диссертации о польском славяноведении, уже в XX в., относит М. Бобровского к «польским ученым», посвящая ему 5-ю главу своего труда<sup>43</sup>. В арсенал польского славяноведения зачисляет наследие М. Бобровского Т. Лер-Сплавинский, говоря о нем как о «первом в Польше знатоке церковнославянской письменности»<sup>44</sup>, и наш современник Л. Мошинский, именующий М. Бобровского «польским подляским шляхтичем»<sup>45</sup>.

Рукописные заметки самого М. Бобровского позволяют утверждать, что сам он, «отдающийся умножению плодов церковнославянской литературы»<sup>46</sup>, уже в начале XIX в., а особенно во время своего обширного заграничного путешествия по Европе 1817–1822 гг. уверенно относит себя к кругу «наши побратимцы», в котором перечисляет славян христианской ветви *Slavia Orthodoxa* «Русинов, Козаков, Болгар»<sup>47</sup>.

Без сомнения новый характер высшей виленской школы наложил отпечаток и на поиски своих национальных корней многими местными представителями восточного славянства, преподававшими или учившимися в Виленском императорском университете. В числе первых из них оказываются дети «русских» церковных клириков, которым и суждено было начать этот поиск. Именно тогда в нарождавшемся научном славяноведении, одним из пионеров которого

стал о. Михаил Бобровский, был сделан весьма важный восточно-славянский акцент, замеченный и представителями «румянцевской Академии» и самим графом Н. П. Румянцевым, во многом способствовавшим его появлению<sup>48</sup>. Все это дало право профессору Виленского университета И. Н. Лобойко, воспитаннику Харьковского университета, украинцу по происхождению, уже в 1824 г. утверждать: «...белорусская словесность еще при жизни моей из мрака забвения с таким достоинством выступает на свет»<sup>49</sup>.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 См., напр.: *Lehr-Splawiński T. Zarys dziejów słowianoznawstwa polskiego.* Warszawa; Kraków; Łódź; Poznań; Zakopane, 1948. S. 8; Славяноведение в дореволюционной России: изучение южных и западных славян. М., 1988. С. 50–51.
- 2 *Historia nauki polskiej. 1795–1862.* Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1977. T. 3. S. 113.
- 3 См. подробнее: *Ks. Ludwik Piechmicki S.J. Początki Akademii Wileńskiej: 1570–1599.* Rzym, 1984.
- 4 См.: Полное собрание Законов Российской империи. 1802–1803 гг. СПб., 1830. Т. 27. С. 526–530.
- 5 См. подробнее: *Vilniaus universiteto istorija: 1579–1803.* Vilnius, 1976.
- 6 История Вильнюсского университета (1579–1979). Вильнюс, 1979. С. 55.
- 7 См.: *Vilniaus universiteto istorija: 1803–1940.* Vilnius, 1977. P. 93–94.
- 8 См.: *Czartoryski A. E. Letters to Vilna 1805.* Ottawa, 1999. P. 96–99.
- 9 *Бобровский П. О.* Михаил Кириллович Бобровский (1785–1848) ученый славист-орненталист: Историко-биографический очерк. СПб., 1889. С. 12. «Чернорусом» П. О. Бобровский называет М. К. Бобровского в духе тех научных определений, которые были характерны для авторов второй половины XIX в. Названия «Черная Русь», встречающиеся уже в прусских и ливонских хрониках XIV в., и «черноруссы» относятся в основном к западно-белорусским землям XIV–XVIII вв. Ср.: *Rosszczenko M. Kilka uwag o pochodzeniu i pierwotnym nazwisku slawisty Michala Bobrowskiego // Rozprawy Slawistyczne Uniwersitetu Marii Curie-Sklodowskiej.* Lublin, 1997. T. 12. S. 269.
- 10 *Бобровский П. О.* Михаил Кириллович Бобровский... С. 36.
- 11 *Бобровский П. О.* К биографии М. К. Бобровского (славянского филолога орненталиста). СПб., 1890. С. 23.
- 12 Цит. по: *Бобровский П. О.* К биографии М. К. Бобровского... С. 36.

- 13 *Бобровский П. О.* Михаил Кириллович Бобровский... С. 18.
- 14 Там же. С. 57.
- 15 Судьба Супрасльской рукописи, открытой доктором богословия, магистром философии и филологии М. К. Бобровским. Историко-библиографическое исследование П. О. Бобровского. СПб., 1887. С. 56.
- 16 Протонерей Плакид Янковский. Протонерей Михаил Бобровский // Литовские епархиальные ведомости. 1864. № 2. С. 53–54.
- 17 *Бобровский П. О.* Михаил Кириллович Бобровский... С. 58. См. также: Национальная Библиотека в Варшаве. Отдел рукописей. BOZ 1735. S. 1–7. Ср. с его же замечаниями о характере богословского образования в ведущих учебных заведениях Западной Европы: Национальная Библиотека в Варшаве. Отдел рукописей. BOZ 872. К. 97–104, 191–199.
- 18 См., напр.: Научная библиотека Вильнюсского университета. Отдел рукописей. F58–B1986–1987 и др.
- 19 *Бобровский П. О.* Михаил Кириллович Бобровский... С. 47. Подробнее о работе М. Бобровского с собраниями Супрасльского Благовещенского монастыря см.: *Щавинская Л. Л.* Литературная культура белорусов Подляшья XV–XIX вв. Минск, 1998. С. 61–71 и др.
- 20 *Улащик Н. Н.* Введение в изучение белорусско-литовского летописания. М., 1985. С. 9.
- 21 См.: *Latopisiec Litwy i kronika ruska z rękopisu słowiańskiego przepisana... Staraniem i pracą Ignacego Daniłowicza.* Wilno, 1827. S. 326–327.
- 22 Там же. S. 7.
- 23 См.: *Skarbiec diplomatów..., posługujących do krytycznego wyjaśnienia dziejów Litwy, Rusi Litewskiej i ościennych im krajów. Zebrał... Ignacy Daniłowicz.* Wilno, 1860. T. 1. S. IV.
- 24 Ср.: *Латышонак А.* Беласточчына і народзіны беларускае думкі // Беларускія навіны: Бюлетэнь Беларускага дэмакратычнага аб'яднання. 1991. № 2. С. 20–24; *Białokozowicz B.* U źródle kształtowania się nowożytnej białoruskiej świadomości narodowej // *Białoruskie Zeszyty Historyczne.* 1995. № 2. S. 39–73.
- 25 См.: *Stankiewicz Ad.* Mahnušeŭski. — Paŭluk Bachrym. — Babroŭski (Da wyтокаў bielaruskaha adradžeńnja). Wilnia, 1937. S. 40.
- 26 Цит. по: *Бобровский П. О.* Судьба супрасльской рукописи... С. 5.
- 27 М. Бобровский планировал даже переселиться в Санкт-Петербург, где жил Н. Румянцев и находились его богатейшие книжные собрания. Кстати, именно Н. Румянцев был едва ли не главным действующим лицом в освобождении сосланного из Вильно в провинцию профессора М. Бобровского.

- 28 *Бобровский П. О.* Судьба Супрасльской рукописи... С. 59.
- 29 См.: Библиографические листы. 1825. № 14. С. 189–200.
- 30 М. Бобровский вслед за первым сообщением о рукописи П. Кеппену посылает дополнения и уточнения, в том числе новые факсимильные копии ее фрагментов.
- 31 См.: *Бобровский П. О.* Судьба Супрасльской рукописи... С. 19–20.
- 32 См.: *Щавинская Л. Л.* Румянцевское десятилетие пушкинской эпохи и зарождение белорусской гуманитарной науки // Пушкин–Беларуская культура–Сучаснасць. Мінск, 1999. С. 210–217; *Она же.* Н. П. Румянцев и начало белорусоведческих исследований // Н. П. Румянцев и славянская культура. М., 2000. С. 52–61.
- 33 Примером может быть так называемая Киевская Псалтырь 1397 г., находившаяся в церкви св. Николая в Вильне, где М. Бобровский был настоятелем в 1828–1829 гг. Ср.: *Вздорнов Г.* Исследование о Киевской Псалтыри. М., 1978.
- 34 *Лабынец Ю. А.* Первая книга, напечатанная глаголицей, и ее исследователь Михаил Бобровский // Сов. славяноведение. 1983. № 4. С. 92.
- 35 См.: *Лабынец Ю. А.* Михаил Бобровский – первый исследователь болгарского «Абагара» 1651 г. // Русско-болгарские связи в области книжного дела. М., 1981. С. 79–83.
- 36 Слова самого М. Бобровского, приведенные в его письме к П. И. Кеппену, написанному из Вильны в мае 1826 г. Цит по: *Бобровский П. О.* К биографии М. К. Бобровского... С. 16.
- 37 Первыми пособиями, которые легли в основу читавшегося М. Бобровским курса, стали рукописные и печатные церковнославянские книги из Супрасльской библиотеки. Он сам упоминает об этом неоднократно, на то же указывают его многочисленные расписки за книги, взятые в Супрасльской библиотеке. Материалы, найденные М. Бобровским в Супрасле, явились одним из источников составленной им «Граматики церковнославянского языка». Рукопись этой «Граматики», хранившаяся в библиотеке Замоиских, погибла во время пожара Варшавы в 1944 г. См.: *Bibliografia Literatury Polskiej. Nowy Korbut. Oświecenie. Warszawa, 1966. T. 4. S. 249 («Gramatyka języka słowiańskiego. Powst. 1826–1828. Rkps»).*
- 38 *Бобровский П. О.* К биографии М. К. Бобровского... С. 20.
- 39 См.: Библиографические листы 1825 г. СПб., 1826. № 1. Стлб. 3.
- 40 См.: *Bonazza S.* Bartholomäus Kopitar. Italien und der Vatikan. München, 1980. S. 211. Ср. с выводом о белорусском происхождении профессора М. Бобровского современной российской славистики И. В. Чуркиной, сделанном ею на основании ряда материалов, в частности его собственно-



ручной подписи «Ruthenus» в письме к Й. Добровскому: *Чуркина И. В.* Русские и словенцы. М., 1986. С. 12.

- 41 *Бобровский П. О.* Судьба Супрасльской рукописи, открытой доктором богословия, магистром философии и филологии М. К. Бобровским: Историко-библиографическое исследование. СПб., 1887. С. 4.
- 42 О нем см.: Славяноведение в дореволюционной России: Биобиблиографический словарь. М., 1979. С. 74.
- 43 См.: *Францев В. А.* Польское славяноведение конца XVIII и первой четверти XIX ст. Прага, 1906.
- 44 *Lehr-Splawiński T.* Op. cit. S. 8.
- 45 В рецензии Л. Мошниньского (L. Moszyńskiego), опубликованной в первой части 48-го тома *Roczników Slawistycznych* (1992. S. 99).
- 46 Библиотека Академии наук Литвы. Отдел рукописей. F273–1007.
- 47 Научная библиотека Вильнюсского университета. Отдел рукописей. F2–КС 35. Л. 14 об.
- 48 К сожалению, «великорусские обстоятельства» и их несомненно положительное влияние на поиски этнонациональных корней в среде таких людей как о. Михаил Бобровский до сих пор не только не учитывались, но и продолжают старательно замалчиваться. См.: *Цыхун Г.* Беларусь Беластоцчыны і славянства: Выбраныя месцы з гісторыі славістыкі // *Polsko-białoruskie związki językowe, historyczne i kulturowe.* Białystok, 2000. T. 2. S. 251–257.
- 49 Переписка протонерея Иоанна Григоровича с графом Румянцевым // Чтения Общества истории и древностей российских. 1864. Кн. 2. С. 46.

Научное издание

РОССИЯ — ПОЛЬША.  
ОБРАЗЫ И СТЕРЕОТИПЫ  
В ЛИТЕРАТУРЕ И КУЛЬТУРЕ

Издательство «Индрик»

Корректор — *Т. И. Томашевская*  
Младший редактор — *Н. Квасницкая*  
Оригинал-макет — *Л. Е. Коритысская*

INDRIK Publishers have the exceptional right to sell this book outside Russia and CIS countries. This book as well as other INDRIK publications may be ordered by

e-mail: [indrik@pochtamt.ru](mailto:indrik@pochtamt.ru)

or by tel./fax: +7 095 938 57 15

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции ОК-005-093,  
Ред.01.08.2001; 9533004 — Литература научная и производственная

ЛР № 070644, выдан 19 декабря 1997 г.

Формат 60 × 90<sup>1/16</sup>. Гарнитура «Петербург». Печать офсетная.  
21,5 п. л. Тираж 1000 экз. Заказ № 6719

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных диапозитивов  
в ППП «Типография «Наука» 121099, Москва, Шубинский пер., 6

РОССИЯ

ОБРАЗЫ И СТЕРЕОТИПЫ  
В ЛИТЕРАТУРЕ И КУЛЬТУРЕ

ПОЛЬША